ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
Под общей редакцией Д. РЯЗАНОВА

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ XI

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

Издание 2—е (11—25 тыс.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА

Гиз. № 5764. Главлит № 20389. Москва. Напеч. 15.000 экз.
Типография „Красный Пролетарий", Пименовская, 1/16.

Предисловие редактора.

Едва Плеханов успел, к концу 1897 г., закончить цикл своих работ, посвященных обоснованию и защите марксизма, полемически противопоставлявших новый метод исследования общественных явлений и достигнутые им пока результаты старым методам и старым учениям, возникшим еще до Маркса или выступавшим в модернизированной форме против марксизма, как ему пришлось принять участие и до известной степени явиться инициатором — вместе с Парвусом и Люксембург — в борьбе против нового течения, возникшего в среде самого марксизма. В 1897 году Бернштейн начал печатать свои статьи в «Neue Zeit» под названием «Проблемы социализма». Первая серия не вызвала протестов. Но уже статьи о «Борьбе социал-демократии и общественном перевороте», в которых Бернштейн высказал свои сомнения по поводу «Zusammenbruchtheorie» (теории катастрофы), вызвали резкий ответ Парвуса, явившегося застрельщиком в борьбе против «ревизионизма».

Но только вторая серия «Проблем социализма»,— «Neue Zeit» 1898 г., №№ 34, 39 (май, июнь),— в которой Бернштейн открыл поход против марксизма по всей линии, вызвала такое возбуждение, что Каутский вынужден был открыть дискуссию в самой «Neue Zeit».

Первой дискуссионной статьей была статья Плеханова — «Бернштейн и материализм» в «Neue Zeit», июль 1898 г., № 44. Вторая статья, направленная против Конрада Шмидта, появилась в «Neue Zeit» в том же году — в октябре 1898 г.,— но уже при изменившихся обстоятельствах.

От 3-го до 8-го октября 1898 г. в Штуттгарте происходили заседания немецкого социал-демократического съезда, к которому Бернштейн обратился с подробным изложением своих взглядов. Каутский, которому пришлось отвечать на нападки тогдашней левой, упрекавшей его за печатание статей Бернштейна без всяких оговорок со стороны редакции

«Neue Zeit», между прочим, заметил: «Бернштейн заставил нас вновь подумать, и мы его должны за это благодарить».

Именно эта речь Каутского дала повод Плеханову обратиться к нему с открытым письмом. Оно было напечатано в «Sächsische Arbeiterzeitung», вместе с Leipziger Volkszeitung, где полемику против

Бернштейна вела Роза Люксембург, стоявшая во главе всей кампании против ревизионизма. Эта статья («Wofür sollen wir ihm dankbar sein? Offener Brief an K. Kautsky», 1898 г., №№ 253—255) впервые появляется на русском языке.

Печатание статей Бернштейна в «Neue Zeit» было прекращено. По предложению Каутского, которого поддержал Виктор Адлер, Бернштейн решил изложить свои взгляды в отдельной книге, чтобы дать возможность следующему съезду основательно продебатировать его взгляды.

Книга Бернштейна вышла в свет в феврале 1899 г. На нее сейчас же последовали ответы К. Каутского и Розы Люксембург, вышедшие отдельно и послужившие материалом для обширной дискуссии на Ганноверском съезде. Известно, что в результате горячих дебатов была принята резолюция, осуждавшая «ревизионизм» Бернштейна. Но как раз с 1899 г., благодаря победе оппортунизма во Франции, потерпевший теоретическое поражение ревизионизм практически начал укрепляться и в германской социал-демократии. Опираясь на сильно разраставшееся профессиональное движение, имея прочные кадры в южно-германских социал-демократических организациях, ревизионизм создает свой собственный теоретический орган «Sozialistische Monatshefte».

Но ревизионизм очень скоро нашел последователей и среди русских марксистов как за границей, так и в России. Струве, который еще весной 1898 г. формулировал в Манифесте Р. С.-Д. Р. П. основные требования революционного марксизма, в том же году переживает новое перевоплощение и превращается в главного теоретика русского ревизионизма. После целого ряда колебаний, объясняющихся внутренними условиями русского движения, Плеханов выступает наконец с «Критикой наших критиков», с рядом статей, направленных против Струве. Но если в своей полемике против Бернштейна и Шмидта он ограничивался главным образом критикой ревизионизма в области философии марксизма, то в критике русских ревизионистов Плеханов преимущественно занимается практикой революционного марксизма и исследует «теорию катастрофы», вопросы социальной революции и диктатуры пролетариата.

Все статьи, вошедшие в одиннадцатый том, написаны в период 1898—1902 гг. и разделены нами на пять групп.

В первую группу мы включили, кроме статей «Бернштейн и материализм» и «За что нам его благодарить?», статью «Cant против Канта, или духовное завещание г. Бернштейна», написанную в 1901 г.

по поводу русского перевода книги Бернштейна, и предисловие к третьему изданию «Развитие научного социализма» (Женева 1902 г.), которое является ответом на брошюру Бернштейна «Возможен ли научный социализм?».

Во вторую группу вошли статьи против Конрада Шмидта из «Neue Zeit» 1898—1899 гг., после перепечатанные в сборнике «Критика наших критиков».

Третья группа составилась из статей против Струве, появившихся впервые в «Заре» в 1901—1902 гг.

В четвертую группу должен был войти, вместе с предисловием к новому изданию русского перевода «Коммунистического Манифеста» (Женева 1900 г.), которое было опубликовано по-немецки под названием «Über die Anfänge der Lehre vom Klassenkampf» («Neue Zeit», XXI, 1902—1903 гг.), ответ Плеханова на анкету «Petite Republique» в 1899 г. в связи с делом Дрейфуса и вопросом об участии социалистов в буржуазном министерстве. К сожалению, мы пока еще не имеем полного текста этого ответа.

В пятую группу мы поместили все рецензии и критические заметки, вошедшие в сборник «Критика наших критиков». Все они были опубликованы в журнале «Заря», из которого мы для полноты взяли также одну рецензию, не помещенную Плехановым в легальном сборнике.

Мы должны теперь объяснить читателям, какими правилами руководились мы при выборе текста, который мы воспроизводим в нашем издании. Дело в том, что среди статей, входящих в предлагаемый том, некоторые появились сначала на немецком языке и только через несколько лет были Плехановым переведены в сборнике «Критика наших критиков».

Само собой разумеется, что мы считали необходимым взять за основу текст, одобренный Плехановым. К сожалению, оказалось, что сборник «Критика наших критиков» издан был очень неряшливо. Плеханов, наверное, не читал корректур и поэтому в транскрипцию имен и названий вкрались многочисленные ошибки. Кроме того, страха ради цензурного, пришлось смягчить многие выражения. Укажу в виде примера на статью «Материализм или кантианизм», где слово «атеизм» пришлось заменить

словом «суеверие». В результате получается такая неразбериха: Плеханов спрашивает К. Шмидта, заинтересована ли буржуазия в том, чтобы «морализовать» пролетариат и бороться *с тем отрицательным отношением к суеверию,* которое

все более и более распространяется в этом классе? В немецком тексте сказано просто: *бороться с атеизмом.* Во всех таких случаях мы позволили себе восстановить, руководясь немецким оригиналом, мысль Плеханова в ее первоначальной, более яркой и точной форме.

Но мы наткнулись еще и на другое препятствие, не менее серьезное, хотя оно касалось статей, появившихся впервые на русском языке. Речь идет о статьях, которые были сначала опубликованы в зарубежной литературе — в «Заре» — и вошли после в сборники, изданные легальным порядком. Можно было бы, конечно, поступить так же, как тов. Горев, который в сборнике «В защиту революционного марксизма» перепечатал статьи против Струве в той их редакции, которая имеется в сборнике «Критика наших критиков». Но это было бы весьма неудовлетворительным решением вопроса. Уже беглое сравнение легального текста с текстом «Зари» показало, что в легальном издании Плеханов вынужден был согласиться на систематическое искоренение таких жупелов для старушки цензуры, как «социальная революция» и «диктатура пролетариата». Так, где речь идет о «социальной революции», — пришлось писать о «перевороте» или «изменении общественных отношений», а вместо «диктатуры пролетариата» пускать в ход египетские иероглифы и писать о «некоей диктатуре».

Маленький образец. В «Заре» Плеханов пишет о Струве: «О нашем «критическом» уме можно сказать, что ему macht Pein (причиняет боль) понятие о социальной революции (иначе Zusammenbruchstheorie) в связи с понятием о политической революции, знаменующей собою диктатуру пролетариата». В «Критике наших критиков» Плеханов «переводит» это место на следующий воистину эзоповский язык: «О нашем «притупленном» критике можно сказать, что ему macht Pein понятие об общественном Zusammenbruch'e в связи с понятием о некоей диктатуре». Оказалось, что цензура легче переваривает более грубые выражения по адресу Струве, чем «диктатуру пролетариата».

Пришлось поэтому из двух текстов, одинаково принадлежащих Плеханову, выбрать тот из них, который лучше всего выражает его мысль. Можно было бы, конечно, отмечать в примечаниях все разночтения, но это только перегрузило бы текст филологическим балластом в ущерб

главной задаче нашего издания. В заключительном томе, в котором будет собран весь критико-библиографический мате-

риал, такое сопоставление будет сделано для всех статей, имеющихся в *двух редакциях.*

Пользуюсь этим случаем, чтобы напомнить как критикам, так и читателям, что, как мы уже писали в предисловии к первому тому, мы не даем никакого комментария к сочинениям Плеханова. Необходимо как можно скорее предоставить в распоряжение читателей *всего* Плеханова — и в первую очередь его философские, экономические, исторические работы. На рынок чуть ли не ежедневно продолжают поступать искаженные в угоду царской цензуре издания, редакторы которых не дают себе труда установить точный текст издаваемого ими автора. Комментарий к Плеханову, которого требуют некоторые весьма легкомысленные и столь же беззаботные «критики», потребовал бы нескольких лет работы целой группы работников. Возможно, что лет через десять — пятнадцать мы получили бы такое комментированное издание, но сотни и тысячи марксистов, которые в России могут читать и изучать сочинения Плеханова совершенно самостоятельно, должны были бы тратить массу энергии и времени на розыски этих сочинений или довольствоваться теми искаженными изданиями, которые обращаются на рынке. Наоборот, только скорейшее издание всех сочинений Плеханова создаст возможность и даст толчок **к** внимательному и основательному изучению их, сделает их объектом коллективного труда десятков и сотен марксистов.

Повторяем, что мы отказались даже от справочного комментария к каждому тому. Если мы хотим, чтобы он не носил совершенно случайный характер, чтобы он удовлетворял хотя бы требованиям, которые мы предъявляем к хорошему энциклопедическому словарю, то на него необходимо затратить не мало времени. В результате и такой справочный комментарий задержал бы издание каждого тома на несколько месяцев.

Мы поэтому с самого начала отказались от такого плана и отнесли весь этот справочный и библиографический материал в последний заключительный том, в котором будет дан именной и предметный указатели ко всем сочинениям Плеханова.

Просто смехотворно болтать о том, что комментарий необходим для «широкой массы». Повторяю сказанное мною в предисловии: «читателя,

которого приходится водить на помочах, все равно не заставишь прогуляться по собранию сочинений, состоящему из двадцати шести томов». И точно так же никакими комментариями нельзя излечить от беспросветного — именно потому, что «ученого» — невежества некоторых критиков, которые в состоянии «пробежать» и

несколько часов такое полное собрание и потом с такой же быстротой «наследить» не менее «ученую» рецензию.

И опять-таки повторяем,— как мы писали в том же предисловии к первому тому,— что на ряду с этим собранием сочинений Плеханова придется издать ряд отдельных его работ с особыми предисловиями и примечаниями. Институт Маркса и Энгельса приступил уже и к этой работе. В популярной серии «Библиотеки научного социализма», кроме уже вышедших «Основных вопросов марксизма» и «Очерков по истории материализма», будут изданы в ближайшем времени комментированные издания важнейших работ Плеханова: «Социализм и политическая борьба». «Монистический взгляд на историю», «Наши разногласия», статьи об анархизме и синдикализме.

Д. Рязанов.

Май 1923 г.

КРИТИКА НАШИХ КРИТИКОВ

СТАТЬИ ПРОТИВ БЕРНШТЕЙНА

Бернштейн и материализм.

В № «Neue Zeit» г. Бернштейн продолжает вторую серию своих «Проблем социализма». Он разбирает там, *«насколько современный социализм реалистичен и насколько он является идеологией».* Метод, применяемый автором при этом исследовании, кажется мне совершенно несостоятельным для решения поднятого вопроса. Поэтому я подвергну этот метод критике в следующей статье. Здесь же меня интересует призыв г. Бернштейна «до известной степени» вернуться к Канту. «Профан в области теории познания,— говорит Бернштейн,— я не претендую на то, чтобы внести по данному вопросу нечто большее, чем мысли профана. Напротив, я обязан своим непосредственным увлечением Кантом одной статье Конрада Шмидта в научном приложении к «Vorwärts'y».

Получив толчок от нескольких столбцов философской прозы г. Конрада Шмидта, г. Бернштейн рассказывает другим профанам, что: «Чистый или абсолютный материализм точно так же спиритуалистичен, как и чистый или абсолютный идеализм. Оба просто предполагают, хотя и с различных точек зрения, что мышление и бытие идентичны. В конце концов, они отличаются лишь способом выражения. Напротив, новые материалисты становятся принципиально так же решительно на точку зрения Канта, как это сделало большинство величайших современных естествоиспытателей».

Эти выводы очень интересны. Но что такое «чистый или абсолютный материализм»? Г. Бернштейн на этот вопрос не отвечает; вместо этого он цитирует в примечании определение одного из «новейших» материалистов, говорящего совсем «в смысле Канта»: «Мы только верим в атом».

Очевидно, что, по мнению г. Бернштейна, «чистые или абсолютные» материалисты никак не могли бы допустить характеризованный в вышеприведенном определении способ мышления и выражения. Насколько подтверждается это понимание Бернштейна историей философии,— вот в чем вопрос.

Куда нам причислить Гольбаха? К «чистым» ли или же к «нечистым» материалистам? Очевидно, к первым. Но как думал Гольбах о материи?

Следующие места объясняют нам это.

«Мы не знаем сущности никакого предмета, если под словом сущность понимают то, что составляет его собственную природу; мы знаем материю лишь на основании ощущений и идей, которые она дает нам; затем мы судим о ней, хорошо или плохо, соответственно устройству наших органов» [1]).

И дальше:

«Для *нас материя есть то,* что возбуждает каким-либо образом наши внешние чувства,— и свойства, которые мы приписываем различным материям, основаны на различных впечатлениях или изменениях, которые они в нас производят» [2]).

Еще одно краткое и характерное место:

«Мы не знаем ни сущности, ни истинной природы материи, хотя мы в состоянии определить некоторые ее свойства и качества, сообразно тому, как она на нас влияет» [3]).

Обратимся теперь к другому материалисту, к *Гельвецию.* Обладает ли материя способностью чувствовать? Гельвеций отвечает на этот вопрос,— который занимает очень многих французских философов XVIII столетия и к которому мы еще вернемся в дальнейшем,— следующим образом: «Об этом спорили очень долго. Лишь очень поздно пришли к тому, чтобы спросить себя, о чем собственно идет спор, и связать со словом материя более точное понятие. Если бы в этом споре с самого начала точно определили значение слова материя, то узнали бы, *что люди, так сказать, творцы материи* [4]). Мне это кажется несколько более ясным, чем выражение: «Мы только верим в атом».

Я изложил философские идеи Гольбаха и Гельвеция в моем сочинении «Beiträge zur Geschichte des Materialismus». Поэтому я не буду заниматься здесь более подробным их рассмотрением. Замечу только вот что: *Гельвецию существование тел вне нас представляется только вероятным.* Он смеется над «философскими фантазиями»; по его мнению, мы должны *«идти вместе с наблюдением, остановиться в тот момент, когда оно нас оставляет, и иметь смелость не знать того, чего знать еще невозможно»* [5]).

Робинэ, автор книги «De la Nature», замечает: «Мы, по нашей природе, неспособны познать то, что составляет сущность предмета;

[1]) «Système de la Nature», II, p. 1.

[2]) Ibid, I, p. 28.
[3]) Ibid, II, p. 116, изд. 1781 г.
[4]) «De l'Esprit», Discours I, chap. IV.
[5]) Ср. «Beiträge zur Geschichte des Materialismus», с. 77 и сл.

в нашем распоряжении нет никакого средства познать ее. *Познание сущности* (des essences) — *вне наших сил»* [1]).

В другом месте названного сочинения он говорит: «Душа знает насчет своей собствен-ной сущности не более, чем насчет других сущностей. Она так же мало проникает в самое себя, как и в массу связанного с ней тела, растительных сил которого она не чувствует и не видит» [2]). Разве это не сказано совсем в смысле Канта?

Послушаем теперь Ламеттри, этого «enfant perdu» материалистической философии, человека, пугавшего своей смелостью даже самых смелых. Он говорит:

«Сущность души человека и животных нам неизвестна и останется всегда неизвестной, равно как и сущности материи и тела. Но хотя мы не имеем никакого представления о сущности материи, однако, мы все-таки принуждены признать свойства, которые открываются в материи нашими внешними чувствами [3]).

В своей «Abrégé des Systèmes» Ламеттри пишет, критикуя философию Спинозы:

«Наша душа не познает внешних предметов; она знает лишь некоторые отдельные свойства этих предметов, совершенно относительные и отвлеченные. И, наконец, большин-ство наших чувств или идей так зависят от наших органов, что они тотчас же изменяются, если последние подверглись изменению».

Здесь один из самых «абсолютных» материалистов говорит, как мы видим, тоже «со-всем в смысле Канта». И в высшей степени комичным является, рядом с подобными заявлениями, положение: «Мы только верим в атом», которое г. Бернштейн цитирует, как нечто совершенно «новое».

Быть может, г. Бернштейн воображает, что Фридрих Энгельс не знал, что мы только *верим* в атом? Надо полагать, что Энгельс знал это очень хорошо. Но это не помешало ему бороться с кантианской философией и написать следующие строки в книге «Людвиг Фейер-бах»: «И если немецкие неокантианцы стараются воскресить взгляды Канта, а английские агностики — взгляды Юма (никогда не вымиравшие окончательно в Англии),— несмотря на то. что и теория, и практика давно

уже опровергли и те, и другие, — то в научном смысле это представляет собою попятное движение, а на практике

[1]) «De la Nature», Amsterdam, MDCCLXIII, tome premier, p. 265.
[2]) «De la Nature», p. 259.
[3]) «Oeuvres philosophiques de Monsieur de la Mettrie». Amsterdam MDCCLXIV, tome premier; «Traité de l'âme», p.p. 83 и 87.

дает этим стыдливым людям возможность впустить через заднюю дверь тот самый материализм, который изгоняется на глазах публики».

Может быть, г. Бернштейн возразит против этого, что Энгельс сам неясно понимал — в чем тут дело?

Г. Бернштейн много лет жил в ближайшем общении с Фр. Энгельсом и не понял его философии. Он, который мог обеими руками черпать из богатой сокровищницы великого мыслителя, он должен был прочесть quasi-философскую статейку г. Конрада Шмидта, чтобы заинтересоваться философскими вопросами и спросить себя: но в чем же, собственно, заключается философия моего учителя? А что еще хуже, ему достаточно было познакомиться с парой паралогизмов г. К. Шмидта, чтобы выкинуть за борт всю эту философию. Это невероятно, но это так. Это очень печально для школы Маркса-Энгельса! И очень печально, прежде всего, для г. Бернштейна!

Но, как бы там ни было, у нас нет ни малейшей охоты следовать совету этого «критика», когда он нас зовет: *«назад к Канту».* Напротив, мы призываем его: *назад... к изучению философии.*

Советуя нам «вернуться к Канту», г. Бернштейн пытается опереться на статью г. Штерна: *«Экономический и естественнонаучный материализм»,* напечатанную в «Neue Zeit». Г. Штерн несравненно компетентнее в области философии, чем г. Бернштейн, и его статья заслуживает полного внимания наших читателей.

Между тем как г. Бернштейн «до известной степени» возвращается назад к Канту, г. Штерн говорит нам о старом Спинозе и предлагает нам вернуться к философии этого благородного и гениального еврейского мыслителя. Это — нечто иное и гораздо более разумное, чем призыв г. Бернштейна. В самом деле, важно и интересно исследовать вопрос о том, есть ли *что-нибудь общее между философскими идеями Маркса-Энгельса,* с одной стороны, и Спинозы — с другой.

Чтобы иметь возможность правильно ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны выяснить себе, как понимает г. Штерн истинную сущность философского учения. Он говорит:

«Естественнонаучный материализм, представленный в древней Греции Демокритом и его школой, в прошлом столетии — энциклопе-

дистами, в новое время — Карлом Фогтом, Людвигом Бюхнером и т. д., и экономический материализм Маркса и Энгельса, несмотря на их общее имя, суть две различные теории, относящиеся к различным областям мысли. Первая заключает в себе объяснение природы, в частности отношения между материей и духом; вторая предлагает объ-

яснение истории, ее хода и ее событий, и таким образом является социологической теорией». Это не совсем так.

Во-первых, философия «энциклопедистов» не ограничивалась одним исследованием отношений между материей и духом; напротив, *она пыталась одновременно объяснить историю с помощью материалистического понимания* [1]). Во-вторых, Маркс и Энгельс были материалистами не только в области исторического исследования, *они были таковыми и в области понимания отношения между духом и материей.* В-третьих, совершенно ошибочно сбрасывать в одну кучу материализм «энциклопедистов» и материализм Фогта и Бюхнера. Это тоже, можно сказать, «две совершенно различные теории».

«Основная мысль натурфилософского материализма,— продолжает г. Штерн,— состоит в том, что материя есть нечто абсолютное, вечно существующее; все духовное (психическое: чувства, ощущения воля, мышление) — продукт материи. Материя обладает бесконечными силами («Stoff und Kraft»), которые вообще можно приравнять к движению, тоже вечному. Благодаря взаимодействию различных сил в сложных животных организмах, в них возникает дух, исчезающий опять вместе с уничтожением организма. Все происходящее,— а также человеческие желания и действия, управляется по закону причинности и находится в зависимости от материальных причин.

Таким представляется г. Штерну материалистическое учение. Прав ли он? И можно ли данную им характеристику применить, например, к материализму энциклопедистов?

Ответу на этот вопрос следует предпослать то замечание, что в данном случае обозначение «энциклопедисты», с одной стороны, совершенно не точно и ведет к заблуждениям. Далеко не все энциклопедисты были материалистами. С другой стороны, в XVIII столетии во Франции были материалисты, не написавшие ни одной строки в «Энциклопедии». Для доказательства достаточно назвать того же Ламеттри.

Это между прочим. Существенное состоит здесь в том, *что ни материалисты из «энциклопедистов», ни Ламеттри вовсе не признавали, что все силы материи можно свести к движению.* Г. Штерн был, очевидно,

введен в заблуждение словами тех людей, которые, несмотря на свое незнакомство с историей материализма, не могут

[1]) Я это показал в моем очерке о Гельвеции.

себе отказать в удовольствии поговорить о нем. Это можно немедленно доказать самым неопровержимым образом.

На этот раз предоставлю слово сначала Ламеттри.

Читатель уже знает, что взгляд на материю у Ламеттри, как небо от земли, далек от какого бы то ни было *«догматизма».* Но все-таки мы должны подольше остановиться на его философии.

Ламеттри был просто-напросто *картезианцем,* последовательно мыслящим и обогатившим свой ум всеми биологическими знаниями своего времени. Декарт утверждал, что животные суть не более, как машины, т. е. что у них совсем нет того, что называется психической жизнью; Ламеттри ловит Декарта на слове. Он говорит, что если Декарт прав, то и человек тоже не более, как машина, потому что нет никакой *существенной разницы* между человеком и животным. Отсюда—название его знаменитого сочинения «L'Homme machine» (Человек—машина). Однако, так как человек ни в коем случае не лишен психической жизни, то Ламеттри заключает далее, что и животные тоже одарены психической жизнью. Отсюда название другого сочинения: «Les animaux plus que machines» (Животные — более, чем машины). Впрочем Ламеттри думал, что втайне Декарт сам держался того же взгляда, «потому что в общем и целом, хотя он и утверждает, что между человеком и животными есть существенная разница, но видно, что это у него простая увертка, стилистическое упражнение» etc. [1]). И хотя Ламеттри определяет человека, как машину, но этим он отнюдь не хочет сказать, что *«все силы материи можно свести к движению».* Напротив, он этим хочет выразить нечто совсем иное. *Он считал мышление одним из свойств материи. «Я признаю,— говорит он,— мышление так мало отделимым от организованной материи, что мне оно кажется таким же свойством этой последней, как электричество, сила движения, непроницаемость, расширяемость* etc.» [2]).

Г. Штерн, без сомнения, возразит на основании этого, что для Ламеттри мышление есть свойство лишь организованной материи и что именно в этом заключается Ахиллесова пята всякого материализма. «Совершенно необъяснимо,— говорит он в приведенной статье,— *каким образом в животной клеточке ощущение* (основной элемент психической

жизни) *является вдруг,* подобно револьверному выстрелу; необходимо заключить, что и неорганическим телам свойственна, конечно, толь-

[1]) «Oeuvres philosophiques de Monsieur de la Mettrie». T. 10, p. 72.
[2]) Ibid., p. 73.

ко минимальная и простая психика, которая растет и усложняется по мере того, как мы подымаемся по лестнице живых существ». Это так. Но Ламеттри и не утверждал ничего противоположного. Здесь он просто ставит вопрос, не решаясь дать на него определенный ответ. «Надо согласиться,— говорит он,— что мы не знаем, обладает ли материя непосредственной способностью ощущения или лишь способностью приобретать его под влиянием тех изменений, которые свойственны лишь органическим телам» [1]).

В своем «L'Homme plante» (Человек—растение) он выражает свою мысль в несколько иной форме, которая делает ее более определенной. «Изо всех живых существ,— говорит он,— человек есть то, которое более всех обладает душой, как это по необходимости и должно было быть, а растение является тем из них, которое обладает душой в наименьшей степени». В этой мысли заключается целиком вся теория «одушевленности материи». Но Ламеттри покидает эту теорию, потому что «душа» растений и минералов есть нечто совершенно зачаточное. «Хороша душа,— восклицает он,— не имеющая никаких стремлений, никаких желаний, никаких страстей, никаких пороков и добродетелей, и не смущаемая никакой заботой о нуждах тела!».

Г. Штерн приводит комментарий к тринадцатой теореме второй части «Этики» Спинозы, где сказано, что все индивидуумы (individua) в различной степени одушевлены (quamvis diversis gradibus).

Читатель видит теперь, что *для Ламеттри степень одушевленности имеет решающее значение.* Неодушевленным существом было для него такое, у которого способность к ощущению не превышала известного минимума. И если он заявляет, что *«мысль»* есть плод *организации,* то этим он хочет сказать, что только у органических *«индивидуумов»* встречаются сравнительно высшие формы — «*одушевленности».*

Вот почему я не вижу решительно никакой существенной разницы между *спинозизмом и материализмом Ламеттри.* Как обстоит дело у «энциклопедистов»?

Первая способность, которую мы встречаем у живого человека и которую надо отделить от всех остальных,— говорит Гольбах,— это *«чувствительность»* (т. е. ощущение. — *Г. П.*).

«Как бы непонятной ни казалась нам на первый взгляд эта способность, мы все-таки находим при более близком исследовании, что

[1]) «Traité de l'ame etc.», chap. VI. В этом соч. Ламеттри придерживается еще старой терминологии, которую он впоследствии оставил.

она есть плод природы и свойств организованного тела, подобно тому, как сила тяжести, магнетизм, упругость к т. д. являются плодом природы или свойств некоторых других тел... Некоторые философы держатся того взгляда, что ощущение есть общее свойство материи; в данном случае было бы бесполезным исследовать, откуда берется у нее это свойство, знакомое нам по его проявлениям. Если допустить такую гипотезу, то можно было бы различить два рода восприятий, подобно тому, как в природе различаются два рода движения,— одно, известное под именем *живой силы, другое, называемое силой инерции* [1]) — род *активного, или живого восприятия, и пассивного, или инертного. В последнем случае одушевленность субстанции состояла бы лишь в отсутствии препятствий, которые ей мешают быть активной и восприимчивой.* Одним словом, восприятие представляет собою или такое свойство, которое может быть сообщено, как движение, и может быть приобретено благодаря организации, или же восприятие есть свойство, присущее всякой материи. И в том, и в другом случае носителем его не может быть бестелесная субстанция, какою воображают себе человеческую душу [2]).

Г. Штерн сам видит теперь, что материалистическая философия Гольбаха не имеет ничего общего с доктриной, приписываемой им «энциклопедистам».

Гольбах знал очень хорошо, что не все силы материи можно свести к движению. Он ничего не возражает против гипотезы об «одушевленности материи»; но он не останавливается на этой гипотезе, потому что его внимание приковывает к себе другая задача, Он старается, прежде всего, привести доказательства в пользу того, что для объяснения явлений психической жизни нам нет необходимой надобности предполагать существование бестелесной субстанции... Пойдем дальше. Гольбах был не единственным творцом «Системы Природы». Дидро был выдающимся сотрудником в этом сочинении. Дидро был материалистом. Каков был материализм этого человека, который с бо̀льшим правом, чем кто бы то ни было, может быть назван «энциклопедистом»?

Дидро показал свое отношение к Спинозе в небольшой статье «Spinosiste», напечатанной в пятнадцатом томе «Энциклопедии».

«Не следует,— говорит он здесь,— смешивать одних с другими, старых и новых спинозистов. *Последние исходят из того основного*

[1]) Терминология Гольбаха в наше время больше неупотребительна.
[2]) «Système de la Nature». Т. 1, p.p. 88—89 и 90-91.

принципа, что материя способна ощущать; они подтверждают эту мысль, указывая на яйцо, безжизненное тело, постепенно превращающееся, единственно под влиянием возрастающей теплоты, в одаренное ощущением живое существо, они ссылаются также на рост каждого животного, которое вначале является простой точкой и только благодаря ассимиляции растительных веществ и всех других субстанций, служащих ему пищей, становится большим, чувствующим и живым телом. Отсюда они заключают, что существует одна только материя и что ее существование служит достаточным объяснением всех явлений. В остальном они твердо держатся всех выводов старого спинозизма».

Из этого еще не совсем ясно видно, в чем состоит, по мнению Дидро, превосходство нового спинозизма сравнительно со старым, но совершенно несомненно то, что Дидро признавал спинозизм правильным учением и не боялся вытекающих из него выводов. В общем и целом можно сказать, что Карл Розенкранц был совершенно прав, когда он писал в своей известной книге «Сочинения Дидро и его жизнь» (т. 1, ст. 149): «Втайне спинозизм,— особенно начиная с Буллэнвилье,— был признаваем всеми французами, перешедшими через сенсуализм к материализму...»

А как относятся материалисты XIX столетия к интересующему нас вопросу?

Людвиг Фейербах довольно пренебрежительно смотрел на французских материалистов XVIII столетия. «Нет ничего более ложного,— говорит он,— как вести происхождение немецкого материализма от «Système de la Nature», или даже от трюфельного паштета Ламеттри» [2]). Тем не менее, он сам стоял обеими ногами на почве французского материализма.

Так, например, он говорит в своем сочинении *«О спиритуализме и материализме»*: «Для абстрактного мыслителя... мысль, это — внемозговой акт, но для врача,— это — деятельность мозга». Именно это и

хотел доказать Ламеттри в своем «L'Homme machine». «Медицина, всеобщая патология, есть родина и источник материализма»,— говорит Фейербах немного далее [3]). И опять то же самое

[1]) В то же время весьма вероятно, пожалуй, даже вполне верно, что Дидро отрицал только то, что называют *пантеизмом* Спинозы.
[2]) Соч. 10 т., 8, 123.
[3]) Соч. 10 т., ст. 128.

утверждает и Ламеттри [1]). Всем известен тот факт, что его собственная болезнь послужила исходной точкой его размышлений об отношении между душой и телом.

«Но медицина служит источником не безрассудного и отвлеченного материализма, а... *имманентного материализма, держащегося за человека,*— говорит Фейербах.— Именно в этом и состоит Архимедова точка зрения в споре материализма со спиритуализмом, так как речь идет в нем, в конце концов, не о делимости или неделимости материи, *ни о делимости и неделимости человека...* не о материи, находящейся вне человека, а *о материи, находящейся в человеческом черепе.* Словом, в этом споре речь идет,— когда он ведется не без участия головы,— лишь о голове человека» [2]).

Так же смотрят на этот спор Ламеттри, Гольбах и многие другие материалисты из «энциклопедистов». И именно потому, что таково было их мнение, они, за весьма небольшими исключениями, относились довольно равнодушно к теории одушевленности той материи, которая не *«находится в человеческом черепе».* Точка зрения Фейербаха и в этом отношении была также точкой зрения французских материалистов.

Но в то же время неоспоримо, что Фейербах хотел только до определенной точки, но не далее, идти с материалистами. Он неоднократно заявлял, что истина для него «ни в материализме, ни в идеализме, ни в философии, ни в психологии».— Откуда это отклонение от теории, которая в сущности заключала в себе его собственный взгляд?

Энгельс объяснил это: Фейербах отожествлял материализм с особой формой, в которую вылилось это миросозерцание на известной исторической ступени, а именно в XVIII столетии. А что касается собственно французского материализма, то Фейербах смешивал его с той опошленной, вульгарной формой, в которой продолжает существовать в головах естествоиспытателей и врачей материализм XVIII столетия и которую он имел в пятидесятых годах у Бюхнера, Фогта

[1]) Спиритуалисты знают это очень хорошо. Автор биографии Ламеттри в «Biographie Universelle ancienne et moderne» изображает сочинение «L'Homme machine», как «мерзкое сочинение, в котором без обиняков развито неутешительное учение материализма». Но в чем состоит это учение? Вот в чем, слушайте: «Так как во время своей болезни он сделал наблюдение, что ослабление его духовных сил последовало за ослаблением его органов, то он заключил из этого, что мышление есть лишь продукт телесной организации и имел смелость опубликовать свой взгляд». Какой ужас! Какое нелепое лжеучение!!

[2]) Feuerbach. Werke. T. 10, стр. 128-129.

и Молешотта. Я иду дальше Энгельса и говорю: Фейербах не знал, что он в XIX столетии был настоящим реставратором материализма XVIII века и что он является представителем этого Материализма со всеми его преимуществами и со всеми его недостатками.

Фейербах держался того взгляда, разделяемого теперь г. Штерном, что французские материалисты сводили все силы материи к движению. Я уже показал, что этот взгляд совершенно неверен и что в этом отношении французские материалисты были не более «материалистичны», чем сам Фейербах. Но отклонение Фейербаха от французского материализма заслуживает очень большого внима-ния, потому что оно так же резко характеризует его собственное миросозерцание, как и миросозерцание Маркса и Энгельса. По *Фейербаху, источник познания в психологии совершенно иной, чем в физиологии.* Но в чем состоит различие этих двух источников познания? Фейербах дает очень характерный ответ. *«Что для меня, или субъективно, есть духовный акт, то само в себе, т. е. объективно, есть акт материальный, чувственный»* [1]). Это, как видим, то же, что говорит г. Штерн: «Так, например, голод, рассматриваемый материально, есть недостаток известных телесных соков; рассматриваемый же психически, он есть чувство неудовлетворенности; сытость материально есть пополнение недочета организма, психически — чувство удовлетворения». Но ведь г. Штерн спинозист. Ergo... ergo, Фейербах тоже стоит на точке зрения Спинозы.

И, в самом деле, не подлежит никакому сомнению, что Фейербах был таким же спинозистом, каким был в свое время Дидро.

Достаточно прочесть его сочинения с некоторым вниманием, достаточно обладать хоть сколько-нибудь ясным понятием о развитии современной философии, начиная Спинозой и кончая Гегелем, чтобы не сомневаться в этом ни на одну минуту. «Спиноза есть настоящий виновник современной спекулятивной философии. Шеллинг ее реставратор, Гегель ее завершитель»,— говорит он в одном из самых замечательных своих сочинений. «Тайна», *истинный смысл спинозизма,*— по Фейербаху,— *есть природа.* «Что представляет собою при тщательном рассмотрении то, что *Спиноза логически или метафизически называет субстанцией, теологически — богом? Не что иное, как природу»* [2]). Это

сильная сторона Спинозы, в этом «его историческое значение и достоинство». (Природа есть

[1]) Примечание для марксистов, идущих «назад к Канту»: «в себе» Фейербаха не имеет ничего общего с «an Sich» автора «Критики чистого разума».

[2]) Соч., II т., стр. 244; IV т., стр. 380.

также «тайна» Фейербаха.— *Г. П.*). Но Спиноза не был в состоянии порвать с теологией. Природа для него не природа; чувственная антитеологическая сущность природы для него лишь отвлеченная метафизическая, теологическая сущность... *Спиноза делает из природы божество»* [1]*.* И в этом заключается его *«основной недостаток», Фейербах исправляет свой* недостаток спинозизма, *оставляя* aut-aut вместо sive. «Не «Deus sive Natura», а «aut Deus aut Natura» есть пароль истицы; там, где бог отождествляется с природой... там нет ни бога, ни природы, а есть лишь мистический земноводный гермафродит» [2]).

Мы уже видели, что именно такой упрек делал Дидро спинозизму в цитированной выше статье «Spinosiste», напечатанной в «Энциклопедии». Г. Штерн возразит, пожалуй, что Спиноза не заслуживает такого упрека, но здесь это нас не касается. Здесь идет речь об ответе на вопрос, в каком отношении находится философия Фейербаха к философии Спинозы. А что касается этого ответа, то он гласит так:

Материалистическая философия Фейербаха была, как и философия Дидро, лишь родом спинозизма.

А теперь перейдем к Марксу и Энгельсу.

Эти писатели были в течение некоторого времени восторженными приверженцами Фейербаха. Энгельс пишет: «Мы все были в восторге (после выхода «Сущности христианства» — *Г. П.*) и все стали на время последователями Фейербаха. С каким воодушевлением приветствовал Маркс новое воззрение и как сильно повлияло оно на него, не смотря на все его критические оговорки,— можно видеть из книги «Die heilige Familie».

Однако, уже в феврале 1845 г. Маркс с проницательностью гения увидел *«главный недостаток» фейербаховского материализма.* Этот главный недостаток состоял в том, что у него *«действительный, воспринимаемый чувствами, предметный мир рассматривается лишь в форме объекта или в форме созерцания, а не в форме практики, не субъективно».* Эта критика становится исходным пунктом новой фазы в развитии материализма, которая ведет к *материалистическому объяснению истории.* Предисловие сочинения: «К критике политической экономии» заключает в себе то, что можно было бы назвать

Пролегоменами ко всякой будущей социологии, которая могла бы выступить, как наука.

[1]) Соч., IV т., стр. 391.
[2]) Соч., IV т., стр. 392.

Но заметьте, что критика Маркса—Энгельса не касается основной точки зрения фейербаховского материализма. Совсем напротив!

Когда Энгельс пишет, что «к лагерю материалистов надо отнести всех тех, которые основным началом считают природу» (см. его сочинение «Людвиг Фейербах»), то он только повторяет слова Фейербаха: *«Истинное отношение мышления к бытию состоит лишь в том, что бытие, это — субъект; мышление — предикат; мышление происходит из бытия, а небытие из мышления»* [1]). А так как точка зрения Фейербаха была точкой зрения спинозиста, то ясно, что и тождественная с нею философская точка зрения Энгельса не могла быть иною.

Строго говоря, то положение, что «мышление происходит из бытия, а небытие из мышления», не согласно с учением Спинозы. *Но то «мышление»,* о котором здесь идет речь, есть *человеческое сознание,* т. е. высшая форма «мышления», *и предпосылка бытия этому мышлению ни в коем случае не исключает «одушевленности и материи».* Чтобы в этом убедиться, надо только прочесть 236 стр. II тома сочин. Фейербаха и 21 и 22 стр. книги Энгельса «Ludwig Feuerbach». Всем известно, с каким презрением Энгельс говорил о материализме Карла Фогта, Молешотта и т. п. Но это именно тот материализм, который можно было с известным правом упрекнуть в том, что он, хотел все силы материи свести к движению. Я убежден, что опубликование рукописей, находящихся среди литературного наследства Маркса и Энгельса, внесет новый свет в этот вопрос [2]). **А** пока что я с полнейшим убеждением утверждаю, что Маркс и Энгельс в *материалистический* период своего развития никогда не покидали точки зрения Спинозы. И это мое убеждение основывается, между прочим, на личном свидетельстве Энгельса.

В 1889 г. я, побывав на международной выставке в Париже, отправился в Лондон, чтобы лично познакомиться с Энгельсом. Я имел удовольствие в продолжение почти целой недели вести с ним продолжительные разговоры на разные практические и теоретиче-

[1]) Werke, II, стр. 263.

[2]) Когда я писал эти строки (1898 г.), я имел в виду, главным образом, диссертацию Маркса об Эпикуре, которая тогда еще не была напечатана и о существовании которой я знал от Энгельса еще в 1889 г. Впоследствии эта диссертация напечатана была в изданном Фр. Рингом собрании ранних сочинений Маркса и Энгельса. Но она не оправдала моих ожиданий, так как в ней Маркс еще целиком стоит на *идеалистической* точке зрения.

ские темы. Однажды зашел у нас разговор о философии. Энгельс резко осуждал то, что Штерн весьма *неточным образом* называет «натурфилософским материализмом». «Так, *по-вашему,*— спросил я,— *старик Спиноза был прав, говоря, что мысль и протяжение не что иное, как два атрибута одной и той же субстанции?* — «Конечно,— ответил Энгельс,— *старик Спиноза был вполне прав».*

Если мои воспоминания меня не обманывают, при нашем разговоре присутствовал известный химик Шорлеммер; был при этом еще и П. Б. Аксельрод. Шорлеммера уже нет в живых, но другой из наших собеседников еще здравствует и в случае нужды, конечно, не откажется подтвердить точность моего сообщения.

Еще два слова. В своем предисловии к «Людвигу Фейербаху» Энгельс говорит, между прочим, об «эклектической похлебке», которою угощают слушателей в немецких университетах под названием философии. При его жизни этой великолепной похлебки еще не преподносили немецким рабочим. Теперь Конрад Шмидт разносит ее среди них. Это, именно, та похлебка, вкушение которой так счастливо «возбудило» г. Бернштейна. Конрад Шмидт создает школу. Не излишне поэтому анализировать его эклектическую похлебку посредством чувствительного реактива: философии Маркса—Энгельса. Я сделаю это в следующей статье.

За что нам его благодарить?

Открытое письмо Карлу Каутскому.

Многоуважаемый и дорогой товарищ!

Разрешите мне, прежде всего, выразить Вам свою благодарность за удовольствие, которое мне доставили ваши речи на Штутгартском партийном съезде германской социал-демократии. В связи с выраженным Вам горячим одобрением со стороны подавляющего большинства делегатов партийного съезда, эти речи представляют политическое событие большого значения. Если раньше речи и статьи некоторых членов германской партии,— гг. Бернштейна, Конрада Шмидта и Гейне,— могли возбудить в сердцах наших врагов приятную надежду, что германская социал-демократия собирается покинуть революционную почву *классовой борьбы* и опуститься в болото оппортунизма, то теперь эта надежда рассеялась, как дым. Теперь не может быть никаких сомнений. Теперь всякий убеждается, что гг. Бернштейн, Конрад Шмидт и Гейне отнюдь не выражали воззрений партии, и что тов. Зингер мог с полным правом сказать в своей заключительной речи: мы те же, что были, и такими и останемся. Да, германская социал-демократия, действительно, осталась, чем всегда и во всякое время была: верным знаменосцем революционной мысли нашего времени!

К сожалению, в одной из Ваших речей попадаются места, способные до известной степени ослабить глубокое и отрадное ее впечатление и подать в будущем повод к значительным недоразумениям. Я имею здесь в виду Вашу речь против Бернштейна, а так как спорные ее места должны были, несомненно, поразить не меня одного, но и многих других, то я, вместо частной беседы с Вами, хочу их подвергнуть обсуждению в открытом письме к Вам.

В своей речи Вы сказали: «Бернштейн не обескуражил нас, но заставил нас размышлять, будем ему за это благодарны».

Это верно, но только отчасти. Бернштейн, действительно, нисколько не обескуражил германскую социал-демократию. Это доказывают принятые на Штутгартском партийном съезде решения. Но побудил ли он нас к размышлению, мог ли даже только? Думаю, что вряд ли.

Чтобы побудить кого-нибудь к размышлению, необходимо или указать новые факты, или известные уже факты выставить в новом освещении. Бернштейн не сделал ни того, ни другого. Поэтому он и не мог никого побудить к размышлению.

Или я, быть может, ошибаюсь в своей оценке литературной деятельности Бернштейна? Хорошо, посмотрим.

Само собою понятно, нас здесь интересует только та часть его писательской деятельности, которая на него навлекла известные упреки со стороны некоторых товарищей. Сюда относятся последние годы его деятельности. Можно быть различного мнения о прежних его литературных трудах, но здесь об этом распространяться нам незачем.

Итак, за последние годы Бернштейн боролся против того, что он называл революционною фразой, вообще, и против «теории катастроф», в частности. Центр тяжести его аргументации против этой теории заключается в указании на тот, как он думает, несомненный факт, что многие выраженные Марксом и Энгельсом в Коммунистическом Манифесте взгляды не нашли подтверждения в дальнейшем ходе развития социальной жизни. «Обострение общественных отношений,— говорит он,— совершалось не так, как это описывает Манифест. Не только бесполезно, но и чрезвычайно глупо скрывать это от себя. Число имущих не уменьшилось, а увеличилось. Огромное умножение общественного богатства сопровождается не быстро убывающим числом магнатов капитала, а растущим числом капиталистов всех степеней. Средние слои меняют свой характер, но они не исчезают с лестницы общественных градаций». Если мы присоединим к этим рассуждениям Бернштейна его замечания, что в некоторых отраслях промышленности концентрация совершается очень медленно, и что впредь торговые кризисы не должны иметь острого и всеобщего характера, как раньше, то можно сказать с полным правом, что этим исчерпываются все его аргументы против «теории катастроф». А теперь, многоуважаемый и дорогой товарищ, вглядитесь внимательно в эту аргументацию, и Вы сами убедитесь, что в ней нет ничего, абсолютно ничего, что нам не было бы уже сказано бесчисленное множество раз нашими противниками из буржуазного лагеря. Тогда Вы должны будете также признать, что мы не имеем

абсолютно никакого основания чувствовать себя обязанными по отношению к Бернштейну.

Вам, без сомнения, знакомы труды г. Шульце-Геверница. Возьмите, пожалуйста, его книгу «Zum sozialen Frieden» и прочтите во

2-м томе, страницу 487 и следующие. Г. Шульце-Геверниц пытается там опровергнуть «теорию катастроф», которую он формулирует следующим образом: «Развитие крупной промышленности обозначает усиливающуюся деградацию рабочих в ряды недифференцированного пролетариата, скопление богатства в немногих руках, исчезновение средних сословий, выступление социально-революционной партии». По мнению Шульце-Геверница, факты с этою теорией не сходятся: «Подробная статистика «Board of Trade» устанавливает для Англии противоположное явление, чем у социально-революционного направления устраняется почва под ногами». С одной стороны хозяйственное положение рабочих в течение последних 50 лет постоянно улучшалось, с другой стороны, «то широко распространенное представле-ние, по которому собственность сосредоточивается во все меньшем числе рук», оказалось ошибочным. Наконец, распространение акционерных обществ привлекает все более многочисленных собственников мелких сбережений к участию в прибылях крупных промышлен-ных предприятий. Все эти обстоятельства, вместе взятые, по мнению Шульце-Геверница, открывают путь к мирному разрешению социального вопроса.

Подобные же воззрения он высказывает и в другом своем сочинении: «Der Großbetrieb — ein wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt».

«Далеко не верно, что богатые становятся богаче, а бедные беднее»; фактически происходит как раз обратное, что для Англии доказано статистически. К тому времени, как промышленные работодатели завоевывают в общественном и политическом отношении первое место, позади их начинают подыматься новые средние классы, которые крепнут сперва хозяйственно, потом политически» (стр. 225). Рассуждения и выводы Шульце-Геверница относятся к Англии. Он признает, что в других странах отношения складываются иначе, и что в Германии, например, «средние классы еще сильно убывают». Но он объясняет этот факт просто *отсталостью Германии* и таким путем указывает, что со временем то, что он считает себя в праве утверждать по отношению к Англии, получит полное свое значение и для Германии.

Здесь не место показывать, как односторонни и тенденциозны рассуждения и выводы Шульце-Геверница. Вы это знаете, многоува-

жаемый и дорогой товарищ, конечно, гораздо лучше меня. Г. И. Гошен, как раз один из тех исследователей, которые хотели доказать, что в настоящее время в Англии находится в периоде образо-

вания новый средний класс, замечает в своей речи, произнесенной в декабре 1887 года в Лондонском Статистическом Обществе: «Оскорбительное для статистиков утверждение о «числах, которые все могут доказать», обозначает только, что числа, которые никогда не говорят неправду, могут быть обработаны таким образом, что доказывают что-нибудь неверное. Числа сами по себе никогда не лгут, но всякий должен признать, что не существует другого, настолько точного и достоверного материала, который столь же легко мог бы подвергнуться искажению для специальных целей, как именно материал статистический». Эти слова Гошена приходят мне на память всякий раз, когда я при случае перелистываю вышеупомянутые сочинения Шульце-Геверница. Но я сейчас не буду подробнее останавливаться на этом. Я хотел здесь только указать Вам, что Бернштейн лишь повторяет то, что за несколько лет до него было сказано Шульце-Геверницем.

Но и Шульце-Геверниц не сказал абсолютно ничего нового. Еще до него несколько английских статистиков распространялись на ту же тему, как, напр., уже упомянутый Гошен, точно так же несколько французских экономистов, как, напр., Поль Леруа-Болье в его «Опыте о распределении богатства и о тенденции к наименьшему неравенству социального положения», *Париж, 1881 г.* Можно сказать без преувеличения, что цитированные мною сочинения Шульце-Геверница представляют не что иное, как новую вариацию на старую тему, специально и подробнейшим образом обработанную Полем Леруа-Болье. Таким образом Бернштейн пережевывает только буржуазных экономистов. Почему же мы должны питать благодарность именно к нему, а не к этим экономистам? Почему мы должны утверждать, что не они, а он, Бернштейн, побудил нас к размышлению? Нет, высокоуважаемый и дорогой товарищ. Если уж действительно здесь приходится говорить о долге благодарности с нашей стороны, так будем же справедливы и направим нашу благодарность по надлежащему адресу. Обратимся с нею, вообще, ко всем приверженцам и почитателям «экономических гармоний» и прежде всего, разумеется, к бессмертному Бастиа.

Бернштейн выражал неоднократно свое сожаление о том, что «сериозные попытки научно проводить научный социализм еще очень

единичны», и принимаясь в своих «Проблемах социализма» за «придирчивую критику давно доказанных социал-демократических теорий и требований», он гордо заявляет, что «всякая теоретическая работа заключается в «придирчивой» критике признанных до того времени

положений», и что «если «Neue Zeit» хочет быть теоретическим органом социал-демократии, то не может уклониться от этой «придирчивой» критики». «К тому же,— прибавлял он,— какое заблуждение не было когда-либо «давно доказанной истиной»? И что же было результатом его «теоретической работы»? Несколько мещанских соображений, вроде важности «принципа экономической самоответственности» — и затем... решительный *поворот в сторону теоретической точки зрения противников научного социализма.* Бернштейн преподносит нам «истины» новейшей буржуазной экономии и при этом воображает, что «развивает далее марксову теорию за ту точку, на которой ее оставил великий мыслитель». Какое странное самообольщение! Можно повторить про Бернштейна, что Фауст сказал про Вагнера, что

Он жадною рукой сокровищ ищет
И рад, когда червей находит дождевых.

При закрытии Штутгартского партийного съезда, тов. Грейлих, принимая под свою защиту Бернштейна, сказал, между прочим, следующее: «Я глубоко убежден, что наше дело может только выиграть от критики. Немецкая социал-демократия получила великое наследие от своих великих мыслителей Маркса и Энгельса. Но и здесь мы имеем дело не с истиной в последней инстанции, а с наукою, которая всегда должна вновь сообразоваться с фактами». Ничего не может быть вернее. Но неужели тов. Грейлих, действительно, думает что оставленное нам Марксом и Энгельсом великое наследие может что-нибудь выиграть от эклектической амальгамации с учениями буржуазных экономистов? Неужели, в самом деле, он может решиться назвать *критикою* не что иное, как совершенно *некритическое пережевывание этих учений?* А ведь у Бернштейна мы не находим ничего иного, как такое некритическое пережевывание. Только благодаря этому некритическому пережевыванию он мог нам преподнести своих *дождевых червей.*

Кстати я замечу, что Бернштейн не один провинился в таком некритическом отношении к учениям наших противников, хотя именно у Бернштейна это выявилось особенно ярко. Еще и другие из наших ученых товарищей находят мимоходом удовольствие в доказатель-стве того, что даже к самому Марксу они могут «критически» относиться. С этою целью

они берут его теорию в той искаженной форме, которая была ей придана буржуазными противниками, и затем, с помощью заимствованных у этих противников аргументов, они победоносно чинят свою «критику».

Вы, конечно, понимаете, высокоуважаемый и дорогой товарищ, что от *такого рода* «критики» может выиграть уж никак не социалистическая теория, а в лучшем случае лишь *то расположение, которым пользуются господа «критики» в кругах образованной буржуазии.*

Марксова теория не есть вечная истина в последней инстанции. Это верно. Но она является *высшею социальной истиной нашего времени,* и мы имеем столь же мало основания выменивать эту теорию на мелкую монету *«экономических гармоний»* новоявленных Бастиа и Сэев, как и приветствовать сделанные в том же направлении попытки, как *сериозную критику,* и дарить им свое одобрение.

Простите мне это отступление, высокоуважаемый и дорогой товарищ. Я возвращаюсь теперь к Бернштейну, а именно, к ставшему отныне знаменитым эпизоду с *«конечной целью».*

II.

После того как Бернштейн заявил о своем безразличном отношении к конечной цели, он увидел себя вынужденным объясняться и оправдываться. Но эти объяснения и оправдания ни к чему не повели. Когда я их читал, я все более убеждался в полезности того давно испытанного правила, которого следовало бы неуклонно держаться всякому писателю; оно заключается в том, что сперва держат корректуру своих статей, и лишь *затем сдают их в печать,* ибо корректуры, сделанные *после напечатания статьи,* редко поправляют дело. В то же время я себя спрашивал, что, собственно, могло побудить Бернштейна написать эту статью, в которой самым очевидным образом не было никакого логического смысла или, как говорят, ни ладу, ни складу. Сначала я думал, что он перелицевал по своему, à la Бернштейн, известное изречение, принадлежащее, если не ошибаюсь. Лессингу: «Если бы творец мира держал в одной руке всю истину, а в другой — стремление к ней, и предложил мне выбирать между ними, я предпочел бы стремление к истине обладанию готовой истиною». Но потом я имел случай перелистать книгу «Zum sozialen Frieden» и увидел, что происхождение пресловутой фразы совсем иное.

По Шульце-Геверницу, старая английская экономия относилась враждебно к рабочему законодательству и должна была к нему враждебно

относиться, поскольку оно вело к ограничению индивидуальной свободы взрослых людей. Между тем такого рода ограничения индивидуальной свободы были неизбежным результатом фаб-

ричного законодательства, которое, с своей стороны, должно было прогрессировать с ростом политического влияния рабочего класса. Эти условия подготовили в Англии почву для принятия и распространения теории континентального социализма, испытавшей, однако, при этом существенное изменение, так как «утверждение, что положение рабочего безнадежно», было, дескать, устранено. «Социализм теряет этим самым свою остроту, продолжает затем Шульце-Геверниц, и используется для обоснования законодательных требований. *При этом, в сущности, безразлично, принимается ли, или отвергается, как конечная цель, огосударствление всех средств производства; ибо если это требование для революционного социализма и необходимо, то не для практически-политического, который близкие цели ставит впереди более отдаленных* («Zum sozialen Frieden» том II, стр. 98).

К представителям английского «практически-политического» социализма принадлежит, по Шульце-Геверницу, и Дж. Ст. Милль, который, хотя и не социалист «в духе Энгельса и Маркса», однако допускает далеко идущее вмешательство государства в хозяйственную деятельность индивида и является «первым политико-экономистом, который защищал необходимость распространять защиту в известных случаях и на взрослых мужчин» («Zum sozialen Frieden» том II, стр. 99). Я утверждаю, что «практически-политическим» социалистом подобной же марки выступает в настоящее время и Эдуард Бернштейн. Шульце-Геверниц излагает нам историю развития «социалистических» взглядов Дж. Ст. Милля, при чем опирается на его автобиографию. Мы, с своей стороны, можем точно так же представить себе ход развития Эдуарда Бернштейна, принимая во внимание его собственные объяснения и *приводя их в связь* с вышеприведенными рассуждениями Шульце-Геверница о небольшом значении конечной цели для *«практически-политических» социалистов.*

Усвоив взгляд Шульце-Геверница и других гармонистов, будто ход развития социальной жизни в Англии опроверг воззрения Энгельса и Маркса, Бернштейн чувствует тяготение к описанному тем же Шульце-Геверницем «практически-политическому» социализму, с точки зрения которого конечная цель,— огосударствление всех средств производства,— является, действительно, чем-то почти безразличным, если даже не

совершенно утопическим. И вот, проникнутый духом такого социализма, Бернштейн поспешил объявить во всеуслышание о своем новом отношении к конечной цели, при чем вышеприведенное замечание Шульце-Геверница о конечной цели определило не только

направление его мыслей, но и способ его выражений. Таким образом дело становится совсем ясным, а знаменитая фраза, казавшаяся на первый взгляд в высшей степени абсурдной, получает очень ясный и очень определенный смысл. Правда, Бернштейн сам пугается этого смысла. Это доказывают его объяснения и оправдания. Это показывает также его письмо к Штутгартскому партийному съезду. В нем он говорит: «Прогноз, поставленный «Коммунистическим манифестом» развитию современного общества, был верен, поскольку он характеризовал общие тенденции этого развития». Но дальнейшее содержание письма стоит в очевиднейшем противоречии с этими словами, и если сам Бернштейн этого не замечает или не хочет заметить, то все же это противоречие не подлежит никакому сомнению как для друзей нашего дела, так и для его недругов. Вы это отлично подчеркнули в своей речи в Штутгарте, сказав: «Он (Бернштейн) растолковывает нам, что число имущих капиталистов растет, что, следовательно, неверны основы, на которых мы построили наши взгляды. Да, если бы это было верно, тогда момент нашей победы не только был бы очень далеко отодвинут, но мы, вообще, не пришли бы к цели».

В таком же духе высказался товарищ Либкнехт: «Будь рассуждения Бернштейна верны, тогда мы могли бы похоронить свою программу и все свое прошлое, тогда мы перестали бы быть пролетарскою партией».

С другой стороны, вскоре после появления бернштейновской статьи «Борьба социал-демократии и революции общества», профессор Юл. Вольф писал: «Важность его суждений не может быть переоценена. Это удар кулаком **в** лицо современной социалистической теории, открытое объявление ей войны («Illusionisten und Realisten in der Nationalökonomie». Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1898, Heft 4, Seite 251).

Я абсолютно не желаю оспаривать право Бернштейна на кулачную расправу с той самой партией, воззрения которой он раньше проповедовал. Всякий может менять свои воззрения. Но ему не следовало стараться нас убедить, что совершившаяся в его взглядах перемена не имеет существенного значения. Он должен был знать и понимать, что его новые взгляды неизбежно ведут к «социальному миру», который проповедуют г. Шульце-Геверниц и компания. Словом, Бернштейн имел право сражаться против социал-демократии, но он должен был сражаться

с поднятым забралом. Но так как он этого не сделал, то заслуживает за это не благодарности, а горькой укоризны.

Во время возрождения и даже раньше были ученые, которые тщились доказать, что некоторые философы древности были христианами. Само собою разумеется, они на самом деле доказали не то, что хотели, но то, чего вовсе не имели в виду доказывать, а именно, что сами они покинули точку зрения *христианства* и стали *язычниками.* Нечто подобное приключилось и с нашими «учеными», взявшими Бернштейна под защиту; они доказали не то, что Бернштейн остался верен социализму («в духе Энгельса и Маркса»), но что они сами заражены взглядами буржуазных «социал-политиков». Международная социал-демократия должна быть настороже против таких «ученых», иначе они могут ей причинить много зла.

III.

Случай Бернштейна чрезвычайно поучителен для всякого, кто захочет об этом поразмыслить, — и лишь в этом смысле скажу я вместе с Вами, высокоуважаемый и дорогой товарищ, что Бернштейн заслуживает нашей благодарности. История его превращения из социал-демократа в «социал-политика» всегда должна будет приковывать к себе внимание всех вдумчивых людей нашей партии. Товарищ Либкнехт объяснял этот переход влиянием английских условий. Такой ум, как Маркс,— говорил он,— должен был находиться в Англии, чтобы написать свой «Капитал», Бернштейну же импонирует колоссальное развитие английской буржуазии». Но неужели действительно необходимо быть Марксом, чтобы, живя в Англии, не подпасть влиянию английской буржуазии. В немецкой социал-демократии можно, думается мне, найти не мало товарищей, которые, хотя и жили в Англии, остались все же верны социализму («в духе Маркса и Энгельса»). Нет, причина заключается не в том, что Бернштейн живет в Англии, а в том обстоятельстве, что он плохо освоился с тем самым научным социализмом, который взялся «научно проводить». Я знаю, многим это покажется невероятным, и тем не менее это так.

В моей статье «Бернштейн и материализм» в «Neue Zeit» я показал, как поразительно малы философские познания этого человека и как, вообще, превратны его представления о материализме. В статье, которую я теперь пишу для «Neue Zeit», я покажу, как плохо он себе усвоил материалистическое понимание истории. И теперь я вас попрошу

обратить внимание, как поразительно мало он сам понял в теории катастроф, на которую «критически» ополчился.

Он следующим образом излагает нам «преобладающее в настоящее время в социал-демократии понимание хода развития современного общества».

«Согласно этому пониманию рано или поздно хозяйственный кризис огромной силы и размера, путем порождаемой им нищеты, так страстно воспламенит сердца против капиталистической хозяйственной системы, так неотразимо убедит народные массы в невозможности при господстве этой системы руководить данными производительными силами на общее благо, что направленное против этой системы движение приобретет непреодолимую силу, и под его напором таковая фатально рухнет. Другими словами, непреодолимый великий хозяйственный кризис расширится в всеобъемлющий общественный кризис, результатом которого будет политическое господство пролетариата, как единственного сознательно революционного класса, и совершающееся при господстве этого класса полное преобразование общества в социалистическом смысле».

Скажите, высокочтимый и дорогой товарищ, в таком ли виде Вы себе мыслите социальную «катастрофу», которая рано или поздно должна наступить, как неизбежный результат классовой борьбы? Разве и Вы того мнения, что такая «катастрофа» может быть только результатом огромного и притом всеобщего хозяйственного кризиса? Думаю, едва ли. Я думаю, что для Вас грядущая победа пролетариата не связана непременно с *острым* и всеобщим хозяйственным кризисом. Вы никогда так схематически не представляли себе дела. И, насколько я могу вспомнить, никто другой не понимал дела в таком виде. Правда, революционному движению 1848 г. предшествовал кризис 1847 г. Но из этого отнюдь не следует, что без кризиса «катастрофа» немыслима.

И это верно, что во время сильного промышленного подъема трудно рассчитывать на крайнее обострение классовой борьбы. Но кто нам поручится за непрерывный промышленный подъем в будущем? Бернштейн полагает, что ввиду современных международных средств сообщения острые и всеобщие кризисы стали невозможными. Допустим, что это так, и что застой в делах, как уже в 1865 г. сказал французский экономист Batbie, будет только частичный — «l'engagement des produits ne sera que partiel». Но ведь никто не отрицает возможности повторения той ужасной «trade dépression» — промышленной депрессии, которую мы только что проделали. Разве такие депрессии не доказывают самым наглядным и поразительным образом, что производственные силы

современного общества переросли его производительные отношения? И разве рабочему классу, действительно, так трудно уразуметь смысл этого явления? Что периоды промышленной депрессии, порождая безработицу, нужду и лишения,

способствуют чрезвычайному обострению классовой борьбы, это очень наглядно показывает нам Америка.

Бернштейн проходит мимо всех этих соображений. Все наши ожидания от будущего он ставит в зависимость от острого и всеобщего хозяйственного кризиса, и, сказав, что такие кризисы в будущем вряд ли могут произойти, он воображает, что уже уничтожил всю «теорию катастрофы». Он нам октроирует свои шаблоны и затем доказывает, что эти *шаблоны* совершенно *шаблонны.* А затем он приходит в дикий восторг от этих дешевых триумфов. Это видно из того тона, каким он поучает «догматиков».

Вы, конечно, помните, высокочтимый и дорогой товарищ, как очень многие товарищи на Штутгартском партийном съезде порицали тон, в котором Парвус полемизировал против Бернштейна. Я тоже полагаю, что если бы Парвус полемизировал в ином тоне, Бернштейн не имел бы предлога замкнуться в молчании. Тогда весь мир мог бы ясно увидеть поразительную бедность мысли Бернштейна. Поэтому и я сожалею, что Парвус не сдерживал себя. Но в то же время я вполне понимаю его негодование. По моему крайнему разумению, его вполне оправдывали и обстоятельства. Кроме того, никто из тех, кто порицали Парвуса, не обратил внимания на неприятный тон самого Бернштейна. Это был тон самоуверенного, самодовольного педантизма. Когда я читал поучения Бернштейна по адресу «догматиков германской и частью английской социал-демократии», я себе сказал: если бы Санчо-Панса был назначен не губернатором, а профессором социальных наук, и если бы его природный здравый смысл подвергся внезапно помрачению, он бы ударился не в какой-либо иной, а именно в бернштейновский тон. Я знаю: de gustibus non est disputandum — вкусы бывают различные,— но я думаю, что многим такой тон гораздо антипатичнее, чем горячий, страстный тон.

Вы сами признаете, высокочтимый и дорогой товарищ, что были поражены бессодержательностью той серии статей, которой Бернштейн дал многообещающий заголовок «Проблемы социализма». И, все-таки, вы говорите, что эти бессодержательные статьи побудили нас к размышлению. Вы заранее расположены в пользу Бернштейна, и поэтому вы очень неправы.

Вы говорили в Штутгарте: «Бернштейну ставили в укор, что его статьи ослабляют нашу уверенность в победе, сковывают руки борющемуся пролетариату. Я не разделяю этого взгляда... Если статьи Бернштейна, действительно, заставили того или другого поколебаться в своих убеждениях, то это было бы лишь доказатель

ством, что о таких людях не приходится очень сожалеть, что их убеждения вкоренились не очень глубоко, и что они воспользовались первым случаем, чтобы повернуть нам спину, и в таком случае мы можем радоваться, что это произошло уже теперь, а не во время катастрофы, когда у нас каждый человек будет на чеку».

Кого же статьи Бернштейна могли обескуражить? Очевидно, лишь того, кто, хотя бы временно, стал на новую точку зрения Бернштейна. Переход на эту точку зрения должен был необходимо привести всякого логически мыслящего человека к полному разрыву со старой социал-демократической программой. Но такого рода перемена фронта не может быть никем проделана безнаказанно, она должна неизбежно, хотя бы только и на время, ослабить его энергию; к тому же энергия тех, кто занял точку зрения Бернштейна, имеет очень мало общего с тою, которая свойственна уверенной в своей победе социал-демократической партии. Они должны необходимо понимать борьбу иначе, чем мы, а следовательно, и их уверенность в победе должна существенно отличаться от нашей. Поэтому приходится сказать, что необходимая нашей партии энергия была ослаблена в прямом отношении к числу тех, кто хотя бы временно примкнул к Бернштейну. Подобно вам, я тоже думаю, что международная социал-демократия не имеет основания придавать особенное значение преданности таких людей, что она, скорее, имеет все основания желать, чтобы они покинули ее ряды раньше, чем для нее пробил час серьезных испытаний. По моему мнению, ваше строгое суждение о таких людях вполне обосновано. Но мне сдается, что вы непоследовательны,— что если бы вы решились быть последовательным, то должны были бы еще строже судить о человеке, влиянию которого подпали эти люди,— т. е. о самом Эдуарде Бернштейне.

Я отнюдь не хочу вмешиваться во внутренние дела германской социал-демократии и решать, следовало ли Вам принимать статьи Бернштейна в «Neue Zeit» или нет. Мне ничего подобного и в голову не приходит. Но Вы ведь сами знаете, высокочтимый и дорогой товарищ, что в Штутгарте дебатам подлежали вопросы, имеющие огромное значение для социал-демократии всего мира. И только поэтому я решился обратиться к Вам с настоящим письмом. Вы говорите, что полемика с Бернштейном, собственно, только теперь начинается. Я с этим не совсем

согласен, ибо поставленные Бернштейном вопросы были в значительной мере приближены к своему решению статьями Парвуса. Это составляет большую заслугу Пар-

вуса перед пролетариатом всех стран. Но не об этом идет речь. Самое главное в том, что, вновь начиная полемику с Бернштейном, мы должны помнить упомянутые мною слова Либкнехта: будь Бернштейн прав, мы могли бы похоронить нашу программу и все наше прошлое. Мы должны настаивать на этом и *откровенно объяснить* нашим читателям, что сейчас речь идет вот о чем: кому кем быть похороненным: *социал-демократии Бернштейном,* или *Бернштейну социал-демократией?* Я лично не сомневаюсь и никогда не сомневался в исходе этого спора. Но разрешите мне, высокочтимый и дорогой товарищ, в заключении своего письма еще раз обратиться к Вам с опросом: действительно ли мы обязаны благодарностью человеку, который наносит жестокий удар социалистической теории и стремится (сознательно или бессознательно, это безразлично) похоронить эту теорию на радость солидарной «реакционной массы»? Нет, нет и тысячу раз нет. Не благодарности нашей заслуживает такой человек!

Ваш искренне преданный
Г. Плеханов.

Cant против Канта или Духовное завещание г. Бернштейна.

(Э. Бернштейн Исторический материализм. Перевод Л. Канцель. Второе издание. С.-Петербург, 1901 г.).

Умер, Касьяновна, умер болезная...
Некрасов.

Die Todten reiten schnell.
G. A. *Bürger.*

Г. Бернштейн умер для школы Маркса, к которой он когда-то принадлежал. Теперь уже невозможно раздражаться против него: против мертвых не раздражаются. Теперь бесполезно и сожалеть о нем: сожалениями не поможешь делу. Но мы все-таки должны отдать последний долг нашему покойнику, мы должны посвятить несколько страниц его книге, наделавшей много шума в социалистических кругах всего цивилизованного мира, переведенной на русский язык и вышедшей теперь вторым изданием в Петербурге.

Известно, что в этой книге г. Бернштейн подвергает «критическому пересмотру» теорию Маркса—Энгельса. Мы со своей стороны сделаем здесь несколько критических указаний насчет результатов этого «пересмотра».

I.

Г. Бернштейн замечает, что «важнейший элемент основания марксизма (т. е. важнейший элемент в основе марксизма: г. Л. Канцель очень плохо перевела книгу т. Бернштейна — *Г. П.*), так сказать основной закон его, проходящий через всю систему, есть его специфическая историческая теория, носящая название исторического материализма».

Это неверно. Материалистическое объяснение истории, действительно, является одним из самых главных отличительных признаков марксизма. Но это объяснение все-таки составляет лишь *часть материалистического миросозерцания Маркса—Энгельса.* Критическое исследование их системы должно поэтому начинаться с критики общих

философских основ этого миросозерцания. А так как метод несомненно составляет душу всякой философской системы, то критика *диалектического метода* Маркса и Энгельса, естественно, должна предшествовать «пересмотру» их исторической теории.

Верный своему неверному взгляду на «основной закон» марксизма, г. Бернштейн начинает с критики материалистического понимания истории и лишь во второй главе своей книги переходит к оценке диалектического метода. Мы, в свою очередь, останемся верны своему взгляду на решающее значение метода в каждой серьезной системе и начнем с *диалектики.*

Что говорит о ней г. Бернштейн?

Он не отказывается признать за нею некоторые достоинства. Более того. Он признает, что она имела полезное влияние на историческую науку. По его словам, Ф. А. Ланге был совершенно прав, сказав в своем *«Рабочем вопросе»,* что гегелевскую историческую философию с ее основным положением,— развитием путем противоположностей и их примирением,— можно назвать почти антропологическим открытием (стр. 39). Но он думает,— вместе с тем же Ланге,— что «как в жизни индивидуума, так и в истории, развитие путем противоположностей совершается не так легко и радикально, не так точно и симметрично, как в спекулятивных построениях» (та же страница). Маркс и Энгельс не догадывались об этом, и потому диалектика имела вредное влияние на их социально-политические взгляды. Правда, основатели научного социализма не любили умозрительных построений. Убежденные материалисты, они стремились «поставить на ноги диалектику», стоявшую у Гегеля «на голове», т. е. *вверх ногами.* Но г. Бернштейн думает, что не так-то легко решить такую задачу. «Как всегда бывает в действительности, лишь только мы покидаем почву эмпирически установленных фактов и начинаем мыслить помимо них, мы попадаем в мир производных понятий; если мы в таком случае станем следовать законам диалектики, как их установил Гегель, то мы очутимся, прежде, чем это заметим, снова в тисках «саморазвития понятий». В этом крупная научная опасность для гегелевской логики противоречий (т. е. в этом — *опасность логики противоречий,* повторяем, г. Канцель плохо перевела г.

Бернштейна) (стр. 37). Не заметив этой опасности, Маркс и Энгельс не уберeглись от нее и потому не один раз были введены в заблуждение своим собственным методом. Вот, например, в «Манифесте Коммунистической Партии» они высказали ту мысль, что в Германии буржуазная резолюция может послужить непосредственным

прологом рабочей революции. Это предположение *(«может* послужить») оказалось ошибочным: буржуазная революция 1848 г. не послужила непосредственным прологом рабочей революции. Почему же ошиблись Маркс и Энгельс? *Потому что придерживались диалектики.* По крайней мере так говорит г. Бернштейн. Еще пример: если в 1885 г., по случаю нового издания брошюры Маркса «Enthüllungen über den Kommunistenprozess», и в 1887 г., в предисловии к своей брошюре «Zur Wohnungsfrage», Энгельс высказал мысли, которые, по мнению Бернштейна, трудно согласить с его резко отрицательным отношением к известному бунту «молодых» в немецкой социал-демократии, происшедшему несколько лет спустя, то и в *этом виновата диалектика.* Вы не верите, читатель? Смотрите сами: «Эта двусмысленность, столь мало свойственная характеру Энгельса, в конце концов коренилась в заимствованной у Гегеля диалектике» (стр. 44). В этой фразе нет, к сожалению, и следа «двусмысленности». И если, убедившись в этом, вы спросите г. Бернштейна: почему же, однако, диалектика располагает к двусмысленности, то получите от него такое объяснение: «Ее да — нет и нет — да» вместо «да — да и нет — нет», ее взаимные переходы противоположностей и превращения количества в качество, **и** другие диалектические красоты всегда стояли препятствием ясному представлению о значении признанных изменений» (та же стр.).

Если «диалектические красоты» *всегда* препятствовали ясному представлению об изменениях, совершавшихся в действительности, то, очевидно, что диалектический метод ошибочен по самому своему существу, и что от него должны решительно отказаться все те, которые, дорожа истиной, стремятся к правильному пониманию природы и общественной жизни. При этом остается нерешенным только один вопрос о том, каким образом далеко не прекрасные диалектические «красоты» могли привести Гегеля в его философии истории к тому, что г. Бернштейн, вслед за Ланге, признает «почти антропологическим открытием». Словечко *«почти»,* на которое напирает г. Бернштейн, ничего не объясняет в этом случае и может служить разве лишь новым подтверждением той старой истины, что *слова* являются кстати там, где отсутствуют *понятия.* Впрочем эту *«двусмысленность»* можно было бы,

пожалуй, подарить г. Бернштейну, если бы он постарался хоть как-нибудь *доказать* справедливость своего мнения о вреде «диалектических красот». Но о доказательствах у него нет и помину. Да и неоткуда ему взять их: *ведь он и сам не решится утверждать, что он когда-нибудь изучал Гегеля. А если бы он и вздумал утверждать это, то очень легко было бы показать.*

что он... заблуждается. Вот почему г. Бернштейн даже и не пытается доказывать свое мнение. Он просто *высказывает* его, очень основательно рассчитывая на то, что всегда найдутся наивные читатели, которые не только поверят ему на слово, но еще подивятся его глубокомыслию.

II.

Habent sua fata 1ibelli, говорили римляне. Писатели тоже имеют свою судьбу, подчас чрезвычайно странную. Возьмите хоть Гегеля. Как *мало* теперь людей, давших себе труд изучения его философии, и как *много* в то же время «критиков», позволяющих себе судить о ней вкривь и вкось! И те же легкомысленные люди возмутились бы до глубины души, если бы кто-нибудь вздумал осудить книгу г. Бернштейна, не прочитавши ее. Откуда тут берутся две мерки? Почему в отношении к великому Гегелю позволительно такое легкомыслие, какое всякий назовет непозволительным в отношении к маленькому г. Бернштейну? That is the question.

Если бы г. Бернштейн *знал* предмет, о котором он так наивно и так неуклюже судит, то он, конечно, сам устыдился бы своего отзыва о диалектике. Он думает, что диалектическое «да — нет и нет — да», препятствуя трезвому отношению к действительности, "Отдает нас во власть «саморазвития понятий». Но этим грехом грешит именно то метафизическое мышление, приемы которого характеризуются у г. Бернштейна формулой: «да — да и нет — нет».

Гегель говорит: «Юности свойственно бросаться в абстракции, между тем как человек, имеющий опыт, не увлекается отвлеченным «или — или», а держится конкретной почвы». Этими простыми словами можно очень удовлетворительно характеризовать разницу между диалектикой, с одной стороны, и мышлением по любезной г. Бернштейну формуле: «да — да и нет — нет» — с другой.

Ведь эта последняя формула и есть то *«отвлеченное или — или»,* пристрастие к которому свойственно, по замечанию Гегеля, молодости. А что *«отвлеченное или — или»* долго препятствовало правильной постановке вопросов в общественной жизни и даже в естествознании, это известно теперь всем и каждому. У нас, в России, покойный Н. Г. Чернышевский очень популярно и очень хорошо выяснил отличительный

характер *диалектического отношения* к изучаемому предмету. С точки зрения диалектики, «определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит… Например, благо или зло

дождь? Это — вопрос отвлеченный, определительно ответить на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба? Гут только можно отвечать определительно: да, он был полезен. С такой же точки зрения смотрела, — по совершенно верному объяснению Чернышевского, — диалектическая философия Гегеля и на общественные явления. Пагубна или плодотворна война? «Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идет дело... Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества». Но смотреть на явления с такой точки зрения, значит именно поставить их исследование на *конкретную почву.* Вот почему диалектическая философия признала, по словам Чернышевского, что «прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая причин, по которым возникло данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения неудовлетворительны. Отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна».

На первый взгляд кажется, что это ясно само собою; но это ясно только тому, *кто,— сознательно или бессознательно,— стал на диалектическую точку зрения* и не считает *«отвлеченного или — или»* (иначе — формулы: «да, да и нет, нет») важнейшим приемом мышления. Спросите, например, графа Л. Н. Толстого, правильно ли приведенное нами рассуждение Чернышевского о войне? Он ответит вам, что оно совсем неправильно, так как война есть *зло,* а зло никогда не может быть *добром.* Граф Толстой обо всех вопросах судит с точки зрения *«отвлеченного или — или»,* что и лишает его выводы сколько-нибудь серьезного значения. Как *мыслитель,* он совершенно чужд диалектики, и этим объясняется, между прочим, его инстинктивное отвращение от марксизма. К сожалению, и сам Чернышевский часто забывал, что «истина всегда конкретна». В своей политической экономии он сам нередко склоняется к *«отвлеченному или — или».* Но этот неоспоримый факт неинтересен для нас в настоящее время. Здесь нам важно напомнить читателям, как хорошо понял и как просто и наглядно объяснял Чернышевский (в своих *«Очерках гоголевского периода русской литера-*

туры») несовместимость диалектического взгляда с отвлеченными суждениями.

Анархисты спрашивают социал-демократов: признаете ли вы свободу личности? — Признаем, отвечают марксисты, но признаем условно, потому что *безусловная свобода* одного лица означает *безу-*

словное рабство всех его окружающих, т. е. *превращает свободу в ее собственную противоположность.* Такой ответ не нравится анархистам, которые, кажется, искренно считают марксистов *врагами свободы* и, с своей стороны, провозглашают *неограниченную, т. е. безусловную свободу* личности. Превращение свободы в ее собственную противоположность является в их глазах простым софизмом или, — как выразится, пожалуй, кто-нибудь из них теперь, ознакомившись с терминологией г. Бернштейна,— *одной из красот гегелевской диалектики.* Анархическое учение о свободе насквозь пропитано духом *«отвлеченного или — или» (или свобода* или деспотизм), оно целиком построено по любезной г. Бернштейну формуле: *«да, да и нет, нет»,* между тем как социал-демократы смотрят на вопрос о свободе с *конкретной точки зрения.* Они помнят, что *отвлеченной истины нет, что истина конкретна.* В этом отношении они проникнуты *духом диалектики.*

Конечно, сам г. Бернштейн охотно осудит анархическое учение о свободе и согласится с тем, что отвлеченной истины быть не может. И поскольку он выскажется в этом смысле, постольку он сам перейдет на точку зрения *диалектики.* Но он сделает это *бессознательно,* вследствие чего и не избавится от одолевающей его путаницы понятий. Мольеровский г. Журдэн мог говорить сносной прозой, даже и не подозревая существования прозаической речи. Но когда о диалектике пускаются рассуждать люди, способные лишь к бессознательному употреблению диалектического метода, то они не скажут о ней ничего, кроме вздора.

Искание конкретной истины составляет отличительный признак диалектического мышления. Чернышевский выразил ту же мысль, сказав, что со времени Гегеля «объяснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления» и что «отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которой прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям».

Если это так,— а это в самом деле так,— то не трудно понять роль диалектики в *развитии социализма от утопии* до *науки.*

Французские просветители XVIII века смотрели на общественную жизнь с точки зрения отвлеченной противоположности между добром и злом, между разумом и глупостью. Они постоянно «бросались в абстракции». Достаточно напомнить их отношение к *феодализму,* в котором они видели величайшую нелепость и ни за что не соглашались признать, что было время, когда он мог быть по-своему

разумной системой общественных отношений. У социалистов-утопистов замечается подчас сильное недовольство отвлеченным мышлением восемнадцатого века. Некоторые из них, в своих суждениях *об истории,* иногда покидают отвлеченную формулу *«да, да и нет, нет»,* чтобы стать на диалектическую точку зрения. Но это бывало с ними *только иногда.* Огромное большинство их и в огромнейшем большинстве случаев продолжало, в своих рассуждениях *об общественной жизни,* довольствоваться «отвлеченным или — или». Духом этого «или — или» пропитаны все их системы, и именно это «или — или» придает их системам *утопический характер.* Чтобы из утопии сделаться наукой, социализм необходимо должен был перерасти этот прием мышления и доразвиться до диалектического метода. Маркс и Энгельс сделали эту необходимую реформу в социализме. Но они могли сделать ее *только потому,* что они предварительно прошли школу гегелевской философии. Они и сами охотно признавали, что они очень многим обязаны диалектическому методу. Но г. Бернштейну угодно, чтобы это было иначе. Он объявляет нам, что превращение социализма из утопии в науку совершилось *вопреки* диалектике, а не *благодаря ей.* Это, конечно, очень решительно, но столь же мало доказательно, как и та замечательная мысль, высказанная некогда г. Л. Тихомировым в его брошюре «Почему я перестал быть революционером»,— что русская литература развилась *благодаря* самодержавию, а не *вопреки* ему.

Г. Бернштейн твердо уверен в том, что Гегель и его ученики пренебрежительно относились к точно определенным понятиям, считая их *метафизикой.* Читатель уже знает со слов Чернышевского, какого внимательного отношения к действительности требовала диалектическая философия Гегеля. Но внимательное отношение к действительности невозможно без точно определенных понятий. Поэтому приходится предположить, что г. Бернштейн и в этом случае не понял великого мыслителя. Так оно и есть. И, чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать (и, разумеется, понять) восьмидесятый параграф большой «Энциклопедии» Гегеля, который гласит так:

Параграф.

«Мышление, как деятельность рассудка, держится твердых определений, исключающих друг друга. Эти ограниченные отвлеченности кажутся ему прочно существующими».

Прибавление к параграфу.

«Рассудочному мышлению следует прежде всего воздать должное и точно так же надо признать его заслугу, состоящую в том, что без рассудочного мышления нельзя придти ни к чему прочному и определенному ни в области теории, ни на практике. Познание начинается с того, что предметы берутся в их определенных различиях. Так, например, при изучении природы различаются отдельные вещества, силы, роды и т. д. и фиксируются в этой своей изолированности. Дальнейший успех науки состоит в переходе с точки зрения *рассудка* на точку зрения *разума,* исследующего каждое из этих явлений, которое рассудок фиксирует, как отделенное целою пропастью ото всех остальных, в процессе его перехода в другое явление, в процессе его возникновения и его уничтожения».

Кто за *словами* способен видеть связанные с ними *понятия,* тот, не смущаясь странной теперь терминологией Гегеля, согласится, что указанный им путь исследования есть именно тот путь, следуя которому наука нашего времени,— например, естествознание,— сделала самые блестящие свои теоретические приобретения.

Гегель не только не игнорирует прав рассудка (а следовательно, и *точно определенных понятий),* но энергично отстаивает его права даже в таких областях, которые, казалось бы, очень далеки от «рассудочности»: в философии, в религии и в искусстве. Он делает тонкое замечание о том, что всякое удачное драматическое произведение предполагает ряд точно определенных характеров. А что касается философии, то она, по его словам, *требует прежде всего* точности (Präzision) мысли [1])!

Но какое дело г. Бернштейну до истинного характера гегелевской философии? Какое ему дело до «Энциклопедии» вообще и до того или другого ее параграфа — в частности? Он хорошо знает, что у него всегда найдутся такие читатели, которые станут рукоплескать ему даже в том случае, если заметят его ошибки. *Он «критикует» Маркса! Он старается разрушить марксистскую «догму».* Этого совершенно достаточно теперь для того, чтобы приобрести громкую славу. Не мешает, конечно, и изучить то, что берешься критиковать. Но можно обойтись и без этого...

Г. Бернштейн уповает на свой здравый смысл, но здравый смысл остается надежным спутником лишь до тех пор, пока не вы-

[1)] G. W. F. Hegels Werke, Bd. IV. S. 150-151.

ходит из пределов своей компетенции. До чего договорился г. Бернштейн, показывает следующее его соображение, содержащееся, впрочем, не в разбираемой нами теперь книге, а в одной из его статей, напечатанных в «Neue Zeit» уже после выхода книги.

В своем известном сочинении о Л. Фейербахе Энгельс говорит, что в глазах диалектики мир представляет собою совокупность *процессов,* в которой вещи и их умственные образы, т. е. понятия, не остаются неподвижными, а находятся в постоянном изменении. В принципе («prinzipiell») г. Бернштейн «конечно», находит это положение правильным. Но он не знает, в каких пределах оно сохраняет свою правильность, и как понимать слова: *постоянное изменение.* По его замечанию, *изменения, которым подвергается организм всякого данного человека, все-таки не могут сделать из него существа совершенно другого рода.* Такому глубокомыслию мог бы позавидовать сам Санчо Панса. Но неужели г. Бернштейн думает, что Гегель и гегельянцы могли хоть на минуту упустить из вида эту глубокую, старую и почтенную истину? Как будто предвидя появление «критиков» à la г. Бернштейн, Гегель обращал внимание своих слушателей на то, что развитие всякого данного явления может сделать *действительным* лишь то, что заключено в нем, как возможность (an sich). Для примера он указывал на *растение,* говоря, что хотя растение и изменяется, но изменяется сообразно природе своего зародыша, а «не теряется в простом и ни с чем несообразном изменении» [1]). Судите после этого, была ли нужда в глубокомысленном замечании г. Бернштейна!

III.

Г. Бернштейн утверждает, что Маркс преувеличивал быстроту хода исторического движения. Это справедливо в применении ко взгляду Маркса на развитие *капиталистического* общества. *Но почему* же Маркс склонен был к такому преувеличению? Г. Бернштейн и тут винит *диалектику. И эта* сторона влияния диалектики кажется ему самой вредной и самой опасной. Именно она-то и отпугивает и Бернштейна от «диалектических красот». Но, к сожалению, и она существует только в его воображении.

По Гегелю, *логический* процесс отрицания совершается *вне времени. Реальные* же процессы отрицания одного явления природы другим или одной общественной системы другой определяются, *в бы-*

[1]) «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie» Erster Theil, Hegels Werke, Bd. III, S. 34-45.

строте своего хода, своей собственной природой, и теми *конкретными условиями,* среди которых они совершаются. В своей полемике с Дюрингом и в книге «Л. Фейербах» Энгельс указывает на развитие вселенной, как на диалектический процесс. *Преувеличил ли* он быстроту этого процесса, требовавшего, по его собственным словам, чрезвычайно продолжительных периодов времени? Мы не думаем. Но если бы даже и случился с ним такой грех, то винить в нем можно было бы совсем не диалектику, а какие-нибудь другие обстоятельства: или недостаток естественнонаучных сведений, или невнимательное отношение к предмету, или еще что-нибудь подобное. Влияние диалектики на его суждение о быстроте этих процессов было бы в этом случае так же ничтожно, как и влияние на него, например, цвета лица китайской императрицы.

Возьмем другой пример, на этот раз из *исторической* области. В своей «Misère de la Philosophie» Маркс, противополагая свой диалектический метод отвлеченному мышлению Прудона, говорит: «В Германии понадобилось три столетия для того, чтобы установилось первое разделение труда,— отделение города от деревни». Преувеличена ли здесь быстрота хода исторического развития? Кажется, что и тут нет никакого преувеличения, а если и есть оно, то диалектика здесь совершенно, ровнехонько ни при чем.

Третий пример, касающийся *современной нам* общественной жизни. Лассаль был, как известно, решительным сторонником диалектического метода. Но этот решительный сторонник диалектического метода думал, что для постепенного устранения «поземельной капиталистической собственности» (des Grund- und Kapitaleigenthums) понадобится от 100 до 200 лет. Судя по теперешнему настроению Бернштейна, можно ожидать, что и этот срок покажется ему слишком коротким. Вероятно, г. Бернштейн думает теперь, подобно Родбертусу, что для названного устранения понадобится не менее 500 лет. Это его дело. Но Маркс, наверное, сказал бы, что Лассаль требует больше времени, чем нужно для коренного переустройства общества. Из этого следует, что гегельянцы, совершенно сходившиеся между собой в признании важности диалектического метода, могли очень различно оценивать быстроту

современного им общественного развития. А отсюда выходит, что если какой-нибудь сторонник диалектики в самом деле преувеличивает эту быстроту, то объяснять это надо чем-нибудь другим, а вовсе не влиянием диалектики.

Г. Бернштейн говорит: «Мы знаем, что мы думаем, и мы также достаточно знаем, каким образом мы думаем. Но мы никогда не

узнаем, как это происходит, что мы думаем; каким образом из внешних впечатлений, из возбуждения нервов или из изменения положения и взаимодействия клеточек нашего мозга возникает сознание».

Справедливо то, что мы никогда не узнаем, как возникает наше сознание. Но вопрос совсем не в этом, а в том, может ли это наше незнание служить возражением против *материализма.* «Критические» мыслители, вроде Ф. А. Ланге, и даже физиологи, вроде Дюбуа-Реймона, думали, что — да. Пишущий эти строки думает, что — *нет.* Мы доказали это выписками из сочинений Ламеттри в статье, направленной против г. Бернштейна. Г. Бернштейн очень сердит на нас за эту статью, но,— как в этом сейчас убедится читатель,— он ровно ничего не понял из наших возражений.

«Пытались объяснить это,— продолжает г. Бернштейн,— приписывая этому известную долю сознательной способности, долю одушевленности в смысле учения о монадах».

Действительно,— *пытались.* В числе пытавшихся был, как мы указали в своей статье, и *материалист Ламеттри,* хотя сравнивать его учение с учением Лейбница о монадах все-таки очень рисковано. Г. Бернштейн ничего не говорит собственно о Ламеттри, но он вообще думает, что «это» (вышеуказанная им попытка объяснения) — мысленный образ, предположение, к которому вынуждает нас наш способ мышления и наша потребность цельного мировоззрения».

Вы понимаете, читатель? Если — да, то мы поздравляем вас от всей души, потому что вы счастливее как пишущего эти строки, так и самого г. Бернштейна, который, очевидно, не понимает того, что говорит. *Это не более, как предположение!* Ну, разумеется! Г. Бернштейн догадался об этом только тогда, когда вздумал отрекаться от материализма, между тем как никто из людей, понимавших дело, не выдавал «этого» за что-нибудь другое.

Но что же *следует* из того, что «это» — простое предположение? То ли, что материализм несостоятелен? В этом весь вопрос. А на этот вопрос ни в прежних «критических» упражнениях г. Бернштейна, ни в разбираемой нами книге нет даже ни одного *«атома»* ответа.

Дальше. «Статья, в которой я указывал на это обстоятельство и замечал, что чистый материализм в конце концов сводится к идеализму,

дала г. Плеханову желанный повод напасть на меня в «Neue Zeit» (вып. 44, год 16, II), упрекая меня в невежестве вообще и в особенности в полном отсутствии понимания философских воззрений Энгельса. Я уже не говорю о том, как г. Плеханов произвольно

отнес мои слова к предметам, которых я вовсе не касался,— я констатирую лишь то, что его статья оканчивается заявлением, будто Энгельс однажды ответил на вопрос г. Плеханова: «Так вы думаете, то старик Спиноза был прав, говоря, что мысль и протяжение не то иное, как два атрибута одной и той же субстанции? — словами: «Конечно, старик Спиноза был вполне прав».

Пишущий эти строки действительно очень удивился, увидев, как плохо понял философию Энгельса (а следовательно и Маркса) г. Бернштейн, проживавший несколько лет в самых тесных с ним отношениях. В ответ на призыв г. Бернштейна: *«Назад к Канту»* мы пригласили его вернуться *назад к изучению философии* (Zurück ins Studierzimmer). Мы не искали повода напасть на г. Бернштейна. Если наше удивление выражено было с некоторой резкостью, то эта резкость объясняется нашими предыдущими отношениями к г. Бернштейну. Хотя он всегда казался нам *ограниченным* человеком (это могут засвидетельствовать многие из наших ближайших единомышленников), но мы все-таки считали его принадлежащим к школе Маркса и были очень поражены теми поистине ребяческими *пустяками,* которые он написал тогда о материализме. В то время наш резкий отзыв о нем мог показаться несправедливым некоторым читателям. Теперь вряд ли найдется хоть кто-нибудь из людей, не совершенно лишенных знаний, кто решился бы упрекнуть нас в преувеличении. *Теперь философское невежество г. Бернштейна выступило во всем своем блеске,* и теперь мы даже не станем приглашать его вернуться к учебникам: *мы видим, что учебники не для него написаны.*

Чистый материализм, в конце концов, сводится к идеализму! Но в таком случае философия Фихте и Гегеля «в конце концов» сводится к философии Ламеттри или Гольбаха?! Это может утверждать только тот, кто не понимает ни материализма, ни идеализма, ни Гольбаха, ни Ламеттри, ни Гегеля, ни Фихте. Идеализм, несомненно, имеет один общий признак с материализмом: стремление к *монистическому* объяснению явлений. Но *способ,* которым осуществляется это стремление в *материализме, диаметрально противоположен* способу осуществления его в *идеализме,* и потому «в конце концов» материализм *радикально расходится* с идеализмом.

Призывая *«назад к Канту»,* г. Бернштейн должен был показать, что путь, по которому идет материализм, неправилен в том или в другом отношении. Вместо этого он ограничился «сведением» (и каким неловким, наивным сведением!) материализма к идеализму. Удивительная сила и глубина критики!

Теперь о Спинозе. Г. Л. Канцель плохо перевела относящееся сюда место в книге г. Бернштейна. Г. Бернштейн говорит, что наша статья, написанная по поводу его «возвращения к Канту» (которого он никогда не знал и не знает, что признает даже его единомышленник г. Струве), *сводится* к цитированному им нашему разговору с Энгельсом. Это неправда.

Один из немецких товарищей, гораздо более компетентный в философии, чем г. Бернштейн, высказал в «Neue Zeit» ту мысль, что естественнонаучный материализм не выдерживает критики и что напрасно связывают с ним теорию Маркса—Энгельса, которую очень легко связать с гораздо более состоятельным философским учением *Спинозы.* Так как г. Бернштейн сослался, между прочим, на статью этого товарища, то мы сочли нужным ответить и *на нее.* Мы показали, что Маркс и Энгельс никогда не придерживались того материализма, который у товарища-спинозиста назван естественнонаучным, т. е. материализма Фихте и Молешотта. Далее, на основании сочинений Ламеттри и Дидро, мы показали, что французский материализм XVIII века был в сущности *не более, как видоизмененным спинозизмом.* То же самое показали мы и относительно *Фейербаха.* Только *после этого,* перейдя к Марксу и Энгельсу, основателям научного социализма, мы,— отметив близкое родство их философских взглядов со взглядами Фейербаха,— высказали свое убеждение в том, что и их материализм был разновидностью спинозизма. И, наконец,— *как на одно из оснований* для этого убеждения,— мы сослались на одну из своих бесед с Энгельсом. У г. Бернштейна выходит, что к передаче этой беседы сводится *вся* наша статья. Чему приписать эти его слова: недостатку правдивости или слабости понимания?

«Субстанция, которой Спиноза приписывает эти два атрибута — продолжает г. Бернштейн,— есть бог. Во всяком случае, Спиноза отождествляет бога с природой, почему еще очень давно Спиноза считался за отрицателя бога, а его философию упрекали в атеизме, между тем как формально она является пантеизмом... Спиноза дошел до понятия бесконечной субстанции «бог» с упомянутыми и другими атрибутами чисто спекулятивным путем; для него законосообразное мышление и

бытие идентичны. В этом отношении он похож на некоторых материалистов; но было бы произвольным пониманием слова назвать его представителем философского материализма... Если под словом «материализм» надо понимать вообще нечто определенное, то он может быть только учением о материи, как последнем и единственном основании вещей. Но Спиноза ясно называет свою

субстанцию «бог» невещественной... Каждый, конечно, волен быть последователем Спинозы, только тогда он уже не будет материалистом».

Вот все, что г. Бернштейн ответил нам на нашу историческую справку. Это немного. Однако, к этому немногому может быть в известном смысле применено латинское выражение: non multa, sed multum.

Спиноза похож на некоторых материалистов в том отношении, что для него законосообразное мышление и бытие идентичны. Хорошо. Стало быть, существуют материалисты, признающие идентичность бытия и мышления? Выходит, что так. Но это совершенный вздор, и если бы г. Бернштейн *понял,* что собственно означают слова: *идентичность бытия и мышления,* он, разумеется, никогда не открыл бы этой идентичности ни у одного материалиста. Он увидел бы тогда, что *признание идентичности бытия и мышления возможно только в идеализме.* И тогда,— новая и тоже очень не малая выгода понимания предмета,— он не сказал бы, что чистый материализм в конце концов сводится к идеализму. Но он не понимает, о чем говорит, и потому он так же неловок и беспощаден в употреблении философской терминологии, как неловок и беспощаден был в употреблении литературного языка «маг» (в рассказе Г. И. Успенского «Нужда песенки поет»), обещавший изобразить перед почтеннейшей публикой «обезглавление головы, носа и прочих частей тела».

Если бы Спиноза признавал идентичность бытия и мышления, то он был бы *«чистым» идеалистом,* т. е. именно тем, чем он не был. Его единая субстанция — *одновременно и вещественна и духовна* [1]). По словам же Бернштейна, Спиноза *«ясно называет»* ее невещественной. Очень хорошо понял он Спинозу! Почти так же хорошо, как Гегеля!

Все эти промахи г. Бернштейна до такой степени очевидны и до такой степени непростительны; они свидетельствуют о такой полной и решительной некомпетентности г. Бернштейна в области философии, что у читателя может возникнуть вопрос: да стоит ли на них останавливаться? Но тот, кто хоть на минуту склонился бы к *отрицательному ответу* на такой вопрос, сделал бы ошибку.

[1]) Ср. «Die Ethik von Spinoza», neu übersetzt von J. Stern, II Th., S. 77 und 80.

IV.

Обрадованная отступничеством г. Бернштейна буржуазия так носится теперь с этим «критиком»; она так громко трубит об его «критических» подвигах, что внимательный разбор его аргументации может дать много интереснейших психологических «документов» для характеристики нашей эпохи. А кроме того, отречение г. Бернштейна от материализма и его стремление «*вернуться к Канту*» [1]) является вовсе не простыми ошибками философского ума (если только можно говорить о философском уме г. Бернштейна); нет, они явились естественным неизбежным и ярким выражением его нынешних социально-политических тенденций. Тенденции эти могут быть выражены в словах: *сближение с передовыми слоями буржуазии.* «То, что называют буржуазией,— говорит он,— есть сложный класс, состоящий из разных слоев с очень различными интересами. Эти слои держатся вместе до тех пор, пока они одинаково притеснены, или пока им одинаково угрожают. В данном случае речь может идти, конечно, только о последнем, т. е. о том, что буржуазия образует однородную реакционную массу потому, что всем ее элементам одинаково угрожает социал-демократия — одним их материальным, другим их идеологическим интересам: их религии, патриотизму, их желанию уберечь страну от ужасов насильственной революции (стр. 248—249). Эта небольшая выписка дает ключ к пониманию психологии предпринятого г. Бернштейном пересмотра марксизма. Чтобы не «угрожать» идеологическим интересам буржуазии»,— и прежде всего ее *религии,*— г. Бернштейн «вернулся» на точку зрения *«критической» философии* [2]). Чтобы не «угрожать» буржуазному «патриотизму», он стал опровергать то положение Маркса, что пролетариат не имеет отечества, и рассуждать об иностранной политике Германии тоном настоящего «государственного мужа» из школы реальных политиков; наконец, чтобы не затрагивать других предрассудков буржуазии, он ополчился против «Zusammenbruchstheorie» (которую, кстати сказать, он сам же

[1]) В своей книге он говорит, впрочем, что выражение: «вернемся к Канту» он заменил теперь выражением: «вернемся к Ланге». Но это не меняет дела.

[2]) Еще древние понимали, в чем заключается одна из великих культурных заслуг материализма. Лукреций красноречиво выразил это сознание в своей похвале Эпикуру: «Когда на земле человеческая жизнь была презрительно подавлена под тяжестью суеверия, которое с неба показывало свою главу и страшным видом грозила смертным, тогда впервые греческий муж смертный осмелился направить туда свой взгляд и противостать; он, которого не укротили ни храмы *богов,* ни молнии, ни угрожающий треск неба», и т. д.

и смастерил из некоторых, частью плохо им понятых, частью искаженных слов Маркса и Энгельса) и пустился доказывать, что «классовая диктатура есть признак более низкой культуры... является шагом назад, политическим атавизмом». Кто хочет понять г. Бернштейна. тому надо выяснить себе не столько его теоретические доводы, в которых нет ничего, кроме невежества и путаницы понятий, сколько его практические стремления, которыми объясняются все его теоретические заключения и грехопадения. *Каков человек, такова его и философия,* — справедливо говорит Фихте.

«Религия есть опиум народа, — писал Маркс в «Deutsch-Französische Jahrbücher»,— уничтожение религии, как *призрачного счастья,* означает требование его *действительного счастья...* Критика религии является поэтому критикой нашей юдоли плача».

Такой язык, разумеется, не мог нравиться не только тем буржуазным филистерам, которые нуждаются в религиозном «опиуме» для того, чтобы обеспечить самим себе немножко *призрачного счастья,* но также и тем, гораздо более даровитым и смелым идеологам буржуазии, которые, освободив самих себя от религиозных предрассудков, угощают, однако, *призрачным счастьем* народную массу единственно для того, чтобы обеспечить от его посягательств *действительное счастье* имущих классов. Само собою понятно, что *именно* эти господа особенно резко восстают против материализма и особенно громко осуждают «догматизм» тех революционеров, которые разоблачают истинный характер их антиматериалистической пропаганды...

В интересной брошюре «Reform oder Revolution» К. фон-Массов. Geheimer Regierungsrath, Mitglied der internationalen Kommission für Schutzpflege u. s. w., словом, человек вполне *«почтенный»,* высказывает свое твердое убеждение в том, что «если наше развитие пойдет так же, как оно шло до сих пор, то в будущем нашему отечеству угрожает социальная революция («Vorwort», S. 1). Для избежания этой революции необходима, по его мнению, всесторонняя реформа (eine Gesamtreform auf staatlichem und sozialem Gebiet), требованию которой и посвящена его книга. Но всесторонняя социальная реформа не исключает в его программе и борьбы против «революционных сил» (die Mächte des Umsturzes). Пока еще не произошло революционного взрыва, надо

бороться с ними *духовным* оружием (mit geistigen Waffen), а в этой борьбе необходимо направить свои силы прежде всего против материализма. Но г. фон-Массов думает, что удачнее других будут бороться с материализмом те противники «ре-

волюционных сил», которые сами очистят себя от материалистической скверны. «Враг, с которым мы должны вступить в борьбу, прежде всего есть материализм в нашей собственной среде,— проповедует он. Социал-демократия совершенно материалистична, она отрицает бога и вечность (sic). Но от кого заимствовано это учение? Не спустилось ли оно сверху вниз? Огромнейшее большинство образованных людей нашего времени отвернулось от веры своих отцов...» «Часть образованного мира совершенно атеистична» [1]). А социальные последствия атеизма ужасны. «Если нет ни бога, ни загробной жизни, ни вечности; если со смертью прекращается также и существование души, то в двести, в триста раз более несправедливым становится всякое бедствие, всякая нищета одной части человечества, страдающей в то время, когда другая его часть наслаждается избытком. На каком основании девять десятых народа должны нести на себе тяжелое бремя жизни, между тем как меньшинство остается свободным от всякой тяжести?» [2]).

На этот вопрос атеист не может ответить сколько-нибудь удовлетворительно. Но именно здесь-то и лежит *социальная* опасность атеизма: он воспитывает и возбуждает революционные чувства в рабочей массе. И именно потому наш тайный советник правления и проч., и проч. и проч., проповедует образованной буржуазии покаяние и борьбу с материализмом. Г. фон-Массов толковый человек. Он гораздо толковее всех тех «марксистов», которые, искренно сочувствуя рабочему классу, в то же время не менее искренно увлекаются «критической» философией. Эти люди придерживаются материалистического понимания истории. Но они приходят в большое удивление, когда им указывают на *социальные,*— т. е., в последнем счете, на *экономические* — причины того отрицательного отношения к *материализму* и того распространения неокантианства, которые замечаются в среде образованной буржуазии нашей эпохи.

V.

Но вернемся к г. Бернштейну. Заключительная глава его книги украшена эпиграфом: Cant wider Cant (Кант против Канта). Разъясняя смысл этого эпиграфа, г. Бернштейн говорит, что дух кенигсбергского

философа призывается им для борьбы с условностью устарелых взглядов, стремящихся утвердиться в социал-демократии и

[1]) Op. cit., S. 222.
[2]) Ibid., S. 222-223.

составляющих для нее большую опасность. «Припадки бешенства,— замечает он,— которые я вызвал этим у г-на П. (Плеханова), укрепили меня в убеждении, что социал-демократии нужен новый Кант, который направил бы оружие своей критики, который доказал бы, в чем кажущийся материализм есть величайшая и потому наиболее легко сбивающаяся с пути идеология,— доказал бы, что презрение к идеалу, признание материальных факторов всемогущими силами развития есть самообман, всегда на деле признававшийся и признаваемый таковым теми, кто его проповедует» (стр. 330). Читатель недоумевает, при чем же здесь кажущийся материализм, при чем же здесь самообман, да еще самообман «на деле» совершенно *сознательный?* Дело объясняется очень просто: по мнению г. Бернштейна, самообман неизбежен там, где люди, признающие экономические факторы «всемогущими», в то же время «на деле» не чужды *идеалов.* Уже из одного этого видно, как *близок* теперь г. Бернштейн к г. Карееву и как *далек* он, стало быть, от серьезной критики марксизма. Чтобы окончательно убедиться в этом, надо прочитать страницы, посвященные г. Бернштейном оценке *исторических* взглядов Маркса и Энгельса. При чтении этих страниц поистине волосы становятся дыбом. Но по недостатку места, мы не будем разбирать их здесь, отсылая любопытного читателя к тому, что сказано о них К. Каутским в его книге «Bernstein und das sozial-demokratische Programm» и нами в предисловии к новому изданию *«Манифеста Коммунистической партии»* [1]). Здесь мы отметим только следующий курьез, относящийся, впрочем, не к философско-исторической, а к философской «критике» марксизма. Г. Бернштейн говорит: «В выражении «материалистическое понимание истории» заранее заключены все недоразумения, которые вообще связаны с понятием материализма.

[1]) Одно мимоходное замечание. Г. Бернштейн не одобряет нашего выражения: *монистическое* объяснение истории. У него слово monistisch оказывается равносильным с simplistisch. Чтобы не входить в длинные объяснения насчет тою, почему нужно именно *«монистическое»* объяснение истории, мы скажем словами Ньютона: causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quae et verae sint et earum Phenomenis explicandis sufficiant. Г. Бернштейн не понимает, что, если развитие общественных и в последнем счете экономических отношений не представляет собою коренной причины развития так называемого *духовного* фактора, то этот последний развивается *сам* из себя, а это *саморазвитие духовного фактора* есть не более, как одна из разновидностей того *«саморазвития понятия»,* против которого наш «критик» предупреждает своих читателей, как против одной из опасных приманок гегельянской диалектики.

Философский или естественно-исторический материализм вполне детерминистичен, чего нельзя сказать о марксистском понимании истории; оно не признает за экономическим основанием жизни народов никакого безусловно определяющего влияния на ее формы» (стр. 23—24). Выходит, что детерминист — только тот, кто признает за экономическим основанием жизни безусловно определяющее влияние на *формы* жизни (?!). Это — Геркулесовы столбы невежества и непонимания. Но это не все. Впоследствии, когда Каутский заметил в «Neue Zeit», что без детерминизма нет научного объяснения явлений, наш «критик» поспешил заявить, что восстает собственно только против *материалистического* детерминизма, который состоит в объяснении психологических явлений действием материи, между тем как он, г. Бернштейн, признает также действие другого начала. Таким образом г. Бернштейн благополучно пришел в ту мирную гавань *дуализма,* вход в которую украшен надписью: *«Человек состоит из души и тела».* Это — опять хорошо знакомая русскому читателю *кареевщина.* Но эта кареевщина плохо вяжется даже с тем кантианством, к которому хочет «вернуться» г. Бернштейн. Кант категорически утверждает, что alle Handlungen der vernünftigen Wesen, sofern sie Erscheinungen sind, in irgend einer Erfahrung angetroffen werden, stehen unter der Naturnotwendigkeit (все действия разумных существ, поскольку они представляют собою явления, так или иначе встречаются нам в опыте, подчинены естественной необходимости) («Prolegomena», параграф 53). Что же это значит, что явления подчинены естественной необходимости? Это значит именно то, что они объясняются материалистически (ср. «Kritik der Urteilskraft», параграф 78). Оказывается, стало быть, что г. Бернштейн восстает не только против материалистов, но *также и против Канта.* И все это затем, чтобы не *угрожать идеологическим интересам буржуазии,* т. е. чтобы не идти против буржуазного Canta. Cant wider Kant — вот какой девиз следовало бы избрать г. Бернштейну.

Если г. Бернштейн отказался от *материализма* для того, чтобы не «угрожать» одному из «идеологических интересов» буржуазии, который называется *религией,* то его отказ от *диалектики* вызван был его нежеланием пугать ту же буржуазию *«ужасами насильственной революции».* Выше мы сказали, что он, наверное, и сам не прочь осудить

«отвлеченное или — или», не считающееся с условиями места и времени, и что поэтому он сам бессознательно пользуется диалектическим методом. Это вполне верно, но теперь надо прибавить, что он бессознательно становится на конкретную почву диа-

лектики только в тех случаях и только в такой мере, в какой диалектика представляет собой *удобное оружие в борьбе с мнимым радикализмом «революционеров», мыслящих по формуле: «да — да и нет — нет».* Это именно те случаи, когда всякий *филистер* делается *диалектиком.* Но тот же самый г. Бернштейн,— вместе со всеми филистерами всего земного шара,— готов городить против диалектики всякий вздор и взводить на нее самые нелепые обвинения всякий раз, когда ему кажется, что она может содействовать укреплению и развитию революционных стремлений в социалистической области. Маркс говорит, что немецкие филистеры увлекались диалектикой в то доброе старое время, когда они знали ее лишь в ее мистифицированном виде и воображали, что она может служить для оправдания их консервативных стремлений, но тотчас же и решительно отвернулись от нее, когда узнали ее настоящий характер и поняли, что она рассматривает все существующее с его преходящей стороны, что она ни перед чем не останавливается и ничего не боится, словом, что она *критична по самому своему существу.* Это же самое отношение к диалектике видим мы у г. Бернштейна, который во всей своей психологии является родным детищем немецкого филистерства. Оттого-то немецкие филистеры и приветствовали его «критику» громкими и продолжительными воплями радости, оттого-то они и произвели его в великие люди. Рыбак рыбака видит издалека.

Чтобы не «угрожать» буржуазии «ужасами насильственной революции», г. Бернштейн восстал против диалектики и ополчился против им же самим сфабрикованной «Zusammenbruchstheorie». В то же самое время и все с тою же целью он выступил Пиндаром *демократии.* «Демократия,— говорит он,— является в принципе уничтожением классового господства, если не фактическим уничтожением самих классов» (стр. 225). Мы прекрасно понимаем все преимущества демократии и все те выгоды, которые она дает рабочему классу. Но мы не хотим искажать истину даже ради демократии точно так же, как мы не станем ломать стулья даже ради Александра Македонского. Что демократия уничтожает классовое господство, это есть не более, как выдумка г. Бернштейна. Она оставляет его существовать в той области, к какой собственно и относится понятие о классе, т. е. к *области*

экономической. Она уничтожает только *политические привилегии* высших классов. И именно потому, что она не уничтожает *экономического* господства одного класса над другим,— буржуазии над пролетариатом,— она не устраняет также ни взаимной борьбы пролетариата с буржуазией, ни необходимости для

пролетариата бороться всеми теми средствами, какие только могут в данное время оказаться *целесообразными.* Рассуждая «по человечеству», всякий не поврежденный человек согласится с тем, что «ужасы насильственной революции», *взятые сами по себе,* ничего *желательного* в себе не заключают. Но всякий, не ослепленный антиреволюционными тенденциями человек, должен также признать, что демократическая конституция совсем не обеспечивает от такого обострения классовой борьбы, которое может сделать неизбежными революционный взрыв и революционную диктатуру. И напрасно г. Бернштейн пугает революционеров тем соображением, что классовая диктатура явилась бы признаком более низкой культуры. Великий общественный вопрос нашего времени, вопрос об уничтожении экономической эксплуатации человека человеком может быть решен,— как решались великие общественные вопросы прежнего времени,— *только силой.* Правда, *сила еще не значит насилие: насилие есть лишь одна из форм проявления силы. Но выбор* той *формы,* в которой пролетариату придется проявлять свою революционную силу, *зависит не от его доброй воли, а от обстоятельств.* Та форма лучше, которая вернее и скорее ведет к победе над неприятелем. И если бы *«насильственная революция»* оказалась в данной стране и при данных обстоятельствах наиболее целесообразным способом действий, то жалким доктринером,— если не изменником,— оказался бы тот, кто выставил бы против нее принципиальные соображения вроде тех, которые мы встречаем у Бернштейна: «низкая культура», «политический атавизм» и т. п. Рукопашная борьба является, если хотите, зоологическим «атавизмом» всюду, где она ни происходит: ведь два борющихся человека напоминают собою двух борющихся зверей. Но кто, кроме «толстовцев», принципиально осудит всякое сопротивление злу посредством рукопашного боя? И разве хоть один серьезный человек может взять всерьез те доводы, с помощью которых толстовцы принципиально осуждают насилие? Для всякого мыслящего человека очевидно, что эти доводы представляют собою неумышленную карикатуру на мышление по любезной г. Бернштейну формуле: *«да—да и нет—нет»,* совершенно тождественной, как мы уже знаем, с гегелевским *«отвлеченным» или—или* (насилие есть *или* зло, *или* добро). «Ужасы *насильственной*

революции» всегда более или менее «ужасны». Это так. Этого никто не оспаривает, но г. Бернштейн избрал очень плохой путь для их избежания: ему следовало бы обратиться к буржуазии и показать тем ее элементам, которые еще не погрязли в классовом эгоизме, что стараться замедлять совре-

менное социалистическое движение значит совершать самый тяжкий грех против гуманности и культуры. В той мере, в какой его проповедь выходила бы удачной, она ослабляла бы сопротивление, оказываемое буржуазией движению пролетариата, и тем ослабляла бы возможность «ужасов насильственной революции». Г. Бернштейн предпочел действовать иначе. Он стал затемнять классовое сознание рабочих, выступив с проповедью марксизма, «пересмотренного» им со специальной целью успокоения буржуазии. Этот прием оказался удачным в том смысле, что значительная часть образованной буржуазии хорошо поняла, до какой степени *выгодно для нее* распространение «марксизма», «пересмотренного» г. Бернштейном, на счет старого, революционного учения Маркса. Эта часть буржуазии приветствовала г. Бернштейна, как своего рода мессию. Но для социализма он умер и, конечно, никогда уже не воскреснет, как бы громко ни кричал он о том, что социалисты его не поняли и что, в сущности, он мало изменился сравнительно **с** тем, чем был. Вот оно, усердие не по разуму!

VI.

Г. Бернштейн на каждом шагу теряется в неясности своих собственных понятий и -путается в своих собственных противоречиях. Тем не менее, в его аргументации есть логический центр, вокруг которого группируются его мысли. Этим центром является *учение о доходах.*

«Совершенно неверно думать,— говорит он,— что современное развитие свидетельствует об относительном или даже абсолютном уменьшении числа собственников. Число собственников растет не «более или менее», но просто более, т. е. растет абсолютно и относительно. Если бы деятельность и надежды социал-демократии зависели от того, что число собственников уменьшается, то она могла бы, в действительности, спокойно уснуть, но это совершенно неверно. Не с уменьшением, а **с** увеличением общественного богатства связаны надежды социал-демократии (стр. 90).

Ни Маркс, ни Энгельс и никто из их учеников не связывал своих надежд с *уменьшением* общественного богатства. Стараясь разорвать *такую* «связь», г. Бернштейн просто-напросто сражается с ветряными

мельницами. Но все марксисты были убеждены, что рост общественного богатства сопровождается в капиталистическом обществе *ростом общественного неравенства и уменьшением числа*

собственников. Если бы г. Бернштейну удалось доказать противное, то надо было бы признать, что он нанес марксизму смертельный удар. И тогда, действительно, всякие толки о «социальной революции» стали бы «пустыми разговорами». Но беда в том, что г. Берн-штейн ровно ничего не доказал, кроме своего собственного непонимания. Доводы, которые он приводит в защиту своего смелого утверждения, сводятся почти всецело к тому, что умеренные доходы растут быстрее, чем население. Это — бесспорный факт. Но этот бесспорный факт ничего не доказывает. *Если общественный доход растет еще быстрее, чем число умеренных доходов, то рост этого числа вполне совместим с ростом общественного неравенства.* Мы доказали это в статье против г. П. Струве, специально посвященной вопросу о «притуплении» общественно-экономического неравенства. К ней мы и отсылаем читателя, отграничиваясь здесь несколькими частными замечаниями.

Во-первых, рост числа умеренных доходов, вполне совместимый с ростом общественно-экономического неравенства, ни в каком случае не свидетельствует ни об абсолютном, ни — еще менее — об относительном увеличении числа собственников. *Собственность и доход* — два совершенно различных понятия.

Во-вторых, ссылки г. Бернштейна на распределение поземельной собственности так же *неточны,* как неубедительно его указание на рост числа умеренных доходов. Вот один из многих примеров.

Он говорит, что в Германии группа средних крестьянских хозяйств увеличилась в период 1882—1895 гг. почти на 8 проц., а занимаемая ими площадь на 9 проц. (стр. 110). Но какой смысл имеют данные об увеличении абсолютного числа хозяйств или размера площади одной категории хозяйств, если не сообщается *все* число хозяйств *и вся* культурная площадь в стране? А если принять во внимание это обстоятельство, т. е. рассмотреть размер *доли* средних крестьянских хозяйств в общем числе хозяйств и в общем итоге площади, то окажется, что площадь, занимаемая в Германии хозяйствами этой категории, испытала лишь совершенно ничтожное увеличение. В 1882 г. она составляла 11,90 проц. всей поземельной площади, а в 1895—12,37 проц.; увеличение составляет стало быть *менее половины процента.* Но это мы

говорим о *всей* поземельной площади Германии. А что касается собственно сельскохозяйственной площади, то хозяйства указанной категории составляли в 1882 г. 12,26 проц., а в 1895 г. — 13,02 проц.; увеличение не превышает

0,75 проц. [1]). Это так мало, что странно и употреблять здесь слово: увеличение.

Положение дел в германском земледелии так сложно, что в суждениях о нем никак нельзя довольствоваться голыми статистическими цифрами, а необходимо принять в соображение географические особенности каждой данной местности, равно как технические и экономические особенности каждой отдельной категории хозяйства, а также и *изменения* этих особенностей, совершающиеся в рассматриваемые периоды.

Что касается *Англии,* то г. Бернштейн позабыл прибавить и не знает, что мелкие хозяева, число которых местами действительно увеличивается там под влиянием заокеанской конкуренции, называются там *«британскими рабами»* (british slaves) [2]),— до такой степени *плохо* их экономическое положение.

Теория Маркса так же мало опровергается увеличением числа этих «рабов», как опровергалась бы она ростом sweating system в той или другой отрасли обрабатывающей промышленности.

Г. Бернштейн говорит также, что в восточной части *Американских Штатов* растет число мелких и средних хозяйств. Это опять неверно. В восточных штатах число мелких ферм *уменьшается,* и вообще в Северной Америке заметна, по словам Левассера, некоторая тенденция *концентрации* [3]).

В Бельгии новейшие статистические данные также указывают на концентрацию поземельной собственности [4]). *Относительное уменьшение числа землевладельцев является в ней твердо установленным фактом.*

VII.

«Односторонности в изложении г. Шульце-Геверница в истории развития современной Англии, против которых я очень резко восставал в свое время, не мешали ему, как в его сочинении «Zum sozialen Frieden», так и в монографии «Großbetrieb — ein wirtschaftlicher Fortschritt», установить факты, имеющие важное значение для познавания экономического значения современности», — говорит г. Берн-

[1]) См. Die Landwirtschaft im Deutschen Reich. Nach der landwirtschaftlichen Betriebszählung vom 14 Juni 1895 (Statistik des Deutschen Reiches, Neue Folge, Band 112, S. 11).

[2]) См. Final Report of H. M. Commissioners appointed to Inquire into the subject of agricultural depression. London 1879, p. 36.

[3]) L'agriculture aux Etas-Unis Paris et Nancy 1894, p. 61—62. Последний сев.-американский ценз показал, что концентрация дает себя знать там и в области сельского хозяйства.

[4]) См. книгу Вандервельда «La propriété foncière en Belgique» и нашу

штейн.— Я не вижу в этом ничего дурного и охотно признаю, что я обратил внимание на многие факты, приведенные Шульце-Геверницем, а также и другими, вышедшими из школы Брентано, экономистами (Геркнером, Зинцхеймером), факты, которых я раньше не замечал вовсе или недостаточно оценивал. Я даже не стыжусь признаться, что кое-чему научился из книги Ю. Вольфа «Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung». Г. Плеханов называет это эклектическим соединением (научного социализма) с учением буржуазных экономистов. Как будто $^{9}/_{10}$ элементов научного социализма не взяты из сочинения «буржуазных экономистов», как будто вообще существует «партийная наука» (стр. 306 и 307).

«Партийная наука», строго говоря, невозможна. Но, к сожалению, очень возможно существование *«ученых», проникнутых духом партий и классовым эгоизмом.* Когда марксисты презрительно отзываются о буржуазной науке, они имеют в виду именно «ученых» этого рода. К числу этих «ученых» принадлежат и те господа, у которых г. Бернштейн столь многому «научился»: Ю. Вольф, Шульце-Геверниц и многие другие. Если $^{9}/_{10}$ научного социализма и взяты из сочинений буржуазных экономистов, то они взяты не так, как берет г. Бернштейн у брентанистов и других апологетов капитализма свои материалы для «пересмотра» марксизма. Маркс и Энгельс умели относиться к буржуазным ученым *критически,* а г. Бернштейн не сумел или не захотел отнестись к ним таким образом. «Учась» у них, он просто-напросто подчинился их влиянию и незаметно для себя усвоил их апологетическую аргументацию. Он вообразил, что учение о росте умеренных доходов, как о доказательстве абсолютного и относительного увеличения числа собственников, представляет собою серьезное приобретение объективной науки, между тем как на самом деле оно оказывается одной из апологетических выдумок. Если бы г. Бернштейн способен был к научному мышлению, то он не попал бы в такой просак, в каком мы видим его в настоящее время, но тогда он и не написал бы своей книги.

Уже осенью 1898 г. мы высказали ту мысль, что г. Бернштейн стал «критиковать» Маркса единственно потому, что не в состоянии был критически отнестись к буржуазной апологетике [1]). Тогда же

[1]) В статье «Wofür sollen wir ihm dankbar sein», Sächsische Arbeiter-Zeitung № 253—255. Кстати, мы и до сих пор не можем понять, за что собственно благодарил

Бернштейна Каутский на штутгартском партейтаге. Книга Каутского «Bernstein und das sozialdemokratische Programm» вполне подтверждает нашу мысль о том, что благодарить было не за что.

мы отметили и тот любопытный факт, что даже наделавшая много шуму фраза г. Бернштейна: *«движение — все, а конечная цель — ничто»* заимствована **г.** Бернштейном у Шульце-Геверница. Не будучи в состоянии возразить нам по существу, г. Бернштейн ответил нам грубой бранью, отвечать на которую мы не видим надобности [1]). Мы очень дорожим теперь неприязнью г. Бернштейна и гордимся тем, что мы были одни из первых, *указавших* на отступничество г. Бернштейна и *заклеймивших* его. *«Дело идет о том, кто кого похоронит,— писали мы* в названной статье: *«Бернштейн социал-демократию или социал-демократия Бернштейна».* В 1898 г. такая постановка вопроса показалась слишком резкой многим нашим читателям. Теперь в рядах революционной социал-демократии этот вопрос *всеми* ставится именно так, а не иначе. Дальнейший ход дела вполне подтвердил справедливость наших слов. Вдаваться в личные препирательства с г. Бернштейном мы не имели охоты прежде, не имеем ее и теперь. Но мы не можем устоять перед искушением отметить следующую интересную частность.

Г. Бернштейн понял направленные против него замечания наши в том смысле, что мы считаем положение рабочего в капиталистическом обществе «безнадежным», и заявил, что не желает спорить «с человеком, по понятиям которого наука требует, чтобы положение рабочего считалось безнадежным при всех условиях вплоть до великого переворота» (стр. 309—310). Видите, как строго! Но в книге строгого Бернштейна мы находим такое место:

В учении Маркса и Энгельса «не опровергнутым остается лишь следующее: что производительная способность в современном обще-

[1]) Брань сопровождалась у нашего противника недобросовестными приемами спора. Так, например, г. Бернштейну хочется доказать, что теперь еще невозможно уничтожить классы. С этой целью он цитирует Энгельса, который будто бы говорит, что уничтожение классов станет возможным «лишь на известной, относительно нашего времени очень высокой, степени развития производительных сил» (стр. 325—326). Выходит, что, по Энгельсу, достигнутая нами ступень развития производительных сил еще недостаточна для устранения капитализма. На самом же деле, Энгельс говорит *совершенно противное:* «Sie (die Abschaffung der Klassen) hat also zur Voraussetzung einen Höhegrad der Entwicklung der Produktion, auf dem Aneignung der Produktionsmittel und Produkte... durch eine besondere Gesellschaftsklasse nicht nur überflüssig sondern auch ökonomisch, politisch und intellektuell ein Hindernis der Entwicklung geworden ist. *Dieser Punkt ist erreicht...*» (курсив наш). Dührings «Umwälzung der Wissenschaft»; dritte Auflage, S. 304 XXV). Слишком уже усердствует г. Бернштейн в своем стремлении не испугать буржуазию.

стве гораздо сильнее, чем действительный, определяемый покупательной способностью спрос на продукты; что миллионы живут в дурных жилищах, плохо одеваются и недостаточно питаются, несмотря на то, что в изобилии имеются средства, чтобы создать для них достаточно жилищ, пищи и одежды; что следствием этого несоответствия в различных отраслях промышленности является перепроизводство... Что поэтому существуют значительные неправильности в получении рабочими занятий, вследствие чего положение их становится в высшей степени необеспеченным, все больше повергая их в недостойную зависимость, создавая в одном месте чрезмерную работу, а в другом — безработицу» (стр. 145—146).

Г. Л. Канцель, по своему обыкновению, плохо перевела г. Бернштейна. Этот последний говорит, что рабочие *поддерживаются* в недостойной зависимости, а не попадают все *в бóльшую зависимость,* как заставляет его говорить его переводчик. Но даже и в правильном переводе мысль г. Бернштейна побивает его самого. В самом деле, разве же не *безнадежно* положение того класса капиталистического общества, который, несмотря на поразительный рост производительности труда, *остается* в том экономическом положении и в той унизительной зависимости, о которых мы читаем у г. Бернштейна! Ясно, что *безнадежно* и что вывести пролетариат из этого безнадежного положения может только *устранение капиталистического способа производства, социальная революция* [1]). Г. Бернштейн плохо свел концы с концами в своем новом миросозерцании.

Г. Бернштейн глубокомысленно вопрошает: «Не усиливает ли крупное расширение пространства мирового рынка (т. е. размеров; мы вынуждены еще раз повторить, что г-жа Канцель очень плохо перевела разбираемую нами книгу — *Г. П.*) в связи с громадным сокращением времени, необходимого для передачи известий и транспорта; не усиливает ли оно возможности смягчения застоев; а затем ко-

[1]) Маркс признал бы положение рабочего в капиталистическом обществе *«безнадежным»* даже в том случае, если бы возможно было значительное его улучшение. «Лучшая одежда, пища, обращение и большой запас денег,— говорил он,— столь же мало уничтожают состояние зависимости и эксплуатацию наемного рабочего, как и рабов». («Капитал», I, С.-Петербург, стр. 534). Г. Бернштейн и сам поймет, что положение раба остается «безнадежным» в марксовом смысле, *вплоть до отмены рабства.* Заметим, впрочем, что слово «безнадежно» принадлежит не нам, а только *приписано* нам г. Бернштейном. Наш взгляд на положение работника в капиталистическом обществе высказан и обоснован нами во второй статье против г. П. Струве.

лоссально возросшее богатство европейских промышленных государств, в связи с эластичностью современного кредита и возникновением промышленных картелей,— не уменьшило ли оно, по крайней мере, на долгое время, влияние местных или частных застоев на общее положение дела настолько, что общие деловые (т. е. промышленные — *Г. П.*) кризисы, подобные прежним, должны считаться невероятными» (стр. 126).

Жизнь ответила на этот вопрос: с половины прошлого года [1]) цивилизованный мир переживает общий промышленный кризис, приближение которого предвидели некоторые буржуазные дельцы *уже в то время, когда г. Бернштейн писал свою книгу.*

VIII.

У Шекспира один придворный говорит о помешавшейся Офелии:

> В ее словах нет половины смысла;
> Все дико в них,— одни пустые звуки,
> Но их безòбразность на размышленья
> Наводит тех, кто им внимает...

То же приходится сказать и о книге г. Бернштейна: все дико в ней и нет ничего, кроме пустых звуков; но именно эта самая пустота звуков и наводит на грустные размышленья внимательного читателя. Во всех теоретических вопросах г. Бернштейн оказался слабее слабого. Каким же образом мог он в течение многих лет играть роль одного из самых выдающихся теоретиков своей партии? Над этим вопросом стоит подумать. И не легко найти сколько-нибудь утешительный ответ на него...

Другой вопрос, не менее важный: во взглядах г. Бернштейна остались теперь лишь слабые следы социализма. В действительности он *гораздо ближе к мелкобуржуазным сторонникам «социальной реформы»,* чем *к революционной социал-демократии.* А между тем он остается «товарищем», и его не просят удалиться из партии. Это отчасти объясняется очень распространенным теперь между социал-демократами всех стран *ложным взглядом на свободу мнений.* Говорят: «как же исключить человека из партии за его взгляды? Это значило бы преследовать его за ересь». Люди, рассуждающие таким образом, забывают, что *свобода мнений* необходимо должна дополняться свободой взаимного сближения и расхождения, и что эта последняя свобода не существует там, где тот или другой пред-

[1]) Писано в 1901 году.

рассудок заставляет идти вместе таких людей, которым лучше разойтись ввиду различия их взглядов. Но этим неправильным рассуждением только отчасти объясняется тот факт, что г. Бернштейн не исключен из немецкой социал-демократической партии. Главная же причина заключается в том, что его новые взгляды разделяются довольно значительным числом других социал-демократов. По причинам, о которых мы не можем распространяться в этой статье, *оппортунизм* приобрел много сторонников в рядах социал-демократии разных стран. И в этом распространении оппортунизма заключается самая главная из всех опасностей, угрожающих ей в настоящее время. Социал-демократы, оставшиеся верными революционному духу своей программы,— и они, к счастью, почти везде еще составляют большинство,— сделают непоправимую ошибку, если не примут своевременно решительных мер для борьбы с этой опасностью. Г. Бернштейн, взятый сам по себе, не только не страшен, но прямо смешон, отличаясь уморительным сходством с философствующим Санчо-Пансой. Но «бернштейниада» очень страшна, как признак возможного упадка.

Кстати г. Бернштейн пишет: «Чтобы выставить в надлежащем свете полемические приемы г. Плеханова, я должен упомянуть, что большая, если не бо̀льшая часть работающих в России русских социал-демократов решительно присоединились к точке зрения близкой к моей, и что в этом смысле некоторые мои «бессодержательные» статьи были переведены по-русски и распространены в отдельных изданиях» [1]). Далее следует злорадное замечание о том, что такое явление вряд ли может нас обрадовать. Оставляя в стороне как вопрос о наших личных чувствах, так и вопрос о том, каким образом наши полемические приемы могут быть характеризованы фактом сближения с г. Бернштейном работающих в России социал-демократов,— если бы этот факт и был верен,— мы заметим, что г. Бернштейн, очевидно, имеет в виду так называемое «экономическое» направление русской социал-демократии. Всякий знает, что это направление, имевшее временный успех в России, теперь побеждено нашими единомышленниками, видящими в г. Бернштейне не более, как *отступника.* Но и до сих пор, вероятно, не всякому известно, что нашлось одно русское (заграничное) социал-демократи-

[1]) Это место выпущено в переводе г. Л. Канцель. Оно находится в примечании на стр. 112 изданного в Лондоне русского перевода книги г. Бернштейна.

ческое издание, не заметившее существования «экономического» направления и потому отрицавшее его. Зорки были глаза у редакции этого издания!

Дрянной русский перевод дрянной книжонки г. Бернштейна уже выдержал два «легальных» издания. Вероятно, скоро появится и третье. Удивляться этому нельзя. *Всякая* «критика» марксизма и *всякая* его пародия,— если только она проникнута *буржуазным* духом,— непременно понравится той части наших легальных марксистов, которая сама представляет собою *буржуазную пародию на марксизм.*

Август 1901.

Предисловие к переводу «Развитие научного социализма» Ф. Энгельса.

Русский перевод брошюры Энгельса «*Развитие научного социализма*» выходит теперь третьим изданием. Второе вышло в 1892 году. В то время в международной социалистической литературе еще не высказывалось мнений, согласно которым социалистическая теория вообще не может называться *научной.* Теперь такие мнения высказываются очень громко и не остаются без влияния на некоторую часть читателей. Поэтому мы считаем своевременным рассмотреть здесь вопрос о том, *что такое научный социализм и в чем он отличается от утопического.*

Но сначала послушаем одного из гг. «критиков».

В реферате, прочитанном 17-го мая 1901 г. в «Берлинском студенческом союзе для изучения общественной науки» (Sozialwissenschaftlicher Studentenverein zu Berlin), г. Бернштейн поставил перед собой тот же самый вопрос, хотя иначе формулированный: «Возможен ли научный социализм?» (Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?). В результате своего исследования он пришел к отрицательному ответу. По его словам, никакой *«изм»* не может б*ыть наукой»:* «Измом обозначается миросозерцание, тенденция, система мыслей или требований, а вовсе не наука. Основа всякой истинной науки есть опыт, она строит свое здание на накопленном знании. Социализм же есть учение о будущем общественном порядке, и именно поэтому его наиболее характерная черта не может быть установлена научно» [1]).

Так ли это? Посмотрим.

Прежде всего поговорим об отношении между *«измами»* и *наукой.* Если бы г. Бернштейн был прав, говоря, что никакой «изм» наукой быть

не может, то ясно, что, например, дарвинизм тоже не «наука». Но в таком случае, что же такое дарвинизм? Если мы захотим остаться верны теории Бернштейна, то мы должны будем отнести это учение к числу *«систем мыслей».* Но разве система

[1]) Ed. Bernstein, «Wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich?». Berlin 1901, S. 30.

мыслей не может быть наукой и разве наука не есть система мыслей? Г. Бернштейн, очевидно, думает, что — *нет.* Но он так думает просто по недоразумению, просто потому, что в его собственной «системе мыслей» царствует страшный беспорядок.

Что наука строит свое здание на основе опыта, это известно теперь каждому толковому школьнику. Но вопрос совсем не в этом. Он состоит в том, *что же именно строит наука на основе опыта?* А на это возможен только один ответ: на основе опыта наука строит известные *обобщения* («системы мыслей»), которые в свою очередь ложатся в основу известного *предвидения* явлений. Но предвидение относится к *будущему времени.* Поэтому далеко не всякое соображение о будущем лишено научной основы.

Если справедлива та старая мысль, что настоящее беременно будущим, то научное изучение настоящего должно дать нам возможность судить о будущем не на основании каких-нибудь таинственных пророчеств или каких-нибудь произвольных и отвлеченных рассуждений, а именно на основании «опыта», на основании знаний, накопленных наукой.

Если бы г. Бернштейн хотел серьезно вдуматься в поставленный им себе вопрос о возможности научного социализма, то он должен был бы прежде всего решить, справедлива или несправедлива указанная нами мысль в применении к *общественным явлениям.* Самое непродолжительное размышление показало бы ему, что в этом случае она не менее справедлива, чем во всех прочих. Убедившись в этом, ему надо было рассмотреть, обладает ли современная общественная наука таким запасом сведений о нынешних общественных отношениях, пользуясь которыми она была бы в состоянии предвидеть характер будущего общественного порядка. Если бы он увидел, что такого запаса нет и никогда не будет, то вопрос о возможности научного социализма сам собою решился бы в *отрицательном смысле.* А если бы г. Бернштейн убедился в том, что такой запас или уже существует, или может быть накоплен со временем, то он неизбежно пришел бы к *положительному* решению названного вопроса. Но как бы он ни решил этот вопрос, ему хорошо выяснилось бы тогда то, что, благодаря ошибочному приему исследования, до сих пор остается у него в тумане нескладной и непродуманной «системы мыслей». Он увидел бы, что невозможность

существования научного социализма может быть доказана только в том случае, если станет очевидной невозможность научного предвидения общественных явлений, т. е. что до решения вопроса о возможности науч-

ного социализма надо предварительно решить вопрос о *возможности социальной науки вообще.* А увидев это, г. Бернштейн увидел бы, может быть, и то, что взятый *им* предмет представляет собою «дистанцию огромного размера», и что для его выяснения не много сделает тот, кто не имеет других средств анализа, кроме бестолкового противоположения науки «измам».

Впрочем мы несправедливы к нашему автору. Имеющиеся у него средства анализа не ограничиваются таким различением. Вот, например, на стр. 33—34 его реферата мы встречаем еще ту мысль, что наука не имеет никакой другой цели, кроме познания, между тем как «политическая и социальная доктрины» стремятся разрешить известные практические задачи. Во время споров, которыми сопровождалось чтение реферата г. Бернштейна, кто-то из присутствовавших заметил ему по поводу этой мысли, что медицина задается практической целью *лечения,* а между тем она должна быть признана наукой. На это наш референт ответил, что лечение есть задача медицинского *искусства,* которое во всяком случае предполагает основательное знание медицинской науки; но медицинская наука сама по себе стремится не к лечению, а к изучению средств и условий лечения. К этому господин Бернштейн прибавляет, что «если мы возьмем это различение понятий за образец (als typisches Muster), то мы без труда определим в самых сложных случаях, где кончается наука и где начинается искусство или доктрина» [1]).

Мы берем за образец рекомендуемое г. Бернштейном «различение понятий» и рассуждаем так: в социализме, как в медицине, надо различать две стороны: *науку и искусство.* Социализм, как *наука,* изучает средства и условия социалистической революции, а социализм, как *«доктрина»* или как *политическое искусство,* стремится совершить названный переворот, опираясь на приобретенное знание. И мы прибавляем, что если г. Бернштейн возьмет за *«типический образец»* различение, сделанное нами по его же примеру, то он без труда поймет, где именно кончается в социалистической системе наука, и где начинается доктрина и искусство.

Роберт Оуэн, обращаясь к «британской публике» в одном из воззваний, служащих предисловием к его книге «New views of society or

Essays upon the formation of human character» (Новый взгляд на общество или опыты об образовании человеческого характера), говорит:

[1]) Ibid., S. 34, примечание.

«Я обращаюсь к вам, друзья и соотечественники, потому что ваши величайшие и важнейшие интересы тесно связаны с предметами, рассматриваемыми в предлагаемых опытах. Вы найдете в них описание существующих зол и предложение средств их исцеления... Благодетельные изменения требуют основательно обдуманных и хорошо составленных планов... Однако, большим успехом является уже указание причины зла. Ближайшим после этого шагом должно быть отыскание лекарства... Делом моей жизни было именно его отыскание и его практическое испытание; и так как я нашел такое лекарство, которое, как показывает опыт, совершенно надежно в своем применении и совершенно несомненно по своему действию, то я имею теперь сильное желание дать вам воспользоваться его благодеяниями. Но будьте уверены в том, что принципы, на которых основывается этот *«новый взгляд на общество»,* верны, что за ними не скрывается никакой ошибки и что к их обнародованию подвинули меня совершенно чистые побуждения» и т. д. [1]).

Эти слова дают нам полную возможность анализировать ход мысли великого английского социалиста с точки зрения предлагаемого г. Бернштейном «различения понятий»: ясно, что Р. Оуэн начал с изучения существующих зол и с обнаружения их причины. Эта часть его работы соответствует тому, что в медицине называется *этиологией.* Затем он перешел к изучению средств и условий лечения интересовавшей его общественной болезни. Найдя лекарство, показавшееся ему очень действительным, он стал подвергать его практическому испытанию. Это можно назвать его *терапевтикой.* Только после того, как его опыты дали вполне удовлетворительные результаты, он решился предложить ею всей «британской публике», т. е., другими словами, взяться за *медицинскую практику.* Прежде он занимался медицинской *наукой,* теперь он стал практиковать медицинское *искусство.* Тут — полная параллель, и раз г. Бернштейн допускает возможность существования *науки медицины,* то он должен, разумеется, в том случае, если он хочет остаться верным своему собственному «различению понятий», признать также и возможность существования *науки социализма.* Тот же самый ход исследования, который мы подметили у Роберта Оуэна на основании

[1]) Не имея под руками английского подлинника, мы цитируем по немецкому переводу профессора Освальда Колльмана, вышедшему в Лейпциге в 1900 году под

заглавием: Eine neue Auffassung der Gesellschaft. Vier Aufsätze über die Bildung des menschlichen Charakters, als Einleitung zu der Entwicklung eines Planes, die Lage der Menschheit allmählich zu verbessern. Цитированное нами место находится на стр. 6.

его собственных слов, легко может быть подмечен и у современных ему французских социалистов. Для примера укажем хоть на Фурье. Он говорил, что он принес людям *искусство быть богатыми и счастливыми.* Эта часть его доктрины соответствует *врачебному искусству.* Но на чем основывал он эту практическую часть своего учения? На *законах нравственного притяжения,* которые, по его словам, оставались неизвестными людям, пока он не открыл их, наконец, после долгого и внимательного исследования. Тут мы имеем дело уже не с искусством, а с *теорией,* с «приведенным в систему знанием», т. е. с *наукой.* И Фурье настойчиво повторял, что его *искусство* основывается на его *научных открытиях* [1]). Само собою разумеется, что г. Бернштейн нимало не обязан придавать этим открытиям такое же большое значение, какое они имели в глазах самого Фурье или его школы, но это не изменяет дела. Г. Бернштейн, конечно, не считает себя обязанным верить в безошибочность всех медицинских теорий нашего времени; но это не помешало ему прийти к убеждению в том, что иное дело медицинское искусство, а иное дело медицинская наука, и что существование медицинского искусства не только не исключает существования медицинской науки, но, наоборот, предполагает его, как свое необходимое условие. Почему в социализме невозможно такое же соотношение между искусством и наукой? Почему существование социализма, как социально-политической «доктрины», исключает существование социализма, как науки?

На эти вопросы г. Бернштейн не отвечает. Пока он не ответит на них, предложенное им «различение понятий» будет не подтверждать, а опровергать его мысль о невозможности научного социализма. А ответить на них он не может по той простой причине, что ему на них нечего отвечать. Разумеется, можно и должно было бы усомниться в теоретической правомерности сравнения медицинского искусства с социализмом. Но именно в этом-то наш автор и не усомнился, да и не мог усомниться, так как *его* точка зрения на общественную жизнь ничуть не исключает подобных сравнений.

Итак, предложенное г. Бернштейном «различение понятий» не только не убедило нас в невозможности научного социализма, но, напротив, предрасположило нас к принятию той мысли, что даже

[1]) См. например, Manuscrits de Fourier, Paris 1851, p. 4, где он сравнивает себя с Кеплером и Ньютоном. Ср. также любое из тех изложений его учения, которые были сделаны его последователями. В каждом из них практические планы общественного переустройства спираются на *теоретические открытия* Фурье.

социализм Р. Оуэна, Фурье и других *утопистов* был, по крайней мере отчасти, *научным социализмом.* Вследствие этого нам становится неясным то «различение понятий», в силу которого мы до сих пор полагали, что социалистическая теория Маркса—Энгельса сделала эпоху в истории социализма. Да и не одним нам неясно это «различение». У г. Бернштейна тоже выходит, что хотя учение Маркса-Энгельса заключает в себе гораздо больше научного элемента, чем учения Фурье, Оуэна и Сен-Симона, но и оно подобно им, хотя и в меньшей степени заключает в себе, рядом с элементами науки, также и элементы утопии, а потому и различие между ними имеет скорее *количественный* нежели *качественный* характер [1]).

В реферате г. Бернштейна такое мнение вполне естественно: если *научный* социализм вообще невозможен, то очевидно, что и *марксизм* есть один из тех «измов», которым свойственна большая или меньшая примесь утопии. Но так как убеждение г. Бернштейна в невозможности научного социализма основывается на таких посылках, которые, будучи правильно истолкованы, приводят к диаметрально противоположному заключению, т. е. заставляют нас признать, что научный социализм, подобно научной медицине, *вполне возможен,* то мы, не желая окончательно запутаться в логических противоречиях г. «критика», покидаем сотканную им нить рассуждений и, в свою очередь, спрашиваем себя, чем же, наконец, отличается научный социализм от утопического?

Чтобы ответить на это, надо определить отличительные признаки обоих видов социализма.

На странице 14 предлагаемой брошюры Энгельс говорит: «Миросозерцание утопистов долго господствовало над социалистическими воззрениями XIX века и, отчасти, господствует еще поныне... Его держались все английские и, до недавнего времени, все французские социалисты, а также прежние немецкие коммунисты, не исключая Вейтлинга. Социализм, в их представлении, есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости, и нужно только открыть его, чтобы он собственной силой покорил весь мир; а так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта».

По поводу этого места г. Бернштейн упрекает Энгельса в преувеличении: «я не могу согласиться с ним,— замечает он,— когда

[1]) Об этом см. в особенности стр. 21, *22,* 28, 29, 30.

он говорит, что по их (социалистов-утопистов) мнению время **и** место открытия найденных им истин было делом независимой от исторического развития случайности. Будучи высказано в такой общей форме, это положение неверно изображает их взгляды на историю» [1]).

Если бы г. Бернштейн дал себе труд получше ознакомиться с литературой утопического социализма и поглубже вдуматься в основные исторические взгляды социалистов-утопистов, то он **и** сам увидел бы, что в словах Энгельса нет и тени преувеличения,

Фурье был твердо убежден в том, что ему удалось открыть законы нравственного тяготения, но он никогда не умел взглянуть на свою теорию, как на *плод общественного развития Франции.* Он сам не раз с удивлением спрашивает себя, почему люди не пришли несколькими столетиями или даже тысячелетиями раньше к тем открытиям, которые ему удалось, наконец, сделать. И он мог себе ответить только ссылкой на ослепление людей, да на силу случайности. По этому поводу он даже написал очень характерное рассуждение о «тирании случая», где он доказывает, что «эта колоссальная и презренная сила почти всецело обусловливает собою все открытия». По его словам, он сам принес ей большую дань в своем «открытии расчета притяжения» (dans la découverte du calcul de l'attraction). Его, как и Ньютона, натолкнуло на его мысль яблоко. «За это, достойное знаменитости, яблоко заплатил 14 су один путешественник, обедавший со мной в Париже в ресторане Феврие. Я только что приехал тогда из местности, в которой такие же и даже лучшие яблоки продавались по пол-лиярда, т. е. менее четырнадцати су за сотню. Эта разница цен в двух местностях одинакового климата поразила меня очень сильно и навела на мысль о том, что в промышленном механизме есть коренной недостаток; отсюда возникли те исследования, которые по прошествии четырех лет привели меня к открытию теории серий промышленных групп, а после того и законов всеобщего движения, не замеченных Ньютоном... Впоследствии я нашел, что можно насчитать четыре яблока, из которых два прославились причиненными ими несчастьями (яблоко Адама и яблоко Париса), а другие два сделались знамениты благодаря тому что обогатили науку. Не заслуживает ли особой страницы в истории эта четверка знаменитых яблок?» [3])

[1]) Ibid, S. 30, примечание.

[2]) Les manuscrits de Fourier, p. 14. Ср. также Oeuvres complètes, t. 4, Paris 1841, pp. 3, 4, 5.

[3]) Ibid, p. 17.

Это, кажется, уже и само по себе довольно выразительно. Но это еще не все. В теории Фурье случай играет еще более широкую роль, чем та, которую ему можно отвести на основании наивных мыслей о четырех яблоках: случаем определяется в этой теории все ис-торическое развитие человеческих взглядов и вся судьба человеческих предрассудков. Если люди так долго упорствовали в своем восхищении перед цивилизацией,— говорит Фурье,— то это произошло потому, что никто не последовал совету Бэкона и не сделал критического анализа пороков и недостатков каждой профессии [1]). А почему никто не последовал совету Бэкона? Очень просто: потому, что не произошло такого случая, который навел бы людей на мысль о том, что надо ему последовать. Нынешний порядок вещей, который сам есть лишь исключение из общего правила, лишь отклонение от истинной судьбы человечества, оказался гораздо более продолжительным, чем следовало, благодаря «легкомыслию софистов, позабывших, что им надо вдуматься в общие цели провидения (oublièrent de spéculer sur l'universalité de la Providence), отыскать тот свод законов, который оно должно было составить для человеческих отношений» [2]).

После этого читатель может сам судить, заключается ли в при-веденных нами выше словах Энгельса хоть капля преувеличения.

У других великих утопистов вера в историческое всемогущество случайности не так ярко выражена и, может быть, не так велика, как у Фурье. Но до какой степени она сильна даже у самого трезвого из них, у Роберта Оуэна, показывает тот простой факт, что он со своими социалистическими планами обращался *к сильным мира* сего, существенно заинтересованным в поддержании эксплуатации человека человеком. Такое обращение очень плохо согласовалось со всем учением Р. Оуэна об образовании человеческого характера. По прямому и ясному смыслу этого учения выходит, что сильные миру сего никоим образом не могут взять на себя инициативу устранения того самого общественного порядка, под влиянием которого складываются их собственные взгляды, и с существованием которого тесно связаны их насущнейшие интересы. И тем не менее Роберт Оуэн [3]) неустанно и заботливо, с помощью подробных расчетов, точ-

[1]) Oeuvres complètes, t. 4, p. 121.
[2]) Manuscrits de Fourier, p. 78.

[3]) См., например, его сочинение: A Development of the Principles and Plans on which to establish self-supporting Home-colonies, etc., London 1841, а также и особенно введение в его автобиографию: The life of Robert Owen written by himself. Vol. I, London 1857.

ных планов и прекрасных чертежей, объяснял европейским монархам, в чем состоит «рациональная» общественная система. В этом отношении он, как и все социалисты-утописты, был родным братом великих французских просветителей, у которых (главным образом у Гельвеция) он почти целиком заимствовал свое учение об образовании человеческого характера, и которые, подобно ему, с упорством, вполне достойным несравненно лучшей участи, объясняли коронованным «законодателям», как и чем может быть обеспечено счастье человечества. Они красноречиво громили «деспотов» и они же упорно возлагали свои упования на *просвещенный деспотизм.* Это противоречие било в глаза и, разумеется, не ускользнуло от их собственного внимания. Все они сознавали его — одни с большею, другие с меньшею ясностью и все они утешали себя *именно надеждой на случайность.* Вообразите, что у вас есть большая урна, в которой находится очень много черных шаров и два-три белых, и что вы вынимаете шар за шаром. Нечего и говорить, что в каждом отдельном случае у вас гораздо меньше шансов вынуть белый шар, нежели черный. Но, повторив эту операцию достаточное число раз, вы непременно вынете, наконец, и белый. То же самое и с коронованными «законодателями». В каждом отдельном случае гораздо больше шансов найти на престоле *плохого* «законодателя», чем *хорошего.* Но явится же, наконец, и хороший. Этот сделает все, что предписывает *«философия»,* и тогда восторжествует разум.

Так смотрели французские просветители, и этот, в сущности, глубоко пессимистический взгляд, *равносильный признанию полной беспомощности их «философии»,* находился в тесной причинной связи с их общим историческим воззрением. Известно, что даже те французские просветители XVIII столетия, которые были убежденными *материалистами,* держались *идеалистического взгляда на историю.* Коренной причиной исторического движения они считали развитие знаний и вообще умственное развитие человечества. И в этом отношении с ними совершенно сходились социалисты-утописты. Так, например, Р. Оуэн говорит, что царствующее в обществе зло порождается ошибочным взглядом людей на образование человеческого характера, а этот ошибочный взгляд с своей стороны обусловливается тем, что *люди не*

знают своей собственной природы Сообразно с этим и устранения общественного зла надо было ожидать един-

[1]) См. Neue Auffassung etc., S.S. 65-66; впрочем, эта мысль повторяется решительно во всех его сочинениях.

ственно от распространения между людьми правильного понимания их природы. Р. Оуэн был непоколебимо убежден в том, что такое понимание непременно распространится между ними. «Человек создан для того, чтобы приобрести знание посредством опыта и счастья, путем подчинения законам своей собственной природы»,— писал он за несколько месяцев до своей смерти [1]). Но ведь опыт и есть знание. Чем же обусловливается его более или менее быстрое накопление? Почему в течение одной исторической эпохи человечество приобретает огромные сокровища знания, а в течение другой, часто несравненно более продолжительной, оно прибавляет к их старому запасу лишь совершенно ничтожные крохи, а иногда теряет и самый запас? На этот вопрос, в высшей степени важный для научного объяснение исторических явлений, Оуэн не отвечал и не мог ответить. *На него вообще не отвечают и не могут ответить люди, держащиеся идеалистического взгляда на историю.* И это понятно. Чтобы ответить на него, им надо было бы объяснить. чем обусловливается умственное развитие человечества, т. е., стало быть, взглянуть на это развитие *не как на коренную причину исторического процесса, а как на следствие другой, глубже лежащей причины,* что было бы равносильно *признанию несостоятельности идеалистического понимания* истории. Тот, кто еще не пришел к такому признанию, непременно должен отводить случайности очень широкое место в своих объяснениях исторических событий и в своих соображениях о будущем. *Случайность* объясняет ему все то, чего он не может объяснить *сознательной деятельностью* исторических лиц. *Ссылка на нее представляет собою первый, бессознательный и невольный шаг к признанию того, что развитие человеческого сознания обусловливается причинами,*

от него независящими. Вот почему просветители XVIII столетия и социалисты-утописты так часто ссылались на случайность. «Четыре яблока» Фурье также смешны теперь, как и наполненная шарами «урна» французских просветителей. Но и «урна», и «яблоки» имели свое достаточное основание в особенностях идеалистического взгляда на историю, а политические и социальные реформаторы и революционеры, придерживавшиеся такого взгляда, должны были чаще других обывателей апеллировать и к «урне», и к «ябло-

[1]) См. чрезвычайно интересную его заметку, озаглавленную: On the absolute necessity, in the nature of things, for the attainment of Happiness, that the system of Falsehood and Evil should precede the system of Truth and Good, и приложении к первому тому его автобиографии, вышедшем в виде отдельной книги, стр. XXX — XXXIII.

кам», и еще к великому множеству всяких других неожиданностей. В самом деле, если исторический процесс *накопления* знаний обусловливается в последнем счете рядом случайных явлений, не имеющих необходимой связи с ходом общественной жизни и с развитием общественных отношений, то всякий отдельный вклад в общую сокровищницу знаний, каждое открытие, делаемое тем или другим мыслителем,— а в том числе и автором того или другого плана общественного переустройства,— неизбежно должно представляться подарком случайности. А если от случайности зависит *открытие* истины, то той же «колоссальной и презренной силе» подчинено и ее *распространение,* ее более или менее быстрое воплощение в общественную жизнь. Отсюда — удивляющие нас теперь заигрывания просветителей и социалистов-утопистов с сильными мира сего. *Практика* соответствовала у них *теории,* «искусство» — «науке».

Правда, у социалистов-утопистов уже замечается подчас сильное *недовольство теорией, унаследованной ими от просветителей,* стремление выйти из узкого круга *идеализма* и стать на более *реальную почву. Они стараются создать общественную науку.* Отсюда все их «открытия». Некоторые из этих открытий замечательны, в полном смысле этого слова.

Они проливали яркий свет на многие важнейшие стороны исторического процесса,— например, на роль борьбы классов в новейшей истории западноевропейских обществ [1]),— и тем подготовляли научное объяснение общественных явлений. Но они именно только *подготовляли* его. Исторический *идеализм,* на точке зрения которого стояли все социалисты первой половины девятнадцатого века, очень затруднял выработку научного взгляда на общественную жизнь. Научному объяснению поддаются только *закономерные* явления. Закономерность явлений предполагает *подчинение* их закону *необходимости,* а исторический идеализм рассматривает историческое движение почти исключительно как продукт *сознательной,* и следовательно, *свободной* деятельности людей. Пока не было устранено это противоречие, научное объяснение общественной жизни оставалось невозможным. А социалисты того времени не только не разрешали этого противоречия, но не умели даже формулировать его с надлежащей точностью. Ясное сознание и

точную формулировку его впервые дала немецкая философия в лице Шеллинга.

Шеллинг показал, что *свобода* человеческих действий не только *не исключает необходимости,* но, напротив, *предполагает* ее, как

[1]) См. наше предисловие к «Манифесту Коммунистической партии».

свое условие [1]). Эта глубокая мысль Шеллинга была основательно и подробно развита в сочинениях Гегеля. В переводе на обыкновенный язык она означает, что деятельность человека может быть рассматриваема *с двух сторон:* во-первых, он выступает перед нами, как *причина* тех или других общественных явлений. Поскольку он сознает себя такой причиной, постольку он полагает, что *от него зависит* вызвать эти общественные явления или не вызвать их. И постольку он считает свою деятельность *сознательной и свободной.* Но человек, выступающий перед нами в качестве причины данного общественного явления, может и должен быть рассматриваем с другой стороны, как *следствие* тех общественных явлений, которые своим влиянием определили склад его характера и направление его воли. Рассматриваемый *как следствие,* общественный человек не может считаться *свободным* деятелем, потому что *не от его воли зависели те обстоятельства, которые определяли собою ее движение.* Стало быть, теперь его деятельность представляется нам, как *подчиненная закону необходимости,* т. е. *закономерная* деятельность. Таким образом выходит, что *свобода* вовсе не исключает *необходимости.* Знание этой истины очень важно потому, что она — и только она — открывает нам путь к *научному объяснению* общественной жизни. Мы уже знаем, что научному объяснению поддаются только те явления, которые подчинены закону необходимости. Если бы общественный человек мог быть известен нам лишь как *причина* общественных явлений, то его деятельность была бы доступна нашему представлению лишь со стороны своей *свободы,* и потому она навсегда осталась бы недоступной для научного объяснения. Просветители XVIII и социалисты XIX столетий, в своих рассуждениях об истории, смотрели на общественного человека только как на *причину* общественных явлений. Это происходило потому, что они держались идеалистического взгляда на историю: кто видит в умственном развитии самую глубокую причину исторического движения, тот принимает в соображение только *сознательную* деятельность людей, а *сознательная* деятельность и есть та деятельность, которую мы называем свободной [2]).

Необходимость не исключает свободы. Мало того, сознательная и в этом смысле свободная деятельность людей возможна только

[1]) «System des Transzendentalen Idealismus», Tübingen 1800, S. 422 и след. Ср. Н. Бельтова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», стр. 105 и след.

[2]) «Необходимость, в ее противоположности свободе, есть именно бессознательное»,- справедливо говорит Шеллинг (l. cit., S. 424).

потому, что их действия необходимы. Это может показаться парадоксом, но это — безусловная истина. Если бы действия людей не были *«необходимы»,* то их невозможно было бы *предвидеть,* а там, где невозможно никакое предвидение, нет места и для свободной деятельности в смысле сознательного влияния на окружающую жизнь. Таким образом, *необходимость* оказывается *залогом свободы.*

Все это хорошо выяснили, еще великие немецкие идеалисты, и поскольку они в своих суждениях об общественной жизни держались той точки зрения, постольку они стояли на твердой почве *науки.* Но именно потому, что они были *идеалистами,* они не могли надлежащим образом воспользоваться своими собственными гениальными мыслями. Правда, их философский идеализм не был необходимо связан с *идеалистическим взглядом на историю.* Гегель замечает в своих «Чтениях по философии истории», что хотя, конечно, разум правит миром, но он правит им в том же самом смысле, в каком он управляет движением небесных светил, т. е. *в смысле законосообразности.* Небесные светила движутся по определенным законам, но движение их остается *бессознательным.* Так же совершается, по Гегелю, и историческое движение человечества; оно подчинено известным законам, но люди не знают этих законов, и потому можно сказать, что историческое движение *бессознательно.* Люди ошибаются, думая, что их идеи служат главным фактором исторического движения. Идеи всякой данной эпохи сами определяются характером этой эпохи. Притом же сова Минервы вылетает только ночью. Когда люди начинают вдумываться в свои собственные общественные отношения, тогда можно с уверенностью сказать, что эти отношения уже отжили свое время и готовятся уступить место новому общественному порядку,

[1]) «Я мог бы предвидеть их (поступки моих сограждан) только при том условии, если бы я мог рассматривать их, как и все другие явления окружающего меня мира, т. е. как *необходимые* следствия *определенных причин,* которые уже известны или могут быть известны мне. Иначе сказать, моя *свобода* не была бы пустым словом только в том случае, если бы ее *сознание* могло сопровождаться *пониманием причин,* вызывающих свободные поступки моих ближних, т. е. если бы я мог рассматривать эти поступки со стороны их *необходимости.* Совершенно то же могут сказать мои ближние и *о моих* поступках. А что это означает? Это означает, что *возможность свободной (сознательной) исторической деятельности всякого данного лица сводится к нулю в том случае, если в основе свободных человеческих поступков не лежит доступная пониманию деятеля необходимость».* (Н. Бельтов, «Монистический взгляд на историю», стр. 106).

истинный характер которого выяснится людям только тогда, когда и ему придет пора сойти со сцены [1]).

Эти рассуждения Гегеля очень далеки от той наивной мысли,— составляющей сущность идеалистического объяснения истории,— что историческое движение обусловливается в последнем счете развитием идей или, как выражались тогда французские просветители, что миром правит *«мнение».* В этих рассуждениях верно указывается по крайней мере то, *чем нельзя объяснить историческое движение.* Но в них нет, разумеется, и указания на их истинную причину. Да его и не могло в них быть. Если Гегель был далек от наивного исторического идеализма французских просветителей и социалистов-утопистов, то это нисколько не колебало идеалистической основы его системы, а эта основа не могла не помещать выработке вполне научного объяснения общественно-исторического процесса. По Гегелю, в основе всего мирового развития лежит развитие *абсолютной идеи.* Развитием этой идеи объясняется у него, в конце концов, и вся человеческая история. Но что такое эта абсолютная идея? Это,— как очень хорошо показал еще Фейербах [2]),— есть лишь олицетворенный процесс мышления. Выходит, что мировое развитие вообще и историческое развитие в частности объясняется законами человеческой мысли или, другими словами, что *история* объясняется *логикой.* До какой степени неудовлетворительно такое объяснение, можно видеть из сочинений самого же Гегеля. Историческое движение только тогда и становится у него понятным, когда оно объясняется не логикой, а развитием общественных и, преимущественно, экономических отношений. Так, когда он говорит, что Лакедемон пал главным образом вследствие *экономического неравенства,* то это объяснение очень понятно само по себе и вполне соответствует выводам новейшей исторической науки. Но абсолютная идея тут решительно не при чем, и когда Гегель обращается к ней для того, чтобы окончательно выяснить судьбу Греции и Лакедемона, то он ровно ничего не прибавляет к тому, что уже объяснено им указанием на экономику [3]).

Гегель охотно повторял, что *идеализм обнаруживает себя, как истина материализма.* Но его «Философия истории» доказывает как раз обратное. Из нее видно, что по крайней мере в применении к истории, *материализм должен быть признан истиной идеализма.*

[1]) Ср. Н. Бельтова, l. cit., стр. 101.

[2]) См. его «Grundsätze der Philosophie der Zukunft», § 23.

[3]) Подробнее см. об этом в нашей статье «Zu Hegel's sechzigstem Todestag», напечатанной в «Neue Zeit» за ноябрь 1891 года.

Чтобы окончательно проложить прямой и верный путь для научного объяснения общественно-исторического процесса, исследователи должны были распроститься со всеми разновидностями идеализма и перейти на материалистическую точку зрения. Это и было сделано Марксом и Энгельсом. Выработанное ими материалистическое понимание истории так характеризуется в предлагаемой брошюре:

«Материалистическое понимание истории зиждется на том положении, что производство и обмен продуктов служат основанием всякого общественного строя; что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ним и образование классов или сословий, зависит от того, как и что производится этим обществом и каким способом обмениваются произведенные продукты. Отсюда следует, что коренной причины социальных перемен и политических переворотов нужно искать не в головах людей, не в более или менее ясном понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способов производства и обмена; другими словами — не в философии, а в экономии данной эпохи. Пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений, убеждение в том, что Vernunft Unsinn, Wohltat Plage geworden (что безумством мудрость стала, злом — благое) служит лишь указанием на то, что в способах производства и обмена постепенно совершились изменения, настолько значительные, что им не соответствует более общественный порядок, выкроенный по мерке старых экономических условий. Из сказанного ясно, что и средства для устранения зла должны заключаться в более или менее развитом виде — в самих изменившихся условиях производства. Ум человеческий не может *изобрести* эти средства; он должен *открыть* их в данных материальных явлениях производства».

Если пробудившееся сознание неразумности и несправедливости существующих общественных отношений само является следствием общественно-экономического развития, то ясно, что и в сознательной деятельности людей, которая обусловливается их понятиями о разуме и справедливости, может быть найдена известная *законосообразность.* Так как эта их деятельность определяется в последнем счете развитием экономических отношений, то, выяснив себе направление экономического развития общества, мы тем самым получаем возможность предвидеть, в

какую сторону должна направиться сознательная деятельность его членов. Таким образом здесь, как у Шеллинга, *свобода* вытекает из *необходимости,* а необходимость превращается в свободу. Но между тем, как Шеллинг, вследствие идеа-

листического характера своей философии, не пошел дальше общих,— хотя и чрезвычайно глубоких,— соображений на этот счет, материалистическое понимание истории позволяет нам воспользоваться этими общими соображениями для исследования «живой жизни», для научного объяснения всей деятельности общественного человека.

Давая возможность взглянуть на *сознательную* деятельность общественного человека с точки зрения ее *необходимости,* материалистическое понимание истории тем самым прокладывает социализму путь для перехода на научную почву. В приведенных нами строках Энгельс говорит, что средства для устранения общественного зла не могут быть изобретены, т. е. *придуманы* каким-нибудь гениальным мыслителем, а должны быть *открыты* в изменившихся экономических отношениях данной эпохи. *В той самой мере, в какой возможно такое открытие, возможен и научный социализм.* Мы имеем, стало быть, очень определенный ответ на выдвинутый г. Бернштейном вопрос о возможности научного социализма. Правда, сам г. Бернштейн как будто даже и не подозревает существования подобного ответа. Но это только доказывает, что этот господин совсем не понял основы учения тех самых людей, последователем которых он называл себя в продолжение почти двадцати лет.

Придумать можно то, чего совсем нет; *открыть* можно только то, что *уже существует в действительности.* Что же значит поэтому *открыть* в экономической действительности средства для устранения современного зла? *Это значит показать, что само развитие этой действительности уже создало и создает экономическую основу будущего общественного порядка.*

Утопический социализм исходил из *отвлеченных принципов;* научный социализм берет за точку отправления объективный ход экономического развития буржуазного общества.

Если средства для устранения нынешнего общественного зла не могут быть *придуманы* на основании общих соображений о человеческой природе, а должны быть открыты в экономических условиях нашего времени, то ясно, что и открытие их не может быть *делом случая,* независимым от указанных условий. Нет, само это открытие оказывается *закономерным процессом, доступным научному изучению.*

Основное положение материалистического объяснения истории гласит, что *мышление* людей определяется их *бытием* или что в процессе исторического движения ход развития *идей* определяется в последнем счете ходом развития *экономических отношений.* Если это так, то ясно, что возникновение новых экономических отношений

необходимо должно вести за собою появление новых людей, соответствующих изменившимся условиям жизни, и если тому или другому гениальному человеку пришла в голову та или другая новая социально-политическая идея; если он *увидел,* например, несостоятельность *старого* общественного порядка и необходимость замены его *новым,* то это произошло не *«случайно»,*— как представляли себе это дело социалисты-утописты,— а в силу вполне понятной исторической необходимости. И точно так же *распространение* этой новой социально-политической идеи, ее *усвоение* сторонниками гениального человека вовсе не может считаться случайным: она распространяется потому, что соответствует новый экономическим условиям, и распространяется как раз в том классе или в том слое населения, который больше всех других испытывает невыгоды устарелого общественного порядка. Процесс распространения новой идеи оказывается тоже закономерным процессом. А так как за *распространением* идеи, соответствующей новым экономическим отношениям, должно рано или поздно последовать ее *осуществление,* т. е. устранение старого и торжество нового общественного порядка, то значит весь ход процесса общественного развития,— вся общественная *эволюция* с ее различными сторонами и со свойственными ей *революционными* моментами, — представляется теперь *под углом необходимости.* И тут перед нами ярко выступает главная черта, отличающая *научный* социализм от *утопического:* последователь научного социализма смотрит на осуществление своего идеала, как на дело исторической *необходимости,* между тем как утопист возлагал главные свои упования на *случайность.* Сообразно с этим изменяются и приемы социалистической пропаганды: утописты действовали *наудачу,* взывая сегодня к просвещенным монархам, завтра к предприимчивым и жадным до прибыли капиталистам, послезавтра к бескорыстным друзьям человечества [1]) и т. д. Сторонники научного социализма имеют стройную и после

[1]) Le seul baume à notre servitude, c'est, de temps en temps, un prince vertueux et éclairé; alors les malheureux oublient un moment leurs calamité''. Так рассуждал известный Гримм в XVIII веке (цитировано у Дюкро,— Les Encyclopédistes, Paris 1900, p. 160). Всякий видит, что упования Гримма и его единомышленников действительно приурочивались к случайности. Но мы уже знаем, что социалисты-утописты мало чем отличались в этом отношении от просветителей XVIII века. Правда, просветители уповали только на *монархов,* а социалисты-утописты ожидали чудес также и от доброй воли простых смертных из числа имущих. Эта разница объясняется изменившимися

общественными отношениями, но она не устраняет коренного сходства, обусловленного одинаковым взглядом на историю.

довательную программу, глубочайшую основу которой составляет Материалистическое понимание истории. Они не ожидают сочувствия социализму от всех классов общества, так как они знают, что способность данного класса сочувствовать данной революционной идее определяется его экономическим положением, и так как они видят, что изо всех классов современного общества только пролетариат находится в таком экономическом положении, которое роковым образом толкает его на революционную борьбу с существующим общественным порядком. Здесь, как и везде, они не удовлетворяются взглядом на деятельность общественного человека, как на *причину* общественных явлений, их взор проникает глубже и видит, что эта причина сама есть *следствие* экономического развития. Здесь, как и везде, они рассматривают *сознательную* деятельность людей, с точки зрения ее *необходимости.*

«Если бы мы не имели лучшего ручательства за предстоящий переворот в нынешнем способе распределения продуктов труда,— с его вопиющими противоположностями нищеты и роскоши, голода и расточительности,— кроме сознания того, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна же когда-нибудь восторжествовать, то наше дело было бы плохо, и нам пришлось бы ждать долго. Уже средневековые мистики, мечтавшие о тысячелетнем царстве, сознавали несправедливость классовых противоположностей. Томас Мюнцер громко высказал это сознание на пороге новейшей истории, триста пятьдесят лет тому назад. Тот же крик раздается и замирает во время буржуазной революции в Англии и во Франции. Чем же объясняется, что этот крик о необходимости устранения классовых различий, до 1830 года не встречавший отклика в работающей и страдающей массе, вызывает теперь тысячекратное эхо; что он передается из одной страны в другую и притом в той самой последовательности и с той самой интенсивностью, с которой развивается в этих странах крупная промышленность; что он в продолжение одного поколения вызвал к жизни такую могучую силу, которая может сопротивляться всем соединившимся против нее общественным силам и может быть уверена в победе? Тем, что современная крупная промышленность, с одной стороны, создала в лице пролетариата такой класс, который впервые в

истории может выставить требование уничтожения не той или иной отдельной классовой организации, а классов вообще, и который находится в таком положении, что непременно должен осуществить это требование под страхом падения до уровня китайских кули. С другой стороны, та же

крупная промышленность создала в лице буржуазии такой класс, который имеет монополию всех производительных и жизненных средств, но в каждом периоде спекуляционной горячки и следующего за ней краха показывает, что он уже стал неспособным господствовать над переросшими его власть производительными силами; класс, под руководством которого общество идет навстречу своему разрушению, как локомотив, с которым не может справиться машинист. Другими словами: тем, что как производительные силы, созданные современным капиталистическим способом производства, так и им же обусловленная система распределения благ пришли в жестокое противоречие с ним, и что поэтому в способе производства и распределения должен произойти переворот, если только современному обществу не предстоит окончательно погибнуть. Этот осязательный материальный факт, с непреодолимой необходимостью отражающийся в головах эксплуатируемых пролетариев в более или менее ясном виде, этот факт, а не представление того или другого кабинетного мыслителя о праве и о бесправии ручается за победу современного социализма» [1]).

Так говорил Энгельс в своем споре с Дюрингом. И в этих его словах резко сказывается уже хорошо знакомая нам отличительная черта научного социализма: взгляд на освободительное движение пролетариата, как на закономерный общественный процесс, убеждение в том, что только *необходимость* может обеспечить торжество *свободы* [2]).

Тэн говорит где-то, что совершенная наука с полной точностью воспроизводит *в понятиях* природу и последовательность *явлений. Такая* наука может делать безошибочные предсказания относительно каждого отдельного явления. И нет ничего легче, как

1) «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft», dritte Auflage S.S. 161-162.

[2]) Когда наш Белинский, в первый период своего увлечения Гегелем, решительно отказался на некоторое время от свободолюбивых стремлений, он тем самым дал поразительное и неопровержимое доказательство глубины своей теоретической мысли. Его отказ от свободолюбивых стремлений вызван был именно сознанием того, что торжество свободы может быть обеспечено лишь исторической необходимостью. Не видя в русской действительности никаких указаний на объективную неизбежность такого торжества, он отбрасывал всякую надежду на него, как *исторически несостоятельную.* Впоследствии он сам говорил о себе, что он не сумел «*развить идею отрицания».* Эта идея в ее применении к буржуазному обществу развита была основателями научного социализма.

показать, что общественная наука не обладает и не может обладать *такой* точностью. Но научный социализм никогда и не предъявлял претензий на такую точность. Когда его противники выдвигают против него то соображение, что *социологическое предвидение невозможно,* то они смешивают два очень различных понятия: понятие **о** направлении и об общих результатах данного общественного процесса с понятием об отдельных явлениях (событиях), из которых составится этот процесс. Социологическое предвидение отличается и всегда будет отличаться очень малой точностью **во** всем том, что касается предсказания отдельных событий, между тем как оно обладает уже значительной точностью там, где надо определить общий характер и направление общественных процессов. Возьмем пример. Статистика показывает, что цифра смертности колеблется в зависимости от времен года. Зная ее колебания в данной стране или в данном месте, не трудно предсказать, в какой мере увеличится или уменьшится число смертных случаев при переходе из одного времени года в другое. Тут речь идет об общем характере и **о** направлении данного общественного процесса, и тут возможно очень точное предсказание. Но если бы мы пожелали узнать, в каких именно отдельных явлениях выразится, скажем, увеличение смертности с наступлением осени; если бы мы поставили себе вопрос о том, *какие именно* лица не переживут осеннего времени и *каковы именно будут конкретные обстоятельства,* сопровождающие смерть этих лиц, то на этот вопрос мы не дождались бы ответа от общественной науки, и если мы все-таки стали бы добиваться его решения, то нам пришлось бы обратиться к какому-нибудь магу или предсказателю. Другой пример. Вообразите, что в парламенте данной страны находятся представители от крупных землевладельцев, доход которых сильно понижается вследствие конкуренции соседних стран; от промышленных предпринимателей, сбывающих свои товары именно в этих соседних странах, и, наконец, от пролетариев, живущих лишь продажей своей рабочей силы. В составленный, таким образом, парламент вносится предложение обложить высокой пошлиной хлеб, ввозимый из-за границы. Как вы думаете, может ли социолог *предсказать,* как встретят это предложение парламентские представители различных общественных классов? Мы думаем, что в этом случае социолог,— и не только социолог, человек

науки, а всякий тот, кто не лишен некоторого политического опыта и здравого смысла,— имеет полную возможность сделать *безошибочное предсказание:* «Представители землевладельцев — скажет он — будут всеми силами поддерживать указанное предложение; представители

пролетариата будут отвергать его столь же энергично, и в этом отношении от них не отстанут представители предпринимателей, если только представители землевладения не купят их согласия какой-нибудь серьезной экономической уступкой в какой-нибудь другой области». Это предсказание будет сделано на основании анализа экономических интересов различных общественных классов и оно действительно будет иметь,— по крайней мере там, где оно относится к землевладельцам и к пролетариям,— определенность и точность математического вывода. Далее,— зная число голосов, каким располагает в парламенте каждый из представленных в нем классов, наш социолог легко и безошибочно предскажет судьбу интересующего нас предложения. Здесь его предсказание опять может иметь очень большую степень точности и достоверности. Но если вы, не довольствуясь знанием общего характера и направления данного общественного процесса,— процесса борьбы, вызванной данным предложением,— захотите наперед определить, кто именно возьмет слово по поводу этого законопроекта и какие именно парламентские сцены будут вызваны речами будущих ораторов, то социолог ответит вам уже не *научным предвидением,* а более или менее остроумными догадками, и если вам будет мало, то вам опять придется взяться за магию. Третий пример. Если вы возьмете сочинения великих французских просветителей XVIII века,— скажем, хоть Гольбаха,— то вы найдете в них *всю социальную программу великой французской революции.* Но вы не встретите в них ни одного предсказания относительно тех исторических событий, из которых составился впоследствии процесс осуществления требований, выставленных французскими просветителями во имя всего третьего сословия. Откуда эта разница? Понятно,— откуда; иное дело характер и направление данного общественного процесса, а иное дело те отдельные события, из совокупности которых он составится. Если я понял его характер и направление, то я могу предсказать его *исход;* но как бы ни было глубоко мое понимание этого процесса, оно не даст мне возможности предсказывать отдельные события в их индивидуальности. Когда говорят, что социологическое предвидение невозможно или, по крайней мере, чрезвычайно затруднительно, то почти всегда имеют в виду невозможность или трудность предвидения отдельных событий, совершенно забывая о том, что такое предвидение

вовсе и не есть дело социологии. Социологическое предвидение имеет своим предметом не отдельные события, *а общие результаты того общественного процесса, который,* как, например, процесс развития буржуазного общества, *уже совершается в данное*

время. Что эти общие результаты могут быть определены заранее это хорошо показывает вышеприведенный пример французской революции, вся социальная программа которой была формулирована, как мы сказали, передовыми литературными представителями буржуазии

Научный социализм говорит, *во-первых,* что торжество социалистических идеалов предполагает, *как свое необходимое условие,* известий, независящий от воли социалистов, ход экономического развития буржуазного общества; *во-вторых,* что это необходимое условие *находится теперь налицо л* обусловливается характером свойственных этому обществу производственных отношений; *в третьих,* что само распространение социалистических идеалов в рабочем классе современных капиталистических стран вызывается экономическим строем и развитием этих стран. Такова общая мысль научного социализма. И эта общая мысль нимало не опровергается тем вполне правильным соображением, что социология никогда не будет наукой совершенной в вышеуказанном смысле этого слова. Ну и пусть ее не будет! Что же из этого? Хотя социология и не совершенная наука, а общая мысль научного социализма все-таки неоспорима, а потому и сомнение *в возможности* такого социализма все-таки неосновательно.

В спорах о возможности научного социализма теоретики буржуазии и «критики» Маркса нередко выдвигают еще следующий довод. «Если возможен научный *социализм,*— говорят они,— то стало быть возможна и *буржуазная* общественная наука, а это — противоречивая бессмыслица, потому что наука не может быть ни социалистической, ни буржуазной. Наука — одна, *буржуазная* политическая экономия также немыслима, как и социалистическая математика».

Этот довод тоже основывается на смешении понятий. Математика не может быть ни социалистической, ни буржуазной; это верно; но что верно в применении к математике, то ошибочно в применении к общественной науке.

Чему равняется сумма квадратов катетов? Квадрату гипотенузы. Так ли это? Так. Всегда ли это так? Всегда так; отношение квад-

[1]) В своей недавно вышедшей книге: «Les classes sociales, analyse de la vie sociale», парижский профессор Боэр (Bauer) высказывает аналогичный, взгляд на социологическое предвидение. Его книга интересна во многих отношениях. Жаль только, что почтенный профессор очень плохо знаком с историей развиваемого им взгляда. Ему, по-видимому, и в голову не приходит, что в числе своих «предшественников» он должен считать философов Шеллинга и Гегеля и социалистов Маркса и Энгельса.

рата гипотенузы к сумме квадратов катетов *не может измениться, потому что свойства математических фигур неизменны.* А что мы видим в социологии? Остается ли неизменным предмет *ее* исследования? Нет, не остается. Предметом социологического исследования является *общество,* а общество *развивается* и, следовательно, *изменяется.* Вот этим-то *изменением,* этим *развитием* и создается возможность *буржуазной* общественной науки, равно как и научного *социализма.* Общество проходит в своем развитии *известные фазы, которым соответствуют известные фазы развития общественной науки.* То, что мы называем, например, *буржуазной* экономией, есть одна фаза развития экономической науки, то, что мы называем *социалистической* экономией, есть другая фаза ее развития, непосредственно следующая за нею. Что же тут удивительного? Где же тут противоречивая бессмыслица?

Было бы очень ошибочно думать, что буржуазная экономия состоит из одних заблуждений. Вовсе нет! Поскольку буржуазная экономия *соответствует* определенной фазе общественного развития, постольку она заключает в себе *научную истину* [1]). Но эта истина *относительна* именно потому, что она соответствует *только известному фазису общественного развития.* А теоретики буржуазии, воображающие, что общество навсегда должно остаться в своей буржуазной фазе, приписывают своим относительным истинам *абсолютное значение.* В этом и заключается их коренная ошибка, исправляемая научным социализмом, появление которого свидетельствует о том, что буржуазная эпоха общественного развития приближается к своему концу. Научный социализм, это — та самая сова Минервы, **о** которой говорит Гегель и которая, по его словам, вылетает только тогда, когда закатывается солнце данного общественного порядка. Еще раз, где же тут противоречие? Где бессмыслица? Тут не только нет ни противоречия, ни бессмыслицы, но тут впервые получается возможность *взглянуть на самый процесс развития науки, как на процесс закономерный.*

Но как бы там ни было, а главная отличительная черта научного социализма определилась для нас теперь с полною ясностью. Его сторонники не довольствуются *надеждой* на то, что социали-

[1]) И вот почему классовая буржуазная точка зрения исследователей не только не мешала в *свое время* прогрессу науки, *но была его необходимым условием.* В

предисловии к «Манифесту Коммунистической партии» мы показали это на примере французских буржуазных историков времен Реставрации.

стические идеалы благодаря своему возвышенному характеру привлекут к себе всеобщую симпатию и потому восторжествуют. Нет, им нужна *уверенность* в том, что самое это привлечение всеобщей симпатии социалистическими идеалами есть *необходимый общественный процесс,* и эту уверенность они черпают из анализа современных экономических отношений и хода их развития [1]). Защитники существующего общественного порядка очень хорошо чувствуют, хотя и не всегда ясно сознают, что эта главная отличительная черта составляет и главную силу социалистической теории. Поэтому их «критика» направляется именно в эту сторону. Они начинают обыкновенно с рассуждений о том, что нельзя видеть в экономике главную пружину общественного развития, так как человек состоит не из одного желудка и так как у него есть душа, сердце и другие нетленные сокровища. Но эти сантиментальные рассуждения, свидетельствующие о полной неспособности нынешних теоретиков буржуазии понять, в чем заключается главнейшая основная задача общественной науки, играют у них роль вспомогательного отряда. Главные же силы их аргументации сосредоточиваются на вопросе о направлении современного экономического развития. Здесь они стараются опровергнуть одно за другим все положения научного социализма [2]). И хотя их старания ни к чему не приводят, но они постоянно возобновляют свои нападения и не могут не возобновлять их, так как здесь речь идет о самом существовании дорогого им общественного порядка. Они сознают, что если экономическое развитие в самом деле идет так, как говорят последователи научного социализма, то социальная революция *неизбежна.* А это сознание *равносильно признанию возможности научного социализма.*

Мы указали одну отличительную черту научного социализма. В

[1]) Некоторые писатели, например, Штаммлер, замечают, что если торжество социализма есть историческая необходимость, то практическая деятельность социал-демократии *совершенно излишня.* Зачем содействовать возникновению такого явления, которое и так непременно наступит? Но это жалкий и смешной софизм. Рассматривая историческое развитие с точки зрения необходимости, социальная демократия и на свою собственную деятельность смотрит как на *необходимое звено* в цепи тех *необходимых условий,* совокупность которых делает неизбежным торжество социализма. *Необходимое* звено не может быть *излишним:* его устранение разорвало бы всю цепь событий. Логическая слабость этого софизма ясна для того, кто понял сказанное нами выше о свободе и необходимости.

[2]) Об этом см. нашу статью «*Критики наших критиков*», напечатанную во 2-3-й книжке «*Зари*».

своем споре с Дюрингом Энгельс указывает другую. Он говорит, что этот социализм получил свое начало лишь со времени открытия природы и происхождения *прибавочной ценности,* и что весь он *«группируется»* вокруг этого открытия. Так как целью социалистического движения является устранение эксплуатации одного общественного класса другим, пролетариата буржуазией, то *научный* социализм стал возможен только с тех пор, когда науке удалось определить природу классовой эксплуатации вообще, а в частности тот вид, который она принимает в нынешнем обществе. Пока это не было сделано, социализм не мог выйти из области более или менее смутных стремлений, и в его критике существующего порядка вещем недоставало главного: понимания того, где находится экономический центр тяжести этого порядка. Открытие прибавочной ценности дало ему такое понимание. Как велико значение этого открытия, показывает уже одно то обстоятельство, что защитники существующего порядка вещей всеми силами стараются опровергнуть его истинность. Теория предельной полезности встречает теперь чрезвычайно радушный прием со стороны буржуазных экономистов именно потому, что она покрывает густым туманом вопрос об эксплуатации работника капиталистом и даже делает весьма сомнительным самый факт такой эксплуатации.

Но как ни важно было открытие прибавочной ценности в истории социализма, научный социализм все-таки оставался бы невозможным, если бы устранение буржуазных производственных отношений, а следовательно, и эксплуатации пролетариата буржуазией, не было понято, как историческая необходимость, обусловливаемая всем ходом современного экономического развития.

Еще два слова. В одном из приложений к этой брошюре печатается в этом издании, как и в предыдущих, три главы из знаменитой книги «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft», посвященные критике дюринговой «теории насилия». В этих главах содержится, между прочим, очерк истории военного искусства в цивилизованных государствах нового времени, а также анализ причинной

[1]) Когда вышел английский перевод книги Бём-Баверка «Positive Theorie des Kapitals», крупнейший орган английской буржуазии «The Times» приветствовал его, как «лучшее противоядие против теории эксплуатации» (Exploitation theories of the Marxist school). Буржуазный общественный порядок клонится к упадку. Параллельно с этим

совершается и падение буржуазной науки. Защищая буржуазные общественные отношения, теоретики буржуазии понижаются до уровня софистов низшей пробы.

связи развития этого искусства с экономическим развитием общества. Людям, склонным к эклектизму, эти главы могут показаться «односторонними». «Нельзя же все объяснить экономией», скажут такие люди. Поэтому мы считаем полезным обратить их внимание на одну книгу, обязанную своим происхождением *специалистам военного дела* и озаглавленную: «Les maîtres de la guerre. Frédéric II—Napoléon—Moltke. Essai critique d'après des travaux inédits de M. général Bonnal par le lieut-colonel Rousset, professeur à l'école supérieure de la guerre». Эта интересная книга посвящена тому же самому предмету, какой рассматривается Энгельсом в указанных главах, и она приходит почти совершенно к тем же выводам. «Социальное состояние каждой данной исторической эпохи,— читаем мы в ней на странице 4-й,— имеет преобладающее влияние не только на военный организм нации, но еще и на характер, на способности и на стремление военных людей. Обыкновенные генералы пользуются обычными методами, употребляют в дело обычные средства и побеждают или терпят поражение, смотря по тому, благоприятны или неблагоприятны для них внешние обстоятельства... Что же касается великих полководцев, то они подчиняют своему гению средства и приемы борьбы или, точнее, они, руководствуясь чем-то вроде инстинктивной догадки, преобразуют и средства, и приемы сообразно параллельным законам социальной эволюции, решительное влияние которой на технику военного искусства оценивается ими одними». Это очень недалеко от материалистического объяснения истории, хотя автор цитируемой книги наверное не имеет о нем ни малейшего понятия: ведь если развитие военного искусства определяется социальным развитием, а социальное развитие — экономическим, то выходит, что техника военного дела и даже не одна только эта техника, но также «характер, способности и стремления военных людей» обусловливаются в последнем счете экономическим развитием. И этот вывод, поражающий своей «односторонностью», многих и многих «интеллигентов» всяких национальностей, вряд ли испугал бы нашего военного автора, который, признавая, что развитие военной техники обусловливается социальным развитием, признает в то же время, что это развитие в свою очередь обусловливается «прогрессом наук, искусств и промышленности» (стр. 2). Если он не лишен способности к

последовательному мышлению,— а он, по-видимому, вовсе не лишен ее,— то ему очень легко было бы понять ту историческую теорию, по которой *социальное* развитие совершается на основе *экономического,* а экономическое определяется *ходом развития произво-*

Исторический очерк военного искусства, сделанный тем же автором на основании неизданных работ генерала Бонналя, чрезвычайно напоминает тот очерк, который мы находим у Энгельса. Местами сходство так велико, что можно было бы предположить заимствование, если бы самая мысль о нем не исключалась очень простым хронологическим соображением: Анти-Дюринг Энгельса вышел за 23 года до появления книги подполковника Руссэ. Почти столь же несостоятельно было бы и обратное предположение о том, что Руссэ (или генерал Бонналь) заимствовал у Энгельса: можно поручиться, что сочинения великого немецкого социалиста совершенно неизвестны этим ученым французским офицерам. Дело объясняется очень просто тем, что Энгельс был хорошим знатоком военного дела и последовательным мыслителем, умевшим приложить основные положения своей исторической теории к изучению самых различных сторон общественной жизни. Руководимый этими основными положениями, он ясно увидел то, что, по словам подполковника Руссэ, видели лишь гениальные полководцы: решительное влияние социальной эволюции на технику войны. Этот частный случай убедительно показывает, что, будучи правильно понято, материалистическое объяснение истории не только не ведет к *«односторонности»,* но как нельзя более расширяет и обостряет взгляд исследователя.

Хотели мы было поговорить здесь еще *о диалектике в ее отношении к логике так называемого здравого смысла.* Но недостаток места вынуждает нас отложить это намерение до другого, более удобного, времени.

Июль 1902 года.

СТАТЬИ ПРОТИВ К. ШМИДТА

Конрад Шмидт против Карда Маркса и Фридриха Энгельса.

Читателю известно, что Эдуард Бернштейн «до известной степени» возвращается к Канту и что его возвращение вызвано было «до известной степени» влиянием Конрада Шмидта. Каковы же философские взгляды этого последнего?

Г. Конрад Шмидт изложил эти свои взгляды: 1) в статье, озаглавленной: «Ein neues Buch über die materialistische Geschichtsauffassung», *л* появившейся в берлинском «Akademiker» 1896 г. (июль и август); 2) в статье, посвященной книге Кроненберга: «Kant, sein Leben und seine Lehre». Эта вторая статья была напечатана в третьем приложении к берлинской же газете «Vorwärts» от 17 октября 1897 г. Эти две статьи мы и будем иметь здесь в виду. Если верить Конраду Шмидту, то Маркс и Энгельс объявили «теоретико-познавательный идеализм» опровергнутым в такое время, когда он вовсе еще не был опровергнут. Под теоретико-познавательным идеализмом надо понимать идеализм Канта; это разумеется само собою, впрочем г. Конрад Шмидт категорически заявляет это. Он говорит: «не диалектически-эволюционистическая... метафизика Гегеля, а «Критика чистого разума» Канта является представительницей идеализма».

Маркс и Энгельс в самом деле были противниками Кантова учения и были таковыми вот на каком основании.

В своем замечательном сочинении «Ludwig Feuerbach» Энгельс говорит, что учение Канта о непознаваемости вещей в себе было опровергнуто уже Гегелем, а после него, хотя и не с такой глубиной, Фейербахом. К этому он прибавляет: «А лучше всего разбиваются эти философские измышления самой практикой, т. е. опытом **и** промышленностью. Мы можем доказать правильность нашего понимания

данного явления природы тем, что мы сами его вызываем, порождаем его из его условий и заставляем служить нашим целям. Таким образом кантовской вещи «самой в себе» приходит конец.

В предисловии к английскому переводу своего сочинения «От утопии к науке» *Энгельс* аргументирует таким же образом, *критикуя агностицизм.*

«Наш агностик признает,— говорит он там,— что все наше знание основывается на тех впечатлениях, которые мы получаем через посредство наших чувств. Но,— спрашивает агностик,— откуда знаем мы, что наши чувства доставляют нам правильное изображение воспринимаемых ими вещей? И в ответ на этот вопрос он сообщает нам, что когда он говорит о вещах или об их свойствах, то на самом деле он понимает под этим не самые эти вещи и их свойства: он ничего не может знать о них с точностью, он знает только те впечатления, которые они производят на наши внешние чувства. Это, конечно, такой взгляд, с которым трудно справиться с помощью простой аргументации. Но прежде, чем люди стали аргументировать, они действовали. «Вначале было дело». И человеческая деятельность устранила эту трудность прежде, чем ее придумало человеческое мудрствование. «The proof of the pudding is in the eating». Раз мы употребляем эти вещи сообразно тем свойствам, которые открывают в них наши внешние чувства, то мы тем самым подвергаем непогрешимой проверке правильность наших чувственных восприятий. Если эти восприятия неправильны, то должны быть ошибочны и наши суждения о годности данной вещи для данного употребления, и потому наша попытка воспользоваться этой вещью для наших целей должна окончиться неудачей. Если же мы достигаем нашей цели, если мы находим, что вещь соответствует нашему представлению о ней; если она оказывается годной для того употребления, к которому мы ее предназначаем, то это служит положительным доказательством того, что в этих границах наши представления о вещи и об ее свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью».

Итак, «the proof of the pudding i**s** in the eating». Таков главный довод, воздвигаемый Энгельсом против учения Канта и против агностицизма.

Маркс придерживался в сущности той же самой аргументации, когда писал в 1845 году во второй тезе о Фейербахе: «Вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности, вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать челочек истину своего мышления, т. е. доказать, что она имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явлений».

Но г. Конрад Шмидт считает эту аргументацию до последней степени слабой.

«Это то же самое,— пишет он,— как если бы мы сказали: тот

факт, что во внешней природе мы находим связь и законообразность и, благодаря этому, можем целесообразно воздействовать на природу, этот факт с совершенной ясностью доказывает, что наше познание природы есть познание того, что существует в действительности; нам нет никакой надобности научно анализировать и опровергать сомнения, выдвигаемые на этот счет идеализмом, мы можем просто оставить его в стороне, как пустое измышление».

В другом месте он выражается следующим образом: «ни Фейербах, ни Маркс и Энгельс, испытавшие на себе его влияние, не вошли в рассмотрение основного вопроса, не схватили быка за рога».

Доктор Конрад Шмидт мог сказать это единственно потому, что он сам не понял, в чем заключается основной вопрос *кантовского* идеализма, т. е. единственно потому, что он сам не сумел схватить быка за рога.

Я постараюсь ему объяснить это дело с возможно большей простотою.

Что такое явление? Это — состояние нашего сознания, вызываемое действием на нас вещей самих в себе. Так говорит Кант. Из этого определения следует, что предусмотреть данное явление значит предусмотреть то действие, которое окажет на наше сознание вещь сама в себе. Теперь спрашивается: можем ли мы предусматривать некоторые явления? Ответ: конечно, можем. Нам ручается за это наша *наука* и наша *технология.* Но ведь это именно означает, что мы можем предусмотреть действия, которые будут произведены на нас названными вещами. Если же мы предусматриваем *некоторые действия* на нас вещей самих в себе, то это значит, что нам известны *некоторые их свойства.* А если нам известны некоторые свойства вещей самих в себе, то мы не имеем права называть эти вещи *непознаваемыми.* Это *«измышление»* Канта падает, разбиваемое логикой его собственного учения. Вот что хотел сказать Энгельс своим пудингом.

Его доказательство так же ясно и неопровержимо, как доказательство математической теоремы. Теоретическая позиция Маркса и Энгельса неприступна [1]). Да доктор Шмидт вовсе и не пытается

[1]) Этим я вовсе не хочу сказать, что Маркс и Энгельс были первыми, выдвинувшими против Канта это доказательство. В сущности, его можно найти уже у Якоби. Но это для меня здесь не важно. Мне только нужно показать, что Маркс и Энгельс *критиковали кантианизм,* а не «уклонялись *от его рассмотрения»,* как это утверждает доктор К. Шмидт.

взять ее. Он довольствуется тем замечанием, что воздвигнуть такую позицию — значит не опровергнуть идеализм, а уклониться от его рассмотрения. Я предоставляю читателю судить о том, кто *«уклоняется»* от рассмотрения спорного предмета — Маркс и Энгельс, или же г. Конрад Шмидт.

Меня спросят, пожалуй, но *где же Кант сказал,* что *явление есть продукт действия на нас вещей самих в себе?* Ответ дает следующее место из *«Пролегомен».*

«Идеализм состоит в том утверждении, что нет никаких других существ, кроме мыслящих; согласно этому, прочие вещи, воспринимаемые нами, были бы только представлениями мыслящих существ, представлениями, которым не соответствовали бы никакие предметы вне этих существ. Напротив, я утверждаю: вещи даны нам, как вне нас находящиеся предметы наших внешних чувств; однако, о том, каковы эти вещи могут быть сами по себе, мы ничего не знаем; нам известны только явления, т. е. те представления, которые они вызывают в нас, действуя на наши внешние чувства. Значит, я во всяком случае признаю, что вне нас существуют тела, т. е. вещи, совершенно неизвестные нам сами по себе, но которые мы знаем по представлениям, вызываемым в нас их действиями на наши внешние чувства, и которые мы обозначаем словом «тело» — словом, относящимся, стало быть, к явлению этого неизвестного нам, но тем не менее существующего предмета. Можно ли назвать это идеализмом? *Это прямая противоположность ему»* [1]).

Никакое сомнение невозможно относительно сказанного здесь Кантом, а пока оно останется невозможным, останутся неопровержимыми и те возражения, которые сделаны были Марксом и Энгельсом против мнимой непознаваемости вещей самих в себе. Познать эти вещи через посредство тех представлений, которые они в нас вызывают, ведь это и значит познать их! «Догматики»-материалисты никогда не утверждали, что для познания вещей самих в себе у нас есть какие-нибудь другие средства, кроме действия, производимого ими на наши внешние чувства. Мы достаточно показали это в нашей статье: *«Бернштейн и материализм».* Бесполезно повторять здесь приведенные там цитаты, но не

мешает привести здесь еще два кратких заявления двух известных материалистов.

Гольбах говорит: «Как бы ни действовало на нас данное тело.

[1]) «Prolegomena», herausgegeben von J. H. von Kirchman. Heidelberg 1882 г. 39-40.

мы приходим к его познанию только благодаря тем изменениям, которые оно в нас вызывает».

В «Abrégé des Systèmes» Ламеттри мы встречаем интересные замечания о том, что мы можем познать только некоторые *«совершенно относительные»* свойства «внешних» вещей и что большая часть наших ощущений и представлений до такой степени зависит от наших органов, что немедленно изменяется вслед за изменениями, совершающимися в этих последних.

Надо помнить, что слово «познать», вообще, не имеет никакого другого смысла. *Узнать данную вещь именно и значит узнать ее свойства.* А что такое свойство вещи? Это именно тот способ, которым она действует на нас *посредственно или непосредственно* [1]).

Сказать, что вещи сами в себе для нас непознаваемы, а что мы знаем только впечатления, ими на нас производимые, это то же, что сказать: если мы отвлечемся от действия на нас вещей самих по себе, то мы не в состоянии будем представить себе, каким образом они могли бы на нас действовать. Если материалисты восемнадцатого века говорили, что мы знаем только внешность, *«скорлупу»* вещей, то они говорили в сущности именно то, что сказано мной в предыдущей фразе. А это — неправильная мысль, и материалисты, ее высказывавшие, в сущности, хотя и не сознавая этого, изменяли своей собственной теории познания. Несравненно лучше выразился Гете, сказавший:

Nichts ist innen, Nichts ist draußen,
Denn was innen, das ist aussen!

Это истинно материалистический взгляд на интересующий нас предмет.

Далее. Вещи в себе действуют на нас; Кант признает это. Действовать на предмет — значит иметь некоторое отношение к нему. Стало быть, если мы знаем — по крайней мере отчасти — действие на нас вещей, то мы знаем — по крайней мере отчасти — и те отношения, которые существуют между нами и ими. Но если мы знаем эти отношения, то нам известны также — *через посредство наших восприя-*

[1]) «Невозможно узнать о вещи больше того, что может быть умозаключено на основании тех явлений, в которых она участвует» Pristeley «A free discussion on the principles of materialism. London 1778, 20. Определение *вещи, субстанции или сущности* (называйте как хотите) может состоять только в перечислении ее известных нам свойств... Если мы отнимем все известные нам свойства, то не останется ничего, о чем можно было бы иметь представление».

[2]) Там же, стр. 46.

тий — и отношения, существующие между вещами самими в себе. Это, конечно, не «непосредственно» познание, но это все-таки познание, и если оно у нас есть, то мы не имеем ни малейшего права утверждать, что те отношения, которые существуют между вещами самими по себе, недоступны для нашего познания.

Вещи действуют на наши внешние чувства и вызывают в нас известные ощущения: Кант признает это. *А ведь это значит, что вещи причиняют нам ощущения.* Но тот же самый Кант говорит, что *категория причинности,* разно как и все прочие категории, неприменима к вещам самим в себе. Тут он противоречит себе самым очевидным образом.
Так же сильно противоречит он себе и в вопросе *о времени.*

Вещи в себе могут действовать на нас, очевидно, только во времени; а между тем Кант считает время лишь субъективной формой нашего созерцания.

В учении Канта есть еще и другие противоречия; мы не коснемся их здесь. Сказанное нами выше достаточно показывает, что названное учение останется противоречивым до тех пор, пока мы будем признавать, в полном согласии с тем, что говорит сам Кант в своих *«Пролегоменах»* — что вещи в себе служат *причиной* наших ощущений.

Некоторые сторонники кантианизма заметили это противоречие и пытались устранить его. Так, например, доктор Лассвиц в своей книге: «Die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit», Berlin 1883, говорит: «вполне справедливо, что для вещей самих в себе нет ни времени, ни причинности, и именно это показал Кант. Но кто же утверждал, что вещи в себе служат причиной наших ощущений? (Мы видели, что утверждал это сам Кант — *Г. П.*). Это ошибочное истолкование учения Канта часто встречается даже у философов. Постоянно повторяют, что вещи в себе, аффицируя наше сознание, вызывают наши ощущения, а между тем ясно, что просто Noumenon, как нечто противоположное реально существующему, не может оказывать никакого действия. Вещи в себе могут быть чем им угодно, для нашего опыта это совершенно безразлично. Опыт возникает благодаря взаимодействию между рассудком и чувственностью, и вещь в себе всегда есть не более, как неясное представление нашего рассудка о своих

собственных границах; на характер нашего опыта эта вещь так же мало влияет, как мое отражение в зеркале на движение моего тела».

Чтобы спасти кантианизм, г. Лассвиц вступает в решительное

противоречие с самим Кантом, объявляя несуществующим и невозможным совершенно недвусмысленное заявление этого последнего. Странный прием! Как мог прибегнуть к нему г. Лассвиц?

Он мог прибегнуть к нему только потому, что, противореча Канту, он мог в то же самое время опереться на самого Канта.

Мы уже сказали, что Кант нередко противоречит сам себе. Вот, например, что читаем мы в его *«Критике чистого разума»:*

«Рассудок ограничивает... чувственность, не расширяя при этом своего собственного поля; он предостерегает ее от претензий считать себя простирающейся до вещей самих в себе, между тем как она простирается только до явлений: таким образом он мыслит предмет в себе, но только как трансцендентальный объект, который служит причиною явления (стало быть, сам не есть явление) и не может быть мыслим ни как величина, ни как реальность, ни как субстанция **и** т. д. (потому что эти понятия всегда требуют чувственных форм, **в** которых они определяют предмет). Следовательно, об этом объекте совершенно неизвестно, находится ли он в нас или вне нас... Если мы захотим назвать этот объект Noumenon, потому что в представлении о нем нет чувственных элементов, то мы будем иметь на это полное право. Но так как мы не можем применить к нему ни одно **из** понятий рассудка, то это представление остается для нас совершенно пустым и служит только для того, чтобы обозначать границы нашего познания [1]).

Трансцендентальный объект есть причина явлений; но мы не можем применить к нему ни одно из наших понятий рассудка, т. е., стало быть, к нему неприменима также и категория *причинности. Тут* очевидное противоречие; но мы не будем пока заниматься этим противоречием. Неоспоримо то, что говорится у него в сделанной нами выше длинной выписке из *«Пролегомен».* Что же это значит? Разве в *«Пролегоменах» Кант стоит на другой точке зрения,* чем в *«Критике чистого разума».*

И да, и нет. Точка зрения «Критики чистого разума» не всегда оставалась одинаковой. В первом издании этого сочинения Кант склонялся ко взгляду на вещь в себе, как на *предельное понятие,* которому ничто не соответствует вне нашего сознания, или,— чтобы выра-

зиться точнее,— Кант очень скептично относился к существованию вещей вне нашего сознания. Его точка зрения была точкой

[1]) «Kritik der reinen Vernunft», herausgegeben von Dr. K. Kehrbach. Reclam, Zweite Auflage. S. 255.

зрения *скептического идеализма.* Так как его противники упрекнули его в этом, то он написал в своих *«Пролегоменах»* вышеприведенное мною место и попытался переработать в *«реалистическом»* смысле *второе* издание своей *«Критики».* В подтверждение этого достаточно сослаться на его предисловие к этому изданию и на его *«опровержение идеализма».* Однако, ему плохо удалась эта переработка. Точка зрения первого издания сквозит во многих местах второго, и даже самое опровержение идеализма могло бы быть истолковано в смысле, противоположном тому, что сказано в *«Пролегоменах».* Благодаря этому обстоятельству, доктор Лассвиц и мог противоречить Канту, опираясь на самого Канта.

Это неоспоримо. Но также неоспоримо и то, что, несмотря на свои многочисленные противоречия, Кант со времени опубликования своих *«Пролегомен»,* т. е. с 1783 года, восставал против идеалистического истолкования своего учения. Мы просим читателя запомнить этот факт, он очень важен.

Посмотрим теперь, каковы те окончательные результаты, к которым пришел доктор Лассвиц в своем изложении кантовой философии.

Он говорит: «Все бытие группируется в два рода бытия, субъективное и объективное. Оба они находятся в нашем сознании и оба обладают одинаковой степенью реальности и достоверности. Такого бытия, которое существовало бы вне нашего сознания, вовсе чет. А есть такое бытие, которое не есть наше я, и его-то мы называем вещами вне нас. Эти вещи всегда расположены в нашем сознании в известном порядке, чем обусловливается то, что в сознании нашему я противостоит мир внешних объектов» [1])

Чтобы читатель мог лучше усвоить себе точку зрения доктора Лассвица, мы попросим его обратить внимание еще на следующие строки:

«Значит, бытие, действительное и истинное бытие, имеет духовный характер; и нет никакого другого бытия...»

«Всякое бытие, бытие *я* и *не-я,* есть определенное изменение сознания; и без сознания нет бытия...»

Читатель думает, конечно, что мы продолжаем цитировать Лассвица. Он ошибается. Две последние цитаты сделаны нами из *Фихте* [2]). Чтобы спасти кантианизм, т. е. чтобы устранить его

[1]) «Die Lehre Kants», S. 138.

[2]) Fichtes Werke, 11 Band, S. 32, 3 Band, S. 2.

внутреннее противоречие, доктор Лассвиц вынужден был покинуть колеблющуюся точку зрения *субъективного идеализма. Его неокантианизм* есть лишь более или менее сознательное *неофихтеанство.* Стало быть, доктор Лассвиц не мог бы сказать вместе с доктором К. Шмидтом: «представительницей идеализма служит «Критика чистого разума». Он должен был бы признать, что идеализм лучше всего представлен в *«Наукословии»* Фихте. Говорю условно: он *должен был бы,* так как сомневаюсь в том, что у него хватило бы на то мужества; Кант протестовал, как известно, против истолкования его учения в смысле «Наукословия» [1]). Следовательно, он протестовал бы также и против цитированного нами здесь сочинения доктора Лассвица.

В одном из своих писем к Рейнгольду Фихте называет Канта «ein Dreiviertelskopf» (три четверти головы) и говорит, что святой дух в Канте ближе **к** истине, чем личность Канта. Неокантианцы вроде Лассвица могут, в свою очередь, наградить Канта такой характеристикой, и они должны были бы характеризовать его так, если бы были последовательны. И что бы ни говорили они, им ни-когда не удастся скрыть от людей, хоть немного понимающих дело, что они покинули учение Канта и склонились к субъективному идеализму.

Конечно, существуют и такие неокантианцы, которые,— подобно профессору Рилю,— совсем не одобряют этого перехода [2]). Неокантианцы этого последнего разряда более верны своему учителю, чем доктор Лассвиц. Но зато они с большей верностью сохраняют и все противоречия своего учителя.

Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim!

Какое издание «Критики чистого разума» нужно считать истинным выражением идеализма? Г. Конрад Шмидт не сказал нам на этот счет ни одного слова. Он, по-видимому, даже и не подозревает, что точка зрения «критики» первого издания отличается от точки зрения второго. И вдобавок, он, кажется, не понимает ни первого, ни второго. Это сочтет как нельзя более вероятным всякий, кто даст себе труд ознакомиться с философской прозой почтеннейшего доктора. Он пишет, например: «Та теория познания, опираясь на которую Кант разоблачает заблуждения всякой философии, метафи-

[1]) В своей «Erklärung» от 7-го августа 1799 года.

[2]) См. его сочинение «Der philosophische Kritizismus», т. I, Лейпциг 1876, стр. 423—429 и т. II, часть вторую, стр. 138—176.

зически стремящейся, помощью понятий, выйти за пределы опыта, сама отмечена печатью полного феноменализма, т. е. она считает простым явлением тот мир, который мы видим и который служит предметом нашего опыта».

Кант очень удивился бы, если бы ему пришлось прочитать эти строки, написанные человеком, который взялся защищать его от Маркса и Энгельса.

Что такое *опыт?* Вот вопрос, на который Канту надо было ответить, как должен ответить на него всякий тот, кто возьмется за решение основной задачи философии: определить отношение субъекта к объекту, мышления — к бытию. Теория познания Канта есть не что иное, как ответ на этот вопрос. Отвечая на него, он объяснил, между прочим, какая разница существует, по его мнению, между ноуменом и феноменом, между вещью в себе и явлением. С Кантом можно не соглашаться,— и мы совсем не согласны с ним,— но совершенно невозможно считать его таким плоским и поверхностным мыслителем, каким, очевидно, считает его Конрад Шмидт. Если бы Кант просто-напросто объявил, что мы *видим явления* и что наш *опыт* относится к *явлениям,* то это значило бы, что в основе его философии лежит нелепое petitio principii, т. е. признание решенным как раз того вопроса, который еще только надлежит решить.

«Тут естественно возникал вопрос,— продолжает наш доктор,— можем ли мы вообще иметь непосредственное знание об этом внешнем мире, который мы известным образом населяем впечатлениями наших внешних чувств и который мы делаем себе понятным с помощью категории причины и действия; не имеет ли субъективного характера общее представление о движущемся во времени и пространстве телесном мире».

В философии Канта слова *«внешний мир»* означают все явления, относящиеся к нашему *«внешнему опыту»* или,— как выразился бы Фихте, — составляющие наше *не-я.* Достаточно даже самого поверхностного знакомства с этой философией, чтобы понять, что наше знание этой группы *явлений* так же *непосредственно,* как и наше знание тех явлений, которые относятся к нашему я. В *этом* направлении не могло «возникнуть» никакого «вопроса». Точно так же не мог *спросить* себя Кант, не имеет ли *субъективного* характера наше *представление* о

внешнем мире. Само собою разумеется, что другого характера такое представление иметь не могло. *Спрашивать* об этом — значит не иметь никакого «*представления*» о предмете. Но слова: «внешний мир» могли также относиться к *вещам в себе,*

составляющим основу мира явлений. Кант никогда не задавался вопросом о том, возможно ли для нас *непосредственное* знание вещей самих по себе. Для него непосредственное познание было то, которое *не зависит от действия на нас вещей,* и он очень хорошо знал, что такое знание невозможно. «Ибо,— говорит он во втором издании своей «Критики чистого разума»,— ощущать можно только в себе, а не вне себя» [1]). Но Кант имел право спросить себя,— и в самом деле спросил,— можем ли мы быть уверены в существовании вещей вне нашего сознания. Читателю уже известно, как отвечал он на этот вопрос в различные эпохи своей жизни. Послушаем теперь, что рассказывает об этом доктор Шмидт.

«Но так как Канту и здесь казалось, что есть очень сильные основания для сомнения, то он не побоялся сделать этот последний шаг. Пространство и время, материя и те понятия, с помощью которых мы расшифровываем мир, представляют собою для него нечто существующее лишь в человеческом представлении и мышлении; а родником, из которого вытекает это ощущение, это представление и мышление, он считает непознаваемое, вещь в себе. Глубочайшее основание всего сущего есть нечто непостижимое; все совершающееся есть постоянное чудо, потому что вытекает из непостижимого. Беспочвенность (die Bodenlosigkeit) этой мысли создала Фихте, Шеллингу и Гегелю предварительные посылки для выработки новой метафизики, гораздо более глубокой и богатой мыслями, но еще более висящей в воздухе, еще более лишенной существенного содержания».

Краткий смысл всей этой длинной тирады тот, что Кант отрицал существование вещей «не нашего сознания. Нам нет надобности разоблачать «беспочвенность» столь категорического утверждения: оно противоречит факту, совершившемуся во времени и в пространстве.

Доктор Шмидт твердо уверен в том, что вещи существуют *не только* в нашем сознании. С этой стороны он довольно строго осуждает Канта (того Канта, который существует в его «сознании»). «Рассудок, начинающий сомневаться даже в существовании внешнего мира, совершенно независимом от человеческого сознания, теряет твердую почву под ногами».

Здесь мы видим себя вынужденными выступить на защиту «кенигсбергского мудреца».

[1]) Издание Кербаха, стр. 320.

Мы уже знаем, что ко времени выхода «Пролегомен» (1783 г.) Кант *решительно* признал существование вещей в себе независимо от нашего сознания. Но это не помешало ему — и не могло помешать — рассматривать *материальный мир,* как мир феноменов. «Только в эмпирическом рассудке,— говорит он,— т. е. только в опытной связи, материя действительно дается нашим внешним чувствам... как субстанция в явлении». Приписывать этой материи, и следовательно, и образуемому ею материальному миру, существование, независимое от нашего сознания, *значило бы, с точки зрения Канта, совершить огромную, непростительную для мыслителя ошибку.*

Но как бы там ни было, наш доктор отказывается перейти на точку зрения *Фихте.* Поэтому мы приглашаем его сказать нам, как разрешает он противоречия кантовой философии, те противоречия, на которые указано нами выше и которые очевидны даже для некоторой части неокантианцев. Ведь именно на. эти противоречия опирались Маркс и Энгельс в своей критике кантовой философии.

Признает ли доктор Шмидт существование этих противоречий? Мы требуем категорического ответа: *да или нет?* Конрад Шмидт как будто признает, что они в самом деле существуют. Но вместо того, чтобы принять их во внимание и попытаться разрешить их, он предпочитает увеселять нас «словесностью» в таком роде:

«Но пустая бездна,— с правом или без права на то,— открываемая кантовой философией перед... мышлением, есть только отрицательный ее результат; ее истинно-плодотворная сторона состоит в положительной части работы, в гениальном исследовании совокупного действия нашей душевно-духовной организации (seelischgeistigen Organisation), имеющего место в явлении... Но в этом, в обнаружении структуры нашей способности представления, и состоит истинная задача «Критики чистого разума», задача, за разрешение которой никто ни до Канта, ни после него не брался с такой достойной удивления проницательностью. И хотя даже кантов анализ не дал вполне удовлетворительного, свободного от противоречий, окончательного решения этой задачи, пожалуй, самой трудной из всех тех, которые может поставить перед собою научное исследование, тем не менее вполне верно то, что никакая попытка более глубокого проникновения в таинственный рудник внутреннего мира не может

пройти мимо того, что сделано Кантом... Возвращение к Канту вовсе не означает собою поэтому попятного движения в реакционном смысле» [1]).

[1]) «Vorwärts». Вышеназванная статья.

С помощью такой «словесности» можно, конечно, «уклоняться от рассмотрения» выдвигаемых против кантовой философии возражений, но совершенно невозможно опровергнуть эти возражения.

В своей «Критике чистого разума» Кант поставил себе задачей исследовать нашу *способность познания,* а не нашу *способность представления,* как утверждает д-р Шмидт. Зачем искажать то, что должно быть изложено с возможно большею точностью? Но это мимоходом.

За точку отправления Кант берет *уже готовое сознание;* он рассматривает это сознание не в процессе его возникновения. В этом состоит величайший недостаток его «анализа сознания», и надо удивляться тому, что г. К. Шмидт не заметил этого в наше время, когда *теория развития* торжествует во всех отраслях науки [1]).

Г. Конрад Шмидт твердо убежден в том, что «материальный» мир существует не только в нашем сознании, но и вне его. Нам желательно было бы услышать от него, думает ли он, что этот, вне его сознания существующий, материальный мир действует на его познавательную способность. Если он скажет нам — *нет,* то он тем самым встанет на точку зрения *субъективного идеализма,* и нам будет непонятно, что же убеждает его в существовании материального мира *независимо от сознания.* Если же он скажет: да, то он вынужден будет признать, вместе с Энгельсом и Марксом, что кантово «Непознаваемое» полно противоречий. Логика тоже «обязывает» (oblige), и обязывает еще несравненно больше, чем «благородное происхождение» (noblesse).

«Материалист, твердо держащийся за объективный мир, т. е. за мир, существующий сам по себе, независимо от его отношения к сознанию, как за основу и источник всех жизненных процессов

[1]) Примеч. к настоящему зданию: «Я не знаю,— говорит Ф. Бек,— как справляются с учением о развитии те философы, которые придерживаются кантовой теории познания. *Для Канта человеческая душа была данной,* в своих элементах *неизменной величиной.* Для него речь шла только о том, чтобы *определить ее априорное свойство* и вывести из него все остальное, а не *в том, чтобы показать происхождение этого свойства.* Но если мы исходим из той аксиомы, что человек постепенно развился из комочка протоплазмы, то нужно будет из элементарных жизненных проявлений клеточки вывести как раз те, что для Канта были основой «всего мира явление (Die Nachahmung und ihre Bedeutung für Psychologie und Völkerkunde, Leipzig 1904, s. 33). Но кантианцы не задумываются над тем, согласна ли их теория с учением о развитии. Только в самое последнее время у некоторых из них, например, у Виндельбанда, стали возникать некоторые сомнения на этот счет.

так же мало, как и идеалист, может уклониться от исследования нашей духовной организации»,— продолжает почтенный доктор.

Материалист твердо держится за объективное существование материального мира. Г. Конрад Шмидт столь же твердо держится за него. Он убежден, что «рассудок, начинающий сомневаться даже в существовании внешнего мира, совершенно независимо от человеческого сознания, теряет твердую почву под ногами» (см. выше). В чем же состоит различие во взгляде «материалиста», с одной стороны, и доктора К. Шмидта — с другой? Я никакого различия не вижу.

Впрочем, извините, читатель! Различие есть. Выводы «материалиста» соответствуют его посылкам, а доктор К. Шмидт предпочитает «нищенскую похлебку эклектиков». Это, как видим, очень большое и очень серьезное различие. Кого вы предпочтете, читатель: «материалиста» или доктора К. Шмидта? Правда, de gustibus non est disputandum.

«Материалист» не может уклониться от исследования нашей духовной организации. Нет, разумеется, нет! Но для того, чтобы исследовать нашу духовную организацию, «материалист» обращается к экспериментальной психологии, которая имеет дело только с явлениями и которая употребляет приемы, заимствуемые ею у биологии. Это — более верный путь.

Но это уже не материализм! — восклицает наш ученый доктор: «Кто видит главное отличие материализма от идеализма в признании законосообразности, повсюду наблюдаемой в мире явлений, тот затушевывает истинный характер этого разногласия и тем самым лишает понятие материализма свойственного ему характера. Сам Энгельс может служить этому характерным примером».

Почему же? Что именно сказал Энгельс об отличии материализма от идеализма?

Г. Конрад Шмидт цитирует следующее место из книги «Людвиг Фейербах»:

«Разрыв с философией Гегеля и здесь (у Маркса — *Г. П.*) произошел путем возврата к материалистической точке зрения. Это значит, что люди этого направления решились смотреть на действительный мир,— на

природу и на историю — без идеалистических очков и видеть в нем только то, что он собою представляет. Они решились без всякого сожаления отказаться от всех идеалистических взглядов, не согласных с явлениями действительного мира, взятыми в их истинной, не фантастической связи. А в этом и состоит весь материализм».

Это место, очевидно, не заключает в себе полного определения материализма. Но почему г. К. Шмидт приводит именно это место, **а** не какое-нибудь другое? Отчего он позабыл следующее рассуждение Энгельса?

«Уже в средневековой философии игравший большую роль вопрос о том, как относится бытие к мышлению, что чему предшествует: дух природе или природа духу, этот вопрос... принял более резкий вид вопроса о сотворении мира... Философы разделились на два больших лагеря, сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы... составляли идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма».

По Энгельсу, материализм есть, следовательно, такое учение, которое смотрит на природу, как на нечто первоначальное сравнительно с духом. Правильно ли это определение?

Вспомним французских материалистов XVIII века. В чем состояло основное положение их теорий?

«Приписывать различным сочетаниям материи и движениям, им свойственным, те действия, которые мы наблюдаем в природе, значит приписывать этим действиям общую и известную причину; выходить же за пределы такого объяснения, значит теряться в фантастической дали, в которой мы нигде не находим ничего, кроме бездны незнания и темноты. Поэтому не будем искать движущего принципа вне природы, которая всегда существовала и которой всегда было свойственно движение»,— говорит автор «Системы природы».— ...Зачем искать вне природы движущего принципа, приведшего ее в движение? [1]).

Прикажете сделать для вас еще одну выписочку, ученый доктор? С удовольствием! Мы приведем для вас еще два весьма убедительных места:

«В природе могут быть только естественные причины и действия. Все совершающиеся в ней движения подчиняются постоянным и необходимым законам; тех явлений природы, которые мы имеем возможность изучить и понять, достаточно для того, чтобы мы могли судить о тех, которые скрыты от нашего взора. Мы можем составить себе о них понятие, по крайней мере, по аналогии. И когда мы со вниманием смотрим на природу, тогда те ее явления, которые она открывает нам,

научают нас не смущаться теми явлениями ее, которые она от нас скрывает. *Те причины, которые наиболее удалены от*

[1]) «Système de la Nature», издание 1781 г. т. II, стр. 146.

своих следствий, действуют, без сомнения, через промежуточные причины... Если мы, исследуя цепь ее причин, наталкиваемся на препятствия, не поддающиеся нашим усилиям, то мы все-таки должны стараться преодолеть их; а *если это нам не* удается, то это еще не дает нам права заключить отсюда, что *цепь естественных причин прерывается, и приписать интересующее нас действие сверхъестественной причине.* В этом случае мы должны удовольствоваться признанием того, что в природе существуют неизвестные нам силы; но мы никогда не должны ставить на место неподдающихся нашему исследованию причин фантомы, фикции (*измышления,* как сказал бы Энгельс — *Г. П.*). Такой прием только увеличил бы наше незнание, затруднил бы наше исследование и умножил бы наши заблуждения» [1]). И далее:

«Скажем, что природа заключает в себе все то, что мы можем узнать. Скажем, что все сделано природой, и что то, что не сделала она, невозможно, что вне ее не существует и не может существовать ничего. Если мы не стремимся открыть последние причины, то мы должны довольствоваться (слушайте, доктор, слушайте!) теми ближе лежащими причинами и действиями, на которые указывает нам опыт; мы должны наблюдать доступные и известные нам факты; их будет достаточно для того, чтобы позволить нам судить о том, чего мы не знаем; мы должны удовлетвориться слабым мерцанием истины, доходящим до нас через посредство наших внешних чувств (это значит, г. Шмидт, что мы никогда не должны покидать почву опыта — *Г. П.*) [2]).

Вся «Система природы» представляет собою лишь развитие этой мысли, и эта мысль лежит в основе всего материалистического учения автора или, вернее, авторов этого знаменитого произведения.

Наш ученый доктор может с большой пользой для себя выслушать еще другого французского материалиста:

«Человек есть создание природы; он живет в природе; он подчинен ее законам; он не может освободиться от них; он даже в мыслях своих не может выйти за их пределы... Для существа, созданного природой, не существует ничего за пределами того великого целого, часть которого оно составляет... Те существа, о которых говорят, что они выше природы, суть не более, как химеры, и мы не можем иметь о них какое-нибудь представление» [3]).

[1]) «Système de la Nature», т. I, стр. 38.

[2]) «Système de la Nature», т. II. стр. 161—162.

[3]) «Le vrai sens du système de la Nature», гл. II и предисловие в сборнику «Recueil nécessaire» Лейпциг 1765.

«Так как человек, к своему несчастию, захотел выйти за пределы своей сферы, то он сделал попытку подняться выше видимого мира (мира явлений, г. доктор — *Г. П.*). Он покинул почву опыта для того, чтобы жить догадками» [1]).

Что думаете вы обо всем этом, г. Конрад Шмидт? Нам сдается, что прав наш старый учитель Энгельс. *Нам сдается, что материализм в самом деле есть учение, которое хочет объяснять природу ее собственными силами и которое смотрит на природу, как на нечто первоначальное сравнительно с «духом».* Нам сдается, наконец, что данное Энгельсом определение материализма может быть признано наиболее общим и наиболее удовлетворительным.

Я говорю: наиболее общим. Но я знаю, что есть и исключения из общего правила. Так, например, английские материалисты признавали, что есть существа, стоящие *выше* природы. Достаточно указать на Джозефа Пристлея. Его учение украшено множеством совер-шенно нематериалистических привесок. Но все это у них именно только привески, и поскольку английские материалисты придают серьезное значение этим привескам, они *перестают быть материалистами.* Их материализм, *как таковой,* ограничивается рассмотрением вопроса об отношении души к телу. Но что касается э*того* вопроса, то их взгляды со-вершенно ясны и определенны.

«То, что я называю моим я (my self),*— говорит тот же Пристлей, — есть не более, как организованная материя».* И он прибавляет далее, что совершенно не может признать существования в человеке нематериального начала: «На том же самом основании, в силу которого признано было существование невещественного начала в *человеке, следовало бы* признать присутствие такого начала во всяком *отдельном существе* (субстанции, говорит Пристлей), обладающем известными силами или свойствами» [2]).

Цитированная мною выше книга «Le vrai sens du système de la Nature» приписывается *Гельвецию.* Имеет ли доктор Шмидт сколько-нибудь ясное представление о материализме этого интересного и так сильно оклеветанного филистерами писателя? Я постараюсь хоть немного ознакомить его с ним.

Между тем как г. доктор Шмидт не сомневается в существовании *независимого от нашего сознания внешнего мира,* для *Гельвеция это существование было только вероятным. Вероятность* (его

[1]) Free discussion, p. 76.
[2]) Free discussion, p. 123.

существования) эта, без сомнения, *очень велика, и выводы,* из нее вытекающие, равняются достоверности; но *все-таки это не более, как вероятность* [1]).

Это так удивительно, что этого даже и ожидать было невозможно: доктор К. Шмидт оказывается в роли *«догматика»* в сравнении с одним из материалистов восемнадцатого столетия. Говорите после этого о «прогрессе»!

Г. Шмидт, может быть, согласится теперь признать, что ошибался именно он, ученый доктор, а не Фридрих Энгельс, которого он вздумал поправлять.

Знаменитый английский биолог Гексли сказал в одной из своих статей, что *современная физиология ведет прямым путем к материализму,* поскольку можно применить это название к *учению, утверждающему, что, помимо субстанции, обладающей протяжением, нет никакой другой мыслящей субстанции и что сознание, подобно движению, есть функция материи.* Гексли ошибся только в одном отношении, именно в том, что вообразил, будто материализм означал когда-нибудь что-либо другое. Все материалисты смотрели на материю именно так, как учит нас, по словам Гексли, смотреть на нее современная физиология. Из этого основного взгляда французские материалисты умели, со свойственной им последовательностью и неустрашимостью, сделать всевозможные для того времени выводы, между тем как английские материалисты боялись идти до конца. Но и те, и другие разделяли и отстаивали эту коренную основу материалистической теории.

В заключение резюмируем сказанное нами.

1) Г. доктор Конрад Шмидт очень плохо понял Канта, которого он хотел защитить против Маркса и Энгельса.

2) Также плохо понял Маркса и Энгельса, которых он пустился критиковать во имя Канта.

3) Обнаружил совершенно ошибочное представление о материализме.

Этих трех грехов нашего ученого доктора вполне достаточно для того, чтобы у читателя возник вопрос: какой же злой дух надоумил его пуститься в рассуждение о таких предметах, которые, конечно, не могли

быть *«непознаваемы»* для него, но которые, очевидно, остались им непознанными? Это очень интересный вопрос.

[1]) Oeuvres complètes d'Helvetius. Paris 1828. т. I, 5—6, примеч.

Чтобы ответить на него, надо вспомнить о том, что называется у Тарда *законами подражания.*

В наше время теоретические представители буржуазии твердо держатся за философию Канта, осуждают материализм, даже не давая себе труда ознакомиться с ним.

Г. Шмидт последовал их примеру и осудил материализм Маркса и Энгельса.

Он позабыл при этом, что теоретики рабочего класса изменяют самим себе, пускаясь подражать теоретикам буржуазии.

Отвращение буржуазии от материализма и ее пристрастие к философии Канта очень хорошо объясняются современным *состоянием общества.* Буржуазия видит в учении Канта сильное «духовное оружие» в борьбе с крайними стремлениями рабочего класса. Поэтому-то кантианизм и сделался модным учением в среде образованных буржуа.

Известно, что низшие классы часто подражают высшим. Но когда они делают это? *Тогда, когда они еще не достигли самосознания.* Подражание низшего класса высшему есть верный признак тою, что низший класс еще не созрел для борьбы за свою эмансипацию, *и кто хочет содействовать созреванию его в этом отношении, тот обязан бороться и с подражанием. Развитие самосознания в угнетенных есть величайший «фактор прогресса».*

Хотели мы было поговорить с доктором Шмидтом еще о диалектике, но место не позволяет нам этого. Стало быть, надо отложить это до другого раза. Теперь мы говорим ему: до свидания Ich salutiere den gelehrten Herrn!

Материализм или кантианизм.

Was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist.

I. G. Fichte.

I.

Читатели помнят, может быть, что Эдуард Бернштейн предоставил доктору Конраду Шмидту легкую, «хотя и не совсем приятную задачу» — обнаружить мои противоречия и опровергнуть мои философские ложные выводы. Конрад Шмидт попытался решить эту задачу в 1 № «Neue Zeit» (1899). Посмотрим, увенчались ли успехом его усилия.

Статья Конрада Шмидта распадается на три отдела: довольно ироническое введение, весьма гневное заключение и главная часть. Я начинаю с начала, т. е. с иронического введения.

Мой противник принимает удивленный вид. Он говорит, что не понимает, почему я занимаюсь его статьями, из которых последняя напечатана уже более года тому назад. Между тем это очень понятно.

Я прочитал его статьи тотчас после их появления. Они показались мне чрезвычайно слабыми, и я решил, что они не могут иметь никакого влияния. Поэтому у меня не было тогда ни малейшего намерения вступать в полемику с их автором. Мало ли появляется дурных статей, опровергать которые не стоит труда! Но вот весной прошлого года г. Эдуард Бернштейн возвестил urbi et orbi, что ему дали «непосредственный толчок» слабенькие статейки Конрада Шмидта. Тогда я убедился в ошибочности моего прежнего мнения насчет возможного влияния этих статей и увидел, что их опровержение не будет напрасным трудом. Подвергнуть критике Конрада Шмидта значит в то же время дать меру духовной силы г. Эдуарда Бернштейна, который взялся, как известно, за пересмотр учения Маркса. Руководимый этим соображением,

я написал статью «Конрад Шмидт против Карла Маркса и Фридриха Энгельса». Значит, эта статья вовсе не до такой степени лишена интереса современности, как утверждает мой противник.

Теперь я обращаюсь к главной части статьи почтенного доктора.

Энгельс сказал, что лучшее опровержение кантианизма дается нам ежедневно нашей практической деятельностью, а особенно промышленностью. И что, — как выразился он, — the proof of the pudding is in the eating. Конрад Шмидт нашел, что Энгельс не только плохо рассуждает, но,— что еще гораздо хуже,— *уклоняется* от рассмотрения вопроса. В моей статье я выступил против этого мнения и показал, что Конрад Шмидт не сумел переварить Энгельсов пудинг. В мои намерения вовсе не входило понравиться моему противнику; неудивительно поэтому, что моя статья не встретила его одобрения ни со стороны своей формы, ни со стороны своего содержания. Что касается формы, то я поговорю о ней в конце настоящей статьи; а что касается содержания, то я остановлюсь на нем теперь же.

Когда Маркс и Энгельс утверждали, что практическая деятельность людей каждодневно дает самое лучшее опровержение кантианизма, то они оттеняли этим странное противоречие, лежащее в основе кантова учения. Это противоречие состоит в следующем: по Канту, с одной стороны, вещь в себе есть причина наших представлений, а, с другой стороны, к ней неприменима *категория причины.* Обнаруживая это противоречие, я писал между прочим:

«Что такое явление? Это — состояние нашего сознания, вызываемое действием на нас вещей в себе. Так говорит Кант. Из этого определения следует, что предвидеть какое-нибудь явление значит *предвидеть то действие, которое окажет на нас вещь в себе.* Теперь спрашивается: можем ли мы предвидеть какие-нибудь явления? Ответ: конечно, можем. Нам ручается за это наука и технология. А это значит, что мы можем предвидеть, по крайней мере, некоторые действия на нас вещей в себе. А если мы предвидим некоторые действия названных вещей, то стало быть мы знаем некоторые их свойства. А если мы знаем некоторые их свойства, то мы не имеем никакого права называть их непознаваемыми. Это «измышление» Канта падает, разбиваясь о логику его собственного учения. Вот что хотел сказать Энгельс своим пудингом. Его доказательство также ясно и неопровержимо, как доказательство математической теоремы».

Доктор Конрад Шмидт прежде всего пытается опровергнуть это место моей статьи.

«Если бы это было верно,— заявляет он с той тонкой иронией, которою пропитана его статья,— то плохо обстояло бы дело с неопровержимостью математических доказательств». И он упрекает меня в непозволительном смешении понятий. «Какие же вещи действуют на нас и, благодаря этому, позволяют нам узнать некоторые их свой-

ства? - спрашивает он.— Это — вещи материально определенные во времени и пространстве, т. е. основные свойства этих вещей имеют чисто феноменалистический характер». Раз это так, то совершенно естественно, что наш ученый доктор с презрением смотрит как на Энгельсов пудинг, так и на те выводы, которые я на этом пудинге основывал.

«Стало быть, если измышление Канта разбивается логикой его собственного учения, то это происходит с ним,— мы так будем думать, по крайней мере, до тех пор, пока нам не приведут других доказательств,— по-видимому оттого, что посредством игры словами («вещь» и «вещь в себе») в эту логику привносится чужая нелогичность».

Какое презрение и какой уничтожающий вывод! Материалисты (Маркс, Энгельс и скромный смертный, пишущий эти строки) играют словами. Это объясняется очевидно тем, что материалисты,— в своем качестве догматиков и «метафизиков»,— не обладают способностями, необходимыми для того, чтоб понять учение Канта. «Критический мыслитель» никогда, ни вовеки веков не сказал бы того, что решаемся утверждать мы, бедные «догматики»-материалисты.

Однако... однако... Вполне ли вы уверены в том, что утверждаете, г. мой противник? Рассмотрим интересующий нас вопрос при свете истории философии.

Уже в 1787 г. Фр. Ген. Якоби,— в приложении к своему диалогу: Idealismus und Realismus — упрекал Канта в том противоречии, о котором идет речь у меня. Вот что именно писал он на этот счет:

«Я спрашиваю, каким образом можно соединить вместе, во-первых, то предположение, согласно которому вещи производят впечатление на наши чувства и причиняют, таким путем, наши представления, а во-вторых, то понятие, которое уничтожает всякую основу подобного предположения? Если принять во внимание... что пространство и вещи в пространстве, согласно кантовой системе, нигде не существует, кроме как в нас самих; что все изменения и даже изменения нашего собственного внутреннего состояния... суть не что иное, как наше представление, а не объективные действительные процессы; что эти изменения не указывают ни на внешнюю, ни на внутреннюю последовательность явлений; если принять во внимание, что все основные законы рассудка представляют

собою субъективные условия, которые являются законами нашего мышления, но не природы, как таковой; если основательно взвесить все эти положения и серьезно вникнуть в их содержание, то неизбежно возникнет вопрос: возмож-

но ли рядом с этими положениями предположить существование вещей, которые должны производить впечатление на наши чувства и вызывать наши представления»

Здесь вы видите, г. доктор Шмидт, ту самую *«нелогичность»,* которая вам так сильно не понравилась в произведениях материалистов. Это вас удивляет? Потерпите немножко: вы услышите еще более удивительные вещи.

Как я уже заметил, диалог «Идеализм и реализм» появился в свет еще в 1787 году. В 1792 году Готлиб Эрнест Шульце, состоявший в то время профессором в Гельмштедте, доказал в своей книге «Энезидемус», что Кант и его ученик Рейнгольд сами не понимали, какие выводы логически вытекали из их учения.

«Вещь в себе,— говорил он,— является необходимым условием опыта; но в то же время она должна оставаться совершенно неизвестной. Но если вещи в себе нам неизвестны, то мы также не можем знать, существуют ли они в действительности и могут ли они быть причиною чего бы то ни было. У нас поэтому нет никакого основания считать их условиями опыта. Дальше, если вместе с Кантом признать, что категория причины и действия применима только к предметам опыта, то нельзя утверждать, что вещи, существующие вне наших представлений, могут быть содержанием этих последних [2]) и т. д.

Опять та же самая *«нелогичность»*! Автор «Энезидемуса» думает,— как думаю я в настоящее время,— что *по Канту* вещь в себе *есть причина* наших представлений. У него и у меня одна и та же точка отправления, но разница в том, что Г. Э. Шульце пользуется кантовскою непоследовательностью для того, чтобы прийти к *скептическим* выводам, между тем как мои выводы имеют *материалистический* характер. Это различие, без сомнения, очень велико; но оно не интересует нас здесь, где речь идет только о понимании учения Канта о вещи в себе.

В то время Канта понимали так не только Шульце и Якоби.

Пять лет спустя после появления «Энезидемуса» Фихте писал, что кенигсбергского философа понимали в этом смысле все кантианцы... за исключением Бэка. И Фихте упрекал популяризаторов Канта в том самом

противоречии, на котором Энгельс основал свое опровержение критической философии. «Ваш земной шар держится на слоне, а слон, с своей стороны, держится на земном шаре. Ваша

[1]) Jakobis Werke, II Band, I. 308.
[2]) Так как я не мог достать произведений Шульце, то я цитирую по Целлеру: Geschichte der deutschen Philosophie, München, 1873, 583 u. 584.

вещь в себе, которая есть чистая мысль, должна действовать на субъекта» [1]). Фихте был твердо убежден в том, что *«Кантианизм кантианцев»,* который, по его мнению, был не чем иным, как *авантюристическим соединением самого грубого догматизма с решительным идеализмом,* не мог быть кантианизмом самого Канта. Он утверждал, что истинный смысл кантианизма Канта выражен в «Wissenschaftslehre». Но знаете ли вы, г. доктор, что произошло потом?

В своем известном «Объяснении по поводу «Наукословия» Фихте» («Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre»), Кант совершенно не оправдал ожиданий великого идеалиста. Он писал (в 1799 г.), что считает «Наукословие» Фихте совершенно несостоятельной системой, и отказывался от какого бы то ни было единомыслия с этой философией». В том же *«Объяснении»* Кант говорит, что его «Критику чистого разума» надо понимать буквально (nach dem Buchstaben zu verstehen) и приводит итальянскую пословицу: «Сохрани нас бог от наших друзей, а с нашими врагами мы сами справимся». В письме к Тифтрунку, написанном в это же время, Кант выражает свою мысль еще яснее. По недостатку времени он не мог прочесть «Wissenschaftslehre» Фихте, но ему удалось прочитать рецензию на эту книгу, «написанную,— прибавляет Кант,— с большой симпатией к г. Фихте»,— и он находит, что философия этого последнего похожа на привидение. Когда вы думаете, что вам удалось схватить его, у вас не оказывается ничего, кроме самого себя, при чем и у этого себя нет ничего, кроме руки, протянутой для схватывания [2]).

Таким образом вопрос был решен раз навсегда и совсем недвусмысленно. Кант показал, что «кантианизм кантианцев» совпадает с его собственным «кантианизмом». Это было ясно, но это не избавило кантианизма от того противоречия, которое выдвинули Якоби, Шульце и Фихте и которое они подвергали своей критике. Напротив, объяснение, данное Кантом в 1799 году, как раз подтвердило факт существования этого противоречия.

Конрад Шмидт думает, что мое понимание учения Канта не похоже на то, как его понимают все историки философии. Если бы это и было так, то это не могло бы смутить меня. Вышеприведенные мною неоспоримые исторические факты вполне подтверждают правильность моего понимания Канта. И если бы гг. историки фило-

[1]) «Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre», появившаяся сначала в «Philosophischen Journal», 1797 г., а впоследствии вошедшая в первый том сочинений Фихте.

[2]) Kants Werke, Ausgabe von Hartenstein, X Band, S. 577-578.

софии не одобрили этого понимания, то я имел бы полное право сказать: тем хуже для гг. историков философии. Но доктор Шмидт ошибается в этом отношении так же сильно, как ошибается он во всем, от одного конца своей статьи до другого.

В самом деле, послушайте, что говорит на этот счет, напри**мер,** Фридрих Ибервег. По мнению этого историка философии, одно из противоречий Канта состоит в том, что «вещи в себе, с одной стороны, должны действовать на нас, что может совершаться только **во** времени и по закону причинности; но, с другой стороны, время и причинность являются априорными формами и имеют значение толь**ко** в области явлений, а не по ту сторону этой области» Разве не то же самое сказал я?

Теперь дадим слово Эд. Целлеру. Он пишет: «Мы должны признать, что нашим ощущениям соответствует отличная от нашего субъекта реальность. Кант старается показать это во втором издании *«Критики чистого разума»,* борясь с идеализмом Берклея». Эд. Целлера не удовлетворяют доводы Канта против Берклея; но это не мешает ему понимать истинный смысл кантовского учения и говорить: «Кант всегда утверждал, что наши ощущения представляют собою не только продукт мыслящего субъекта, но обусловливаются также вещами, существующими независимо от нашего представления [2]). В своей критике кантовской философии Целлер говорит, между прочим: «Если он (Кант) признал понятие причинности категорией нашего рассудка, которая, как таковая, применима только к явлениям, то ему не следовало применять ее к вещи в себе; иными словами, он не должен был считать вещь в себе причиной наших представлений» [3]).

Здесь мы опять видим то же самое понимание Канта, которого держался Энгельс и которого держусь я. Если бы доктор Конрад Шмидт усвоил его себе, то он, конечно, не стал бы утверждать, что ему противоречат все историки философии.

И Эрдман, для которого вещь в себе есть только *предельное понятие,* все-таки вынужден признать, что *кантова* вещь в себе есть «независящее *от нас условие»* явлений. Но если эта вещь в себе составляет *условие* явления, то явление обусловливается ею, и тут опять выступает противоречие, которым так много занимались по

[1]) Grundriß der Geschichte der Philosophie, III Theil, Berlin 1880, S. 215.

[2]) «Geschichte der deutschen Philosophie», S. 436.
[3]) Ibid., S. 514.

читающие люди в течение всего девятнадцатого столетия и не заметить которое мог только наш глубокопроницательный doktor irrefragabilis.

Мне, разумеется, очень хорошо известно, что некоторые историки философии превращают кантианизм в простой и чистый идеализм. Но, во-первых, *некоторые* еще не значит все, а во-вторых — если доктор Шмидт согласен с этими историками, то он должен был постараться доказать нам, что они правы. Он выбрал более легкий путь: он ограничился тем, что толкование кантианизма, которого держались Маркс и Энгельс, назвал нелепой выдумкой невежд.

Мы видели, что, по мнению Конрада Шмидта, на нас действуют не вещи в себе, а вещи, определенные во времени и пространстве. Я не стал бы оспаривать это, если бы мой противник сказал, что таков истинный смысл его собственной философии. Но он утверждает, что таков смысл философии Канта, а против этого я должен протестовать самым решительным образом.

Я попрошу Конрада Шмидта открыть «Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft» и прочитать там во втором главном отделе второе примечание к четвертой теореме. Кант излагает там взгляд одного геометра, который совершенно разделяется им и который состоит в следующем: пространство вовсе не есть свойство, принадлежащее какой-нибудь вещи вне нас, а составляет субъективную форму нашего чувственного восприятия, форму, под которой мы воспринимаем предметы, которые находятся вне нашей внутренней природы, которых мы не знаем, но явление которых мы называем материей» [1]).

О каких вещах идет здесь речь, о вещах в себе или же о вещах, определенных в пространстве и во времени? Очевидно, что о вещах в себе. Что же говорит наш Кант об этих вещах? Он говорит, что нам неизвестно, каковы они в себе и что они являются нам только под субъективной формой пространства. А что нужно для того, чтобы они явились? Нужно, чтобы они подействовали на наши чувства. «Способность получать представления сообразно способу действия на нас предметов называется чувственностью» [2]). Конрад Шмидт, может быть, еще раз попытается спасти занятую им позицию и станет уверять нас, что Кант говорит здесь о вещах, опре-

[1]) «Kants Werke», VIII B., § 432.

[2]) «Kritik der reinen Vernunft», der transzendentalen Elementarlehre, erster Theil der transzendentalen Ästhetik, **§** 1.

деленных в пространстве и во времени, т. е. значит об *явлениях,* которые, — как это сказано в «Критике чистого разума»,— *«существуют не сами по себе, а только в нас».* Чтобы предупредить все попытки подобного рода, я приведу еще одно место из «Критики чистого разума». Оно гласит: «Ибо мы имеем дело только с нашими представлениями, а каковы вещи в себе (независимо от тех представлений, посредством которых они действуют на нас), это совершенно вне области нашего познания» [1]).

Это, кажется, достаточно ясно,— *вещи в себе действуют на нас посредством представлений,* которые вызываются ими.

Конрад Шмидт говорит в своей статье, о «комических недоразумениях»; он совершенно прав. Но только он забыл прибавить, что *все эти недоразумения должны быть записаны на его счет.*

Конрад Шмидт уверяет, что приведенное мною место из «Пролегомен» подтверждает мое положение только на первый взгляд и только потому, что оно «вырвано из общего контекста». Это не верно. Судите, читатель, сами: «Нам даны вещи, как существующие вне нас, но каковы они сами в себе, мы не знаем...». О каких же вещах идет здесь речь? О вещах в себе. Это ясно, послушаем дальше: «Но мы знаем только их явления». Явления чего? Вещей уже определенных в пространстве, во времени и т. д., или же вещей в себе? Странный вопрос! Кто же не видит, что Кант говорит здесь о вещах в себе. Еще дальше: «Это — представления, которые вызваны действием вещей на нас». Какие вещи вызывают в нас представления? Вещи в себе, о которых мы ничего знать не можем. Каким же образом эти вещи вызывают в нас представления? «Посредством действия на наше чувственное восприятие». Вывод: вещи в себе действуют на наше чувственное восприятие. Сколько докторских колпаков нужно было износить для того, чтобы стать неспособным понимать «вещи» (простите за каламбур!), которые так ясны сами «в себе»?

А что касается «связи», в которой находится приведенное мною место к общему контексту, то пусть читатель сам судит о ней, прочитав первый параграф «Пролегомен» и особенно второе примечание к этому параграфу. Кроме того, я обращаю внимание читателя на 36 параграф той же книги. Там мы читаем: «Во-первых, каким образом природа в материальном смысле, т. е. в созерцании, как совокупность явлений, каким образом пространство, время и все, что их напол-

[1]) Elementarlehre, II Theil, I Abtheilung, II Buch, II Hauptstück, Zweite Analogie, Beweis.

няет, может вообще быть предметом нашего чувственного восприятия? Ответ: благодаря нашей чувственности, получающей, сообразно своей особой природе, впечатления от предметов, которые сами по себе неизвестны и совершенно отличны от этих явлений». Скажите же теперь, доктор Шмидт, какие предметы действуют на наши чувства?

Мой противник утверждает, что я в своих статьях третирую его почти как школьника; лично я не имею ни малейшего желания играть по отношению к нему роль школьного наставника; но, тем не менее, я не могу не дать ему хороший совет. Mein theurer Freund, ich rat euch drum zuerst Collegium logicum.

Но вернемся к Канту. «Предположение о существовании вещи в себе Кант основывает,— хотя это скрыто у него разными оговорками,— на выводе из закона причинности, т. е. на том, что эмпирическое созерцание, точнее то ощущение в органах наших внешних чувств, из которого оно исходит, должно иметь свою внешнюю причину. Но по его же собственному и вполне верному открытию закон причинности известен нам à priori, т. е. стало быть он — функция нашего интеллекта и, следовательно, имеет субъективное происхождение». «Нелогичность», заключающаяся в этих строках, принадлежит Артуру Шопенгауэру [1]), и эта «нелогичность» так крепка, что скудная «логика» нашего доктора разбивается о нее, как стекло о камень. Что бы там ни говорил г. доктор Конрад Шмидт и ему подобные, в основе кантовой системы несомненно лежит странное противоречие. Но противоречие не может служить основой; оно лишь указывает на неосновательность. Следовательно, противоречие должно быть уничтожено. Как же это сделать?

Для этого есть два пути: один из них состоит *в развитии к субъективному идеализму,* другой — *в развитии к материализму.* Какой из этих путей верный? В этом состоит весь вопрос.

Согласно субъективному идеализму,— например, субъективному идеализму Фихте,— вещь в себе находится в я (das im ich gesetzte).

Значит, мы имеем дело только с сознанием. Фихте говорит это часто и недвусмысленно: «Всякое сознание, сознание *я,* равно как и сознание *не-я,* есть лишь известное видоизменение сознания». Но если это так; если «истинное и действительное бытие духовно»,—

[1]) «Die Welt, als Wille und Vorstellung», Leipzig 1873, Band I, S. 516. Излишне прибавлять, что кантовские «открытия» представляются мне совсем в другом свете, чем Шопенгауэру.

как это утверждает тот же Фихте, — то мы приходим к странным и неожиданным заключениям. В самом деле, в таком случае я вынужден признать, что все люди, которые кажутся мне существующими вне моего я, представляют собою *только видоизменения моего сознания.* Гейне рассказывает, что берлинские дамы с негодованием спрашивали, признает ли автор «Wissenschaftslehre», по крайней мере, существование своей собственной жены? Эта шутка, под которой скрывается верная мысль, обнаруживает перед нами ахиллесову пяту субъективного идеализма. Во всяком случае, Фихте сам почувствовал это и старался устранить слабую сторону своей системы, поскольку это было в его силах. Он объяснил, что его *я не индивидуальное,* а мировое, абсолютное *я.* «Ясно, что мое абсолютное я не индивидуум,— писал он Якоби,— как меня поняли обиженные куртизаны **и** назойливые философы, желающие навязать мне позорное учение эгоизма. Но индивидуум должен быть выведен из абсолютного я. Мое «Наукословие» сделает это в учении об естественном праве. Однако, в естественном праве мы встречаем лишь такого рода рассуждения: «Разумное существо не может полагать себя с самосознанием, как таковое, не полагая себя индивидуумом междудругими разумными существами, которые существуют вне его». Это очень слабая *«дедукция».* Вся сила доказательств основана в ней на том, что подчеркнуто слово *индивидуум.* Разумное существо не может полагать себя, как таковое, не полагая в то же время *не-я вообще,* т. е. *людей* и *вещей.* Доказывает ли это существование вещей вне сознания этого разумного существа? Нет? Стало быть, это не доказывает и существования других индивидуумов.

Вместо того, чтобы «вывести» (deduzieren) существование людей, Фихте делает их бытие *моральным постулатом.* Но это значит не преодолеть препятствие, а обойти его. А пока мы не преодолели препятствия, мы не избавлены от нелепостей, к которым неминуемо ведет всякая философская система, отрицающая существование вещей вне нас и их действие на *наши* внешние чувства. Если существование других индивидуумов только духовно, то моя мать — только *явление* и, как явление, она существует только во мне [1]). Стало быть, нелепо утверждать, что меня родила женщина. Также мало я могу с уверенностью сказать,

что я рано или поздно умру. Я знаю только то, что другие люди умирают; но так как эти люди суть

[1]) ...но, как явления, они не могут существовать сами по себе, а только в нас (Кант).

только представления, то я не имею права утверждать, что я также смертен, как и они; логическое заключение на основании аналогии не имеет в данном случае силы.

Не трудно понять, в какой непроходимый лабиринт нелепостей забираемся мы, если станем рассматривать и изучать историю человечества и всего нашего мироздания с точки зрения идеализма.

Таким образом развитие от кантианизма к идеализму, хотя и уничтожает противоречие, составляющее основу кантовой системы, но ведет к самым очевидным и смешным нелепостям.

II.

Посмотрим теперь, к чему приводит нас развитие от кантианизма к материализму. Но прежде условимся в терминах. О каком материализме идет здесь речь? Не **о** том ли материализме, который существовал и еще до сих пор существует в головах филистеров, отличающихся гораздо больше богобоязненностью, чем философским талантом? или о *настоящем* материализме, т. е. о том материализме, основные положения которого заключаются в сочинениях важнейших материалистов? На *материализм* клеветали нисколько не менее, чем на *социализм.* Поэтому, когда мы слышим рассуждения о материализме, должны подчас спросить себя, не искажают ли этого учения?

Мой почтеннейший противник принадлежит к числу тех, которые, принимаются опровергать материализм, не дав себе труда хорошенько изучить и понять его. Он говорит, например: «материалисты должны утверждать, что эта сущность (т. е. сущность, которая соответствует явлениям — *Г. П.*) тождественна с явлениями». Это не только ошибочно, но ошибка имеет здесь поистине восхитительную форму.

Мы, материалисты, должны утверждать, что сущность вещей *тождественна* с явлением! Почему же мы должны утверждать нечто столь же дикое по своей форме, как и по своей «сущности»? Может, мы должны были сделать это с целью облегчить г. Конраду Шмидту «легкую задачу» опровергнуть нас? Материалисты, без сомнения, любезные люди, но требовать от них такой преувеличенной любезности значит идти слишком уже далеко.

Г. доктор продолжает: материалисты принимают за совершенно *независимую* от человеческого сознания, в себе и для себя (?) сущую

реальность — те наиболее общие определения, которые по необходимости рассматриваются нашими чувствами или, вернее, рассудком, обрабатывающим впечатления, получаемые чувствами, как основа

окружающих нас явлений. Прежде всего пространство и время и движущаяся в них материя представляют для материалистов совершенно независимую от свойств человеческого сознания, в себе существующую действительность. И Конрад Шмидт продолжает:

«Материализм является, следовательно, философией тожества, потому что даже там, где он отмечает различие между нашими представлениями и существующим в себе бытием, переходя таким образом за пределы наивного реализма, он все-таки считает возможным познать вещь в себе посредством анализа явлений».

Так ли это? Нет, это ни в каком случае не так. И чтобы убедиться в этом, послушаем Гольбаха. «Если изо всего, что относится к субстанциям, производящим впечатление на наши чувства, нам известны только их действия на нас, те действия, на основании которых мы приписываем им известные свойства, то эти свойства представляют собою, по крайней мере, нечто определенное и порождают в нас ясные идеи. Как бы ни было поверхностно то познание, которое дается нам посредством чувственного восприятия, оно есть единственное возможное для нас познание; и раз мы обладаем данной организацией, мы должны довольствоваться этим познанием» [1]).

Я прошу читателя прочесть эти строки с особенным вниманием и хорошо уяснить себе их содержание. Это стоит труда, потому что это место дает необыкновенно ясное представление о том, чем был французский материализм восемнадцатого столетия, представляющий собою высшую точку в развитии материалистической философии *до Маркса* [2]).

[1]) «Système de la Natura», Londres 1871, 2 часть, стр. 127. [2]) Кстати, в моих предыдущих статьях я цитировал многих материалистов, указывая на то, что Конрад Шмидт имеет совершенно ошибочное представление о «сущности» материалистической философии. В своем ответе Конрад Шмидт определяет приведенных мною материалистов, как «просветителей». Это очень ловко,— если это не педантично, потому что читатели, незнакомые с историей философии, могут подумать: с какой стати вздумал Г. Плеханов ссылаться на «просветителей», когда речь идет о материалистах! Чтобы успокоить таких читателей, я вынужден прибавить, что я цитировал Гольбаха или, вернее, авторов произведения «Système de la Nature», между которыми был и Дидро и Гельвеций. Что касается Гольбаха, то «Système de la Nature» часто называли кодексом материализма (см. Ланге, «Историю материализма», 2 издание, I том, стр. 361). А что касается Гельвеция, то этот «просветитель» был одним из талантливейших и оригинальнейших материалистов, которые когда-либо существовали. Кто не знает этих двух «просветителей», тот не знает самой высокой и замечательной ступени в развитии материализма восемнадцатого века.

Согласно Гольбаху, т. е. авторам произведения «Système de la Nature», которое Гольбах писал не один, есть вещи вне нас и независимо от нас, вещи, имеющие действительное, а не только «духовное» существование. Эти вещи, *природа которых нам известна,* действуют на нас, производя впечатления на наши чувства, и *сообразно впечатлениям, которые вызываются в нас их действием,* мы приписываем вещам те или иные свойства. *Эти впечатления представляют собою единственные знания* (поверхностные и очень ограниченные знания), которые *мы может иметь о вещах в себе.* «Мы не знаем сущности ни одной вещи, если под словом сущность понимать то, что составляет природу этой вещи. Мы знаем материю только по впечатлениям, представлениям и идеям, которые она вызывает в нас. И мы составляем свои верные или ошибочные суждения сообразно природе наших органов» [1]).

Значит ли это утверждать, что сущность вещей и явлений *«тождественны»?* Очевидно нет. Почему же наш doctor irrefragabilis приписывает материалистам такое утверждение? Почему он думает, что непременно *«должны»* отстаивать такой взгляд.

Поскольку,— читаем мы у него дальше,— под материализмом понимают лишь стремление везде найти причинную связь явлений природы и установить зависимость духовных процессов от материальных, то такой «материализм» нисколько не противоречит *теоретической философии* Канта; напротив, он ставит себе цель, которая вполне понятна и даже необходима с точки зрения кантовой философии. Противоположность между ними обнаруживается только тогда, когда этот так называемый «материализм», становится последовательным метафизическим или, вернее, метафеноменалистическим материализмом; когда он объявляет элементы мира явлений «вещами в себе».

Следовательно, материализм или феноменалистичен,— и тогда он нисколько не расходится с теоретической философией Канта; *или* же он *метафеноменалистичен,*— и в этом случае он ведет нас к метафизике, так как объявляет элементы явлений вещами в себе. Оставляя в стороне вопрос о том, хорошо ли выражается Конрад Шмидт, мы мо-

[1]) «Système de la Nature», 2 часть, стр. 91—92. Интересно сравнить с этим местом то, что говорит Спенсер: «Явления, которые представляются нам свойствами материи, вплоть до ее тяжести и инертности, составляют в самом деле не что иное, как субъективные изменения, порождаемые объективными силами, которые остаются неизвестными и непознаваемыми для нас» (Principes de Psychologie». 2 Theil, 3 Kapitel, § 86).

жем сказать, что это его *или—или* соединяет в себе все преимущества, за исключением одного лишь соответствия с действительностью.

Кантианизм тоже *метафеноменалистичен* в том смысле, что он признает *действие на нас вещей в себе.* Феноменалистической философией в настоящем и чистом виде является *фихтеанизм.* Но Кант боролся против философии Фихте. Само собою разумеется, что материализм представляет собою учение *метафеноменалистическое,* потому что он не подвергает сомнению ни существование вещей вне сознания, ни их действие на нас. Но так как он в то же время признает, что мы познаем вещи в себе только благодаря тем впечатлениям, которые *вызываются их действием на нас,* то у него нет ни надобности, ни логической возможности считать явления вещами в себе. В этом отношении он нисколько не расходится с кантнанизмом, несмотря на свой *метафеноменалистический* характер. Разница между материализмом и кантианизмом обнаруживается лишь дальше. Признав вещи в себе *причинами* феноменов, Кант хочет уверить нас, что *категория причинности* не имеет никакого применения к вещам в себе. Материализм же, который тоже считает вещи в себе причиной феноменов, не впадает в противоречие с самим собою. Вот и все. Если бы мы, опираясь на это различие, стали утверждать, что материализм есть *метафизическое* учение, то мы должны были бы сначала признать, что сущность *«критической»* философии состоит в ее внутреннем противоречии.

Да и что такое метафизика? Каков предмет ее исследования? Предметом метафизики является *абсолютное.* Она хочет быть наукой об абсолютном, о безусловном. А разве материализм занимается абсолютным? — Нет, предметом его исследования является *природа.* «Люди всегда заблуждаются, когда жертвуют опытом ради философских систем, создаваемых фантазией», говорит Гольбах. «Человек есть создание природы; он существует в ней; он подчинен ее законам; он не может выйти из нее даже в мыслях. Напрасно стремится его дух выйти за пределы видимого мира; он всегда вынужден вернуться назад в этот мир». Эти строки, которыми начинается уже столько раз цитированная мною «Système de la Nature», составляют *«канон»* материализма, и совершенно

непонятно, каким образом можно назвать метафизическим то учение, которое никогда не расставалось с этим «каноном».

Но что понимает материалист под словом *«природа»?* Не является ли у него природа метафизическим понятием? Мы сейчас увидим это.

Материалист называет природой совокупность вещей, составляющих предмет нашего чувственного восприятия. Природа, это — чувственный мир во всем своем объеме. Об этом чувственном мире и говорили французские материалисты восемнадцатого столетия. Это понятие о природе беспрестанно противопоставлялось ими «фантомам», т. е. мнимым, сверхъестественным существам. В «Système de la Nature» мы читаем: «нам беспрестанно повторяют, что наши чувства способны воспринимать только внешнюю сторону вещей. Допустим, что это так. Но наши чувства не показывают нам даже и *внешней* стороны тех воображаемых существ, которыми занимаются суеверные люди, приписывая им такие свойства, о которых ведутся бесконечные споры, между тем как самое бытие их остается до сих пор недоказанным» Человеческий разум теряется в потемках, как только он выходит за пределы чувственного мира или, что одно и то же, за пределы опыта. В этом материалисты понимают опыт несколько иначе, чем автор «Критики чистого разума».

По Канту, природа есть «наличное бытие» (Dasein) вещей, поскольку оно определяется общими законами. Эти общие законы (или чистые законы природы) суть законы нашего рассудка. «Рассудок не почерпает своих законов (à priori) из природы, а, наоборот, диктует природе свои собственные законы», объясняет нам Кант. Эти законы не имеют стало быть *объективного* значения. Иначе сказать, они применимы только к явлениям, но не к вещам в себе. Но так как явления существуют *только в нас,* то очевидно, что кантова теория опыта имеет в последнем счете вполне субъективный характер и ничем не отличается от идеалистической теории Фихте [2]). Мы уже видели, в какой лабиринт нелепостей неизбежно попадает тот, кто берет эту теорию всерьез и не боится сделать все вытекающие из нее конечные выводы. Теперь взглянем поближе на *материалистическую* теорию опыта.

Согласно этой теории, природа есть прежде всего совокупность явлений. Но так как вещи в себе составляют необходимое условие явлений, иными словами, так как явления вызываются действием

[1]) Часть вторая, страница 109.

[2]) «Система опыта есть не что иное, как мышление, сопровождающееся чувством необходимости». Fichtes Werke, Band I, S. 428. Само собою понятно, что кантова теория опыта *субъективна* лишь в той мере, в которой она оспаривает применимость категорий к вещам в себе. Но поскольку вещь в себе служит у Канта *причиной* наших ощущений,

постольку эта теория представляет собою,— как я не раз уже повторял это,— вопиющее противоречие.

объекта на субъект, то мы вынуждены признать, что законы природы имеют не только *субъективное,* но и *объективное* значение, т. е. что взаимное отношение идей *в субъекте* соответствует,— когда человек не *ошибается,*— взаимному отношению вещей *вне его.* Конрад Шмидт скажет, конечно, что это «философия тожества» и что она считает «элементы явлений вещами в себе». Он ошибается. Чтоб предостеречь его от заблуждения, я попрошу моего оппонента вспомнить ту геометрическую фигуру, с помощью которой Спенсер старался облегчить своим читателям понимание «трансформированного реализма». Представим себе цилиндр и куб. Цилиндр есть субъект; куб — объект. Тень, падающая от куба на цилиндр, есть представление. Эта тень совсем не похожа на куб: *прямые* линии куба являются в ней ломаными; его *плоские* поверхности выгнутыми. И, несмотря на это, каждому изменению куба будет соответствовать изменение его тени. Мы можем предположить, что нечто подобное происходит в процессе образования представлений. Ощущения, вызванные в субъекте, действием на него объекта, совсем не похожи на этот последний, как не похожи они и на субъекта,— то тем не менее *каждому изменению в объекте соответствует изменение его действия на субъект.* Это совсем не та грубая и вульгарная философия тожества, которую приписывает нам Конрад Шмидт. Эта теория опыта, имеющая своей точкой отправления природу, дает нам возможность избежать как непоследовательности кантианизма, так и нелепости субъективного идеализма.

Мне возразят, может быть, что одно дело «трансформированный реализм» Герберта Спенсера, а другое дело материализм. Недостаток места не позволяет мне рассмотреть здесь, в чем состоит главное различие этих двух учений. Все, что я могу сказать в этой статье,— впрочем, этого достаточно для моей цели,— состоит вот **в** чем. Теория познания Спенсера,— *в тех границах, в которых я пользуюсь ею* здесь,— составляет лишь дальнейшее развитие идей французских материалистов восемнадцатого столетия.

«Без *ты* нет я» (ohne Du kein Ich), говорил старый Ф. Г. Якоби. Я, с своей стороны, скажу: без *ты* нет я, свободного от некоторых, очень сильных угрызений совести. Вот убедительный пример. Если бы не существовало г. Конрада Шмидта *как вещи в себе;* если бы он был только

явлением, т. е. представлением, существующим лишь в моем сознании, то я никогда не простил бы себе, что это мое сознание породило доктора, столь неловкого в деле философского мышления. Но если моему представлению соответствует действительный г. Кон-

рад Шмидт, то я не отвечаю за его логические промахи, моя совесть спокойна, а это очень значит в нашей юдоли плача.

Наш неопровержимый доктор уверяет, что он не кантианец и что он скорее *скептически* относится к Канту. Но я никогда и не утверждал, что он может стать настоящим последователем какой бы то ни было философской системы. Я всегда говорил, что он предпочитает *эклектическую похлебку.* Но его эклектизм все-таки не помешал ему бороться с материализмом, употребляя доводы, заимствуемые у кантианцев. Впрочем эклектики всегда поступают так: они борются с одним учением посредством доводов, заимствуемых ими у другого, а этому другому противопоставляют доводы, заимствуемые у первого. Но г. Бернштейн, которому статейка доктора Шмидта дала *«непосредственный толчок»* (бедный г Бернштейн!), дошел все-таки в своем движении назад, до Канта. Правда, он дошел до него только «до некоторой степени». *Но каков поп, такое и приход,* говорит русская пословица. Эклектику учителю «соответствует» эклектик ученик. Во всяком случае заслуживает внимания то обстоятельство, что статьи Конрада Шмидта вызывают в некоторых читателях склонность вернуться назад именно к Канту, а не к какому-нибудь другому философу.

Подхожу, наконец, к весьма сердитому заключению статьи г. Конрада Шмидта.

Я утверждал, что буржуазия заинтересована в возрождении философии Канта, потому что она надеется, что эта философия поможет ей усыпить пролетариат. Конрад Шмидт отвечает мне свойственным ему элегантным языком: «Какого бы мнения мы ни были об уме буржуазии, но она все-таки не так безнадежно глупа, чтобы питать такие нелепые «надежды». Какой безграничный схематизм, какой, лишенный всякой критики, всякого оригинально-живого отношения к действительности, взгляд скрывается за такими приемами конструирования etc. etc.».

Да будет мне позволено прервать сердитого доктора и поставить ему несколько вопросов.

1. Заинтересована ли буржуазия в том, чтобы «морализовать» пролетариат и бороться с атеизмом, который все более и более распространяется в этом классе?

2. Нуждается ли она в сильном духовном оружии для этой «морализации» и для этой борьбы с атеизмом?

3. Не считался ли кантианизм оружием, наиболее подходящим для этой цели, и не считается ли он таковым до сих пор? [1]).

Конрад Шмидт, по-видимому, очень плохо знает историю философии. Но если бы он ее знал, то ему было бы известно, что *кантианизм приветствовали при первом уже его появлении, как самое лучшее оружие для борьбы против материализма* и других «возмутительных» учений. Уже Карл Леонгард Рейнгольд — первый вульгаризатор кантианизма — считал одним из главных достоинств этой системы то, что она *«вынуждает естествоиспытателей отказаться от своих неосновательных претензий на знание* [2]). Он писал, что та основная мысль, которая так распространена в настоящее время «под видом *фатализма, материализма и спинозизма,* представлена Кантом, как фантом, обнимающий наш разум, с наглядностью, на которую не могут претендовать наши новейшие теологи, занимающиеся развенчиванием дьявола; если теперь останутся фаталисты или если таковые явятся со временем, то это будут люди, либо совсем не изучавшие, либо не понявшие «Критики чистого разума» [3]).

Безнадежно глупа! Нет, поверьте, глупостью-то отличается здесь совсем не буржуазия.

«Если я, как и все те, на которых косвенно нападает Г. Плеханов, склонялись к философии Канта из подражания буржуазии,— говорит г. Шмидт,— то удивительно, что мы интересуемся именно теорией познания, т. е. как раз той частью этой философии Канта, которая во всяком случае не имеет ничего общего с практическими интересами буржуазии».

На это я отвечу ему только что приведенными мною словами Рейнгольда: вы или не изучали *«Критики чистого разума»,* или не поняли ее.

Кант, который, надо надеяться, лучше понимает свою теорию познания, чем понимает ее Конрад Шмидт, говорит в предисловии ко второму изданию «Критики чистого разума». «Таким образом я не могу даже *предположить бога, свободу и бессмертие,* которые необходимы для практических целей моего разума, без того, чтобы вместе с этим *не лишить* спекулятивный разум его чрезмерного

[1]) Само собою понятно, что буржуазии нет надобности непосредственно обращаться с кантианизмом к рабочим. Достаточно, чтобы эта философия вошла в моду, для того,

чтобы она подала повод некоторым людям распространять в рабочем классе вытекающие из нее конечные выводы.

[2]) «Briefe» über die Kantische Philosophie, Leipzig 1790, I Band, S. 114.

[3]) Ibid. S. 116.

притязания на проницательность... Я должен был, стало быть, уничтожить знание для того, чтобы очистить место вере».

Нет, решительно нет [1]). Буржуазия-то далеко не глупа!

Еще несколько слов, и я кончу.

Конрад Шмидт обвиняет меня в том, что я прибегаю к «самым произвольным сочетаниям идей для того, чтобы подорвать политический кредит тех людей, которые в области философии позволяют себе думать не так, как Плеханов».

Это трижды неверно.

1. Все вышесказанное достаточно показывает, что то «сочетание идей», к которому «прибегал» я, отнюдь не «произвольно».

2. В моей полемике я всегда имею в виду *истину* и весьма мало забочусь о политическом *кредите* тех или иных господ. Конрад Шмидт очень «произвольно» истолковывает то, что читает в моем сердце.

3. В своих статьях, так возмутивших г. доктора, я защищал не «взгляд Г. Плеханова», а взгляд Энгельса и Маркса. Все, на что может претендовать и претендует Г. Плеханов по отношению к этому взгляду, сводится к его правильному пониманию. Я защищаю и всегда буду защищать этот взгляд с горячностью и с убеждением. И если некоторые читатели «пожимают плечами» по тому поводу, что я горячусь в такой полемике, которая касается важнейших вопросов человеческого знания и вместе с тем затрагивает самые насущные интересы рабочего класса,— так как очень вредно этому классу питаться тем, что Энгельс назвал нищенской похлебкой эклектиков,— то я скажу, пожимая плечами в свою очередь: *тем хуже для этих читателей.*

[1]) Надо иметь в виду, что в настоящее время в кругах, интересующихся кантовой философией, интерес к практической «части» этой философии все более и более берет верх над интересом к ее теоретической части.

Еще раз материализм.

Прудон говорит где-то: il faut qu'un professeur parle, parle, parle **non** pas pour dire quelque chose, mais pour ne pas rester muet. Господин доктор Конрад Шмидт твердо держится этого правила, хотя, сколько я знаю, он был не профессором, а только доцентом, да и то в течение очень непродолжительного времени. В № 22 «Neue Zeit» он в заметке, озаглавленной: Was ist Materialismus? — задает мне вопросы, на которые я уже дал ответы в своей статье: «Материализм или кантианизм». Не имея ни малейшей охоты тратить слова попусту, я сначала не хотел было повторять то, что уже было мною сказано в категорической форме. Но некоторые мои друзья обратили внимание на то, что сама редакция «Neue Zeit», в примечании, сделанном от себя к его заметке, говорит, что заключительные замечания Шмидта выдвигают «новые, важные вопросы», и что это ее мнение могут, пожалуй, разделить некоторые читатели. Ввиду этого, я после довольно продолжительного колебания, решаюсь еще раз ответить на выдвинутые господином доктором Конрадом Шмидтом «новые, важные вопросы».

Мой противник говорит, что я должен был спросить себя, можно ли считать истинными материалистами таких писателей, как Ламеттри, Гольбах, Дидро и Гельвеций. Господин доктор Шмидт не Считает их таковыми, он причисляет их к *эклектикам.* Надо сознаться, что это действительно *ново,* так как до сих пор решительно никому еще не приходило в голову назвать эклектическим произведением «L'homme machine». «Le Rêve d'Alembert» или, наконец, «Le système de la Nature», которую, по справедливому замечанию Ф. А. Ланге, «часто называли кодексом или библией материализма» [1]).

Но если этот взгляд господина доктора и «нов», то он совсем не «важен», потому что лишен всякого серьезного основания. И если

господин доктор и выдвигает его, то единственно по той причине, что чувствует себя в очень затруднительном положении.

Если господин Шмидт уверяет нас теперь, что Ламеттри и Гольбах — не материалисты, то это происходит единственно потому, что

[1]) Geschichte des Materialismus, Iserlohn 1873, I, 361.

учение этих философов не подходит под то понятие о материализме, которое он составил себе *понаслышке.*

Я потому говорю, *понаслышке,* что он, очевидно, не дал себе труда проштудировать сочинения тех писателей, над которыми он произнес свой удивительный приговор.

В самом деле, почему г. Шмидт считает эклектиками французских материалистов XVIII века? Потому, что они находились под влиянием английской философии вообще и Локка в особенности. Но, во-первых, в учении Ламеттри, всецело и прямым путем вышедшем из материалистической половины учения *Декарта,* влияние Локка совершенно незаметно. А, во-вторых, сенсуализм Локка по природе своей не только не исключает тех материалистических выводов, которые были сделаны из него Гольбахом и «гольбахианцами», но прямо напрашивается на эти выводы. Господин Шмидт называет Локка *феноменалистом.* Почему? Неужели на основании его известного «исследования» о первичных и вторичных свойствах окружающих нас вещей? Но ведь это различие мы находим еще у *материалиста* Демокрита, как в этом может убедить господина Шмидта, например, известный историк греческой философии Целлер. У материалиста Томаса Гоббса это различие играет уже очень важную роль, как это ясно покажет Шмидту четвертый параграф второй главы его сочинения *«О человеческой природе»,* или даже хотя бы «Geschichte des Materialismus» Ланге, который совершенно верно говорил, что, по учению Гоббса, «все так называемые чувственные свойства, как таковые, принадлежат не вещам, а возникают в нас самих». Правда, Ланге приписывает при этом Гоббсу ту будто бы «чисто материалистическую» мысль, что «человеческие ощущения представляют собою не более, как движение телесных частей, вызываемые внешним движением вещей»? Это совсем неверно. Уже тот коренной вопрос, которым Гоббс задался еще в 1631 году — «каким родом движения могут вызываться ощущения и деятельность фантазии у живых существ»,— ясно показывает, что *у Гоббса ощущение есть не движение, а внутреннее состояние движущегося тела.* А это как раз то самое, что мы находим у Ламеттри и у Гольбаха, который, кстати сказать, перевел на французский язык вышеупомянутое мною сочинение Гоббса о человеческой природе.

Но может быть Гоббс тоже *«эклектик»?* Если так, то мне очень интересно было бы узнать,

[1]) См. его «Philosophie der Griechen», Erste Theil, 3 Auflage, S. 705, первое примечание.

кого же считает г. Шмидт истинным и честным материалистом? Я очень боюсь, что таким окажется только Карл Фохт и его единомышленники, да может быть еще (и то с натяжками) некоторые представители *античного* материализма.

Во всяком случае несомненно, что *материализм Маркса и Энгельса,* подвергшийся *«критике»* г. Шмидта, вовсе не подходит под определение материализма, даваемое нам этим господином.

Маркс говорит, что «идеальное есть не что иное, как материальное, отраженное и переведенное в человеческой голове». На этом основании г. Шмидт отнес Маркса к числу тех, по мнению которых духовная природа человека может быть объяснена только материальными свойствами, только «материей и силой». Уже одно это показывает, как плохо понял Маркса этот почтенный доктор. Если я *перевожу* (übersetze) что-нибудь, например, с русского языка на французский, то означает ли это мое действие, что язык Вольтера не может быть объяснен только свойствами языка Пушкина и что вообще язык Пушкина *«реальнее»* языка Вольтера? Вовсе нет! Это значит, что существуют два языка, каждый из которых имеет свое особое строение, и что если я буду игнорировать французскую грамматику, то у меня получится не перевод, а просто-напросто галиматья, которой нельзя будет ни понять, ни прочесть. Если, по словам Маркса, «идеальное есть и перевод и переделка материального в человеческой голове», то ясно, что, согласно тому же мнению — «материальное» не *тождественно* «идеальному», потому что, в противном случае, не было бы никакой надобности переделывать и переводить его. Вот почему совершенно лишена смысла та нелепая *тождественность,* которую Шмидт пытается навязывать Марксу.

Но если данная французская фраза не похожа на ту русскую фразу, перевод которой она собою представляет, то из этого еще не следует, что смысл первой фразы должен разойтись со смыслом второй. Напротив, если перевод сделан хорошо, то в обеих фразах, несмотря на их несходство, *смысл будет один и тот же.*

Точно так же, хотя существующее в моей голове «идеальное» не похоже на то «материальное», с которого оно *«переведено»,* но оно имеет тот же самый смысл, если только перевод сделан правильно. Критерием

же правильности перевода служит *опыт.* Если бы смысл существующего в моей голове «идеального» не соответствовал действительным свойствам «материального», т. е. существующих вне моей головы и независимо от нее вещей, то я получил бы от этих вещей более или менее тяжелый урок при первом же столкновении с ними,— урок, благодаря ко-

торому более или менее быстро устранилось бы несоответствие между идеальным и материальным, разумеется, если бы я не погиб раньше жертвой этого несоответствия. В этом смысле (и только в этом смысле) можно и должно говорить о *тождественности* (Identität) идеального с материальным, но против этой тождественности совершенно бессильно оружие шмидтовской «критики».

Наш doctor irrefragabilis упрекает меня в *эклектизме.* После всего сказанного видно, что, попав в число эклектиков, я нахожусь в очень хорошем обществе. Поэтому упрек, делаемый мне г. Шмидтом, очень мало меня огорчает. Но не мешает все-таки рассмотреть несколько поближе те доводы, которыми подтверждается этот упрек.

«Потому что,— говорит г. доктор,— если действие закона причинности признается *всерьез* по отношению к вещам в себе, то ясно, что тогда и *условия,* при которых только и мыслима причинность, именно, пространство, время **и** материя (или центры силы), должны считаться условиями, *относящимися* также к вещам в себе. А этим самым плехановский материализм снова превращается в старый известный материализм философии тожества».

Прежде всего я замечу вот что. В моей статье «Материализм или кантианизм» я сказал и доказал, что если мы не признаем действия на нас (по закону причинности) вещей в себе, то мы необходимо приходим к *субъективному идеализму;* а если мы признаем это действие, то мы столь же необходимо приходим к *материализму.* Господин Конрад Шмидт не признает себя ни субъективным идеалистом, ни материалистом. Как же выходит он из указанной мною дилеммы? Он ничего не говорит об этом, но, кажется, вот как. Он признает действие на нас вещей в себе, но признает его не «всерьез». Это — очень остроумный прием, который показывает, до какой степени следует принимать «всерьез» философские упражнения ученого доктора.

Что касается до меня, то я, разумеется, совершенно «всерьез» признаю действие на нас вещей в себе, благодаря которому мы узнаем некоторые их свойства. Но к какому «старому» известному материализму ведет меня мое признание? Это неизвестно, потому что материализм вообще — как старый, так и новый — остался неизвестным г. Шмидту.

Неопровержимому доктору кажется, что, признавая действие на нас вещей в себе, я должен мыслить материю, как условие, сохраняющее свою силу в применении к миру вещей самих по себе. Пусть поймет это, кто может: я не понимаю и подозреваю, что не пони-

мает и сам г. доктор. Но я, с своей стороны, постараюсь в немногих словах объяснить, какое понятие связывается у меня со словом: *материя.*

В противоположность *«духу», «материей»* называют то, что, *действуя на наши органы чувств, вызывает в нас те или другие ощущения.* Что же именно действует на наши органы чувств? На этот вопрос я вместе с Кантом отвечаю: *вещи в себе.* Стало быть, *материя есть не что иное, как совокупность вещей в себе, поскольку эти вещи являются источником наших ощущений.*

Так как я совершенно «всерьез» признаю независимое от моего сознания существование вне меня господина доктора Шмидта, то я вынужден отнести его к числу тех вещей в себе, которые составляют окружающий меня *внешний мир.* Вещь в себе, называемая доктором Шмидтом, способна действовать на мои внешние чувства: она есть *материя,* но она способна также написать плохую статью о философии. *Это есть чувствующая и мыслящая материя.* Таким образом сознание (в более или менее высокой степени) есть атрибут той субстанции, которая действует на мои внешние чувства и которую я называю *материей.* Что эта субстанция «сама по себе» не похожа на мое *представление* о материи, это знал еще Томас Гоббс, но из этого никакого опровержения материализма вывести невозможно. Наоборот, было бы очень странно, если бы ощущение и выросшее на его почве представление *походило* на ту вещь, которая его вызвала к которая сама не есть, конечно, *ни ощущение, ни представление.* Кто же не знает, что бытие в себе не есть еще ни бытие для себя, ни бытие для других?

Господин Шмидт говорит также, что если я «всерьез» признаю *действие* на меня вещей в себе, то я должен признать также, что время и пространство суть условия (может быть, он хочет сказать — определения?), имеющие силу в применении к вещам в себе с неменьшим и не с большим правом.

Он мог бы сказать, что если я «всерьез» признаю существование вещей в себе, то я должен допустить, что они *существуют в пространстве и во времени.* Прежде чем вдаваться в какие-нибудь объяснения по этому поводу, я попрошу читателя обратить внимание на следующее:

Так как г. Шмидту указанное допущение кажется невозможным, то ему остается лишь не признавать существования вещей независимо от

нашего сознания, т. е. стать на точку зрения Фихте или Берклея. А мы уже знаем, к каким абсурдам она приводит.

Что пространство и время суть формы сознания и что поэтому первое отличительное свойство их есть *субъективность,* это было известно еще Томасу Гоббсу, и этого не станет отрицать теперь ни один материалист. Весь вопрос в том, не соответствуют ли этим формам сознания некоторые формы или отношения *вещей.* Материалисты, разумеется, не могут отвечать на этот вопрос иначе, как утвердительно. Это не значит, конечно, что они признают ту плохую (вернее, нелепую) тождественность, которую им с услужливой наивностью навязывают кантианцы и в их числе господин Шмидт. Нет, формы и отношения вещей в себе не могут быть таковы, какими они нам *кажутся,* т. е. какими они являются нам, будучи «переведены» в нашей голове. Наши представления о формах и отношениях вещей не более, как *иероглифы;* но эти иероглифы точно обозначают эти формы и отношения, и этого достаточно, чтобы мы могли изучить действия на нас вещей в себе и в свою очередь воздействовать на них. Повторяю, если бы между объективными отношениями и их субъективными изображениями («переводами») в нашей голове не было правильного соответствия, то *самое существование наше стало бы невозможным.*

Признание правильности этих соображений обязательно для всякого, кто не мирится с абсурдами субъективного идеализма. Само собою понятно, что под словом *«всякий»* я разумею всех тех, кто философствует «всерьез», а не говорит лишь в силу дурной академической привычки, т. е. для того, чтобы не остаться немым.

Кто внимательно вдумается во все вышеизложенное, тому, разумеется, не придет в голову «всерьез» сравнивать мои взгляды со взглядами Гербарта или Лотца. Но мне могут справедливо заметить, что «мой» *материализм* очень похож на *агностицизм,* например, Герберта Спенсера. На это я отвечу словами Энгельса: английский агностицизм есть лишь *стыдливый материализм,*

Но довольно. Мои взгляды не ясны для г. Шмидта. Может быть, я плохо *излагаю* их? Но почему же мой противник опровергает их до такой степени неудачно? Не потому ли, что он плохо *понимает* их? Не потому ли, что он не имеет о материализме иного представления, кроме того, которое свойственно немецким филистерам? Мне кажется, что *да.* А если

это так, то в недоразумениях, возникших между нами, надо винить не меня, а ту вещь в себе, которая называется ученым доктором Конрадом Шмидтом.

СТАТЬИ ПРОТИВ П. СТРУВЕ

Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории общественного развития.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

I.

Nachdem eine Sache zur Klarheit gediehen ist, finden ***sich*** immer gewisse Gegner, die sogleich beflissen sind unter dem Scheine der Neuheit die Sache wieder zu verdunkeln und unklar zu machen. Ich bin dieser Art von Gegnern und Gegenreden häufig begegnet. *Kuno Fischer.*

Ces messieurs font tous du Marxisme, mais de la sorte que vous avez connu en France, il y a dix ans, et dont Marx disait: tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste, moi! Et probablement, il dirait de ces messieurs ce que Heine disait de ses imitateurs: «J'ai semé des dragons et j'ai récolté des puces».

Из письма Энгельса к П. Лафаргу от 27 окт. 1890 г.

Г. П. Струве давно уже упражняется в «критике» Маркса. Но до недавнего времени его «критические» упражнения не отличались систематичностью: он ограничивался, по большей части, или краткими горделивыми заявлениями о том, что он, г. П. Струве, не заражен «ортодоксией» и состоит под знаком «критики», или лаконическими замечаниями на ту тему, что вот в таком-то и таком-то вопросе «ортодоксальные» последователи Маркса ошибаются, а правду говорят «критические» марксисты. Но краткие замечания и лаконические заявления почти ровно ничего не разъясняли относительно того, в чем именно коренятся заблуждения «ортодоксальных» марксистов и чем именно доказывается правота гг. «критиков». По этому поводу можно было лишь строить догадки. Самою вероятною из них представлялась та, что Маркс и его «ортодоксальные» последователи заблуждались потому, что не были осенены благодатью так называемой критической

философии, вносящей яркий свет в миросозерцание г. П. Струве и его «критических» единомышленников. Но, хотя эта догадка и была очень вероятна, читатель все-таки имел слишком

мало данных для ее проверки. Теперь в нашем распоряжении находятся эти необходимые данные, и мы можем поэтому в свою очередь подвергнуть критике нашего «критика».

В предполагаемых статьях мы хотим разобрать «критический опыт», опубликованный г. П. Струве в Archiv'e Брауна, под заглавием: «Die Marxsche Theorie der sozialen Entwicklung» [1]) и напечатанную в той же книге Archiv'a рецензию его на известную книгу Э. Бернштейна: «Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie» и на не менее известный ответ Бернштейну Каутского: «Bernstein und das Sozialdemokratische Programm». Этот «критический опыт» и эта не менее «критическая» рецензия очень хорошо характеризует как приемы, так и образ мыслей нашего автора.

Г. П. Струве замечает, что он в своем опыте имеет в виду не материалистическое понимание истории во всей его полноте, а «только его специальное применение к развитию от капитализма к социализму». Но если его «критика» непосредственно направляется только *на одну часть* марксовой теории социального развития, то попутно она затрагивает *всю* эту теорию вообще и даже некоторые ее философские посылки. Таким образом она дает вполне достаточный материал для нашей *критики критика.* Послушаем же г. Струве.

По его словам, разбираемая им часть теории Маркса имеет троякое основание: 1) учение о развитии производительных сил в капиталистическом обществе или, другими словами, «теорию обобществления и концентрации производства, и теорию производительной анархии в капиталистическом обществе»; 2) учение об ухудшении положения низших классов общества или «теорию обнищания и теорию экспроприации мелких капиталистов крупным»; наконец, 3) учение о революционной роли пролетариата, т. е. «теорию социалистической миссии пролетариата, создаваемого развитием капитализма и растущего в ходе этого развития».

Поясняя эту последнюю теорию, г. П. Струве прибавляет: «Пролетариат подвергается обнищанию, но достигает в то же время такой социальной и политической зрелости, которая делает его способным свергнуть капиталистическую систему путем активной борьбы классов и заменить ее социалистической системой».

Что же думает наш критик об этом трояком основании марксовой теории?

[1]) Braun's Archiv, XIV Band, 5 und 6 Heft.

Не вдаваясь в рассмотрение вопроса о том, верно ли определил Маркс *относительное* значение каждой из указываемых им тенденций, г. П. Струве признает, что эти тенденции действительно существовали в капиталистическом обществе первой половины девятнадцатого века: теория обнищания являлась простым констатированием действительности; развитие производительных сил било в глаза; революционные порывы пролетариата, начиная стихийными вспышками и кончая коммунистическим движением, были вопросами дня. Но, по мнению нашего критика, Маркс сильно ошибался, утверждая, что указанные им тенденции вели *к социализму.* Это его утверждение не имело никакой реальной основы и было простой *утопией* [1]). Торжество социализма оставалось совершенно невозможным до тех пор, пока обнищание народных масс было неоспоримым фактом. Обнищание рабочих несовместимо с такой зрелостью этого класса, которая сделала бы его способным совершить социалистический переворот. Поэтому фактическое положение дел не оставляло в сороковых годах никакого места для чуждого утопий социального оптимизма: если бы капитализму действительно предстояло потерпеть крушение, то некому было бы взяться за возведение на его развалинах здания социализма. И если Маркс был тем не менее совершенно чужд всякого пессимизма, то это объясняется именно неосновательностью его социально-политического миросозерцания. *«Настоятельная психологическая потребность доказать историческую необходимость экономического порядка, основанного на коллективизме,*— говорит г. П. Струве,— *вынудила в сороковых годах социалиста Маркса вывести* (deduzieren) *социализм из более чем недостаточных посылок»* [2]).

Впоследствии Маркс существенно изменил,— по мнению г. П. Струве, — свой пессимистический взгляд на положение рабочего класса в капиталистическом обществе, но все-таки не отказался от него целиком и вполне сознательно. Вопиющее противоречие между обнищанием рабочего класса, с одной стороны, и развитием общества в направлении к социализму с другой, осталось для него незаметным. «Это реальное противоречие даже приобретало в его глазах законный вид, представляясь ему диалектическим противоречием, стремящимся к

своему разрешению» [3]). Ввиду этой странной психологической аберрации неудивительно, что г. П. Струве увидел себя

[1]) Курсив наш.
[2]) Archiv, XIV Band, 5 und 6 Heft. S. 62. Курсив наш.
[3]) Там же, стр. 663—664.

вынужденным обратить свое внимание на «учение о развитии посредством роста противоречий» (durch Steigerung der Widersprüche) и подвергнуть это учение внимательному разбору.

II.

Наш критик «берет» два находящиеся во взаимном антагонизме явления: A и B и рассуждает следующим образом.

Если рост противоречия действительно имеет здесь место, то развитие противоречащих один другому моментов выразится такою формулой:

Формула I, которую г. П. Струве называет формулой противоречия:

A	B
2 A	2 B
3 A	3 B
4 A	4 B
5 A	5 B
6 A	6 B
…	…
n A	n B

Каждое из двух явлений A и B растет путем накопления однородных элементов (Häufung des Gleichartigen); одновременно с этим и благодаря этому растет также и существующее между ними противоречие, которое и устраняется, наконец, победой сильнейшего явления над слабейшим: n A уничтожает n B.

Но,— по замечанию г. П. Струве,— мы можем представить себе, что в социальной действительности существуют противоречия совсем другого рода, выражаемые совсем иною формулой.

Формула II, которую мы предлагаем назвать формулой притупленного противоречия:

A	B
2 A	2 B
3 A	3 B
4 A	2 B
5 A	B
6 A	0 B

[1])

В каждом из случаев, выражаемых этими двумя формулами, между A и B есть *взаимодействие.* Но, между тем, как в первом

[1]) У г. П. Струве в подлиннике стоит не нуль B, а «kein B». Читатель понимает, что это — одно и то же.

случае рост А неизменно обусловливает собою также рост В, т. е., следовательно, и *обострение противоречия* между этими двумя явлениями, во втором — действие постоянно растущего А только сначала вызывает увеличение коэффициента В, а затем, *перейдя известный предел,* ведет уже к его уменьшению, а значит и *к ослаблению* указанного *противоречия.* Таким образом противоречие постепенно разрешается здесь посредством *«притупления»* (durch «Abstumpfung») [1]).

Г. П. Струве объявляет «баснословной» ту мысль, что «социальное развитие в своих решительных поворотах совершается исключительно по первой формуле». Но кем и когда была высказана эта «догма»? У г. П. Струве выходит, будто за нее держатся все «ортодоксальные» марксисты. Это совсем неверно. Мы думаем, что вряд ли кто из серьезных последователей Маркса согласятся признать правильной «первую формулу» г. П. Струве. А не признавая правильность той или другой формулы, нельзя, конечно, и утверждать, что именно («исключительно») по этой формуле совершается историческое движение. Г. П. Струве слишком поторопился наградить «баснословной догмой» своих «ортодоксальных противников».

Ниже, в предпоследней главе этой статьи, мы подробно разберем первую формулу г. П. Струве и покажем ее ошибочность. Теперь же мы приглашаем читателя обратить внимание на вторую его формулу.

Она должна выражать взаимодействие между А и В. Но взаимодействие предполагает как действие А на В, так и обратное действие В на А. Г. П. Струве не говорит, в чем заключается это последнее; он ограничивается тем, что определяет действие А на В. Мы узнали из самой формулы и из сопровождающих ее объяснений, что вплоть до известного предела возрастание А обусловливает собою также и *рост* В, а потом, *за этим пределом,* ведет, напротив, к *уменьшению* В. Что же это означает? Это означает та, что указанный предел является пунктом, перейдя который, *действие А на В превращается в прямую свою противоположность.* Вторая формула Г. П. Струве может поэтому служить недурным, так сказать, алгебраическим примером того *перехода количественных изменений в качественные,* который на каждом шагу встречается и в природе, и в общественной жизни и который тем не менее относится нашими «критиками» (из лагеря «теоретиков познания») к числу «басно-

[1]) Слово Abstumpfung поставлено во вносные знаки самим г. П. Струве.

словных догм», выдуманных Гегелем и взятых на веру Марксом и его «ортодоксальными» учениками.

Пригласив читателя запомнить этот пример, который очень пригодится нам впоследствии, мы идем далее.

Наш критик замечает, что рассмотрение «формулы противоречия» приобретает особенный интерес при сопоставлении ее с основной идеей материалистического объяснения истории. Это справедливо по многим причинам и, между прочим, потому, что, будучи сделано г. П. Струве, указанное сопоставление показывает нам, правильно ли понимает он критикуемого им писателя.

Сопоставление это начинается у г. П. Струве цитатой из так часто цитируемого и, вероятно, всем уже известного теперь предисловия к «Zur Kritik der politischen Ökonomie» Маркса. «Способ производства материальной жизни вообще обусловливает собою процессы социальной, политической и духовной жизни... На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в столкновение с существующими отношениями производства или,— говоря юридическим языком,— с имущественными отношениями, внутри которых до тех пор совершалось их развитие. Из форм, способствующих развитию производительных сил, эти отношения превращаются в тормозы этого развития. Тогда наступает эпоха общественного переворота. С изменением экономического основания изменяется, более или менее быстро, вся возвышающаяся на нем огромная надстройка [1])... Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все те производительные силы, которым она предоставляет достаточный простор, и новые, высшие отношения производства никогда не занимают место старых раньше, чем выработаются в недрах старого общества материальные условия их существования».

Сделав эту цитату, г. П. Струве принимается ее комментировать. «Здесь ясно выражена,— говорит он,— идея постоянной *приспособленности* (Angepasstsein) [2]) права и политических учреждений к хозяйству, как *нормальной формы их сосуществования* [3]). Несоответствие правовых отношений хозяйственным есть противоречие. Им вынуждается приспособление права к хозяйству. У Маркса ко-

[1]) Здесь г. П. Струве поясняет в скобках, что надстройку составляют правовые и политические учреждения, которым соответствуют определенные формы общественного сознания.

[2]) Курсив г. П. Струве.

[3]) Курсив г. П. Струве.

ренным противоречием выставляется противоречие производительных сил отношениям производства (имущественным отношениям). Приспособление отношений производства к производительным силам составляет содержание социальной революции. Во всем этом изложении есть у Маркса та неясность, что, с одной стороны, материальные силы, а с другой, отношения производства, которые представляют собою не что иное, как абстрактную совокупность конкретных хозяйственных, или, выражаясь юридически, правовых отношений, являются своего рода самостоятельными сущностями или «вещами». Только благодаря этой неясности можно говорить о противоречии или о приспособлении всех целиком (en bloc) взятых производительных сил всем целиком взятым правовым отношениям и представлять себе социальную революцию, как коллизию (все равно: длящуюся один момент, или более или менее продолжительное время) между этими двумя сущностями. Ясно, что общественное развитие может быть рассматриваемо, как длящийся процесс разнообразных коллизий и приспособлений. Маркс, по-видимому, признавал правильным оба способа понимания социальной революции, не замечая их несовместимости. Что касается, в частности, будущего общественного переворота, то Маркс представлял его себе, как могучее столкновение хозяйства с правом, неизбежно завершающееся решительным событием или общественным переворотом, собственно так называемым. Таким образом в марксовой теории социального развития все вращается вокруг отношения или, если угодно, противоречия между хозяйством и правом. Маркс рассматривал хозяйство, как причину, а право, как следствие» [1]).

Этот комментарий отличается, как мы увидим, чрезвычайным богатством теоретического содержания [2]). Мы отметим в нем на первый раз следующие два пункта. По мнению г. П. Струве, Маркс:

1) считал *коренным* то противоречие, которое неизбежно возникает в прогрессирующем обществе между производительными силами, с одной стороны, имущественными отношениями — с другой;

2) представлял себе социальную революцию, как могучее столкновение хозяйства с правом, вследствие чего все вращается в его теории вокруг отношения между правом и хозяйством.

[1]) Ibid., S 666-667.

[2]) Конечно, богатство богатству рознь. Г. П. Струве богат, главным образом, на заблуждения, а такому богатству завидовать не приходится. (Прим. ко второму изд.)

Справедливо ли это мнение г. П. Струве? Другими словами, верно ли понял и правильно ли изложил он теорию Маркса?

Что касается первого пункта, то он безусловно прав: противоречию между производительными силами общества и его имущественными отношениями действительно всегда принадлежало центральное место в марксовой теории социального развития. В подтверждение этого, а вернее сказать — для лучшего уяснения читателю мысли Маркса, мы, кроме цитированного г. П. Струве предисловия к «Zur Kritik der politischen Ökonomie», укажем на следующее место из *«Манифеста Коммунистической партии»:*

«Мы видели, стало быть, что средства производства и сообщения, которые послужили основанием для могущества буржуазии, получили начало еще в феодальном обществе. На известной ступени развития этих средств производства и сообщения, условия, среди которых совершались производство и обмен в феодальном обществе, феодальная организация земледелия и промышленности, словом, феодальные имущественные отношения оказались несоответствующими вызванным к жизни производительным силам. Эти отношения стесняли производство, а не облегчали его. Они сделались его цепями. Их нужно было ниспровергнуть, и они были ниспровергнуты. Место их заняла свободная конкуренция, с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством буржуазии».

Дело, как видите, совершенно ясно: социальная революция, означавшая падение *феодального* и торжество *буржуазного* хозяйственного порядка, представлялась Марксу и изображалась им, как *столкновение* (или противоречие) *между производительными силами, выросшими в недрах феодального общества, и свойственными этому обществу имущественными отношениями или — что то же — феодальной организацией земледелия и промышленности.* А если вы захотите хорошо выяснить себе, как представлялась Марксу и как изображалась им та социальная революция, которой он сам служил всем сердцем и всем помышлением и которая приведет к замене *буржуазного* хозяйственного порядка *социалистическим,* то прочтите вот эту страницу:

«Современное буржуазное общество с его имущественными отношениями, с его организацией производства и обмена, как бы вол-

шебством создавшее такие могущественные средства производства и сообщения, это общество находится в положении волшебника, который не в состоянии справиться с подземными силами, вызванными

его заклинаниями. В продолжение последних десятилетий история промышленности и торговли представляет собой историю возмущения производительных сил против современной организации производства, против тех имущественных отношений, которые являются условиями жизни для буржуазии и для ее господства...».

«Находящиеся в его (буржуазного общества — *Г. П.*) распоряжении прозводительные силы не способствуют уже сохранению буржуазных имущественных отношений; напротив, они стали слишком велики для этих отношений, они встречают в них препятствие. Буржуазные отношения оказываются слишком узкими для того, чтобы вместить созданное ими богатство» (там же, стр. 8—9).

Устранение буржуазных имущественных отношений и составляет историческую революционную миссию пролетариата.

Если бы кто-нибудь захотел проследить эту основную мысль марксовой теории общественного развития в других его сочинениях, то мы указали бы ему на *«Нищету философии»* и на 420—421 страницы второй части третьего тома «Капитала» [1]).

Итак, никакое сомнение невозможно: в марксовой теории социального развития все вращается вокруг *противоречия между производительными силами общества и его имущественными отношениями.* Но если это вполне ясно и совершенно несомненно, то спрашивается, на каком же основании г. П. Струве утверждает (см. выше, пункт второй), что Маркс представлял себе устранение капиталистических производственных отношений, как могучее *столкновение между хозяйством и правом?* Разве это второе столкновение тождественно по своему смыслу с первым? Разве противоречие *производительных* сил общества его *имущественным отношениям* имеет совершенно такое же значение, как и противоречие между *хозяйством и правом?*

Чтобы ответить на этот вопрос, имеющий для нас *«коренную» важность,* необходимо прежде всего выяснить себе, какое *понятие* связывается у нашего критика *со словом хозяйство.* А это можно сделать, разумеется, не иначе, как на основании его же, разбираемого здесь, «критического опыта».

Анализируя взгляд Штаммлера на отношение права к хозяйству, г. П. Струве говорит, между прочим, следующее: «К сожалению, понятие

хозяйства (хозяйственного порядка, отношении производства) совсем не покрывается тем, что мы отмечаем, как «хозяйственный»

[1]) Мы потому указываем на немецкий подлинник, что русский перевод его сделан неудовлетворительно. Указываемое нами место занимает 733 страницу русского издания третьего тома.

элемент в отдельных социальных явлениях. *Хозяйство есть, например, капиталистический хозяйственный порядок...»* [1]).

Несколькими строками ниже мы встречаемся с афоризмом, гласящим, что «в *хозяйстве уже заключается право* и vice versa (in der Wirtschaft ist das Recht und vice versa enthalten [2]). Наконец, еще через несколько строк мы наталкиваемся на такое рассуждение: «То обстоятельство, что у меня нет хлеба... не составляет никакого правового отношения между мною и моими согражданами... и пусть не возражают мне, что при другом общественном устройстве целесообразное правовое регулирование устранило бы феномен безработицы. Это показывает только, что этот экономический феномен зависит от данного *хозяйственного или, иначе, правового порядка,* взятого во всей его совокупности» и т. д. [3]).

Из этих объяснений видно, что слово *хозяйство* имеет у нашего критика тот же самый смысл, что и термин *хозяйственный* (например, капиталистический) *порядок* или термин *производственные отношения.* Но мы уже знаем, что производственные отношения,— или хозяйственный порядок, или экономическая структура,— на юридическом языке называются *имущественными отношениями.* На это указывает и сам Маркс, о теории которого идет речь в настоящее время, и г. П. Струве, подвергающий эту теорию своему разбору Очень хорошо. Заметим это и спросим себя: какой же вид принимает марксова теория общественного развития в изложении его критика? А на этот вопрос возможен только один ответ: *в изложении г. П. Струве выходит, что в этой теории все вращается вокруг противоречия между имущественными отношениями данного общества и его правом.* А это, будучи выражено другими словами, означает, что, по Марксу, сущность современного, так называемого социального вопроса заключается в противоречии между имущественными отношениями, например, нынешней буржуазной Франции и ее Code Civil. А если вы захотите выразить эту мысль еще иначе, то вы можете сказать еще так: противоречие между имущественными отношениями нынешней буржуазной Франции и ее Code Civil составляет «das Fort-

[1]) Ibid., S. 668, курсив наш.
[2]) Ibid., S. 669, курсив наш.
[3]) Ibid., S. 669—670, курсив наш.

[4]) Для большей точности выразимся так: по Марксу, *известная часть* производственных отношений составляет то, что юрист назвал бы *имущественными отношениями.* Ниже мы увидим, почему это название неприменимо ко всей совокупности производственных отношений.

leitende», т. е. то противоречие, которое ведет эту страну вперед и приближает ее к новому общественному порядку. Это совершенно логично и неизбежно выходит из слов г. П. Струве и вместе с тем это представляет собою такую удивительную, такую неудобосказуемую, короче — такую *«баснословную» догму,* что если бы «критический опыт» г. П. Струве застал Маркса в живых, и если бы автор «Капитала» дал себе труд ознакомиться с содержанием этого невероятного опыта, то ему оставалось бы только развести в недоумении руками и воскликнуть, несколько изменяя слова героя в некрасовской поэме *«Суд»:*

Я в деле собственном моем,
Конечно, не судья; но в том,
Что критик мой сказал,
Своей я мысли не узнал.
Так пахарь был бы удивлен,
Когда бы рожь посеял он,
А уродилось бы зерно
Ни рожь, ни греча, ни пшена.
Ячмень колючий — и притом
Наполовину с дурманом.

III.

И пусть снисходительный читатель не думает, что мы ловим г. критика на случайных описках. Нет, совсем нет! Указанный нами чудовищный промах повторяется чуть не на каждой странице «опыта» и составляет тот логический центр, вокруг которого *«вращается» почти все содержание* придуманной г. П. Струве *«критики»* революционного марксизма Вот, например, через несколько страниц после цитированного нами комментария, г. П. Струве категорически заявляет: «революция, устраняющая противоречие, во всяком случае логически необходима для марксовой теории постоянно усиливающегося противоречия между хозяйством и правом» [2]). Эти слова показывают, что г. П. Струве не только «упорствует» в своем непостижимом заблуждении, но и кладет его в основу своей «критики»: он собирается оспаривать марксову мысль указанием на то, что между правом и хозяйством (т. е. имущественными отношениями, экономической структурой) существенного противоречия быть не может. Не меньшее «упорство» в заблуждении обнаруживается и нижесле-

[1]) Ниже будет объяснено, в каком смысле мы употребляем здесь эпитет *революционного.*

[2]) Ibid., S. 673.

дующей аргументацией, которую наш «критик» считает неотразимой и победоносной:

«То, что, по примеру Маркса, называется отношениями производства, логически и исторически уже заключает в себе правовое регулирование имущественных отношений. Уже по одному этому логически невозможно, оставаясь на марксовой точке зрения, говорить о противоречивом развитии производственных отношений и правового порядка (да кто же говорит об этом, кроме вас, о, строгий критик! Ведь у Маркса-то речь идет о противоречии между *производительными силами* и имущественными отношениями. Вы сами, в начале вашего комментария, *«отметили* — правда, без *«особенной силы»* — это действительно достойное замечания *«обстоятельство».* Как же вы вдруг позабыли о нем, когда вам понадобилось «критиковать» теорию Маркса? — *Г. П.*). Но еще много важнее то, что признание подобного развития фактически и безусловно исключает всякое реалистически понимаемое воздействие хозяйственных явлений на правовой порядок (откуда взялись у вас хозяйственные явления, г. П. Струве? Ведь у вас шла речь о *производственных* отношениях или, иначе, о *хозяйстве,* и вы сами справедливо говорите, что понятие *хозяйство* совсем не покрывается тем, что мы называем *хозяйственным* элементом в *общественных явлениях* — *Г. П.*). Ибо подумайте: производственные отношения (г. «критик» опять, sans crier gare, возвращается к производственным отношениям, понятие о которых, по его собственному замечанию, совсем не покрывается понятием: хозяйственные явления — *Г. П.*), становящиеся все более и более социалистическими, порождают классовую борьбу; классовая борьба — социальные реформы, а эти последние будто бы обостряют капиталистический характер общества. Итак, производственные отношения, становящиеся все более социалистическими, порождают правовой порядок, становящийся все более капиталистическим. Воздействие экономии на право не только не порождает никакого взаимного приспособления между ними, но все более усиливает существующее между ними противоречие» [1]).

Часть этой тирады, следующая за словами: *«ибо подумайте»* написана, очевидно, для того, чтобы «с особенной силой отметить» нелогичность «ортодоксальных» последователей Маркса, признающих

диалектический закон развития. Но здесь наш критик опять навязывает «ортодоксальным» марксистам «совершенно баснословную

[1]) Ibid., S. 676—677.

догму», и опять его изложение превращает в «ячмень наполовину с дурманом» чрезвычайно ценное теоретическое зерно марксовой теории социального развития. *«Ибо подумайте»!* Когда Маркс и его «ортодоксальные» последователи говорят о постоянно растущем теперь противоречии между *производительными силами* капиталистического общества и его *производственными отношениями,* они под этими последними понимают буржуазные *имущественные отношения,* как это особенно ясно показывают сделанные нами выше цитаты из «Манифеста Коммунистической партии» и как это признает сам г. П. Струве. Вот почему ни Марксу, ни его «ортодоксальным» последователям никогда не приходило и никогда не могло прийти в голову утверждать, — как это приписывает им г. П. Струве,— что производственные отношения буржуазного общества все более и более становятся социалистическими. Кто сказал бы это, тот тем самым высказал бы ту мысль, достойную разве лишь какого-нибудь новейшего Бастиа, что *имущественные отношения,* свойственные капиталистическому обществу и горячо отстаиваемые буржуазией, все более и более приближаются к социалистическому идеалу [1]).

Г. П. Струве называет книгу *«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»,* самым лучшим изложением философско-исторических основ ортодоксального марксизма. По его же словам, наши «Beträge zur Geschichte des Materialismus» написаны совершенно в духе этой книги. Пусть же читатель потрудится пересмотреть эти книги и пусть он сам решит, есть ли в них хоть что-либо похожее на то, что приписывает «ортодоксальным» ученикам Маркса наш странный «критик»!

Изо всего этого следует тот неизбежный вывод, что в «критическом» походе г. П. Струве ему служит операционным базисом колоссальное, поистине невероятное, *непонимание Маркса.* Славный поход! Глубокая «критика»! Интересный «критик»!

Литературная известность г. П. Струве начинается с осени 1894 г., когда вышла в свет его наделавшая много шума книга: *«Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России».*

[1]) Этой неудобосказуемой путанице полезно противопоставить собственные слова Маркса: «Ни одна общественная формация не исчезает раньше, чем разовьются все производительные силы, которым она предоставляет достаточно простора, *и новые, высшие отношения производства никогда не занимают места старых раньше, чем выработаются в недрах старого общества материальные условия их существования.* Zur Kritik etc., Vorwort, курсив наш).

В этой тяжеловесно написанной и местами наивной, но в общем все-таки дельной книге одновременно выступали,

Обнявшись, будто две сестры,

и причудливо переплетаясь одна с другою, две теории: во-первых, теория Маркса и «ортодоксальных» марксистов, а во-вторых, теория Брентано и его школы. И это смешанное, эклектическое содержание книги в значительной степени оправдывало как упреки, сыпавшиеся на ее автора со стороны некоторых «ортодоксальных» марксистов, так и ожидания, возлагавшиеся на него другими, не менее «ортодоксальными» последователями Маркса: упрекавших раздражал *брентанизм,* а люди, возлагавшие ожидания на г. П. Струве, надеялись, что эта буржуазная теория будет мало-помалу побеждена в его взглядах присутствовавшим в них элементом *марксизма.* Пишущий эти строки принадлежал к числу ожидавших. Его ожидания не были, правда, очень велики: он никогда не считал г. П. Струве человеком, способным обогатить теорию Маркса значительным теоретическим вкладом; но он все-таки надеялся, во-первых, на то, что брентанизм г. П. Струве скоро будет побежден его марксизмом, а, во-вторых, на то, что автор «*Критических заметок*» способен правильно понимать автора «Капитала». Теперь оказывается, что мы ошиблись в обоих случаях: марксизм уже теперь уступает, во взглядах г. П. Струве, свое место своему старому соседу - брентанизму, а, кроме того, наш «критик» обнаружил совершенное непонимание самых коренных, самых важных положений исторического материализма. В этом последнем отношении он очень далеко ушел назад, что объясняется, конечно, влиянием того же брентанизма. Ввиду всего этого, нам остается лишь открыто признаться в своей ошибке и сказать в свое оправдание, как говаривал Еврипид: «Многое делают боги против ожидания; не исполняется ими то, чего мы ждали, а с другой стороны, они находят средство осуществить неожиданное».

IV.

Мы видели: нам невозможно было ошибиться насчет смысла, в котором г. П. Струве употребляет слово *хозяйство,* так как он сам постарался точно определить этот смысл. Но предположим, тем не менее, что мы неправильно его поняли, и что указанным словом наш критик

обозначает не тот или другой *(«например, капиталистический»)* хозяйственный порядок, не производственные (имущественные) отношения, свойственные данному обществу, а именно тот хозяйственный элемент в социальных явлениях, понятие о котором.

по его собственному правильному замечанию, совсем не покрывается понятием *хозяйство.* Куда приведет нас такое предположение? [1])

Раз приняв его, мы естественно должны принять также иное толкование тех слов **г.** П. Струве, что в марксовой теории социального развития все вращается вокруг противоречия между хозяйством и правом. Мы обязаны теперь допустить, что основой этой теории он считает учение о противоречии (отношении) между *хозяйственными явлениями,* имеющими место в данном обществе, и свойственным этому обществу *правом.* Это противоречие и должно быть признано теперь тем центром, вокруг которого *«все вращается»* в марксовой теории.

Возьмем же *капиталистическое общество* и посмотрим, в какой мере и при каких условиях противоречие между совершающимися **в** нем хозяйственными явлениями и его правом может явиться причиной, толкающей вперед его развитие.

Предположим, что в нашем капиталистическом обществе существует так называемая *разрешительная* система учреждения акционерных обществ. Известно, что эта система отличается многими неудобствами, стесняющими развитие акционерных компаний, а, следовательно, и крупного производства, которое так нуждается теперь в ассоциации капиталов, принадлежащих отдельным лицам. Поэтому в нашем обществе рано или поздно возникает *противоречие* между *хозяйственным явлением* — ростом крупного производства, нуждающегося в развитии акционерных компаний,— и *правом* — неудобным законодательством, регулирующим учреждение этих компаний. Такое противоречие может быть устранено только одним путем: путем уничтожения разрешительной системы и замены ее так называемой *явочной* системой, несравненно более удобной. И, конечно, явочная система,— именно, как несравненно более удобная,— рано или поздно будет принята законодателем. Приспособление правовой нормы к хозяйственному явлению произойдет здесь, можно сказать, само собою, и нужно быть, по французскому выражению, fou à lier, чтобы заводить речь о *социальной революции* там, где

[1]) Мы делаем это предположение на основании следующих слов г. П. Струве: Jedenfalls aber ist für die Marxsche Theorie die Annahme einer Steigerung der Widersprüche zwischen den ökonomischen Phenomenen und Rechtsnormen charakteristisch!» (Ibid., S. 671 III). Здесь центральным пунктом марксовой теории является стало быть противоречие между *«правовыми нормами»* и *«хозяйственными явлениями»,* понятие о которых не покрывается понятием *хозяйство.*

развитие общественной жизни выдвигает *только* противоречия этого рода.

Но чем же отличается этот род противоречий? Тем, что хозяйственные явления, противоречащие *буржуазному праву,* нисколько не противоречат, однако, *экономической основе этого права,* т. е. *имущественным отношениям капиталистического общества.*

Теперь спрашивается: говорил ли когда-нибудь сам Маркс или кто-нибудь из его «ортодоксальных» последователей, что коренные изменения общественного строя вызываются противоречиями этого рода? Нет, этого не говорили ни Маркс, ни его ученики. По Марксу (мы указывали на это уже много раз, но вынуждены опять повторить это), социальные революции подготовляются и делаются неизбежными благодаря противоречию между *производительными силами общества* и теми его *имущественными отношениями, на основе* которых *держится* свойственное этому обществу *право.* Это противоречие принадлежит совершенно к другому (несравненно более опасному) роду; с появлением *этого* противоречия начинается эпоха коренного общественного переустройства. Топить его в неопределенных и потому бессодержательных разглагольствованиях о противоречии между хозяйственными явлениями и правовыми учреждениями и о приспособлении права к хозяйству — значит, не выяснять вопрос, а запутывать и затемнять его до последней степени. И поистине нужен весь, «целиком взятый», «kritischer Geist» господина П. Струве, чтобы хоть на минуту вообразить, будто подобное запутывание и затемнение вопроса равносильно дальнейшему поступательному движению «реалистической» мысли, лежащей в основе марксизма, как исторической теории. Это не только не *поступательное движение,* но даже и не *моцион мысли* (как говаривал покойный А. С. Хомяков), а просто-напросто беспорядочная и бессодержательная, а потому совершенно бесплодная и бесполезная *теоретическая суета вокруг пустого места.* Подобная суета может доставить величайшее наслаждение людям, о которых говорит Куно Фишер словами, поставленными нами в эпиграфе, но *для науки* она хуже, чем ничего, для нее она — *огромный шаг назад, отрицательное явление.*

Что право, свойственное данному обществу, вырастает на основе его экономической структуры (имущественных отношений), это категорически говорит сам Маркс [1]). И это можно подтвердить це-

[1]) «Совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, *реальный оазис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка* (Zur Kritik etc. Vorwort; курсив наш).

лым рядом самых *неоспоримых примеров.* Кто не знает теперь, что имущественные отношения диких охотничьих племен насквозь пропитаны коммунизмом и что *на основе этих коммунистических отношений вырастает соответствующее им обычное право?* Кому неизвестно, что на почве феодальных имущественных отношений (на основе «феодальной организации земледелия и промышленности») *выросла целая система правовых учреждений, получавших свои питательные соки из этой почвы и исчезнувших вместе с нею?* Кто не слыхал о том, что современное *буржуазное право,* например, уже упомянутый выше Code Civil, выросло на почве *буржуазных имущественных отношений?* Сам г. П. Струве, комментируя Маркса (см. выше, примечание на стр. 155), называет *надстройкой правовые* и политические отношения, возникающие на *основе* данной экономической структуры, или данных имущественных отношений. И сам же г. П. Струве признал, что *коренным противоречием,* указываемым марксовой теорией социального развития, является противоречие между производительными силами общества и его имущественными отношениями. Почему же он немедленно забывает об этом *коренном противоречии* и подменяет его второстепенным противоречием между теми хозяйственными явлениями, которые совершаются внутри данной экономической структуры, и правом, которому эта структура служит, по выражению Маркса, реальным базисом? Чем может оправдать он такую подмену?

Возьмите *кризисы,* на которые «Манифест Коммунистической партии» указывает, как на явление, служащее наиболее ярким подтверждением той мысли, что производительные силы буржуазного общества переросли свойственные ему *имущественные отношения,* или *его экономическую структуру,* и скажите, читатель, противоречит ли это хозяйственное явление *праву,* выросшему на почве буржуазных имущественных отношений, например, хоть *французскому кодексу 1804 года?* Наивный и смешной вопрос! *Кризисы* так же мало противоречат *гражданскому праву* буржуазного общества, как *вексельный курс* — его *уголовному* праву. Не кризисы противоречат Code Civil, а производительные силы противоречат экономической структуре («имущественным отношениям»), *лежащей в основе этого кодекса.* Но что же означают эти слова: производительные силы буржуазного общества

противоречат его экономической структуре, его имущественным отношениям? Они означают, что эти отношения препятствуют применению этих сил во всем их объеме, и что когда эти силы получают широкое применение, они нарушают правильный

ход народного хозяйства. Выходит, стало быть, что чем более развиты производительные силы общества, тем опаснее становится для него их полное применение. И это противоречие не может быть устранено до тех пор, пока продолжают существовать буржуазные имущественные отношения [1]). Для его устранения необходима *социальная революция,* которая разрушит *буржуазные* имущественные отношения и заменит их *социалистическими,* имеющими совершенно другой характер. Такой смысл имеет указание Маркса и Энгельса. Приведенное ими в пример хозяйственное явление указывает на узость тех рамок (тех имущественных отношений), в которых заключена хозяйственная жизнь буржуазного общества и которые легли в основу буржуазного права. А их «критик» обходит молчанием (точнее: совершенно забывает, раз упомянув о них) как раз то самое противоречие, которое он считал коренной причиной социальных революций, и наивно замечает потом, что собственная теория Маркса, будучи правильно понята, не оставляет места для социальной революции, а предполагает «постоянную приспособленность права к хозяйству, как нормальную форму их сосуществования». Ввиду такой критики невольно вспоминаешь слова Крылова: *слона-то ты и не приметил.*

[1]) Здесь полезно оговориться! В последнее время многие гг. «критики» (в их числе г. Туган-Барановский) указывали на то, что кризисы утратили теперь ту острую форму, какую они имели прежде, и что поэтому они уже не играют теперь той роли в развитии общественной жизни, которая не без основания приписывалась им Марксом. На это мы ответим вот что. Какова бы ни была теперь *форма* указанного Марксом явления, *сущность* его осталась неизменной. Это явление вызывается противоречием между производительными силами общества и его имущественными отношениями. Так называемые англичанами trade depressions *по форме очень* не похожи на кризисы в собственном смысле этого слова, но *по существу* они имеют совершенно то же значение. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться хотя бы, например, с выводами, к которым пришла английская королевская комиссия назначенная для исследования причин застоя в торговле и промышленности. «During the past 40 years,— читаем мы в записке, составленной некоторыми членами этой комиссии, разошедшимися во мнениях с ее большинством,— during the past 40 years a great change has been wrought in the circumstances of all civilized communities by the application of mechanical and scientific aids to the production and transport of commodities, the world over... The great difficulty consists no longer as of old, in the scarcity and dearness of the necessaries and conveniences of life, but in the struggle for an adequate share of that employment which affords to the great bulk of the population their only means of obtaining a title to a sufficiency of those necessaries and conveniences, however plentiful and cheap they may be... The growing difficulty (the struggle for an adequate share of employment in presence of the abundance and cheap-

V.

Выходит, что в каком бы из двух возможных смыслов мы ни понимали слова г. П. Струве о том противоречии между *правом и хозяйством,* которое, по его словам, составляет теоретический центр марксовой теории общественного развития, мы все-таки должны признать, что он совершенно ошибочно *понимает* или совсем неверно *излагает* эту теорию. Но его ошибка так груба и так неожиданна, что мы еще раз спрашиваем себя: нет ли тут какого-нибудь недоразумения? И не был ли г. П. Струве введен в ошибку каким-нибудь выражением Маркса или Энгельса, неправильно им *понятым* или неправильно примененным самими основателями научного социализма?

Давайте вместе искать, читатель. Вы помните, вероятно, то место в знаменитой брошюре Энгельса *«Развитие научного социализма»,* где говорится об основном противоречии нынешнего способа производства. Прежде, в средние века *производитель* был также и *собственником* орудий труда и *присваивал* себе, за ничтожными исключениями, *лишь продукт своего собственного труда;* в настоящее время собственник орудий труда, *капиталист,* продолжает присваивать в свою *частную собственность* продукты, производимые на фабрике соединенным,

ness of commodities) finds its expression in the system of tariffs, export bounties and other commercial restrictions, adopted and maintained by all civilized nations except our own» (Final Report of the Royal commission etc., p. LV; ср. также стр. LXIV). Производительные силы цивилизованных обществ так развиты теперь, что людям, не имеющим другого товара, кроме своей рабочей силы, становится очень трудно найти себе *занятие, т. е. продать эту силу* и тем приобрести средства для покупки приготовляемых теперь в изобилии дешевых *продуктов. Затруднение* порождается *избытком; бедность — богатством.* Это как раз то противоречие, на которое указывали Маркс и Энгельс, говоря о кризисах. Разница лишь в том, что, по мнению составителей цитированной нами записки, это противоречие возникло в последние 40 лет, а по мнению авторов «Манифеста» — ранее. И не подумайте, что большинство королевской комиссии отрицает существование этого противоречия. Нет, большинство выражает тот же взгляд на этот предмет, как и меньшинство; только оно выражается иначе: «The world's capacity of production,— говорит оно,— will naturally be in excess of its ordinary requirements» L. c. p. XVII—IV-a). Это совершенно равносильно той мысли, что trade depressions вызываются, как вызывались кризисы, несоответствием между потребительной способностью рынка и современными производительными силами. Но потребительная способность рынка ограничивается именно имущественными отношениями современного общества. Значит, мы опять сталкиваемся с коренным противоречием этого общества,— противоречием между его имущественными отношениями, с одной стороны, и его производительными силами — с другой.

общественным трудом его рабочих. «Средства производства и продукты по существу своему стали общественными; но они были подчинены форме присвоения, основанной на частном, единичном производстве, свойственном тому времени, когда каждый владел своим собственным продуктом и сам выносил его на рынок». Отсюда противоречие между способом производства и способом присвоения: «новая форма производства подчинилась старой форме присвоения, несмотря на то, что совершенно разрушила ее основание». И это коренное противоречие заключает в себе зародыш всех противоречии нынешнего общества.

На первый раз «критическому» уму, цепляющемуся за слова и не проникающему до обозначаемого ими содержания, может показаться, пожалуй, что противоречие, указываемое здесь Энгельсом, и есть то противоречие между хозяйством **и** правом, о котором толкует г. П. Струве. Но достаточно самого небольшого усилия, чтобы понять, до какой степени это неверно.

Говоря об общественном производстве, противоречащем индивидуальному присвоению, Энгельс имеет в виду современную механическую мастерскую, в которой труд рабочих объединяется в одно стройное целое и продукты которой являются поэтому плодами *общественного труда.* Но организация труда в современной механической мастерской определяется нынешним состоянием *техники* и характеризует собою *состояние производительных сил, а вовсе не хозяйственный порядок, нынешнего* (капиталистического) *общества,* который характеризуется прежде всего и, главным образом, свойственными ему *имущественными отношениями,* т. е., следовательно, и принадлежностью механической мастерской не объединенным в ней рабочим, а капиталисту, эксплуатирующему этих рабочих. Таким образом и противоречие между *общественным* трудом на фабрике и *индивидуальным* присвоением этой фабрики есть уже хорошо знакомое нам противоречие между производительными силами капиталистического общества и его имущественными отношениями. Это очень хорошо разъяснено у самого Энгельса. «Точно так же, как мануфактура и усовершенствовавшиеся под ее влиянием ремесла пришли некогда в столкновение с феодальными путами цехов, крупная промышленность, на более высокой ступени своего развития, приходит в столкновение с

узкими пределами, которыми ограничивает ее капиталистический способ производства. Новые производительные силы перевели буржуазные формы их эксплуатации» [1]).

[1]) «Развитие научного социализма». Женева 1892, стр. 26.

Ясно, что и Энгельс имеет в виду вовсе не противоречие между *«правом»* и *«хозяйством».* А кроме цитированной нами брошюры «Развитие научного социализма» мы не знаем решительно ни одного такого сочинения Маркса или Энгельса, которое давало бы *хотя бы чисто внешний, хотя бы только словесный повод* истолковать марксову теорию общественного развития в том смысле, в каком истолковал ее г. П. Струве.

Это мы говорим, имея в виду навязанное этим «критиком» Марксу «противоречие между правом и хозяйством» («например, капиталистическим хозяйственным порядком»). А что, скажем мы, если навязанное Марксу «противоречие» надо понимать в другом смысле,— именно в смысле противоречия между хозяйственными явлениями, понятие которых не покрывается понятием «хозяйство», и правовыми учреждениями данного общества? Не выйдет ли тогда, что г. П. Струве говорит то же, что и Фридрих Энгельс?

На первый взгляд и здесь может показаться, что — да; но и здесь при ближайшем рассмотрении дело принимает другой вид.

Организация труда в мастерской, несомненно, есть хозяйственное явление. Но это *хозяйственное явление* противоречит не праву, а другим *хозяйственным же явлениям,* именно тем имущественным отношениям буржуазного общества, которые составляют «реальный базис» буржуазного права. Отождествлять этот реальный базис с возвышающейся над ним «юридической надстройкой», значит излагать теорию кого-то другого, а не Карла Маркса, который сам же и установил различие между надстройкой (правом) и базисом (производственными отношениями). Мы хорошо понимаем, что Маркса гораздо легче было бы «критиковать», если бы он его не устанавливал [1]). Но что же прикажете? Ведь Маркс не обязан был искажать истину ради удобства «критиков»!

Как ни поворачивай дело, а все-таки надо признать, что г. П. Струве *страшно напутал,* и что чрезвычайно трудно, вернее —

[1]) У г. П. Струве сознание этого удобства наивно выражается словами: «Die von mir vorgetragene Ansicht schließt sowohl den Marxschen als auch den Stammlerschen Begriff der «sozialen Revolution» aus. Die Anpassung des Rechtes an die Sozialwirtschaft hört keinen Augenblick auf und die Entwicklung der jeweiligen Gesellschaftsordnung ist es eben, welche diesen Rahmen umform und ausweitet» (Ibid., S. 672. V). Вы нравы, о «критик»! Гораздо лучше было бы, если бы ваша «Ansicht» совпадала с марксовой, а еще лучше и глаже было бы, если бы ваша Ansicht, не совпадающая с марксовой, соответствовала исторической действительности. Но — увы! — она не соответствует ей, а «п*ротиво*речит».

совсем невозможно, найти какие-нибудь правдоподобные обстоятельства, хоть немного смягчающие вину наделанной им путаницы, которая падает всецело на него самого, да разве еще на Штаммлера.

Г. П. Струве по своему обыкновению «критикует» этого писателя (без «критики» он обойтись не может); но он совсем не способен освободиться от его влияния.

О самом Штаммлере распространяться здесь было бы неуместно. Но нельзя не заметить мимоходом, что он ввел у нас в соблазн немалое число «марксистов» из ряда тех, которые были предварительно софистицированы и «притуплены» так называемой критической философией, столь любезной теперь сердцу всех, стремящихся к *«притуплению»* общественных противоречий.

VI.

Мы уже выше заметили, что если бы сущность так называемого социального вопроса заключалась в несоответствии буржуазного права буржуазному хозяйству, то об исторической необходимости общественного переворота могли бы говорить только люди, страдающие буйным умопомешательством. При таком отрадном положении дел теоретики-юристы и толковые практики из мира деловой буржуазии без труда открывали бы, в каком именно месте башмак жмет,— по немецкому выражению,— ногу, и господам буржуа стоило бы только сердито поворчать и угрожающе нахмуриться, чтобы их парламентские представители немедленно придали башмаку новую форму. Но, спрашивается, пошло ли бы в этом случае естественное развитие по второй формуле г. П. Струве, которую мы назвали *формулой притупленного противоречия?*

Выше мы взяли для примера законодательство об акционерных обществах. Теперь мы возьмем ради удобства тот же пример. Скажите, читатель, какое отношение установится между общественной жизнью, требующей размножения акционерных обществ, и разрешительной системой, стесняющей такое размножение? Нам кажется, что между ними установится *противоречие,* которое будет *постоянно увеличиваться,* вплоть до той поры, когда разрешительная система исчезнет, уступив место *явочной* системе. Так ли это? Несомненно так. А если это так, то стало быть мы и здесь имеем дело с явлением, подтверждающим

справедливость гегелевского афоризма: *противоречие ведет вперед.* А это новое умозаключение в свою очередь дает почувствовать весь комизм положения тех гг. «критиков», которые любят порицать Гегеля и толковать о *«притуплении противоречий».*

Г. П. Струве возразит нам, может быть, что *обострение противоречия* между отжившей правовой нормой и новой общественной потребностью еще не ручается за *обострение борьбы* между защитниками старой нормы и ее противниками. Это будет справедливо. И мы охотно допускаем, что в незначительных случаях, подобных вышерассмотренному, обострение указанного противоречия может сопровождаться в иных случаях даже *ослаблением* общественной борьбы, т. е. *притуплением* противоречия между борющимися. Хотя надо заметить, что это не более, как предположение, которое надо еще доказать и которое мы принимаем просто из любезности по отношению к г. П. Струве. Но может ли это быть там, где речь идет не о мелочах, подобных законодательству об акционерных обществах, а о великих общественных переворотах, затрагивающих коренную *основу* права: *экономическую структуру, имущественные* отношения? На этот вопрос неподкрашенная историческая действительность отвечает решительным *отрицанием.* Мы не знаем хорошенько, как совершалось развитие в Китае в течение длинного, до сих пор еще незаконченного периода его упадка; но мы твердо знаем, что в прогрессирующих обществах рост противоречий между новыми общественными потребностями и старым общественным строем сопровождается обыкновенно обострением борьбы между новаторами и консерваторами. Именно к таким (идущим *«вперед»)* обществам целиком применимо то, что говорит *о борьбе за право* Меринг в своей знаменитой брошюре. «Всякое право приобретено путем борьбы; каждое важное правовое положение должно быть вырвано у тех, которые ему противились...» «С существующим правом срастаются мало-помалу интересы тысяч людей и целых сословий, так что его нельзя устранить, не нанося им чувствительного ущерба. Поднять вопрос об устранении данного узаконения или данного учреждения — значит объявить войну всем этим интересам. Каждая подобная попытка естественно вызывает, поэтому, действием инстинкта самосохранения, сильное сопротивление со стороны затронутых интересов, а тем самым и борьбу... Высочайшей степени интенсивности достигает эта борьба тогда, когда интересы складываются в виде приобретенных прав... Все великие завоевания, на какие только может указать история права: уничтожение рабства,

крепостничества, свобода поземельной собственности, свобода ремесла, свобода совести и т. д., все они сделаны были посредством жесточайшей борьбы, длившейся часто целые столетия, и путь, которым шло право в своем развитии, нередко обозначается

потоками крови и везде усеян обломками разбитых правовых учреждений» [1]).

Если такой ход общественного развития называется развитием посредством *притупления противоречий,* то мы, право, уже не знаем, что следует назвать их *обострением.*

В пояснение и защиту своей второй формулы г. П. Струве приводит два примера, которые оба имеют, однако, то едва ли удобное для него свойство, что «противоречат» ему самым решительным образом.

Первый пример. «Положим, что вследствие развития промышленности возникает практически-экономическое (praktisch-wirtschaftliche) рабочее движение. Издается или делается более строгим закон, запрещающий стачки и коалиции. Растет репрессия, а с нею и противоположность. Но в дальнейшем своем развитии рабочее движение перерастает репрессию, оружие которой притупляется, и в заключение законы, направленные против рабочего движения, отменяются. Здесь мы имеем случай, в котором противоречие сначала растет, а потом ослабляется, и в заключение одна из партий побеждает» [2]).

Когда одна из партий *«побеждает»,* тогда противоречие не только не растет, но совсем уничтожается. Это понятно само собою. Весь вопрос в том, *ослабляется или,* напротив, *растет* противоречие в период, непосредственно предшествующий победе одной из борющихся сторон. А на этот вопрос сам г. П. Струве отвечает отрицательно: в его собственном примере «противоположность или сопротивление» *увеличивается* до тех пор, пока репрессия не оказывается бессильной, т. е. пока рабочие не победят. Правда, в его примере отмене закона предшествует тот период, когда «оружие репрессии притупляется». Но существование этого периода есть *простое предположение.* Скажет ли г. П. Струве, что это предположение вполне соответствует исторической действительности? Если он скажет это, то мы ответим ему, что именно история законов, направленных против рабочих коалиций, говорит *против* его предположения. В самом деле, разве, например, в Англии,— этой классической стороне компромисса,— отмене законов против коалиций предшествовало менее строгое их применение? Вовсе нет! Накануне их отмены дело обстояло совсем иначе. По словам Гоуэля, недовольство

этими законами постоянно росло, вызывая новые репрессивные меры, и когда законо-

[1]) «Der Kampf ums Recht», 13 Auflage, S.S. 6, 7 и 8. [2]) «Archiv», XIV B., 5 und 6 Heft, S. 675.

дательство, направленное против коалиций в собственном смысле, оказалось слишком слабой преградой для растущего потока рабочего движения, правительство постаралось *отточить свое оружие,* обратившись к другим законам, вроде Sedition Acts, законов, карающих государственную измену и т. п. С своей стороны, рабочие раздражались все более и более, пока, наконец, их волнения и исходившие из их среды аттентанты не вынудили правительство отменить ненавистные законы [1]).

Совершенно то же узнаем мы от супругов Уэббов и от Кулемана, который, впрочем, лишь повторяет в этом случае то, что говорят супруги Уэббы [2]).

Второй пример, приводимый нашим «критиком», не доказательнее первого. В этом примере мы имеем дело с известным немецким *«исключительным законом 1878 г.».* Г. П. Струве указывает на то, что этот закон, по мере роста рабочего движения, применяется все слабее, а, наконец, был и совсем отменен. «Что это: увеличение или, скорее, ослабление сопротивлений?» — спрашивает наш «критик».

На этот вопрос мы ответим вопросом: *о каких сопротивлениях* (Wiederstände) он говорит? Если о сопротивлении имперского правительства стремлениям социал-демократов, с одной стороны, и о сопротивлении социал-демократов стремлениям имперского правительства — с другой, то менее суровое применение, а затем и отмена названного закона вовсе не означала ослабления *этих* «сопротивлений», как это прекрасно понимают и рабочая партия, и имперское правительство. Менее суровое применение исключительного закона означало только то, что правительство убедилось в его *нецелесообразности,* а его

[1]) Le passé et l'avenir des Trade-Unions par Georges Howell, traduction par Ch. Le Cour Grand-maison, Paris, 1892, p.p. 40 et 45.

[2]) *Уэббы:* «The common law and ancient statutes were ruthlessly used to supplement in Combination Acts, often by strained constructions. The scotch judges In particular... applied the criminal procedure of Scotland to cases of simple combination... The whole system of repression which had characterised the statesmanship of the Regency culminated at this period in a tyranny not exceeded bu any of the monarches of the «Holy Alliance». (History of Trade Unionism, London, 1894, p.p. 84 — 85). *Кулеман:* «Erschwert wurde die Lage für die Arbeiter noch durch die nach dem Frieden von 1815 in Verbindung mit dem niedrigen Stande der Preise einsetzende ausserordentliche Herabdrückung der Löhne. Es ist deshalb begreiflich, daß sich überall Geheimbunde bildeten und Verschwörungen stattfanden, die mit blutigen Verfolgungen endeten». (Die Gewerkschaftsbewegung, Jena 1900, B. 3—3). Нечего сказать, замечательное «притупление»!

нецелесообразность обусловливалась тем, что рабочая партия научилась избегать сетей исключительного закона. Ставший нецелесообразным, исключительный закон не только не ослаблял неудовольствие рабочей массы, но *увеличивал* его, раздражая эту массу нестерпимой *полицейской «волокитой».* Видя, что результаты получаются как раз обратные тем, которых оно ожидало, германское имперское правительство сочло невыгодным и неудобным дальнейшее строгое применение и даже существование этого закона. Он был отменен. И если мы восстановим теперь в памяти его историю, то она покажет нам, *как отменяются законы, ставшие нецелесообразными, а вовсе не как «притупляются» общественные противоречия.*

Нет, что ни говорите, а неподкрашенная история служит плохим свидетельством в пользу второй формулы г. П. Струве. И если, тем не менее, он все-таки «критикует» людей, признающих правильность гегелева замечания насчет ведущего вперед противоречия, то он, очевидно, имеет на это серьезную причину. Какая же это причина?

Он сам отвечает на этот вопрос с откровенностью, заслуживающею величайшей похвалы.

«Я уже оттенил,— говорит он,— то обстоятельство, что если социальное развитие совершается по формуле возрастания противоположностей, то «общественный переворот» необходимо должен представляться в виде политического переворота. Но это представление, лежащее в основе знаменитого учения о диктатуре пролетариата, падает вместе с диалектическим ходом развития» [1]).

Вот оно что! Все дело тут, как видите, в *политической революции и в диктатуре пролетариата.* Так и запишем!

Настоятельная психологическая потребность подорвать теоретическую основу знаменитого учения о диктатуре пролетариата и о «политической революции», необходимой для социального освобождения этого класса, вынудила критика П. Струве, на заре двадцатого столетия, обосновать свои возражения против «ортодоксального» марксизма на более чем недостаточных посылках.

Под влиянием этой настоятельной психологической потребности г. П. Струве приписал марксовой теории общественного развития совсем не то содержание, какое она имеет в действительности, и эта его «коренная»

погрешность естественно повела за собою ряд других, более или менее важных, В голове нашего «критика» непра-

[1]) Ibid. S. 674.

вильное понимание им марксовой теории отразилось в виде *«неясности»* самой теории. Так, он заметил, как мы узнаем, неясность, заключающуюся будто бы в том, что в этой теории производительные силы общества и его отношения производства являются, как своего рода сущности или «вещи». Г. «критик» думает, что только благодаря такой неясности можно говорить о противоречии всех, вместе взятых, производительных сил всем, целиком взятым, отношениям производства и представлять себе социальную революцию, как коллизию между этими силами и этими отношениями. Мы узнали также от г. П. Струве, что социально-политическое миросозерцание Маркса страдало еще другою неясностью: он, с одной стороны, придерживался того взгляда на развитие общества путем усиления противоречий, который защищают теперь его «ортодоксальные» ученики, а с другой — склонялся и к тому взгляду на это развитие, вокруг которого «вращается» теперь «социальная» политика г. П. Струве и который выражается формулой притупленного противоречия; и при этом автор «Капитала» не замечал несовместимости таких взглядов.

Разберем первую *«неясность».*

В современной механической мастерской, т. е. на фабрике, труд работающих там *пролетариев* принимает характер *общественного труда,* между тем как сама фабрика принадлежит *отдельному лицу* или *отдельным лицам.* Организация труда на фабрике противоречит общественным отношениям производства и именно *имущественным отношениям* современного общества. Но что же такое сама фабрика? Поскольку она представляет собою совокупность усовершенствованных орудий труда, она является составным элементом того, что мы называем *общественными производительными силами.* А поскольку совокупность усовершенствованных *орудий* труда обусловливает собою известную его *организацию,* то есть известные *отношения между производителями,* фабрика есть *общественное отношение производства* [1]). И если это отношение начинает противоречить имущественным отношениям капиталистического общества, если *фабрика перестает уживаться с капиталом,* то это значит, что *некоторая часть* общественных отношений производства перестает соответство-

[1]) «Машины так же мало составляют экономическую категорию, как и быки, которые тащат плуг. Это производительная сила, не больше. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория» *(«Нищета философии»,* стр. 107).

вать другой их части, и что фраза «производительные силы общества противоречат его имущественным отношениям» должна быть понимаема именно в этом эволюционном смысле, устраняющем всякую возможность представления названных сил и указанных отношений в виде каких-то самостоятельных сущностей. Ввиду этого действительно становится невозможным говорить о противоречии производительных сил «всем *целиком взятым» отношениям производства. Но кто же говорит* об этом, кроме нашего «критика»? Во всяком случае, не Карл Маркс, и не Фридрих Энгельс [1]).

Заметьте, что г. П. Струве, все время толковавший о противоречии между правом и хозяйством, вдруг сам вспомнил, однако, что не это противоречие составляет, по марксовой теории, главную пружину общественного развития, и заговорил о противоречии производительных сил общественным отношениям производства. Mieux vaut tard que jamais! С другой стороны, возвращение к истинному теоретическому центру марксовой теории было бы действительно хорошо только в том случае, если бы г. П. Струве потрудился *понять* слова Маркса, прежде чем приступать к их «критике». Но *понять-то* он и не счел нужным.

Г. П. Струве незаметно для себя переходит от одного неправильного понимания теории Маркса к другому, столь же неправильному ее пониманию, при чем он не замечает *несовместимости* этих двух неправильных способов понимания. Но в голове его все-таки шевелится подчас смутное сознание того, что дело обстоит как-то не совсем ладно. Тогда он для успокоения своей собственной теоретической совести, и чтобы предупредить возражения со стороны читателей, валит с больной головы на здоровую и обвиняет Маркса в

[1]) Здесь нужно, однако, обратить внимание читателя на следующую особенность терминологии только что названных писателей. Когда речь идет у них об основном противоречии, толкающем вперед общественное развитие, тогда слова *отношения производства* употребляются ими в более узком смысле *имущественных отношений.* Пример: приведенная нами в одном из предыдущих замечаний цитата из предисловия к Zur Kritik, где говорится, что новые отношения производства не заменяют места старых раньше, чем выработаются материальные условия их существования. Под материальными условиями существования новых отношений производства (имущественных отношений) здесь понимаются также и те непосредственные отношения производителей в процессе производства (например, организации труда на фабрике и мануфактуре), которые в более широком смысле тоже должны быть названы *отношениями производства.* Это обстоятельство могло, пожалуй, сбить с толку поверхностного «критика».

той самой «неясности» и в том самом совмещении несовместимых понятий, которые составляют главную отличительную черту его собственной «критики». Такой критический прием удовлетворит, конечно, далеко не всякого читателя; но он, как видно, вполне удовлетворяет самого г. П. Струве. И то хорошо! Заметьте еще вот какое обстоятельство.

Г. П. Струве только что упрекал Маркса в том, что по его теории все *вместе взятые* производительные силы вступают в противоречия со всеми *целиком взятыми* общественными отношениями производства. А что слышали мы от него несколько выше? Мы слышали: «Ибо подумайте... производственные отношения, становящиеся все более и более социалистическими, порождают правовой порядок, становящийся все более и более капиталистическим. Воздействие экономии на право не только не порождает никакого взаимного приспособления между ними, но все более усиливает существующее между ними противоречие». Так должен был представляться,— по тогдашним словам г. П. Струве,— ход общественного развития тем марксистам, которые признают диалектический закон развития. Но Маркс сам признавал этот закон. Стало быть и он должен был иметь такое же представление о ходе общественного развития. Но *это* представление совсем не похоже на только что рассмотренное: *там* (в представлении, только что рассмотренном нами) производительные силы все более противоречат производственным отношениям, которые, очевидно, играют роль *консервативного элемента; здесь* этот *консервативный* элемент превращается в *прогрессивный:* производственные отношения все более и более становятся *социалистическими,* и противоречие существует не между отсталыми производственными отношениями и ушедшими вперед производительными силами, а между ушедшими вперед производственными отношениями и отсталым правовым порядком (который все более «становится капиталистическим»). И все это будто бы *по Марксу!* Что же это за... путаница? Г. Д. Струве твердит свое: я не виноват; это все напутал Карл Маркс, придерживающийся двух несовместимых взглядов! Но теперь мы уже понимаем смысл этой отговорки. Мы уже знаем теперь, что путает здесь не Маркс, а его «критик», и мы без труда открываем, где и в чем именно запутался этот последний.

Г. П. Струве, упрекавший Маркса в том, что у него все вместе взятые производительные силы противоречат всем вместе взятым общественным отношениям производства, чувствовал вместе с тем, что этот упрек совсем неоснователен и что у Маркса развитие произво-

дительных сил сопровождается также *изменением взаимных отношений производителей в процессе производства.* Но он не знал, *какие именно отношения производства* изменяются параллельно развитию производительных сил и какие отстают от этого развития, обусловливая своею отсталостью необходимость радикального общественного переворота, социальной революции. А не зная этого, он употребил тот самый грубый прием, который он приписывает Марксу: он взял *«целиком»* все общественные отношения производства и объявил, что Маркс и марксисты думают, будто эти отношения все более и более делаются *социалистическими,* между тем как правовой порядок все более пропитывается духом *капитализма.* Маркс и «ортодоксальные» марксисты никогда, разумеется, этого не утверждали; но приписанная им «коренная» несообразность, прямо *«противоречащая»* другой «коренной» несообразности, приписанной им тем же «критиком» в другом месте, чрезвычайно хорошо характеризует царствующий в голове г. П. Струве хаос представлений о марксовой теории социального развития!

VII.

Царствию этого хаоса несть конца. Мы неспособны изобразить его во всей его славе: для этого нужна была бы лира старого Державина. Но для полноты характеристики мы укажем на одну *«неясность».*

По словам г. П. Струве, в марксовой теории понятие: *совокупность производственных отношений данного общества* покрывается понятием: совокупность конкретных правовых отношений. Чтобы читатель мог судить, так ли это, мы приведем два три примера.

Первый пример. Взаимные отношения производителей в современной механической мастерской представляют собою, как мы видели, общественное отношение производства. Но эти их взаимные отношения в процессе производства не составляют никакого правового отношения между ними. Правовое отношение существует между ними и их нанимателем. Но это уже совсем «из другой оперы».

Второй пример. Стоимость есть (по Марксу) общественное отношение производства. Но понятие о стоимости совсем не покрывается понятием о правовых отношениях людей, вступающих в меновые сделки друг с другом.

Третий пример. Конкуренция есть производственное отношение, свойственное буржуазному обществу. Она дает повод к возникновению многих правовых отношений. Но понятие о ней вовсе не покрывается понятием об этих правовых отношениях.

Четвертый пример. Капитал... Но довольно! Читатель и сам видит, что г. П. Струве паки и паки страшно путает. А мы прибавим от себя разве лишь то, что в этом случае наш «критик» был вовлечен **в** свою странную ошибку Штаммлером, от влияния которого он не мог уберечься.

Возвращаемся к центральному пункту позиции нашего «критика»: к его рассуждениям о различных формулах общественного развития.

Мы сказали сначала, что ни один «ортодоксальный» марксист не согласится признать правильною его первую формулу. Потом, критикуя г. П. Струве, мы настаивали на том, что общественное развитие совершается путем *обострения* противоречий, а не путем их *притупления.* Иной читатель принял это, пожалуй, за признание правильности той самой формулы, которую мы же объявили ошибочной. Вот почему мы находим нужным объясниться, напоминая при этом читателю, что сам Маркс был не охотник до «формул» и едко смеялся в своей *«Нищете философии»* над Прудоном за его пристрастие к ним.

Читатель не забыл сочиненной г. П. Струве «формулы противоречия».

A	B
2A	2B
3A	3B
4A	4B
5A	5B
6A	6B
...	...
nA	nB

Откуда взялось это *A?* Откуда взялось B? Служит ли *A* причиной существования *B?* Служит ли *B* причиной существования A? Все это «покрыто мраком неизвестности». От г. П. Струве мы узнаем только, что между *A* и *B* существует *взаимодействие.* Но его формула не выражает даже и взаимодействия: она только указывает, что *B растет прямо пропорционально росту A.* Г. П. Струве удовольствовался этим указанием, полагая, что формула, выражающая отношение роста *B* к росту *A,* с достаточной полнотой изображает взгляд «ортодоксальных» марксистов на ход общественного развития. «Каждое из двух явлений *A* и *B* растет путем накопления однородных элементов,— говорит он.— Одновременно с этим и благодаря этому растет также и существующее между ними противоречие, ко-

торое и устраняется, наконец, победой сильнейшего явления: *nA* уничтожает *nB».*

Но если *nA* уничтожает *nB,* то этот окончательный результат «взаимодействия» между двумя явлениями тоже должен был бы найти свое выражение в первой формуле г. П. Струве. Между тем она этого результата не выражает; ее последний член:

$$\frac{nA}{nB}$$

указывает только на то, что *B* растет прямо пропорционально росту *A,* а вовсе не на то, что рост *A* приводит к уничтожению *B.* Стало быть формула г. П. Струве должна быть прежде всего исправлена так:

A	B
2A	2B
3A	3B
…	…
nA	nB
n [вернее: (n+x)]A	oB

Теперь пойдем дальше и посмотрим, соответствует ли эта несколько исправленная формула ходу социального развития там, где оно совершается путем *обострения* противоречий.

Возьмем для примера социальную революцию, которая имела место во Франции в конце XVIII века и которая известна в истории под именем Великой Французской Революции.

Эта *социальная революция* окончательно уничтожила «старый порядок» и положила начало полному и непосредственному господству буржуазии. Но она была подготовлена длинным, многовековым процессом *социальной эволюции.* Борьба третьего сословия с духовной и светской аристократией началась уже в XIII веке и, принимая самые различные виды, не прекращалась вплоть до 1789 года [1]). Буржуазия, вступившая в этом году в генеральное сражение со своими историческими врагами, была создана,— по справедливому замечанию «Коммунистического Манифеста»,— длинным рядом переворотов в способах производства и обмена. Каждой ступени роста ее *экономического* могущества соответствовали известные *политические* (т. е. стало быть *правовые)* завоевания. Чрезвычайно сильно ошибся бы тот, кто подумал бы, что феодальный порядок оставался неизменным от начала до конца своего существования. Победы, которые одерживала

[1]) Elle (la Revolution) a pris, il est vrai, le monde à l'improviste et cependant elle n'était que le complement du plus long travail, la terminaison soudaine et violente d'une oeuvre qui avait passe sous les yeux de dix générations d'hommes». A. de Tocqueville, l'Ancien Regime et la Revolution. 2-me édition, Paris, 1856, p. 55.

стремившаяся вперед буржуазия, постоянно видоизменяли феодальный общественный строй, беспрестанно внося в него те или другие, более или менее значительные *реформы.* Казалось бы, что эти реформы должны были *«притуплять»* противоречия, существовавшие в недрах феодального общества, и тем подготовлять мирное, постепенное, почти незаметное торжество нового порядка. На деле вышло, как известно, иначе. Реформы, которых удавалось добиться буржуазии, не только не *«притупляли»* противоречий между ее новаторскими стремлениями и старым общественным порядком, но, совершенно наоборот, давая новый толчок росту ее сил, они еще более развивали эти стремления и тем еще более *обостряли* это противоречие, постепенно подготовляя ту общественную бурю, с началом которой речь пошла уже не о *реформе,* а о *революции,* не о *преобразованиях внутри старого* порядка, а о *полном его устранении* [1]). Вот почему ненависть третьего сословия к старому порядку была накануне революции несравненно сильнее, чем когда бы то ни было прежде [2]). По замечанию Токвилля, предшествовавшее разрушение части феодальных учреждений сделало во сто раз ненавистнее ту часть их, которая еще оставалась [3]). Это замечание справедливо в той мере, в какой оно содержит в себе ту истину, что уступки, делаемые *старым новому,* совсем не *«притупляют»* того противоречия, которое существует между *новым* и *старым.* Но оно неверно, поскольку Токвилль хочет сказать, что накануне революции феодальный гнет был во Франции гораздо слабее, чем когда-либо прежде. Отмена *некоторой части* феодальных учреждений еще не означала *ослабления* феодального гнета: быстрое развитие новых общественных потребностей могло сделать — и, как видим, действительно сделало — *уцелевшую часть* более вредною для общественного движения, а потому и более гнетущею, более ненавистною, чем была некогда вся целиком взятая феодальная система [4]). К тому же и при старом порядке были (да

[1]) «D'époque en époque la législation a été amenée ainsi à toucher aux attributs seigneuriaux. Cela s'est vu partout, et partout il a sonné une heure où il ne s'est pas agi d'y porter la réforme uniquement, de les déplacer ou de les restreindre, mais de les (aire disparaitre sans retour». (Henry Doniol, La Révolution Française et la Féodalité. Seconde édition, Paris 1876, p. 6.

[2]) «C'est pourquoi ce siècle avait tant de répulsion vis-à-vis de la féodalité et des droits seigneuriaux». Doniol, там же, та же страница.

[3]) L. c., p. 72.

[4]) Это тем более верно, что было время, когда феодальная система не *задерживала* общественного движения, а, наоборот, *содействовала* ему. Фюстель де Куланж справедливо замечает, говоря о феодальных замках: «Dix siècles plus tard

простит мне читатель этот галлицизм) учреждения и учреждения. Сам Токвилль признает, что во Франции, с течением времени, привилегии, отделявшие дворянина от буржуа, *не уменьшались, а увеличивались* [1]). По его собственным словам, человеку среднего сословия было легче сделаться дворянином в царствование Людовика XIV, чем при Людовике XVI. И он же говорит, что вообще французское дворянство тем более превращалось в *касту,* чем более оно переставало быть *аристократией* [2]). И все это вполне подтверждают другие историки. Так, Дониоль указывает, что накануне революции все жаловались именно на увеличение феодального гнета. «Каждая местность жалуется на значительное увеличение (феодальных притеснений) и старается подтвердить свою жалобу фактами [3]). Альфред Рамбо столь же категорически высказывает ту мысль, что реформы, вырванные буржуазией у аристократии, не ослабили стеснительности старого порядка. «Между тем как старый порядок пытался устранить некоторые свои недостатки,— говорит этот исследователь,— он как будто умышленно увеличивал все остальные. Это (т. е. время, непосредственно предшествовавшее революции) была именно эпоха, когда эдикты 1779, 1781 и 1788 годов закрыли лицам, происходящим из третьего сословия (roturiers), доступ к офицерским чинам в армии; когда двор, не смея издать особый эдикт по этому поводу, решает, однако, руководиться на будущее время тем правилом, что «доходы со всех принадлежащих духовенству имуществ, начиная самыми скромными настоятельствами и кончая самыми богатыми аббатствами, будут доставаться лицам дворянского происхождения»; когда парламенты отказывались принимать в свою среду лиц, не могущих доказать, что они в своей родословной имеют уже два поколения дворян, и когда бордоский парламент в продолжение двух лет отказывался признать своим президентом советника Дюпати. Так как высшие судебные учреждения были в руках дворян, то люди среднего сословия и сельские общества те-

les hommes n'avaient que haine pour ces forteresses seigneuriales. Au moment où elles s'élevèrent, ils ne sentirent qu'amour et reconnaissance. Elles n'étaient pas faites contre eux, mais pour eux» (Histoire des institutions politiques de l'Ancienne France, tome IV, 682—683). То же можно сказать и о всей организации земледелия и промышленности.

[1]) Ibid. p.p. 143, 154, 155, 156.

[2]) Ibid. p.p. 156 et 157.

[3]) La Révolution Française et la Féodalité, p. 44; ср. также стр. 42: ,,Qui plus est, tout cela est signalé pour avoir pris récemment une intensité nouvelle" XI.

ряли все процессы, которые им случалось начинать против притязаний *господ;* это повело к усилению *феодализма* в деревнях. Королевское правительство поощряет преследования, начинаемые землевладельцами и их уполномоченными против крестьян. **В** некоторых своих наказах 1789 года третье сословие требует, чтобы парламенты были наполовину составлены из не-дворян: им пришлось, таким образом, добиваться гарантий, которых добивались еще гугеноты в царствование Генриха IV. Повсюду проникающий дух реакции сказывается как в постановлении парижского парламента, осудившего на сожжение книгу Бонсерфа о феодальных правах (1776 г.). так и в запрещении употреблять косы при уборке хлеба, или в распоряжении 1784 года, согласно которому длина платков, выделываемых во французском королевстве, должна была равняться их ширине. Наконец, сама королевская власть, лишая парламенты всякого права контроля над законодательством и финансами и силой разгоняя эти собрания в 1788 году, стремилась установить то, что прежде никогда не существовало во Франции — режим безграничного произвола. «Она становилась деспотичнее правительства Людовика XIV в то самое время, когда делалось очевидным для всех, что оно неспособно употребить свою власть на общую пользу»

В противоположность только что цитированным нами французским исследователям, русский ученый М. М. Ковалевский решительно порицает употребление термина *феодализм* в применении к социально-экономической структуре Франции XVIII века. «Ничто не дает более ложного представления об экономических и социальных порядках Франции,— говорит он,— как окрещивание их именем феодальных. Этот термин применим к ним так же мало, как, например, к русской поместной системе накануне 1861 года» [2]). Но достаточно прочитать ту самую главу (вторую первого тома), из которой мы заимствуем приводимые нами

строки, чтобы видеть, до какой степени французское земледелие и французский земледельческий класс страдали от *выживания* тех порядков, которые сам г. М. Ковалевский называет *феодальными.*

[1]) „Histoire de la civilisation français", sixième édition, tome second, p.p. 599—600). Рамбо совершенно соглашается с мнением цитируемого им Chérest, который говорит: «Наши политические учреждения имели ту странную судьбу, что они не улучшались после Генриха IV; вместо того, чтобы прогрессировать вместе с течением времени и прогрессом идей и нравов, они шли назад вопреки нравам, идеям и времени... Правительство старого порядка стало (накануне 1789 года) более несовершенно и более враждебно стремлениям образованных классов, чем оно было в средние века».

[2]) «Происхождение современной демократии», т. I, стр. 59.

Кроме того, г. М. Ковалевский, в полном согласии с цитированными нами французскими историками, отмечает, что накануне революции как само дворянство, так и королевская власть всеми силами старались поддержать уцелевшие феодальные учреждения и усилить их *практическое* значение. «Двадцатипятилетие, предшествовавшее революции, — пишет он,— представляет нам ряд попыток восстановить вышедшие из употребления повинности и платежи». И он же, снова в полном согласии с Токвиллем и Дониолем, говорит, что французское правительство того времени искусственно поддерживало своим законодательством кастовый дух и сословную исключительность [2]).

Одним словом, книга русского исследователя, подобно сочинениям его иностранных предшественников, свидетельствует о том, что эпоха, непосредственно предшествовавшая Великой Французской Революции, ознаменовалась вовсе *не притуплением,* а, наоборот, *очень сильным обострением противоречий* между старым порядком и новыми общественными нуждами. Но как г. М. Ковалевский, так и французские историки показывают, что *это* обострение противоречий само было сложным результатом длинного исторического процесса, в течение которого старый порядок все более и более расшатывался, а его защитники теряли одну позицию за другою. Из этой неоспоримой исторической истины следует, во-первых, что победы, одерживаемые новаторами над консерваторами и ведущие к *реформам, не исключают революции, но, напротив, ускоряют ее приближение,* вызывая у консерваторов естественные в таких случаях реакционные порывы, а у новаторов — жажду новых побед и новых завоеваний. И если бы мы захотели изобразить в одной формуле этот исторический процесс, в котором *революция является одним из моментов эволюции* и подготовляется *реформами* [3]), то нам понадобилось бы нечто гораздо более сложное, нежели предлагаемая г. П. Струве «формула противоречия». Мы не знаем формулы, способной дать сколько-нибудь удовлетворительное выражение этому многостороннему процессу. Но, на основании всего сказанного нами о ходе борьбы третьего сословия со ста-

[1]) L. c., стр. 124-125.
[2]) Ibid., стр. 49.
[3]) Г. П. Струве говорит: «Somit blieb es unserer Zeit vorbehalten, hinter den sozialen Reformen Fallstricke des Opportunismus zu wittern» (Ibid., S. 679 XII). Он относит эти слова к «ортодоксальным» марксистам. На основании сказанного нами в тексте, читатель

видит, что, по крайней мере, по отношению к нам его упрек лишен всякого основания, а между тем мы ведь принадлежим, по его мнению, к числу ортодоксальнейших из ортодоксальных.

рым порядком, мы можем все-таки указать на необходимость существенных поправок в первой формуле г. П. Струве.

Если длинный исторический процесс развития элементов нового общества знаменуется победами новаторов и поражениями консерваторов, то названная формула непременно должна ясно и определенно указывать на это чрезвычайно важное обстоятельство. А между тем мы не находим в ней даже и намека на него. Она говорит, напротив, о том, что рост *A* неизменно сопровождается прямопропорциональным ростом *B,* вплоть до того момента, когда *nA* уничтожают *nB.* Чтобы выражать истинный ход дела, она должна быть изменена, во-первых, так:

A	nB
2A	(n-1)B
3A	(n—2) B
…	…
nA	B
mA	½ B

Здесь первый ряд выражал бы постоянное развитие новых общественных потребностей, а второй — не менее постоянные переделки старого порядка, уступки, вырываемые новаторами у консерваторов. Но так как эти уступки не исключают, как мы уже знаем, *обострения противоречия* между новым и старым, то к имеющимся у нас *двум рядам* необходимо прибавить *третий,* выражающий *результат взаимодействия между* постоянно растущим *A* и *(в общем,* т. е. несмотря на временные успехи реакционеров) столь же постоянно убывающим *B.* Прибавляя этот третий ряд, мы получаем:

A nB	C
2A (n-1)B	2C
3A (n—2) B	3C
nA B	nC
mA ½ B	mC

Как ни далека эта новая формула от *идеала,* т. е. от того, чтобы давать полное выражение действительного хода развития путем обострения противоречий, она все-таки гораздо ближе к действительности, чем первая формула г. П. Струве. Ее преимущество заключается в том, что она чужда *односторонности* и что в ней, как и в действительной жизни, реформы не исключают переворота. Она показывает, напротив, что возможность революции не только не исклю-

чается, но создается реформами: то, что близорукий или предубежденный взгляд может, пожалуй, принять за *«притупление»* противоречий, на самом деле является источником их *обострения.*

VIII.

Повторяем, по нашему мнению, действительный ход исторического развития человеческих обществ не может быть выражен с надлежащей полнотою одной какой-нибудь «формулой». Но именно по этой причине полезно будет, пожалуй, сделать еще одну попытку схематического выражения этого хода.

Просим читателя обратить внимание на нижеследующую выписку, за длинноту которой мы наперед приносим ему самое искреннее извинение.

«Медленно и лишь путем тяжелой борьбы развивается господствующий порядок, под властью которого живут и работают люди. После долгой ломки, частых возвращений к старому, неверных попыток и усиленных стремлений вперед,— удается, в конце концов, установить такой порядок, который на основании опыта прошлого соответствовал бы потребностям настоящего и под охраной которого индивидуальные силы наивозможно продуктивнее могли бы развиваться ко благу общества. Но, как только устанавливается подобное благоприятное положение, тотчас выступают на сцену новые потребности, не предусмотренные ранее. Возникает стремление видоизменить существующее и постепенно переделать его. В противовес этому стремлению, развивается, с другой стороны, одностороннее старание сохранить в полном объеме старое положение вещей. За те формы, которые были установлены в видах общественной пользы, упрямо цепляются под конец частные, эгоистические интересы. В конце концов, сохранения старых форм без изменения требуют только мнимые интересы, не понимая того значения, которое эти формы когда-то имели. И в заключение часто остается одна голая форма, совершенно неспособная к жизни, рядом с которой новая, свежая жизнь выливается в совершенно иные формы, пока, наконец, в один прекрасный день старая форма не разрушается окончательно даже и во внешних своих проявлениях» [1]).

Здесь мы имеем перед собой тоже нечто вроде формулы общественного развития, правильности которой не станет, надеемся, отрицать самый неугомонный «критик»; данные *общественные нужды* порождают данные *формы общежития,* необходимые для дальнейшего

[1]) Адольф Гельд — «Развитие крупной промышленности в Англии», стр. 19.

поступательного движения общества. Но это дальнейшее поступательное движение, ставшее возможным благодаря данным формам общежития, порождает *новые общественные нужды,* которым уже не соответствуют *старые формы общежития,* созданные *прежними нуждами.* Таким образом возникает *противоречие,* которое все более и более растет под влиянием продолжающегося общественного движения и приводит, наконец, к тому, что старые формы общежития, некогда созданные насущными нуждами общества, утрачивают всякое общеполезное содержание. Тогда они отменяются, после более или менее продолжительной борьбы, и заменяются *новыми.*

Эта (объективная) «формула прогресса» выражает, как видит читатель, взаимное отношение («взаимодействие») между *содержанием* и *формой.* Содержание, это — *общественные потребности,* требующие удовлетворения; форма, это — *общественные учреждения.* Содержание родит форму и тем обеспечивает себе дальнейшее развитие. Но дальнейшее развитие делает неудовлетворительной его форму; возникает противоречие; противоречие ведет к борьбе; борьба — к уничтожению *старой* формы и к замене ее *новой,* которая в свою очередь обеспечивает дальнейшее развитие содержания, которое делает ее неудовлетворительной и т. д., и т. д., до тех пор, пока не остановится развитие. Это тот самый закон, о котором покойный Н. Г. Чернышевский говорит следующими красноречивыми словами:

«Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания! Кто понял этот великий, вечный повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению,— о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab'mein' Sach auf nichts gestellt
Und mir gehört die ganze Welt,

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «Пусть будет, что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник».

Этот великий *закон отвержения формы, порожденной известным содержанием вследствие дальнейшего роста того же содержания,* есть в самом деле *повсеместный* закон, потому что ему подчинено развитие не только *общественной,* но также и *органической* жизни [1]).

[1]) «Denn das ganze Leben ist eine kontinuelle Kette von Bewegungserscheinungen der organischen Materie, welche immer mit entsprechenden Formveränderungen verknüpft ist». Häckel, Generelle Morphologie der Organismen, XVII Kapitel). С поразительной ясностью и наглядностью проя-

И он действительно *вечен* в том смысле, что его действие прекратится только тогда, когда прекратится всякое развитие. Но этот великий, повсеместный и вечный закон есть в то же время та *«формула противоречия»,* которая едва ли не лучше всех других выражает взгляд Маркса на ход общественного развития.

Во второй части третьего тома «Капитала» мы читаем: «Поскольку процесс труда является простым процессом между человеком и природой, постольку его простые элементы остаются одинаковыми при всех общественных формах его развития. Но каждая определенная историческая форма этого процесса развивает далее его материальные основы и его общественные формы. Дойдя до известной ступени зрелости, данная историческая форма устраняется и уступает место высшей форме. Что момент такого кризиса наступил, это обнаруживается тогда, когда противоречие и противоположность между отношениями распределения, а, следовательно, также и между определенным историческим видом соответствующих им отношений производства, с одной стороны, и производительными силами...— с другой, достигает известной ширины и глубины. Тогда возникает столкновение между материальным развитием производства и его общественной формой» [1]).

Производительное воздействие общественного человека на природу и совершающийся в процессе этого воздействия рост производительных сил, это — *содержание;* экономическая структура общества, его имущественные отношения, это — *форма,* порожденная данным содержанием (данной ступенью «развития материального производства») и отвергаемая, вследствие *дальнейшего развития того же содержания.* Раз возникло противоречие между формой и содержанием, оно не «притупляется», а *растет,* благодаря не останавливающемуся росту содержания, который далеко оставляет за собой способность старой

вляется этот закон в эмбриологии животных, развивающихся путем метаморфоз, например, некоторых насекомых (Diptera, Lepidoptera etc.). Метаморфоз бывает, как известно, *неполный и полный.* При полном метаморфозе *личинка,* превращаясь *в куколку,* покрывается особой *оболочкой,* которая *защищает* ее от неблагоприятных воздействий со стороны внешнего мира. Когда заканчивается серия совершающихся в организме куколки преобразований, эта предохранительная оболочка становится *излишней;* она мешает дальнейшим жизненным отправлениям организма, *противоречит* им и потому разрывается, когда противоречие достигает надлежащей степени интенсивности. Тут происходит стало быть революционный взрыв, *перерыв постепенности.* Природа вообще большая революционерка и мало заботится о «притуплении противоречий».

[1]) Das Kapital, III Band, II Theil, S. 420—421.

формы изменяться сообразно новым потребностям. Таким образом, рано или поздно наступает такой момент, когда становится необходимым устранение *старой формы* и замещение ее *новою.* Таков смысл марксовой теории социального развития,

Кто понял этот вполне ясный и в то же время чрезвычайно глубокий смысл, тот понял также и великое значение *марксовой диалектики* а ее применении к общественным вопросам.

«В своем мистифицированном виде,— говорит Маркс,— диалектика была немецкой модой, потому что она оправдывала, по-видимому, существующий порядок вещей. В своем рациональном виде она неприятна буржуазии и ее теоретикам, потому что она, объясняя существующее, объясняет также его отрицание и его неизбежное уничтожение; потому что она рассматривает каждую данную форму в ходе движения, т. е. стало быть с ее преходящей стороны; потому что она не останавливается ни перед чем, будучи критической и революционной по своему существу» [1]).

Станьте на точку зрения марксовой диалектики, читатель, и вы сами увидите тогда, как отчаянно слабы и как смешно неуклюжи потуги господ «критиков», усиливающихся внести в стройную теорию Маркса некий, весьма любезный им, «притупляющий» элемент! Вас не смутят тогда многочисленные и подчас поразительные *«неясности»,* вносимые этими почтенными господами в *истолкование* теории Маркса. И если вы, наконец, выйдете из себя, если у вас вырвется слово раздражения, то вовсе не потому, что вас раздражит мнимая сила их ребяческих доводов, а потому, что вам покажется непозволительной и возмутительной та *претензия* их, благодаря которой — многие из них считают и называют себя *марксистами. Мы* вполне понимаем, что

[1]) Das Kapital, Vorwort zur zweiten Auflage, S. XIX. Ввиду этих объяснений Маркса является странным, но в то же время и очень характерным для «критиков» à la П. Струве, то обстоятельство, что эти господа объявляют диалектику самым слабым местом в теории Маркса. «In der Entwicklungslehre welche unstreitig das Charakteristikum und die Glanzleistung des Marxschen Sozialismus bildet,— говорит г, Струве,— liegt auch verwundbar Stelle, und sie liegt eben in der angeblich unüberwindlichen «Dialektik», Ibid., S. 686). В чем тут дело, ясно показывают непосредственно следующие за этим местом слова того же г. П. Струве: „Man wird die vielen Widersprüche nicht los, wenn man nicht ganz entschieden den Gedanken der «sozialen Revolution» als theoretischen Begriff fallen läßt. У Гете Фауст говорит Мефистофелю: «Das Pentagramm macht dir Pein!» О нашем «критическом» уме можно сказать, что ему macht Pein понятие о социальной революции (иначе «Zusammenbruchstheorie») в связи с понятием о политической революции, знаменующей собою диктатуру пролетариата.

эта смешная претензия заслуживает самого строгого осуждения, и мы нисколько не удивимся поэтому, если вы нетерпеливо воскликнете: Помилуйте, господа критики! какие же вы марксисты?! Маркс сеял драконов, а вы только... вы только... ну, словом, вы — организмы совсем другого калибра!..

В следующей статье мы увидим, как безуспешно «критикует» г. П. Струве, опираясь на «критическую философию», марксово понятие о социальной революции. Там же мы ознакомимся с тою же аргументацией, которая направляется против так называемой гг. критиками *марксовой теории обнищания пролетариата* и в защиту давно уже выставленной буржуазными апологетами *теории притупления противоречий, существующих в капиталистическом обществе.*

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Г. П. Струве — не первый и не последний провозвестник теории «притупления» противоречия между интересами пролетариата и буржуазии. У этой теории было много сторонников до г. П. Струве и еще больше *будет их после него,* там как она чрезвычайно быстро распространяется теперь в *образованном слое мелкой буржуазии,* т. е. того класса, который самым положением своим осужден колебаться между пролетариатом и буржуазией. И именно потому, что она распространяется теперь чрезвычайно быстро, выдавая себя за самоновейший и притом *«критический»* социализм, пришедший на смену будто бы отжившему социализму Маркса и его «догматических» последователей, она заслуживает самого внимательного рассмотрения. Кто хочет бороться с этой теорией, тот должен знать как ее теоретическую родословную, так и ее нынешнюю ценность. В виду этого читатель не удивится, если мы оставим на время нашего «критика», чтобы хорошенько ознакомиться с его предшественниками и с его доныне здравствующими, более или менее отдаленными, родственниками.

I.

Цена рабочей силы и прибавочная стоимость находятся в обратном отношении друг к другу. Чем дороже продается рабочая сила, тем ниже уровень прибавочной стоимости, и наоборот. Интересы *продавца* рабочей

силы прямо противоположны интересам ее *покупателя.* Взятое по своему существу, противоречие это не может быть

устранено, ни «притуплено» до тех пор, пока не прекратится покупка и продажа рабочей силы, т. е. пока не будет устранен капиталистический способ производства. *Но условия,* при которых совершается купля-продажа рабочей силы, могут изменяться в ту или в другую сторону. Если они изменяются к выгоде *продавцов,* то цена рабочей силы *повышается* и рабочий класс получает, в виде заработной платы, бо̀льшую, чем прежде, часть ценности, создаваемой его трудом. А это ведет за собою *улучшение его общественного положения, уменьшение расстояния между эксплуатируемым пролетариатом и эксплуатирующими его капиталистами.* Если же условия продажи рабочей силы изменяются к выгоде ее *покупателей,* то ее цена *падает,* и рабочий класс получает меньшую, чем прежде, *часть* создаваемой его трудом *ценности.* А за этим неизбежно *следует ухудшение общественного положения пролетариата, увеличение расстояния между ним и буржуазией.* В первом случае мы как будто получаем право толковать о притуплении противоречия, если не между рабочими и предпринимателями, то, по крайней мере, между интересами рабочего, с одной стороны, и существованием капиталистического порядка — с другой. На самом деле это право будет только *кажущимся:* мы уже видели в первой статье, что улучшение общественного положения французской буржуазии не только не притупило противоречия ее интересов с интересами старого порядка, но все более и более обостряло его. Тем не менее люди, боящиеся революционного движения пролетариата, всегда были и всегда будут склонны думать, что постепенное улучшение быта рабочего класса способно предотвратить опасность и избавить общество от бурных потрясений. Вот почему люди этой категории стараются уверить себя и других (а иногда *только* других) в том, что по мере развития капитализма положение пролетариата *улучшается,* так что он *оказывастся со временем ближе к буржуазии, чем был сначала.* И надо признать, что консервативный инстинкт подсказывает этим людям не совершенно ошибочное соображение: если для предотвращения революционного взрыва совсем недостаточно уменьшения расстояния между эксплуататорами и эксплуатируемыми, то *увеличение* этого расстояния и вовсе уже не сулит теперь почтенным охранителям ничего, кроме быстрого распространения в рабочей среде «догматов» *революционной социал-демократии.*

Что же мы видим *в действительности?* В какую сторону изменяются условия продажи рабочей силы по мере упрочения и развития капиталистического порядка?

Вульгарная экономия давно уже занимается этим вопросом. Она выставила целую фалангу «ученых», усиливавшихся доказать, что условия продажи рабочей силы все более изменяются к выгоде пролетариата, которому и достается поэтому все бо̀льшая и бо̀льшая *доля* национального дохода. Известный американский экономист Кэри ясно формулировал это учение уже в 1838 году. У Кэри оно было заимствовано пресловутым *Бастиа,* доводы которого нам нужно узнать несколько ближе.

В своих «Harmonies économiques» Бастиа уверяет, что судьба по своей неисчерпаемой доброте и справедливости уготовила для труда лучшую судьбу, чем для капитала [2]). Эта приятная мысль опирается у него на следующую «непоколебимую аксиому»:

«По мере того, как растут капиталы, *абсолютная* доля капиталистов в общей совокупности продуктов увеличивается, а их *относительная* доля уменьшается. Наоборот, доля работников увеличивается в обоих смыслах».

Для пояснения этой «аксиомы» Бастиа приводит схему, совершенно тождественную с той, которую мы встречаем в «Руководстве к социальной науке» Кэри:

	Общая сумма продукта.	Доля капитала.	Доля труда.
Первый период	1000	500	500
Второй «	2000	800	1.200
Третий «	3000	1.050	1.950
Четвертый «	4000	1.200	2.800

Таков великий, удивительный, утешительный, необходимый и *непоколебимый* закон капитала,— в восторге восклицает Бастиа,— доказать его, значит, по моему мнению, совершенно дискредитировать декламации... против *жадности и тирании* самого могущественного из всех тех орудий цивилизации и уравнения, которые были созданы человеческими способностями [3]).

Читатель и сам видит, что очень приятно было бы доказать столь удивительный и утешительный закон, но, к своему сожалению, он должен признать, что Бастиа доказывает его очень неубедительно.

[1]) Русские читатели могут ознакомиться с аргументацией Кэри по его книге: «Руководство к социальной науке», появившейся в 1869 г. в русском переводе князя

Шаховского. К занимающему нас вопросу относится *схема,* находящаяся на стр. 506 этой книги.

[2]) Harmonies, 2 édition, p. 206.

[3]) Ibid., p. 206-207.

Вся его аргументация сводится к указанию на понижение нормы процента, идущее вместе с промышленным развитием цивилизованных стран. Всякий, кто хоть немного знаком с политической экономией, понимает, что такое доказательство более чем слабо. Но «блестящему французскому экономисту» и некогда останавливаться на доказательствах. Он торопится перейти к удивительным и утешительным выводам, вытекающим из его удивительного и утешительного закона. «Капиталисты и рабочие! — кричит он,— перестаньте же смотреть друг на друга с недоверием и завистью. Сделайтесь глухи для нелепых декламаций, надменность которых равняется лишь их невежеству, и которые, открывая филантропические перспективы для будущего, сеют раздор в настоящем. Признайте, что ваши интересы тождественны... что они сливаются, что они совместно тяготеют к осуществлению общего благополучия» и т. д., и т. д. [1]). Эта чувствительная тирада не оставляет ни малейшего сомнения насчет того, зачем именно понадобился Бастиа, заимствованный им у Кэри (без указания источника), необходимый и непоколебимый закон: ссылка на этот закон должна была примирить рабочих **с** капиталистами и *подорвать влияние социализма.*

II.

Юлиан Кауц считает Бастиа одним из самых блестящих умов, которые в новейшее время посвящали себя занятию политической экономией [2]). С этой характеристикой нельзя согласиться. Бастиа. несомненно, обладал способностью ясного и даже, пожалуй, блестящего изложения. Но его *мысли* всегда так *поверхностны,* а его *доводы* всегда так слабы, что блестящим *деятелем науки* его признать невозможно. Он был не более, как блестящим *адвокатом* капиталистической эксплуатации. Но именно то обстоятельство, что он блестяще защищал капиталистическую эксплуатацию, обеспечило ему сильное и продолжительное влияние на многих и многих друзей «социального мира». В этом,— но только в этом,— смысле Ю. Кауц прав, когда называет деятельность Бастиа значительной и плодотворной [3]). В самом деле, влияние Бастиа на экономистов более или менее охранительного направления было и остается гораздо сильнее, чем думают многие из тех, которых поражает его *удивительная* и очень

[1]) Ibid., p. 209.

[2]) Die geschichtliche Entwicklung der Nationalökonomie und ihrer Literatur, II Theil, Wien, 1860, S. 578.

[3]) Там же, та же страница.

мало *утешительная,* хотя по-своему и необходимая поверхностность. Луиджи Косса заметил, что влияние здоровой части идей Бастиа сказывается не столько в сочинениях его учеников, сколько в общей тенденции *большинства* современных нам французских и *значительной части* немецких и итальянских экономистов [1]). Под «здоровой частью» Косса понимает «опровержение софистики протекционистов и социалистов». Мы уже видели, что опровержение социалистических «софизмов» покоится у Бастиа на совершенно негодном основании. Но дело не в этом. Косса все-таки прав, когда говорит, что *общая тенденция* Бастиа продолжает жить в сочинениях очень многих экономистов самых различных стран. Особенно сильное и глубокое впечатление произвел «удивительный» и «необходимый» закон распределения продуктов между рабочими и капиталистами. При этом интересно отметить, что «открытие» этого закона приписывается Бастиа даже на родине Кэри, у которого французский экономист, несомненно, заимствовал как самый закон, так и его изложение. Вот, например, известный статистик Эдуард Эткинсон прямо заявляет, что хотя он вообще имел мало времени для чтения книг и изучения теорий заработной платы (for the reading of books or the consideration of theories of wages), но что, по его мнению, Бастиа был первым основателем правильного учения об отношении интересов рабочих к интересам предпринимателей. «Много лет тому назад,— говорит он,— одна фраза из «Harmonies économiques» Бастиа врезалась в моем уме, и благодаря ей я мог, в течение своей деловой жизни, с гораздо большею ясностью давать себе отчет в явлениях заработной платы. Вот эта фраза: «По мере того, как растут капиталы, абсолютная доля капиталистов в общей совокупности продуктов увеличивается, а их относительная доля уменьшается. Наоборот, доля работников увеличивается в обоих смыслах» [2]). Эткинсон взял эту фразу за эпиграф в своем опыте: «What makes the rate of wages» и, вдохновляемый Бастиа, он, на основании некоторых данных, относящихся к американской металлургической промышленности, составил даже таблицу, которая, по его словам, может быть названа *«указателем прогресса от бедности рабочего и прогресса к бедности капиталиста»* (indicator of progress from

poverty of the workman and progress toward poverty of the capitalist) [3]). В этой своей новой формулировке *удиви-*

[1]) Histoire des doctrines économiques, Paris 1899, p. 336.
[2]) The Distribution of Products or the mechanism and the metaphysics of exchange. Fifth edition, p. 23—24.
[3]) Ibid., p. 335.

тельный закон Бастиа утрачивает значительную долю своей *утешительности,* внушая читателям слишком мрачные опасения насчет будущей судьбы *капиталистов в капиталистическом* обществе. Но бесстрастные ученые, не зная ничего, кроме интересов чистой науки, и не смущаясь жалостью к бедным капиталистам, охотно цитируют исследование Эткинсона. Так, мы встречаем частые ссылки на него в той книге профессора Шульце-Геверница о *«Крупном производстве»,* которая, по словам г. П. Струве, представляет собою, «быть может, самое тщательное монографическое исследование по социальной истории английской промышленности» [1]). «Тщательное исследование» экономики английской хлопчатобумажной промышленности привело Шульце-Геверница к тому убеждению, что хотя возрастание всего национального продукта дает на долю труда и капитала абсолютно большие количества, но участие капитала в нем относительно уменьшается, участие же труда относительно растет. «Труд получает все бо̀льшую и бо̀льшую долю общего национального производства,— говорит Шульце-Геверниц.— Ему все более и более начинает доставаться остаток, получающийся после уплаты долей процента и прибыли» [2]). Это все тот же утешительный закон Кэри-Бастиа, и странно, что г. П. Струве не заметил этого или не захотел отметить это в своем,— вообще очень слабом,— предисловии в книге Шульце-Гесерница. Бесполезно и прибавлять, что удивительный и утешительный закон распределения приводит глубокомысленного немца к таким же отрадным выводам, к каким он некогда привел легкомысленного француза. «Социальные последствия охарактеризованного процесса состояли в уравнении имущественных противоположностей,— уверяет Шульце-Геверниц, отнюдь не делая богатых богаче, а бедных беднее, он приводит как раз к обратному, как это статистически доказано для Англии» [3]). Отсюда уже нетрудно сделать умозаключение к *«социальному миру»,* которому г. профессор еще раньше посвятил отдельное, двухтомное исследование [4]).

Г. Шульце-Геверниц тем более считает нужным обратить внимание своих читателей на свои утешительные выводы, что, по его

[1]) Гергарт фон-Шульце-Геверниц. «Крупное производство» и т. д., перевод Л. Б. Красина, под редакцией и с предисловием П. Б. Струве. С.-Петербург 1897, предисловие, стр. 1.

[2]) Там же, стр. 229.

[3]) Там же, та же страница.

[4]) Zum sozialen Frieden. Eine Darstellung der sozial-politischen Erziehung des englischen Volks im neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1890.

словам, факт увеличения расстояния между богатыми и бедными, понимаемый в том смысле, какой ему придавали Маркс и Энгельс, признается даже в таких кругах, которые вообще выступают решительными противниками марксизма [1]). Но здесь он едва ли не впадает в преувеличение. Круги, враждебные марксизму, насколько мы знаем, все более и более проникаются утешительным сознанием неоспоримости и «необходимости» закона Кэри-Бастиа. Почти каждый уважающий себя буржуазный ученый как нельзя более рад теперь, если ему представится возможность,— в «научном» исследовании,— распространиться на тему об уменьшении расстояния между богатыми и бедными. «Притупление» противоречия между капиталистами и рабочими составляет теперь одну из самых модных тем в буржуазной экономической литературе.

III.

По словам Шульце-Геверница, уменьшение расстояния между богатыми и бедными доказано в Англии ее «первым статистиком», Р. Гиффеном, в речи: «The Increase of moderate Incomes», будто бы произнесенной им на собрании английского статистического общества в декабре 1887 года. На эту речь Шульце-Геверниц ссылается как в своем сочинении «Zum sozialen Frieden» (том II, стр. 490), так и в своей книге о *крупном производстве* (стр. 229 русского перевода). Но он ошибается, приписывая ее Гиффену. Она была произнесена — и именно в указанном Шульце-Геверницем месте — *Гошеном* [2]). Это обстоятельство, конечно, нимало не изменяет достоинств самой речи; но не следует отнимать у Гошена заслуженные им лавры и передавать их,— хотя бы только по ошибке,— Гиффену. Suum cuique!

Речь о росте средних доходов показалась убедительной не одному Шульце-Геверницу. После ее произнесения (6-го декабря 1887 г.), директор английского банка Коллет выразил оратору горячую благодарность за то, что тот показал, до какой степени противоречат истине избитые разглагольствования о постоянно растущем обогащении богатых и обеднении бедных. «Теперь, когда так сильно распространяются несбыточные теории и соблазнительные предложения насчет распределения богатства,— сказал почтенный директор,— как

[1]) Zum sozialen Frieden, Il Bd., 3. 493.

[2]) См. «The Increase of moderate Incomes» being the Inaugural Address of the President of the R. S. Society, the right Hon. G. I. Goschen, in „Journal of the R. S. Society", Dec. 1887.

нельзя более полезно с ясностью и убедительностью показать, что то распределение богатства, к которому иные стремятся с такою горячностью, молчаливо, незаметно входит в жизнь, благодаря правильному действию экономических законов» [1]). Но мнение мистера Коллета назовут, может быть, малоавторитетным. Иной скептик предположит, пожалуй, что директор английского банка, подобно Э. Эткинсону, не имел достаточно времени для изучения экономической теории, знание которой все-таки необходимо для правильного понимания статистических данных. Поэтому мы укажем еще на известного немецкого экономиста Г. Шмоллера, который, не без скептицизма относясь к трудам «первого английского статистика», т. е. Гиффена, находит в то же время, что выводы Гошена основываются на объективном и убедительном исследовании действительности [2]). Не мешает поэтому поближе взглянуть на работу английского министра финансов.

Гошен совершенно сходится с Коллетом во взгляде на великое социальное значение указанных им данных. «Я не знаю,— сказал он своим слушателям,— производят ли указываемые мною статистические цифры такое же впечатление на вас, как и на меня. Мне кажется, что между тем как некоторые люди кричат об искусственном переустройстве общества, происходит развитие чего-то вроде молчаливого социализма. Совершается молчаливое движение в сторону нового распределения богатства на более широкой плоскости, и, с какой бы точки зрения мы ни глядели на это движение, оно должно, я думаю, быть предметом радости для нашего народа. Оно не вызвано какими-нибудь насильственными приемами. Описанный мною результат произведен неуклонным действием экономических законов в обществе, основанном на торговой и промышленной свободе... И самая лучшая сторона этого автоматического социализма (automatic socialism) заключается в том, что он, по-видимому, действует даже во время промышленного застоя. Вопреки общим жалобам на убытки и плохие времена, несмотря на безработицу и на неправильность заработка даже у тех, которые имеют работу,— великий центр общества упрочивает свою экономическую позицию» [3]).

[1]) Journal of the Royal Statistical Society, 1887, December, Proceedings on the 6-th December, p. 613.

[2]) Was verstehen wir unter dem Mittelstande? Hat er im 19 Jahrhundert minder abgenommen? Göttingen 1897, S. 27. На речь Гошена указывает своим читателям также Роберт Мейер в Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2-е изд., 2 том, стр. 366.

[3]) Journal of the R. S. S., Dec., 1887, p. 604.

Читатель видит, что как сам Гошен, так и его слушатели находились под впечатлением «криков об искусственном переустройстве общества». Такие крики в самом деле очень громко раздавались в Англии того времени, когда была произнесена речь Гошена. Это было время промышленного застоя и безработицы, вызвавших сильные волнения в рабочей среде. В Лондоне, Манчестере, в Бирмингеме, в Лейстере, в Ярмуте и т. д. происходили собрания безработных, где произносились самые зажигательные речи. Некоторые думали тогда, что Англия находится *накануне социальной революции.* Сидней Уэбб говорит, что иные точно обозначали даже время предстоявшего переворота: 1889 год, год столетия Великой Французской Революции [1]). Это возбуждение умов не могло действовать успокоительно ни на министров, ни вообще на лиц высших классов, и потому надо признать, что Гошен находился тогда в условиях, мало благоприятных для «объективного исследования» экономических явлений. Но известно, что любовь к истине берет иногда верх над очень сильными внешними препятствиями. Хотя Гошену, наверное, очень трудно было сохранить нравственное спокойствие и научное беспристрастие, но это еще не значит, что он непременно должен был горячиться и смотреть на ход экономического развития Англии через очки своих классовых предрассудков. Как знать, может быть, открытый им «автоматический социализм» и в самом деле все более и более прокладывает себе дорогу в английской общественной жизни! Весь вопрос в том, *на каком фактическом основании покоилась уверенность английского министра в медленном, «молчаливом, но верном развитии этого социализма».*

Фактическая основа его уверенности состоит вот в чем. Статистика показала ему, что в 1875 году число (физических и юридических) лиц, записанных под рубрикой Д [2]) и получивших дохода от 150 до 1000 фунтов, доходило до 317.839, а в 1886 году оно *поднялось* до 379.004, т. е. увеличилось на 19,26 процента. Между тем за тот же период времени число лиц, получивших 1000 и *больше* фунтов дохода, *опустилось* с 22.848 (1877 г.) до 22.298 (1886 г.), что означает *уменьшение* на 2,4 процента. Более подробный анализ статистических цифр дал Гошену возможность составить такую таблицу:

[1]) Socialism: True and False, Fabian, Tract. № 51, p. 3.

[2]) Под этой рубрикой записываются доходы, получаемые от промышленных и торговых предприятий, от капиталов, помещенных в иностранных и колониальных предприятиях и от свободных профессий. Под той же рубрикой Д записываются непериодические денежные получения.

Доходы.	1877.	1886.	Увеличение или уменьшение.
Между 150 и 560 ф.	285.754	347.021	+ на 21,4
» 500 » 1000 »	32.085	32.033	Почти без перемены.
» 1000 » 5000 »	19.726	19.250	— на 2,5
Выше 5000	3.122	3.048	— на 2,3

Отсюда Гошен заключил, что «в обыкновенное время, во время угнетенного состояния промышленности, равно как и в подобное тому, которое мы пережили и которое, конечно, не может быть названо временем процветания, происходило постоянное и в высшей степени отрадное увеличение числа доходов ниже тысячи фунтов».

Но под рубрикой Д английская статистика подоходного налога записывает не всех тех лиц, которых можно отнести к среднему классу. Немало таких лиц записывается также под рубрикой Е, к которой принадлежат, кроме чиновников, состоящих на общественной службе, также служащие у частных лиц и у предпринимательских компаний. Число лиц под этой рубрикой возросло за рассматриваемое десятилетие с 78.224 до 115.964. Гошен думает, что возрастание также свидетельствует об упрочении экономической позиции «великого центра общества», среднего класса.

Данные эти, несомненно, интересны в теоретическом отношении, но они совсем не име-ют того значения, которое им приписывает Гошен.

Во-первых, как уже заметил г. Исаев, десятилетие 1877—1886 гг. представляло все данные для уменьшения числа крупных доходов. «Резкое падение цен всех товаров, понижение прибыли во всех предприятиях до половины среднего уровня и более, огромное число банкротств (до 1877 г. в среднем 8½ тысяч банкротств в год, а с 1877 до 1884 г.— более 12.000) — все повело к тому, что множество богатых лиц, имевших в половине 70-х годов 1000 — 2000 фунтов дохода, сохранили в 80 гг. едва 500—1000 фунтов, а имевшие дохода более 500 фунтов спустились в низшую группу, в группу плательщиков с доходом в 150—500 ф.» [1]).

Как отразилось угнетенное состояние промышленности на росте национального богатства Англии, показывают следующие цифры: в

промежуток времени 1865—1875 гг. общая сумма капитала поднялась в этой стране с 6.113 миллионов ф. ст. до 8.548, т. е. увеличилась на 40 процентов, а в промежуток 1875—1885 гг. она возросла с

[1]) А. А. Исаев — «Начала политической экономии», издание четвертое, стр. 619.

8.500 милл. ф. ст. до 10.037, т. е. увеличилась только на 17½ процентов [1]).

Нетрудно понять, что замедленный ход накопления капитала вызван был понижением уровня прибыли в эпоху угнетенного состояния промышленности. Уже одного этого понижения уровня прибыли было бы достаточно для перехода плательщиков подоходного налога из высших разрядов в низшие. Но замечательно, что понижение уровня прибыли было далеко не одинаково в различных родах предприятий. С особенною силой сказалось оно в *промышленности:* в предприятиях же, *не имеющих* прямого отношения к промышленному производству, оно было гораздо слабее. Так, розничные торговцы жаловались на него очень мало. Также мало пострадали от него лица, поместившие свои капиталы за границей, например, в иностранных займах и т. п. Один из членов комиссии, назначенной для исследования угнетенного состояния промышленности, указывает [2]) на помещение английских капиталов за границей, как на одну из причин того, на первый взгляд странного, явления, чтобы общая сумма доходов, подлежащих обложению, увеличилась, несмотря на застой в делах. Так как возрастание этой общей суммы все-таки сопровождалось понижением крупных доходов, то остается предположить, что в торговых предприятиях внутри страны, равно как и за границей, были помещены капиталы, имевшие сравнительно меньшие размеры. Именно так и думает меньшинство комиссии. «Большое возрастание числа мелких доходов в рубрике Д, вероятно, произошло в значительной степени оттого, что промышленность, к области которой принадлежат крупные предприятия, требующие больших капиталов, не приносила доходов, между тем как торговля, особенно розничная, бо̀льшая часть которой ведется с незначительными капиталами, приносила прибыль» [3]).

Уже ввиду этих соображений «автоматический социализм» английского министра финансов утрачивает весьма значительную долю своей «удивительности» и «утешительности». Но он сделается еще более жалким в наших глазах, если мы вспомним, что *другою причиною* роста общей суммы доходов, обложенных налогом (рубрика Д)

[1]) R. Giffen — «Accumulation of Capital in the United Kingdom», Journal of the R. S. S. March, 1890, p. 151.

[2]) Смотри Final Report of the R. Commission appointed to inquire into the depression of Trade and industry, мнение меньшинства комиссии. Стр. XLII.

[3]) Ibid., p. XL1X. Сравнительно хороший ход торговли объясняется огромным понижением фабричных цен.

явилось просто-напросто *более внимательное учитывание администрацией обывательских доходов.* В указании на эту причину большинство комиссии сходится с ее меньшинством. Но между тем как большинство, отметив эту причину, не спрашивает себя, как она повлияла на число занесенных в список «умеренных» доходов, меньшинство совершенно справедливо замечает, что она должна была *увеличить его* благодаря привлечению к уплате подоходного налога множества *новых* небогатых плательщиков, прежде легко ускользавших от этой чести [1]).

Таким образом фактическое основание отрадных выводов Гошена оказывается совершенно несостоятельным. Столь же несостоятельным оказывается, конечно, и приятное убеждение тех друзей социального мира», которые думают, что уменьшение расстояния между бедными и богатыми убедительно доказано Гошеном.

Просим читателя заметить еще следующее. Гошен с большой похвалой отзывается в цитированном нами заключительном докладе комиссии, изучавшей причины угнетенного состояния промышленности, и очень сожалеет о том, что выводы, к которым она пришла, не обратили на себя должного внимания читающей публики [2]). Можно подумать, что сам он хорошо изучил эти выводы и передает их своим слушателям во всей их полноте и во всем их разнообразии. Но на самом деле мы видели совсем другое. Он так несерьезно отнесся к названному докладу, что нашел возможным, без всяких оговорок, пользоваться теми статистическими данными, о которых меньшинство комиссии прямо заявило, что значение их вовсе не такое, каким оно представляется на первый взгляд, и какое им приписал, вскоре по выходе заключительного доклада, сам Гошен. Об этом заявлении меньшинства «достопочтенный» оратор благоразумно умолчал в своей речи. Так тверда и непоколебима была его «объективность».

Гошену захотелось ободрить своих слушателей, находившихся под сильным впечатлением рабочих волнений, и вот он, схватившись а первые попавшиеся цифры, стал излагать перед ними, в новом виде, ту самую теорию, которую раньше его излагали Кэри, Бастиа и другие, им подобные, апологеты капитализма. Слушатели пришли в восторг и поблагодарили оратора в самых прочувствованных выражениях. А вслед за слушателями пришли в восторг и континенталь-

[1]) Ibid., p. L.
[2]) Journal of the R. S. Society, Dec. 1887, p. 591.

ные ученые, вроде Шмоллера и Шульце-Геверница. Этим «объективным» мужам науки было не до критической проверки доводов английского министра. Им тоже очень приятно было услышать, что удивительный и утешительный закон Бастиа может быть поддержан с помощью новых данных. Ну, а раз аргументация Гошена была почтительно встречена Шмоллером, Шульце-Геверницем и другими патентованными «учеными», то «критикам» марксизма, как говорится, уже сам бог велел кричать о притуплении общественных противоречий, вследствие «роста умеренных доходов». Наши «критики» вообще не критикуют буржуазных ученых. Их специальность заключается именно в «критике» Маркса.

IV.

Гошен и сам чувствовал, что цифры, положенные им в основу своей реляции об успехах «автоматического социализма», совсем недоказательны. Поэтому он постарался подтвердить свои выводы с помощью косвенных соображений. С одним из этих соображений мы познакомимся, когда будем говорить о положении рабочего класса в Англии, а некоторые другие нам нужно рассмотреть теперь.

«С каждым годом, — говорит Гошен, — все большее и большее число лиц принимает участие в акционерных компаниях и, таким образом, приобретает часть богатства, создаваемого широкой промышленной и торговой деятельностью страны» [1]).

Это соображение, подхваченное Шульце-Геверницем и другими проповедниками «социального мира», произвело, как известно, сильное впечатление на некоторых социалистов. Так, г. Бернштейн пришел к такому убеждению, что «форма акционерной компании значительно противодействует тенденции, заключающейся в централизации капиталов путем централизации производств». Он думает, что «если экономисты, противники социализма, использовали этот факт с целью прикрашивания нынешних общественных отношений, то отсюда не следует, что социалисты должны скрывать или отрицать этот факт. Дело идет скорее о том, чтобы признать его действительное значение и его распространение» [2]).

Скрывать факты или отрицать их существование, когда она доказано, разумеется, очень смешно и абсолютно нелепо. Но иное дело *факты,* а иное дело — их *общественное значение.* Общественное

[1]) Ibid, p. 597.
[2]) Э. Бернштейн — «Исторический материализм», перевод Л. Канцель, второе издание, стр. 84.

значение факта, указываемого г. Бернштейном вслед за Гошеном и Шульце-Геверницем, может быть понимаемо весьма различно. Буржуазные ученые и плетущийся за ними г. Бернштейн не обратили внимания на то, что распространение акционерных компаний может явиться — и действительно является — *новым фактором централизации имущества и увеличения расстояния между бедными и богатыми.* Поясним нашу мысль примером, взятым из экономической истории той самой эпохи, о которой говорится в речи Гошена.

Известно, что умножение числа акционерных компаний в Англии было очень облегчено законодательством, разрешившим учреждение обществ с ограниченной ответственностью (Limited Liability Acts). К тому времени, когда приступила к своим трудам комиссия, назначенная для исследования причин угнетенного состояния промышленности, экономические последствия нового закона успели обнаружиться с достаточной ясностью. Что же говорит о них эта комиссия?

По словам ее большинства, «ограничение ответственности вызывает менее осторожное, или более спекуляторское ведение предприятий, чем то, к которому может быть склонен предприниматель, связанный полною ответственностью за свои операции. Вследствие этого, при ограниченной ответственности, производство часто ведется при такой пониженной прибыли, при которой обыкновенный предприниматель увидел бы себя вынужденным сократить его размеры. Даже потеря капитала, причиненная гибелью значительного числа этих компаний, не произвела всего того влияния, которого можно было ожидать в смысле сокращения их операций, так как убытки распространяются на большее число лиц и потому менее чувствительны. Более того, на развалинах потерпевших крушение предприятий постоянно возникают новые, которые, купив за бесценок имущество старых, получают возможность вести производство в прежних размерах» [1]).

Меньшинство комиссии вполне согласно в этом случае с большинством. По ею мнению, ограничение ответственности вызвало появление особого класса «основателей» (promoters), которые, пользуясь неопытностью и беззащитностью обладателей мелких денежных сумм, заводят предприятия единственно для того, чтобы при первой воз-

можности перепродать свои акции, нимало не заботясь о том, какая судьба ожидает начатое ими дело [2]).

Мы не думаем, чтобы «автоматический социализм» этого рода был способен значительно содействовать «притуплению» обществен-

[1]) Final Report, p. XVIII.
[2]) Ibid, p. LVII.

ных противоречий. *Перепроизводство и спекуляция* всегда были и всегда останутся могущественными деятелями разорения экономически слабых и обогащения горсти ловкачей, обладающих умением ловить в мутной воде рыбу.

Гошен указывает также на увеличение, в рассматриваемый им период времени, взносов в сберегательные кассы, как на одно из проявлений медленного, но верного торжества дорогого ему «молчаливого социализма» [1]). Но если бы он внимательно прочитал тот самый доклад, который сам же он так настойчиво рекомендовал вниманию своих слушателей, то он должен был бы согласиться с тем, что указанный им факт допускает совершенно иное и притом гораздо менее «утешительное» толкование. Как справедливо замечает оставшийся при особом мнении член комиссии А. О'Коннор, *увеличение числа взносов* в сберегательные кассы могло быть вызвано *уменьшением* (вследствие угнетенного состояния промышленности) *возможности помещения небольших денежных сумм в производительные предприятия* [2]). При таком более чем вероятном объяснении этого факта становится совершенно понятным то обстоятельство, что увеличение числа взносов в сберегательные кассы *шло рука об руку с уменьшением спроса на рабочие руки.*

Как бы ни был «молчалив» и «автоматичен» такой социализм, в нем всегда будет очень мало *утешительного.*

Теперь мы можем расстаться на время с Гошеном и обратиться к другому английскому авторитету, именно к статистику *Мёльголлю.*

В своем «Dictionary of Statistics» Мёльголль приводит следующие данные относительно

Годы.	Число доходов.	На один миллион населения.
1812	39.765	3.314
1850	65.389	3.115
1860	85.530	2.949
1870	130.375	4.206
1880	210.430	6.313

роста числа доходов в 2.000 фунтов стерлингов и выше [3]).

[1]) Journal, Dec., 1887, p. 602. [2]) Final Report, p. LXXII.

[3]) До 1860 г. данные относятся к Великобритании, а после 1860 года — *ко* всему Соединенному Королевству.

Число доходов выше 5000 ф. ст. росло следующим образом:

Годы.	Число доходов.	На один миллион населения.
1812	409	34
1850	1.181	56
1860	1.558	53
1870	2.080	67
1880	2,954	88

Сопоставляя одни с другими некоторые из этих данных, мы получаем:

На 1 милл. населения.

	1860	1880	Рост.
Очень богатых . . .	53	88	66 проц.
Зажиточных . . .	2.949	6.313	112 »

«Это указывает,— говорит Мёльголль,— на диффузию богатства, вопреки ходячему мнению о том, что богатые богатеют с каждым днем»

Очень хорошо и весьма утешительно. Но, поговорив с тем же Мёльголлем в другой раз и при других обстоятельствах, мы узнаем от него гораздо менее хорошие и гораздо менее утешительные вещи.

На основании некоторых расчетов он принимает, что богатство Соединенного Королевства распределено так:

Классы.	Число лиц.	Миллионы фунтов.	Фунтов на каждую голову.
Богатый	327.000	9.120	28 000
Средний	2.380.000	2,120	900
Рабочий	18.210.000	556	31
Дети.....	17.940.000	—	—

Всего	. .	11,806	302
населения	38,857,000		

На что же указывают эти цифры? А вот на что. «Около 80 проц. всего богатства, страны находится в руках 1½ процента взрослого населения. Средний класс охватывает 11 процентов населения и сосредоточивает в своих руках 18 проц. богатства [2]). О ра-

[1]) Dictionary.
[2]) Industries and Wealth of Nations, by Michael G. Mulholl, London 1896. p. 100.

бочем классе Мёльголль уже и не говорит: так жалки, так ничтожны крохи, приходящиеся на его долю! Выходит, что «диффузия богатства» не так уже сильна, как нас только что уверял тот же Мёльголль. Жаль! Очень жаль! Мы пришли было в очень приятное настроение духа. Но послушаем дальше нашего статистика. Спросим его, как совершалась «диффузия богатства» в прежнее время [1]).

По его собственному расчету [2]) оказывается, что если мы примем за 100 число крупных состояний, превышавших в 1840 году 5.000 ф. ст., то увидим, что в 1877 году оно дошло до 223, а в 1893 г. до 270. Между тем, принимая за 100 число состояний, простиравшихся в 1840 году от 100 до 5.000 ф. ст., мы находим, что в 1877 г. оно дошло только до 203, а в 1893 году только до 249. А это означает, что «состояния выше 5.000 ф. ст. умножались гораздо скорее, чем те, которые не достигли этой цифры,— явление как раз обратное тому, которое было бы желательно,— и этот прилив богатства *(в высшие слои — Г. П.)* становится, по-видимому, все более интенсивным» [3]). Вот так «диффузия»! Мёльголль сам как будто смущается ею и потому спешит утешить нас следующей таблицей:

	В 1840 г.	В 1877 г.	В 1893 г.
Население	100	126	146
Состояние выше 100 ф. .	100	205	251

За пятьдесят лет население выросло на 40 процентов, а число лиц, обладающих состоянием выше 100 ф. ст., увеличилось на 151 процент. «Другими словами, тот общественный класс, который стоит выше бедности, рос, начиная с 1840 года, втрое скорее, чем общая циф-ра населения» [4]).

Ниже мы подробнее анализируем утешительность этого утешения, а теперь пока обратим внимание читателя на следующий отзыв Мёльголля о положении рабочего класса в Англии.

«Улучшение положения рабочего класса с очевидностью явствует из возрастания числа вкладчиков в сберегательные кассы. Оно составляло менее 4 процентов населения Соединенного Королевства в 1850 году, а теперь доходит до 19 процентов. Тем не менее, стра-

[1]) Предыдущие выводы основаны на данных, относящихся к пятилетию, кончившемуся декабрем 1893 года.

[2]) Ниже мы увидим, что этот расчет лишь в слабой степени выражает действительный ход развития.

[3]) Ibid., p. 100—101.

[4]) Ibid., p. 101.

дания бедного класса в наших больших городах теперь значительнее, чем когда-либо прежде. О положении этого класса было справедливо сказано, что оно хуже положения готтентотов» [1]).

По-русски это называется *начать за здравие, а кончить за упокой.*

V.

Мы видим теперь, что, как «молчаливый социализм» Гошена, так и «диффузия богатства» Мёльголля представляют собой нечто весьма фантастическое. Мёльголль сам должен был признать, что богатство все более и более скопляется в высших слоях общества. Но если это так, то *общественные противоречия,* рассматриваемые с их экономической стороны, *не только не «притупляются», а все более и более возрастают.* Мёльголль старается «притупить» этот вывод указанием на то, что в Англии число лиц, обладающих имуществом выше 100 ф. с. растет значительно быстрее, чем население. Пора внимательнее присмотреться к этому мнимому утешению.

Представим себе общество, в состав которого входят три класса: богатый, зажиточный и бедный. Предположим для простоты, что бедный класс живет исключительно *продажей своей рабочей силы,* зажиточный занимается *торговлей,* а богатый состоит из *капиталистов-предпринимателей и землевладельцев;* число лиц в бедном классе равняется *тысяче,* в зажиточном — *ста,* а в богатом — *десяти* [2]). При распределении общественного дохода на долю каждого из этих классов достается величина, которую мы обозначим через А. Стало быть, весь доход общества равняется 3А; член богатого класса в *среднем в десять раз богаче* члена зажиточного класса, а член зажиточного класса в среднем в десять раз богаче члена бедного класса. Таково *относительное* положение классов в данную эпоху, скажем в 1875 году.

Проходит 25 лет. Общественный доход *удваивается,* и на долю *каждого* общественного класса достается теперь *уже не одно, а два А* [3]). Мы можем поэтому сказать, что экономическое благосостояние каждого общественного класса *удвоилось.* Но *взаимное отношение этих классов осталось без перемены:* по-прежнему богатый в среднем

[1]) Ibid., p. 101—102.
[2]) *Лицо* — глава семьи, получатель известного дохода.

[3]) Чтобы не усложнять расчета, мы предполагаем сначала, что население не увеличилось за это время.

в десять раз богаче зажиточного, а зажиточный в среднем в десять раз богаче бедного. Ввиду этого мы не имеем никакого права говорить ни о «диффузии богатства» в нашем обществе, ни об «автоматическом социализме», изменяющем распределение дохода в смысле притупления противоречий между общественными классами. Запомнив этот вывод, пойдем далее.

Предположим, что в нашем обществе существует подоходный налог, который платится всеми лицами, получающими 100 и выше фунтов дохода. Предположим также, что в богатом и в зажиточном классе у нас нет ни одного лица, доход которого был бы ниже ста фунтов, но зато в бедном классе нет ни одного лица, доход которого достигал бы этой цифры; стало быть никто из лиц этого последнего класса не платил бы подоходного налога в 1875 году.

А как будет обстоять дело по прошествии 25 лет, когда удвоится доход каждого общественного класса?

Если мы предположим, во-первых, что 25 лет тому назад в бедном классе было 250 лиц, ежегодно получавших от 50 до 100 фун., а во-вторых, что *распределение дохода внутри каждого класса остается постоянным,* то теперь в бедном классе у нас окажется 250 лиц, получающих от ста до 200 фунтов, и, следовательно, обязанных платить подоходный налог. Таким образом число небогатых плательщиков подоходного налога *увеличится, несмотря на то, что никакой «диффузии богатства» не произойдет,* так как богатый по-прежнему будет в 10 раз богаче зажиточного, а зажиточный по-прежнему в 10 раз богаче бедного.

В какой же мере увеличится число небогатых плательщиков подоходного налога?

Это будет зависеть, конечно, от распределения богатства внутри зажиточного класса. Предположим, что 25 лет тому назад между членами этого класса было 25 лиц, получавших от 500 до 1000 ф. с. ежегодного дохода. В таком случае теперь, после *удвоения* дохода этого класса (при неизменном распределении этого дохода), эти 25 лиц будут получать уже от 1000 до 2000 фунтов. Предполагая, что лица, получающие более 1000 фунтов, называются *крупными* плательщиками, мы увидим, что к *разряду* таких плательщиков отойдет теперь 25 человек из лиц, принадлежащих к

среднему классу. Значит общее число небогатых плательщиков (или, другими словами, общее число «moderate incomes») будет теперь равно 325 [75 человек, оставшихся от прежнего числа (100) и 250 новых, принадлежавших к рабочему классу], т. е. *окажется увеличившимся на 225 процентов.*

Будем считать дальше. Двадцать пять лиц торгового класса, получающих от 1000 до 2000 ф. с, будут фигурировать теперь в списках крупных плательщиков, в одном *разряде* с лицами высшего класса, состоящего из фабрикантов и землевладельцев. Таких лиц у нас было *десять.* Присоединяя к ним 25 лиц из *среднего класса,* мы находим, что число крупных плательщиков равняется теперь 35: *увеличение на 250 процентов.*

Число крупных плательщиков растет у нас несколько быстрее числа «умеренных». Но легко видеть, что при некотором изменении наших гипотетических данных у нас получится противоположный результат.

В самом деле, допустим, что в 1875 г. у нас было только 10 лиц, получавших от 500 до 1000 фунтов. По прошествии 25 лет и по удвоении дохода среднего класса эти 10 лиц будут получать от 1000 до 2000 фунтов и поэтому отойдут в разряд крупных плательщиков подоходного налога. Складывая их число с числом прежних плательщиков крупного разряда, которое, как нам известно, равнялось тоже десяти, мы находим, что всех плательщиков этого разряда будет 20, а это значит, что *число их увеличилось только на 100 процентов.* Ввиду гораздо более быстрого роста числа «умеренных» плательщиков мы получаем возможность кричать об «автоматическом социализме» и наводить некритических «критиков» на ту мысль, что марксова «догма» устарела, и т. д. А ведь на самом деле у нас никакой «диффузии богатства» не произошло, и каждый общественный класс получает свою *прежнюю долю* национального дохода.

Совершенно такой же «отрадный» вывод,— в гошеновском смысле,— мы получим, предположив, что концентрация имущества в среде класса промышленников и землевладельцев совершается быстрее, чем в среде торгового класса, что вполне возможно,— и даже в высшей степени вероятно,— совершенно без всякого посрамления марксовой «догмы» [1]).

[1]) «The retail trade is to day passing through an industrial revolution similar to that which manufacture experienced in the early years of this century and the small Keeper is the analogue of the handloom weaver, XV,— говорит Макрости в своей интересной «The Growth of Monopoly in English Industry» (Fabian Tract № 88, p. 3). Теперь, когда мелкого лавочника захватила «промышленная революция», концентрация пойдет быстрыми шагами в области мелочной торговли, что и доказывается в брошюре Макрости. Но пока мелочная торговля еще не была затронута «промышленной революцией», концентрация по необходимости должна была совершаться в ней гораздо медленнее, чем в

промышленности. Это обстоятельство тоже не могло не влиять на рост «умеренных» доходов.

До сих пор мы предполагали, что при росте национального дохода *доля* каждого общественного класса оставалась неизменной. Теперь посмотрим, как отразилось бы в списках плательщиков подоходного налога *неравномерное возрастание дохода различных классов.*

Положим, что общественный доход *учетверился* и распределяется так: рабочий класс получает 2А; средний класс **—** 4А, а высший 6**А.** При удвоении дохода рабочего класса в его среде окажется,— как и при нашем прежнем предположении,— 250 лиц, получающих сто и больше фунтов дохода. Эти лица будут теперь обязаны платить подоходный налог и, следовательно, увеличат собою число «умеренных» плательщиков. Средний класс прежде целиком относился к числу плательщиков этого «умеренного» разряда, но теперь, после учетверения дохода среднего класса, значительное число его членов перейдет в разряд крупных плательщиков. Как велико будет это число? Если мы предположим, что прежде в среднем классе было 25 лиц, получавших от 250 до 500 фунтов, то теперь (при *неизменном распределении* учетверенного дохода среднего класса между его членами) каждое из этих 25 лиц будет получать от 1000 до 2000 фунтов, т. е. перешагнет за черту, отделяющую *небогатых* плательщиков от *крупных.* Но в том же классе было кроме того, согласно нашему прежнему предположению, 25 лиц, получавших от пятисот фунтов до тысячи. После учетверения дохода среднего класса лица эти станут получать от 2000 до 4000 фунтов каждый, и потому с еще большим основанием будут причислены к *крупным* плательщикам. Следовательно, из числа лиц среднего класса только 50 (100—25—25) лиц останется в *разряде* «умеренных» плательщиков. Присоединяя число этих лиц к числу (250) небогатых плательщиков из *низшего класса,* мы находим, что общее число небогатых плательщиков равняется теперь 300 (50+250): *увеличение на 200 процентов.*

Переходя к *разряду* крупных плательщиков, мы видим, что к к их прежнему числу, *десяти,* прибавится теперь еще 50 (25 лиц с доходом от 1000 до 2000 ф. и 25 лиц с доходом от 2000 до 4000). Общая их сумма дойдет значит до шестидесяти: *увеличение на* 500 *процентов.*

Если мы предположим, что *концентрация* уменьшит число не богатых плательщиков до 250, а число крупных — до 55, то выйдет, что общая

сумма «умеренных» доходов возросла на 150 процентов, а число крупных — на 450 процентов.

Но мы рассуждаем, не принимая во внимание *роста населения.* Население может расти: 1) быстрее, чем общественный доход; 2) так же быстро, как он; 3) медленнее его. Для нас здесь интересен только *третий случай,* соответствующий капиталистической действительности. Рассмотрим этот случай.

Положим, что число членов нашего общества удвоилось в течение 50 лет, между тем как общественный доход *учетверился* и равняется теперь 12А, при чем рабочему классу достается 2А, среднему — 4А, а высшему — 6А. Так как вдвое больший доход рабочею класса распределяется теперь между вдвое большим числом лиц, то (при неизменном распределении дохода *внутри* этого класса) благосостояние каждого отдельного рабочего не повысится, а потому *ни один слой рабочих не попадет в число плательщиков подоходного налога.*

Не то будет в среднем классе. Здесь доход учетверился, между тем как число лиц только удвоилось. Каждое лицо в отдельности будет стало быть *вдвое богаче,* чем было прежде. Число лиц, получающих от 1000 до 2000 фунтов дохода, дойдет теперь до 50. Эти 50 лиц будут теперь занесены в разряд *крупных* плательщиков, а остальные 150 (200—50) останутся в разряде *небогатых. Число «умеренных» доходов увеличится* значит на 50 процентов.

В *высшем классе* прежде было 10 плательщиков, которые все и принадлежали, разумеется, к *разряду* крупных. Вследствие удвоения населения их стало 20. К этим 20 надо прибавить еще 50 человек *среднего класса,* перешедших в *разряд* крупных плательщиков. Сумма — 70 (20+50); *увеличение* — 600 процентов.

Даже предположив, что концентрация имуществ понизила число крупных плательщиков до 55, мы все-таки имеем перед собою факт огромного увеличения числа крупных плательщиков, доходящего до 450 процентов.

Что же доказывают все эти примеры, наверное, до смерти надоевшие читателю?

Они доказывают, между прочим, вот что:

1. *Рост числа небогатых плательщиков, обусловливаемый ростом общественного дохода, сам по себе вовсе еще не свидетельствует о «диффузии богатства» или об успехах «автоматического социализма»,*

потому что он вполне совместим с огромным ростом неравенства в распределении общественного богатства.

2. *Чем сильнее концентрация имуществ в высшем классе общества, тем выпуклее выступает рост числа небогатых платель-*

щиков. В известных случаях число «moderate incomes» будет расти скорее числа крупных доходов, несмотря на одновременный и очень сильный рост общественного неравенства.

3. В современных капиталистических обществах число умеренных доходов растет быстрее, чем общая цифра населения. Но умозаключать отсюда к диффузии богатства и к уменьшению общественного неравенства значит обнаруживать полнейшее и постыднейшее непонимание предмета. Для серьезного уяснения вопроса о распределении национального дохода в современных обществах надо прежде всего определить, *в какой мере вырос этот доход за рассматриваемый период и как разделился его прирост между отдельными классами.* Лица же, толкующие о диффузии и сравнивающие рост *населения* с ростом *числа умеренных доходов,* ровно ничего не делают для указанного определения [1]).

Поэтому их аргументация не показывает ничего, кроме их собственной слабости.

Если мы с точки зрения этих выводов взглянем на данные, приведенные Мёльголлем в его «Dictionary of Statistics», то мы легко поймем, как и почему эти данные могут уживаться с другими данными, имеющими, по-видимому, совершенно противоположное значение.

Мёльголль говорит, что в Англии число лиц с имуществом выше 100 ф. ст. растет значительно быстрее, чем население. И это верно. Но Мёльголль не спрашивает себя при этом, как же быстро растет национальный доход Англии. На самом деле этот доход растет гораздо быстрее числа лиц указанного Мёльголлем разряда, и потому *увеличение этого числа идет рука об руку с гораздо более сильным увеличением общественного неравенства,* о котором совершенно недвусмысленно говорят данные, сообщаемые тем же Мёльголлем в его книге «Industries and wealth of Nations». Правда, данные, приведенные им в «Dictionary of Statistics» как будто показывают, что «умеренные» доходы растут в Англии скорее крупных; но, во-первых, мы

[1]) См., например, Бернштейна «Исторический материализм», стр. 87 и следующие. В прошлом году Луиджи Негри выпустил в свет работу, специально посвященную вопросу о концентрации в капиталистическом обществе (La centralizzazione capitalistica, Torino 1900). Он заботливо перечисляет там все причины, *замедляющие* концентрацию. Но странно, что он не упоминает о причинах, *маскирующих* ее. А между тем, такие причины

существуют. Самой сильной из них является быстрое скопление богатства в верхних общественных слоях.

уже знаем теперь, что если бы это и было так, то отсюда еще было бы очень далеко до «диффузии богатства»; во-вторых, нам известно, что вторая половина семидесятых годов ознаменовалась очень угнетенным состоянием промышленности, вызвавшим временное понижение крупных доходов, а, следовательно, и временное уменьшение их числа. Мы понимаем поэтому, как и почему сравнение чисел, относящихся к 1860 г., с одной стороны, и к 1880 г.— с другой, указывает на более быстрый рост числа *умеренных* доходов, сравнительно с числом *крупных.* Но если мы сравним общие результаты экономического развития за более продолжительный период, то увидим, что, несмотря на временные задержки, число крупных доходов росло гораздо скорее числа умеренных. В самом деле, та же таблица Мёльголля показывает, что в 1812 г. на один миллион жителей в Англии приходилось 3.314 лиц с доходом от 200 ф. ст. и выше, а в 1880 г. их было 6.313, т. е. число их даже *не удвоилось;* между тем число лиц с доходом выше 5.000 ф. ст. поднялось с 34 в 1812 г. до 88 в 1880 г.: *увеличение* на 163,6 процента.

Эти цифры совершенно опровергают Мёльголля, говорящего о диффузии общественного богатства, и вполне подтверждают справедливость слов Мёльголля, указывающего на то, что «состояния выше 5.000 ф. ст. умножились гораздо скорее, чем те, которые не достигали этой цифры» (см. выше стр. 44).

«Сами по себе цифры никогда не лгут,— заметил Гошен в своей речи, разобранной нами выше,— но всякий должен признать, что нет ничего легче, как злоупотребить ими для той или иной посторонней цели». В этом случае мы совершенно согласны с Гошеном. Действительно, цифры не лгут...

VI.

В нашем примере мы оперировали с гипотетическими данными. Теперь пора обратиться к действительности.

Просим читателя обратить внимание на следующую таблицу, показывающую рост различных разрядов дохода в Англии за время с 1843 г. по 1879—1880 гг.

Доходы в фунтах стерл.	1843 г.	1879—1880 г.

От 500 до 5.000	17.990	42.927
» 5.000 » 10.000	493	1.439
» 10.000 » 50.000	200	785
50.000 и выше	8	68

Число лиц, получавших от 500 до 5.000 ф. ст. дохода, *более чем удвоилось;* число лиц с доходом от 5.000 до 10.000 ф. ст. *почти утроилось;* число богачей, ежегодно кладущих в свой карман от 10.000 до 50.000 ф. ст., *почти учетверилось;* наконец, число миллионеров, пользующихся ежегодным доходом в 50.000 ф. и выше, *увеличилось в восемь раз* [1]).

Таким образом никакое сомнение невозможно: *неравенство* в распределении национального дохода очень увеличилось в Англии за указанный период. «Диффузия богатства» является поэтому не более, как «благонамеренной» ложью.

Правда, за тот же самый период времени *более чем* утроилось число лиц с доходом от 150 до 500 ф. ст. Выходит, что число плательщиков *этого,*— самого скромного,— разряда росло быстрее числа плательщиков двух непосредственно за ним следующих разрядов и отстало лишь от четвертого (10.000—50.000 ф. с.) и от пятого (50.000 и выше) [2]). При некоторой доброй воле можно, пожалуй, сказать по этому поводу несколько слов о диффузии богатства в средних слоях плательщиков. Но теперь мы уже не смутимся такими словами; теперь мы хорошо знаем, что указанное нами явление могло быть вызвано множеством причин, *не имеющих ровно никакого отношения к «диффузии богатства».* К тому же у нас остается налицо факт еще более быстрого роста числа плательщиков двух высших разрядов. Стало быть, увеличение общественного неравенства остается для нас вне всякого сомнения [3]).

Такое же увеличение видим мы и в других капиталистических странах.

[1]) См. приложение А к чрезвычайно интересной записке г-жи Э. Симкокс: Loss or gain of the working classes during the Nineteenth Century, напечатанной *в отчете* об Industrial Remuneration Conference. London, стр. 96—97.

[2]) В 1843 г. число плательщиков самого низшего разряда равнялось 87.946, а в 1879—1880 г. оно дошло до 274.943.

[3]) Приведенные нами цифры до такой степени *безусловно опровергают Гошена,* что мы не считаем нужным утомлять внимание читателя подробным разбором значения того указанного английским министром факта, что число доходов, записанных под рубрикой E, значительно увеличилось в период 1875—1886 гг. Скажем только, что рост капитализма необходимо предполагает рост числа *служащих* у частных лиц, равно как и у акционерных компаний. Но именно этот рост и ведет к усилению общественного неравенства; именно он-то и ведет к тому, что *крупные* доходы в общем растут гораздо быстрее «*умеренных*».

В *Цюрихском кантоне* в период 1848—1885 гг. состояния раз**ных** величин росли так:

Состояния:	1848	1885	Рост.
От 5.000 до 50.000 фр. (около)	9.100	17.000	90 проц.
» 50.000 » 500.000 » »	930	2.600	185 »
Выше 500.000 » »	30	190	530 »

В Базеле, в Гларусе, в Бремене, в Гамбурге, в Саксонском королевстве и в Пруссии замечено было подобное же отношение между числами, выражающими рост имуществ различных величин.

В Саксонском королевстве в период времени 1879—1890 гг. число доходов выше 9.600 марок увеличилось на 100 процентов, а число доходов выше 100.000 марок — на 228 проц. [1]).

Для *Пруссии у* нас есть, кроме того, поразительная таблица Энгеля:

В промежуток времени 1845—1873 гг. число плательщиков разных разрядов росло так:

		Число плательщиков выросло:
В первом разряде	1.000 — 1.600 талеров	на 110,2 проц.
Во „ втором	1.600 — 3.200 „	„ 132,3 „
В третьем „	3.200 — 6.000 „	„ 153,9 „
В „ четверто м	6.000 — 12.000 „	„ 224,8 „
В пятом „	12.000 — 24.000 „	„ 370,6 „
В шестом „	24.000 — 52.000 „	„ 476,3 „
В седьмом „	52.000 — 100.000 „	„ 468,4 „
В восьмом „	100.000 —200.000 „	„ 433,3 „
В девятом „	200.000 и выше „	„ 2000, „ [2]) 0

Куда ни посмотрите, везде вы увидите одно и то же: действительное движение во всех странах капиталистического мира совершается в том самом направлении, в каком двигалось наше гипо-

[1]) См. «Wirtschaftliche Grundbegriffe» Неймана в Шенберговом «Handbuch der Politischen Oekonomie». L Bd., 4 Auflage, S. 186. «Вообще,— говорит Вемер,— на основании саксонских данных можно признать, что хотя доход средних классов от 2.100 (2.200) до 9,500 (9.600) марок значительно растет в абсолютном смысле, но что его процентное отношение к общей сумме дохода довольно значительно падает. Таким образом здесь как будто замечается тот же ход развития, который можно было констатировать для производства средних размеров на основании имперскнх данных». Die Verteilung des Einkommens in Preuβen und Sachsen. Dresden 1898. S. 12.

[2]) Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2 Auflage, II Band. S. 35.

тетическое общество: *число плательщиков высших разрядов везде растет несравненно быстрее числа плательщиков небогатых.* Результаты, добытые наблюдением действительности, *поразительно совпадают* с результатами, получившимися у нас, когда мы предположили, что *увеличение общественного дохода не увеличивает благосостояния рабочего класса.* Но во многих случаях действительность оставляет *далеко за собой* наш гипотетический пример: в нашем примере разница в росте чисел плательщиков различных категорий значительно меньше, чем в Пруссии (по таблице Энгеля) или хотя бы в Цюрихском кантоне. Вероятно, это объясняется тем, что в нашем примере не отводилось достаточно места для концентрации имущества в небогатых слоях общества. Очень возможно, что в действительности такая концентрация значительно замедляет рост числа «умеренных» доходов.

Одним словом, характер нашего примера вполне соответствует действительному положению вещей в капиталистическом обществе. Но наш пример основывался на том предположении, что *распределение общественного дохода между различными классами общества делается все более и более неравномерным.* Ясно, что то же самое происходит и на самом деле.

Но если это так, то разглагольствования на тему о притуплении общественных противоречий, о диффузии богатства, об «обеднении» капиталистов и об «обогащении» работников являются горькой насмешкой над тем классом, которому с особенной силой дает себя чувствовать общественное неравенство. Учение Кэри-Бастиа и их потомства: Гошена, Шульце-Геверниц и проч., и проч., и проч., есть не более, как хитрая, но нимало не убедительная речь адвокатов дела, проигранного, по крайней мере, в принципе.

VII.

Убедившись в этом, мы можем обратиться, наконец, к г. П. Струве.

Как относится этот почтенный «критик» к учению Кэри-Бастиа?

В его статье, напечатанной в «Архиве» Брауна, встречаются места, позволяющие совершенно определенно ответить, по крайней мере, на вопрос о том, что думает он о новейшей разновидности этого учения, т. е. «диффузии богатства», придуманной Гошеном, Шульцем-Геверницем и компанией. Вот одно из этих мест.

Маркс утверждал, как известно, что с развитием капитализма и с ростом производительности труда *уровень прибавочной стоимости,*— а, следовательно, и степень эксплуатации труда рабочего ка-

питалистом *повышается.* По поводу этой мысли Маркса г. П. Струве замечает:

«Но именно это положение трудно согласить с фактами. Для начальной стадии развития крупного капитализма (первое торжество машинного производства) оно, вероятно, было в общем правильно. Но нельзя признать, что повышение степени эксплуатации имело место в дальнейших стадиях и продолжится на неопределенное время в будущем. Дело в том, что уровень прибавочной стоимости может повышаться только тогда, когда понижается по каким-нибудь причинам заработная плата или растет прибавочная стоимость. Но понижение заработной платы вовсе не может быть названо характеристическим признаком новейшего экономического развития в капиталистических странах. Помимо же понижения заработной платы прибавочная стоимость может увеличиться или путем удлинения рабочего времени, или же путем увеличения напряженности труда. Но мы не можем констатировать и удлинения рабочего времени в капиталистических странах... Скорее приходится наблюдать обратное явление. Увеличение напряженности труда действительно имеет место, но это увеличение, по физиологическим причинам, во-первых, часто связывается с повышением заработной платы, а, во-вторых, наталкивается на непереходимую границу. Поэтому учение о постоянном повышении уровня прибавочной стоимости или степени эксплуатации труда в развивающемся капиталистическом обществе кажется мне несостоятельным. С успехом можно защищать противоположную тезу, которая и в самом деле нисколько не противоречит общему характеру новейшего экономического развития».

«Противоположная теза» есть именно «теза» нынешних обновителей учения Кэри-Бастиа. Мы уже обнаружили полнейшую несостоятельность этой тезы. Доказав, что неравенство в распределении национального дохода *возрастает,* мы тем самым доказали, что достающаяся рабочему классу *доля* этого дохода *уменьшается.* Покончив с *«оригиналами»,* мы могли бы уже не останавливаться перед *«списком»,* ограничившись простым констатированием того более или менее утешительного и удивительного обстоятельства, что он сделан очень удачно и отличается большим сходством с подлинниками. Но так как нам все-таки нужно, хотя

отчасти, следовать за нашим «критиком», то мы должны рассмотреть также и его аргументацию. Кроме того, нам следует признать, что до сих пор мысль Маркса об увеличении степени эксплуатации рабочего капиталистом подтверждалась нами лишь *косвенно,* лишь посредством указания на возрастающее

неравенство в распределении общественного богатства. Посмотрим теперь, можно ли привести какие-нибудь *прямые* доводы в пользу этой мысли.

Мы видели, что, по мнению г. П. Струве, это невозможно. Он говорит, что мысль Маркса может быть признана правильной только в применении к начальной стадии развития капитализма. Это совершенно не так.

Возьмем Соединенные Штаты Сев. Америки, где, по очень многим причинам, условия продажи пролетариатом своей рабочей силы несравненно благоприятнее для него, чем в какой бы то ни было из европейских стран. Как изменилась там *доля* рабочего класса в стоимости, создаваемой его трудом?

В 1840 г. он получал 51 процент, а в 1890 г. ему доставалось только 45 процентов этой ценности, стало быть, его *доля понизилась,* а *степень эксплуатации его капиталистом повысилась.*

Мы заимствовали только что приведенные нами цифры у Кароля Д. Райта, который, при всей своей добросовестности, все-таки решительно предпочитает розовую краску черной [1]).

Кароль Д. Райт указывает также на причину, способствующую уменьшению доли рабочего класса. Он видит ее в развитии машинного производства или, как сказал бы Маркс, в изменении органического состава капитала [2]).

Что скажет нам по этому поводу наш «критик»? Думает ли он, что Соединенные Штаты Сев. Америки до сих пор не вышли из начальной стадии капитализма?

Г. П. Струве цитирует книгу К. Д. Райта. Стало быть она ему известна. Но он, как видно, не расслышал того, что говорит американский статистик о понижении *доли* рабочего класса. Ох, глухота — большой порок!

В *Англии,* в период 1861—1891 гг., национальный доход поднялся с 832 миллионов ф. с. до 1.600 милл., между тем как заработная плата повысилась от 388 до 693 милл. ф. с. Это значит, что

[1]) См. его «Industrial Evolution of the United States», New-York l895, p. 192. Если Эткинсон в своих расчетах приходит к другим выводам, то это объясняется просто-напросто тем, что он *принимает понижение уровня прибыли за понижение нормы прибавочной стоимости.* Его пример прекрасно показывает, до какой степени необходимо для статистика знание *теоретической экономии.*

[2]) Там же, та же стр.

уровень прибавочной стоимости, который в 1861 г. равнялся 114,43 проц., в 1891 г. поднялся до 130,8 проц. [1])

Как думает г. П. Струве: в какой «стадии» находился английский капитализм в течение указанного периода?

Или, может быть, г. «критик» захочет повторять те доводы, с помощью которых цитированный нами Боулей старается смягчить впечатление, производимое сообщаемыми им цифрами, и убедить читателя в том, что *доля* английского рабочего класса в национальном продукте *все-таки* не уменьшилась? Пусть попробует. Мы без труда покажем ему слабость этих доводов. Теперь же на всякий случай мы Обратим его внимание на следующий факт.

У английских статистиков под рубрикой заработной платы фигурирует также *жалованье, получаемое прислугой,* которое на самом деле *уплачивается из прибавочной стоимости.* Прислуга в Англии очень многочисленна. В 1884 г. число слуг доходило там, по Леони Леви, до 2.400.000, тогда как число земледельческих рабочих не превышало 900.000. В том же году и по расчету того же Л. Леви, английская прислуга получила 86 миллионов ф. с., а земледельческим рабочим досталось не более 67 миллионов. Если мы предположим, что в 1891 г. жалованье, уплаченное прислуге, не превышало того, что было получено ею в 1884 г., и если мы, вычтя 86 миллионов из общей суммы платы, полученной английским рабочим классом в 1891 г., приложим эти миллионы к общей сумме прибавочной стоимости того же года, то *уровень* этой последней еще более повысится. Вообще рабочий класс в Англии вряд ли получает более одной трети национального дохода.

Во Франции,— по расчету А. Коста, относящемуся к 1890 г.,— национальный доход распределяется так:

	Миллионы фр.
Земледельческие рабочие	. ..... 2.000
Промышленные »	. . . . 3.600
Служащие разных родов	. . . . 1.000
Прислуга	. . . . 1.400
Ремесленники, мелкие земледельцы, мелочные торговцы, лица, занимающиеся перевозкой, солдаты, моряки, жандармы, мелкие чиновники, белое духовенство, монахи и монахини, учителя и учительницы и т. д.	. . . . 4.000

[1]) Боулей, «Changes in Average Wages in the United Kingdom between 1860 and 1841», «Journal of the R. S.» June 1895.

Капиталисты:

	Миллионы фр.
1) в земледелии	от 3.500 до 4.500
2) в промышл., торговле и в трактирном деле	» 3.500 » 4.500
3) рантье, лица, получающие пенсию от государства, и лица свободных профессий	» 2.500 » 3.000

Сложив все эти цифры, мы получим около 22 миллиардов, из которых рабочим, ремесленникам и мелким крестьянам достается, как и в Англии, *не более одной трети.*

Такая высокая степень эксплуатации возможна *только при очень развитой производительности труда.* Она физически невозможна была 30—35 лет тому назад, когда, по расчетам самых компетентных людей, национальный доход Франции едва доходил до 15 миллиардов. Поэтому г. П. Струве очень ошибается, приурочивая рост эксплуатации рабочего класса к начальной стадии капитализма.

VIII.

Нашего «критика» смущает то обстоятельство, что заработная плата повысилась в течение последнего полустолетия во многих странах и во многих отраслях промышленности. Но всякий, хоть немного знакомый с политической экономией, знает, что *повышение заработной платы* может идти рука об руку с понижением *цены рабочей силы,* а, следовательно, и с *возрастанием степени эксплуатации рабочего. Заработная плата* в Англии выше, чем на континенте, а *цена рабочей* силы выше на континенте, чем в Англии. Это — старая истина [2]). Но апологеты капитализма, часто повторяющие эту истину, обходят ее скромным молчанием, когда,

основываясь на факте повышения заработной платы, они стараются доказать ту же знакомую нам «тезу», что капиталисты «беднеют», а рабочие «обогащаются». Маркс очень хорошо замечает в первом томе *«Капитала»:* «Понятно, следовательно, почему так важно *превращение формы* стоимости и цены рабочей силы в *рабочую плату* или в стоимость и цену самого труда. На этой *форме проявления,* скрывающей действительные отношения и показывающей совершенно противное им,

[1]) См. V. Turquan «Evolution de la fortune privée en France» в «Revue d'Economie politique», Février 1900.

[2]) «I maintain, unhesitatingly, that daily wages are no criterion at the actual cost executing works» (Th. Brassey, On Work and Wages, London. 1873, p. 66.

основываются все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все капиталистические иллюзии о свободе, все оправдательные уловки вульгарной политической экономии» Замечательно, что в своем качестве «критика» Маркса г. П. Струве не только стал очень снисходителен к оправдательным уловкам вульгарной политической экономии, но и сам начал прибегать к ним. Самым выдающимся проявлением этой новой его склонности является бесспорно его замечание о том, что «прибавочная ценность, воплощенная в прибавочном продукте, создается не только живым трудом», а есть функция всего общественного капитала [2]). Это — Геркулесовы столбы буржуазной апологетики. Но и в статьях, занимающих нас в настоящее время, встречаются очень ценные перлы этого рода. К их числу принадлежит ссылка на рост заработной платы, как на доказательство *понижения уровня прибавочной стоимости.*

Что рабочий день во многих,— и притом главнейших,— отраслях производства теперь короче, чем был несколько десятков лет тому назад, это справедливо, но и это неубедительно. Сокращение рабочего дня с лихвой окупилось увеличением напряженности труда. Это опять-таки всем известно. Правда, увеличение напряженности труда *может* натолкнуться *со временем* на непереходимые физиологические границы. Но опыт показывает, что эта *возможность* до сих пор не перешла в *действительность* [3]).

[1]) «Капитал», том I. С.-Петербург 1872, стр. 468.

[2]) В статье: «Основная антиномия теории трудовой ценности». «Жизнь», февраль 1900 г. Эта статья мягко, но беспощадно разобрана Карелиным в октябрьской и ноябрьской книжках «Научного Обозрения» за тот же год, в статье «Заметки».

[3]) В Соединенных Штатах труд несравненно интенсивнее, чем в Европе. Французские рабочие, ездившие на международную выставку в Чикаго, поражались интенсивностью труда американских рабочих (см. «Rapports de la délégation ouvrière à l'exposition de Chicago», Paris 1894). Но и в Америке естественный предел интенсификации пока еще не достигнут, хотя интенсивность труда растет очень быстро. См. об этом у Левассера, «L'ouvrier américain», Paris, t. 1, p. 97 и следующие. Не перейден этот предел и в *Австралии:* «Je n'ai trouvé en Australie personne, qui fut contre la journée de huit à neuf heures; chacun donnait pour expliquer cette opinion la même raison: que l'intensité du travail est plus grande avec la journée courte» Albert Metin «Le socialisme sans doctrines, Australie et Nouvelle Zélande», Paris 1901, p. 132, Увеличение *интенсивности труда* является там источником *безработицы* для *слабых* рабочих, не могущих поспевать за более сильными (Ibid., p. 146). Правда, для того, чтобы вызвать такое действие, нужно было еще установление *минимума заработной платы.*

Не отрицая факта повышения заработной платы, позволительно, однако, спросить, как же высоко поднялась она, например, в передовых странах европейского континента? А на этот вопрос действительность отвечает подчас довольно неожиданным образом.

По *Фойту,* рабочему для восстановления его сил необходимы следующие количества питательных веществ:

	Белковых.	Жиров.	Углеводов.
При умеренной работе	118 грамм.	56 грамм.	500 грамм.
При интенсивной »	145 »	100 »	450 »

Если работающий человек не потребляет указанного количества веществ, то его организм истощается; его рабочая сила подрывается в своем корне; он переживает процесс *физиологического обнищания.* Далек ли от такого обнищания современный европейский рабочий?

На основании данных, собранных Дюкпесио, брюссельский профессор Гек. Дэни нашел, что в 1853 г. бельгийский рабочий в среднем потреблял:

Белковых веществ	70 граммов
Жиров	26,2
Углеводов	461

Это значит, что в то время бельгийский пролетарий далеко не мог восстановлять пищей свою силу, затрачиваемую в процессе производства. А из этого, очевидно, следует, что *цена рабочей силы стояла тогда гораздо ниже ее стоимости.*

Прошло более тридцати лет; бельгийский капитализм пережил блестящую «стадию» своего развития, а бельгийский рабочий продолжал разрушать свою силу недостаточным питанием. В восьмидесятых годах его организм получал:

Белковых веществ . . .	82,278 граммов.
Жиров	77,926 »
Углеводов	589,408 [1]) »

Какой огромный прогресс! Какое завидное улучшение участи рабочего класса! Рабочий получает теперь целых *двенадцать* лишних грамм белковины, не говоря уже о прибавке жиров и особенно углеводов! Как же не говорить после этого о притуплении общественных противоречий?

Ведь если улучшение быта бельгийских рабочих и впредь пойдет так же быстро, то в следующем геологическом пери-

1) H. Denis. La dépression économique et sociale. Bruxelles 1895, p. 145.

оде они станут, пожалуй, получать *почти* столько, сколько нужно для нормального питания организма.

Рассуждая серьезно, мы совсем не имеем права с уверенностью, говорить об улучшении, хотя бы *самом крохотном,* питания бельгийского рабочего. Тут все зависит от того, как относится его теперешняя трата рабочей силы к ежедневной трате, имевшей место в пятидесятых годах. Если трата *увеличилась,* то питание стало, может быть, *еще менее удовлетворительным,* несмотря на некоторую прибавку питательных веществ. Следовательно, даже и двенадцать лишних грамм белковины не обеспечивают нас от пессимистических умозаключений насчет социальных последствий капиталистического прогресса.

Все, что мы знаем, это то, что бельгийский рабочий до сих пор не имеет экономической возможности восстановлять питанием свою рабочую силу. Вот что говорит по этому поводу человек, которого трудно заподозрить в упрямом «догматизме» ортодоксальных марксистов, именно, губернатор западной Фландрии:

«Известно, что минимальное количество необходимой для солдата пищи равняется 1066 гр. хлеба, 285 гр. мяса и 200 гр. овощей. Наши рабочие, трудящиеся с утра до вечера, нуждаются в значительно большем количестве питательных веществ. Однако потребляемая ими пища очень отстает от минимального солдатского пайка» [1]).

Рабочая сила бельгийского пролетария до сих пор продается гораздо ниже своей стоимости, а его заработная плата в последнее полустолетие, несомненно, поднялась довольно «значительно». Известно, что чем ниже уровень заработной платы, тем громче звучит всякое его повышение. Если рабочий получает пятачок в день, то прибавка на одну копейку может быть окрещена громким именем *повышение уровня платы на 20 процентов!* Но само собою разумеется, что такое «значительное» повышение нимало не устранит социальной и физиологической нищеты работника.

Г. П. Струве очень пренебрежителен к блаженной памяти железному закону заработной платы. Защищать этот закон теперь, конечно, совсем невозможно: слишком уже ясно обнаружил Маркс его несостоятельность. Но нельзя не согласиться и с тем, что иному бельгийскому рабочему

закон этот,— даже в той его формулировке, которую ему придавали Лассаль и Родбертус,— мог бы показаться *золотым законом*

[1]) Цитировано у Г. Дени, op. cit.. p. 144; это свидетельство относится к восьмидесятым годам.

IX.

У Ибсена тролли предлагают Перу Гюнту слегка помять ему левый глаз. «Ты будешь, правда, слегка косить после этого,— успокоительно прибавляет их глава,— но все, что ни представится твоему взору, покажется тебе прекрасным и отрадным». Над нашим критиком подобная же операция сделана была *школой Брентано,* свято хранящей традицию Кэри-Бастиа. Не знаем точно, какой именно глаз помяла ему почтенная школа; но во всяком случае она сделала так, что капиталистический порядок кажется ему теперь, если и не безусловно прекрасным и отрадным, то все-таки несравненно более привлекательным, чем он показался бы ему при нормальном зрении. Одним из многочисленных доказательств этого являются его рассуждения о капиталистической эксплуатации женщин и детей.

Каутский в споре с Бернштейном высказал ту мысль, что увеличение числа работающих по найму женщин и детей свидетельствует об обеднении рабочего класса. Эта мысль, как видно, очень не понравилась г. П. Струве. «Когда я читал Каутского,— ехидно замечает он,— мне показалось, что я слушаю речь почтенного Декуртинса на Цюрихском конгрессе...» «Если бы я разделял взгляд Каутского на женский труд, то я принял бы также и касающиеся этого труда практические предложения католических социал-политиков» [1]). Прекрасно. Но как же смотрит на этот вопрос сам г. П. Струве? Слушайте.

Он признает, что в Германии женский и детский труд действительно очень увеличился в своих размерах в течение 1882—1895 гг., но он указывает на то, что рост женского и детского труда особенно заметен был там в торговле и вообще в таких отраслях, где в предприятии очень нередко трудятся члены собственной семьи предпринимателя. Отсюда он делает тот успокоительный вывод, что мнение Каутского об этом труде надо брать cum grano salis. «Ход развития вообще не так однообразен и смысл его не до такой степени одинаков,— говорит он,— как это представляется в схеме теории обнищания» [2]). А дальше у него следует уже совсем утешительная ссылка на Соединенные Штаты Северной Америки, где женский труд в период 1840—1890 гг. уменьшился *относительно,* а детский также и *абсолютно.*

[1]) Archiv, S. 732—73.

[2]) Ibid., S. 734.

Выходит, что капитализм и есть то самое копье, которое само исцеляет наносимые им раны: в «начальной стадии» он, точно, маленько пошаливает и не щадит ни взрослых мужчин, ни женщин, ни детей, стремясь взять под свой «начал» все живое и способное к производству прибавочной стоимости. Но это не более, как увлечения и ошибки молодости. Приходя в зрелый возраст, капитализм смягчается и мало-помалу ослабляет крепко натянутые вожжи; тогда понижается степень эксплуатации им пролетариата, и тогда измученные им женщины и дети получают, наконец, возможность отдохнуть у себя дома, в той домашней обстановке, которая, в свою очередь, все более и более улучшается не только абсолютно, но и относительно, т. е. в сравнении с домашней обстановкой гг. капиталистов. Все это так отрадно, удивительно, утешительно и необходимо, что мы право, не понимаем почему П. Струве высказывается против *«однообразия».* Конечно, однообразие производит очень тяжелое впечатление, когда мы встречаемся с ним «в *схеме теории обнищания» но в схеме обогащения работников и обеднения капиталиста* оно скорее приятно и даже нисколько не утомительно,— в доказательство сошлемся на самого г. П. Струве: все его нынешние экономические рассуждения очень однообразны и монотонны, но нужно быть мрачным «эпигоном» Маркса, чтобы не умилиться душой под их облагораживающим влиянием...

Беда лишь в том, что неумолимая действительность резко противоречит этим облагораживающим рассуждениям. Возьмем хоть эксплуатацию капиталом женщин и детей. Г. П. Струве позабыл, что в Германии число женщин, занимающихся *промышленным трудом,*— число *наемных работниц,*— увеличилось в период 1883—1895 гг. *на 82 процента,* тогда как число мужчин возросло только *на 89 процентов.* Если нас не обманывает наша односторонность «эпигона», то эти цифры указывают *как на абсолютное, так и на относительное* увеличение числа эксплуатируемых капиталом лиц женского пола. А что же гонит женщин под иго капитала? Уж, конечно, не мнимое *«обогащение»* пролетариата!

Кароль Д. Райт действительно говорит, что в Соединенных Штатах число женщин, занятых промышленным трудом, было в 1850 г. *относительно* больше, чем в 1890 г., но сам же он и замечает при этом,

что *точные* данные относительно женского труда существуют только, начиная с 1870 года [1]). А что же мы видим, начиная с того

[1]) «Industrial Evolution», p. 204.

времени? Мы видим *постоянное — абсолютное и относительное — увеличение размеров женского труда.* В своем одиннадцатом годовом отчете тот же К. Д. Райт приводит цифры, из которых, по его собственным словам, следует, что «пропорция женщин, от 10 лет и выше, занятых во всех отраслях труда, *выросла* с 14,68 процентов (общей цифры женского населения — *Г. П.*) в 1870 г. до 17,22 процентов в 1890 г., а пропорция мужчин *понизилась* (курсив опять наш) с 85,32 процентов в 1870 г. до 82,78 процентов в 1880 г., вполне подтверждая (fully corroborating) тот факт, указанный в настоящем исследовании (т. е. в одиннадцатом годовом отчете «комиссионера труда» — *Г. П.*), что женщины до известной степени занимают место в *ущерб мужчинам* (курсив наш) [1]).

В мануфактурной и механической промышленности (manufacturing and mechanical industries) женщины составляли в 1870 г. 14,14 процентов, а в 1890 г. уже 20,18 процентов всего числа рабочих [2]).

«Поэтому абсолютно доказан тот факт (fact is absolutely demonstrated), что пропорция женщин... (занятых наемным трудом — *Г. П.*) постепенно возрастает» [3]).

С тем же самым выводом г. П. Струве встретится в известном сочинении Сарториуса: «Die nordamerikanischen Gewerkschaften unter dem Einfluß der fortschreitenden Productionstechnik», Berlin 1886. Там, на странице 109, мы находим следующую таблицу, показывающую относительный и абсолютный рост женского труда в различных штатах североамериканского союза.

	Работницы на фабриках.		Население.	
	1850	1880	1850	1880
Пенсильвания .	22.078	73.046	2.311.786	4.282.891
Нью-Джерсей .	8.762	27.099	489.555	1.131.116
Иллинойс	493	15.233	815.470	3.077.871
Нью-Йорк	51.612	137.455	3.097.394	5.082.871
Огайо	4.437	18.563	1.980.329	3.198.062
Нью-Гэмпшир . .	14.103	29.356	317.976	346.991

Из этого видно, чьи слова надо брать cum grano salis — Каутского или г. П. Струве.

А *детский* труд?

[1]) Eleventh annual Report of the Commissioner of Labor Washington, 1897, p. 21
[2]) Ibid., p. 22.
[3]) Ibid., p. 22.

В период 1870—1880 гг. число работающих детей от 10 до 15 лет *поднялось* в Соединенных Штатах с 13,9 процента всех детей этого возраста до 16,82 процента. Наоборот, с 1880 по 1890 г. это число *упало* до 10,34 проц. Это вызвано было действием фабричного законодательства, затруднившим применение детского труда. Число работающих детей сократилось преимущественно в штатах Новой Англии, где указанное действие было особенно сильно. А там, где оно было слабее, детский труд принял еще более широкие размеры, чем в предыдущее десятилетие [1]).

Оправдательные уловки гг. «критиков» Маркса так же мало способны закрыть истину от глаз внимательного исследователя, как и апологетические упражнения вульгарных экономистов. Всякий, имеющий очи, видит, что развитие капитализма приводит именно к тем результатам, о которых говорил Маркс; не довольствуясь эксплуатацией взрослых рабочих, *капитал все более и более стремится подчинить себе женщин и детей.* А возрастающее подчинение ему женщин и детей, несомненно, означает ухудшение общественного положения рабочего класса.

Однако остановило же фабричное законодательство увеличение числа работающих на фабриках детей, по крайней мере, в некоторых штатах Северной Америки,— скажет нам г. Струве [2]).

Да.— ответим мы! Но это совсем не опровергает и *даже не видоизменяет* общего смысла марксовой теории социального развития. Что фабричное законодательство способно сохранить некоторые интересы рабочих, это признается еще в «Манифесте Коммунистической партии» [3]). Но вопрос не в том, оградило или не оградило фабричное

законодательство *некоторые* интересы рабочих, а в том, какова *алгебраическая сумма* выгодных для пролетариата последствий фабричного законодательства, представляющих собою *положительную* величину, и той тенденции к ухудшению социального положения рабочего класса, которая свойственна капитализму и которая составляет величину *отрицательную.* Маркс утверждает, что эта алгебраическая сумма *не может быть положительной величиной,* т. е. что

[1]) Левассёр — L'ouvrier américain, I, 198.

[2]) Ср. его замечание о возможном влиянии «социальной реформы» на женский труд. Archiv., S. 733.

[3]) «Пользуясь взаимными несогласиями различных слоев буржуазии, она (организация пролетариев) добивается признания некоторых интересов рабочих со стороны закона. Так было с десятичасовым биллем в Англии» («Манифест», глава I, Буржуа и пролетарии).

социальное положение рабочего ухудшается, *несмотря* на выгоды, проистекающие для него от фабричного законодательства. Это же самое — и только это — до сих пор утверждают его «ортодоксальные» последователи. А так называемые критики Маркса говорят *противное.* Они стараются доказать, что знаменитая «социальная реформа» *уже повысила* социальное положение рабочего, со временем повысит его еще больше, так что со временем, приблизительно этак в следующем геологическом периоде, *капиталистический способ производства* не-заметно перейдет *в социалистический.* Кто прав? Все, что мы узнали до сих пор, все те факты и явления, с которыми мы до сих пор имели дело, решительно свидетельствуют в пользу Маркса и «ортодоксов»: в *экономическом* отношении расстояние между пролетариатом и буржуазией *увеличилось;* рабочий класс сделался *относительно* беднее, потому что его *доля* в национальном продукте относительно уменьшилась. Как ни важны были для рабочего класса фабричное законодательство и прочие паллиативы «социальной реформы», но они далеко не могли перевесить невыгодной для него тенденции развивающегося капитализма к принижению пролетариата. Пролетариат находился в положении человека, плывущего против могучего течения: если бы он без сопротивления отдался силе воды, то его отнесло бы *очень* далеко назад; но он сопротивлялся: он старался подви-нуться вперед, и потому течение отодвинуло его назад *не так далеко,* как *могло бы* отодвинуть; но оно *все-таки отодвинуло* его, потому что *все-таки оно было гораздо сильнее* [1]).

X.

До сих пор мы говорили об *относительном ухудшении* положения рабочих. Но мы не забыли, что некоторые «критики», — в том

[1]) Роунтрей, на основании внимательного изучения данных, относящихся к городу Иорку, пришел к тому выводу, что: 1) Десять процентов населения этого города получает меньше 21 шиллинга 8 пенсов в неделю и потому живет в условиях того, что он называет primary poverty. 2) 17,93% того же населения живет в условиях secondary poverty, т. е. хотя и имеет заработок, превышающий 21 шиллинг 8 пенсов, но имеет разные побочные, — производительные или непроизводительные расходы (Poverty. A study of Town Life, second édition, p. 298). По мнению Роунтрея, от 25% до 30% всего городского населения, соединенного населения, живет в бедности (Ibid., p. 30). Вот он «автоматический социализм»! Роунтрей прибавляет, что такая бедность царствовала, несмотря на рост народного богатства, и во время «неслыханного процветания» (Ibid., p. 304). Да, Гошен прав. «Цифры не лгут».

числе и г. П. Струве,— доказывают, что у Маркса речь шла вовсе не об относительном, а об *абсолютном* его ухудшении. Если послушать этих господ, то выйдет, что все толки «ортодоксов» об относительном ухудшении представляют собою не более, как софизмы зарвавшихся спорщиков, чувствующих себя побежденными, но не желающих в этом сознаться. Так ли это на самом деле?

В брошюре *«Наемный труд и капитал»,* основой которой послужили, как известно, лекции, читанные Марксом в брюссельском немецком обществе *в 1847 году,* Маркс доказывает, что даже в том, наиболее благоприятном для рабочих, случае, когда быстрый рост капитала, увеличивая спрос на рабочую силу, повышает заработную плату, положение рабочих *относительно ухудшается.* «Быстрый рост производительного капитала, — говорит он,— вызывает столько же быстрый рост богатства, роскоши общественных потребностей и общественных наслаждений. Поэтому, несмотря на то, что доступные рабочему наслаждения возросли, доставляемое ими удовлетворение понизилось, ввиду увеличившихся, недоступных рабочим, наслаждений капиталиста, ввиду более высокой ступени общественного развития вообще. Наши потребности и наслаждения создаются обществом; поэтому мы прикладываем к ним общественную мерку, а не измеряем их предметами, служащими для их удовлетворения. Общественный характер наших потребностей и наслаждений делает их относительными».

Что это, как не теория *относительного* ухудшения быта рабочего класса?

Далее. «Если, следовательно, с быстрым ростом капитала увеличивается доход рабочего, то в то же время увеличивается и общественная пропасть, отделяющая рабочего от капиталиста, увеличивается власть капиталиста и увеличивается, власть капитала над

трудом, зависимость труда от капитала. Сказать, что рабочий заинтересован в быстром возрастании капитала, это значит сказать лишь следующее: чем быстрее рабочий увеличивает чужие богатства, тем более жирные крохи достаются ему самому, тем больше рабочих может получить заработок, тем больше может увеличиться число рабочих — рабов капитала... При быстром росте капитала заработная плата может, пожалуй, увеличиться, но несравненно быстрее увеличивается, во всяком случае, прибыль капитала. Материальное положение рабочего улучшается, но улучшается на счет его общественного положения. Пропасть, отделяющая от капиталиста, расширяется» [1]).

[1]) Там же, стр. 39.

Эти цитаты неоспоримо показывают, что Маркс вовсе не так чужд был понятия об *относительном* ухудшении положения рабочего класса, как хотят уверить нас гг. «критики». Из них видно также и то, что Маркс не перестал бы говорить об *обеднении* рабочего класса даже в том случае, если бы в положении этого класса замечено было *абсолютное* улучшение. Но то правда, что в цитированной нами брошюре Маркс, анализируя *действительный* ход развития капиталистического общества, находит, что рост капитала далеко не всегда связан с абсолютным улучшением положения рабочего класса. *«Чем более возрастает производительный капитал,—* говорит он,— *тем более развивается разделение труда и применение машин, тем сильнее становится конкуренция между рабочими, тем более уменьшается их заработная плата»* [1]). Далее, он указывает на то, что развитие капитализма толкает в ряды наемных рабочих все новые и новые слои населения, и заканчивает свою брошюру таким общим выводом:

«Быстрый рост капитала вызывает несравненно более быстрое усиление конкуренции между рабочими, другими словами, ведет к тем большему относительному уменьшению источников заработка, средств существования рабочего класса; а между тем быстрый рост капитала является самым благоприятным условием для наемного труда» [2]).

В то время Маркс полагал, как видно, что относительное уменьшение источников заработка непременно должно вести к понижению заработной платы. Поэтому он думал, что с развитием капитализма заработная плата стремится к понижению. Это был взгляд, общий со многими тогдашними социалистами [3]).

Но в брошюре «Наемный труд и капитал» экономические взгляды Маркса выступают перед нами еще не в законченном своем виде [4]). Он еще не различает там прибыли от прибавочной заработной платы от цены рабочей силы. Поэтому мы обратимся к главному его сочинению, к *«Капиталу».*

В первом томе «Капитала» Маркс говорит, что, благодаря росту производительности труда, цена рабочей силы может *упасть,* несмотря на одновременное *увеличение* количества жизненных средств, поступающих в распоряжение работника [5]). Здесь различается, стало

[1]) Там же, стр. 47, курсив в подлиннике.
[2]) Там же, стр. 48.
[3]) Ср., например, Луи Блана — «Organisation du travail», V éd., p. 40.
[4]) Ср. замечание Энгельса в предисловии к этой брошюре.
[5]) «Капитал», т. I, стр. 454.

быть, *относительное* ухудшение положения работника от его *абсолютного* ухудшения. В другом месте того же тома, Маркс, приведя мнение Гладстона о том, что «опьяняющий» рост общественного богатства Англии сделал бедных менее бедными, замечает: «Если рабочий класс остался «беден» и только менее «беден» по мере того, как он производил опьяняющее увеличение богатства и силы» для имущих классов, то относительно он остался столь же беден, как и прежде. Если крайности нищеты не уменьшились, то они увеличились, потому что увеличились крайности богатства [1]).

Что это, как не теория *относительного* обеднения рабочего класса?

Правда, Маркс и в *«Капитале»* указывает на причины, стремящиеся *понизить заработную плату.* Но, установив чрезвычайно важное различие между *платой,* получаемой работником, и *ценой* его *силы,* он уже не утверждает, что повышение степени эксплуатации рабочего непременно ведет к падению заработка. Нет, по прямому и ясному смыслу его законченной доктрины понижение цены рабочей силы и относительное ухудшение положения рабочего может сопровождаться повышением его платы [2]). Нельзя поэтому не подивиться остроумию тех людей, которые хотят опровергнуть Маркса указанием на то, что заработная плата повышалась во второй половине XIX века. Их остроумие заслуживает тем бóльшей похвалы, что указание это,— поскольку оно справедливо, — относится в особенности к так называемым обученным рабочим, между тем как Маркс в *«Капитале»* приводит примеры преимущественно из жизни *необученных* рабочих [3]).

XI.

Г. П. Струве очень не нравится то место «Капитала», где Маркс говорит, что чем выше производительность труда, тем сильнее тяготение рабочих к средствам их занятия и тем ненадежнее условия их существования. Читатель помнит знаменитые строки:

«Наконец, закон, по которому относительный избыток населения или резервная промышленная армия постоянно находится в рав-

[1]) «Капитал», т. I, стр. 562.

[2]) Ibid., стр. 556. Ср. также цитируемые г. П. Струве «Randglossen» в «Neue Zeit», IX Jahrgang, S. 571.

[3])Так, говоря о жилищах и о пище английских рабочих, он оговаривается: «Пределы этого сочинения позволяют мне исследовать в этом отношении только плохо оплачиваемую часть промышленных и земледельческих рабочих». «Капитал», т. I. 563.

новесии с размером и *силою накопления,* этот закон приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковал к скале Прометея. Этот закон обусловливает *накопление нищеты* соответственно *накоплению богатства.* Накопление богатства на одном полюсе производит в то же время на другом, т. е. на стороне класса, *производящего свой собственный продукт в виде капитала,* накопление нищеты, тягостей труда, рабства, невежества, огрубения и нравственного унижения».

Г. П. Струве полагает, что эти строки не соответствуют истинному положению дела в современном обществе, и что, если бы они действительно соответствовали ему, то осуществление «конечной цели» Маркса стало бы совершенно невозможным.

Рассмотрим это мнение нашего «критика».

Верно или не верно то, что с развитием производительности труда условия существования работника становятся все более и более ненадежными?

Люди, внимательно изучившие этот вопрос и, сколько мы знаем, никем еще не заподозренные в «догматизме», говорят, что это верно.

В самом деле, припомните мнение английской комиссии, занимающейся изучением вопроса об угнетенном состоянии промышленности. Большинство комиссии думало, что в настоящее время цивилизованные нации могут производить гораздо больше продуктов, чем их нужно на всемирном рынке [1]). Несоответствие между производительной силой и способностью потребления вызывает угнетенное состояние промышленности и падение прибыли. Предоставляем самому читателю судить, *как* должно влиять на условия существования рабочих такое состояние дел, вызываемое высокоразвитым состоянием общественных производительных сил.

А меньшинство высказалось еще решительнее и определеннее. По его мнению, в последние сорок лет (доклад вышел в 1886 году) в жизни цивилизованных наций произошла очень большая перемена: производительность их труда достигла такой высокой степени развития, что теперь главное затруднение состоит уже не в дороговизне или редкости продуктов, а в приискании себе занятия, при отсутствии которого огромное большинство населения лишается всяких средств существования [2]).

[1]) См. уже много раз цитированный нами заключительным доклад этой комиссии, стр. XVII.

[2]) Там же, стр. LIV.

Пусть опять сам читатель судит, противоречит ли это вышеприведенным словам Маркса, или же подтверждает их.

Комиссия не оставила места ни для какого сомнения насчет характера затруднения, вызванного развитием производительности труда: оно состоит, по ее словам, в уменьшении для рабочего класса источников заработка, т. е., следовательно, в создании *относительного перенаселения. Это как раз то самое, что говорил Маркс.*

Итак, по мере развития капитализма, условия продажи рабочей силы *изменяются к невыгоде ее продавцов,* чем в достаточной степени объясняется указанное и доказанное нами уменьшение *доли* рабочего класса в национальном доходе. Но, говоря это, мы совсем не отрицаем повышения заработной платы в некоторых отраслях производства. Мы только замечаем, что это повышение сопровождается понижением цены рабочей силы, и что, кроме того, оно вовсе не так значительно, как уверяют апологеты капитализма.

Гиффен утверждал, что в периоде 1833—1883 гг. уровень заработной платы поднялся в некоторых отраслях английской «промышленности на 100 и даже более *процентов* [1]). Это — страшное преувеличение, на которое давно уже указано с разных сторон. Сравнение цифр 1833 года с цифрами восьмидесятых годов очень мало доказывает по той простой причине, что в 1833 году, т. е. *до реформы законодательства о бедных,* многие семейные рабочие получали поддержку от своего прихода, что, несомненно, вызывало искусственное понижение уровня заработной платы [2]). Кроме того, даже и это, непозволительное в научном смысле сравнение не всегда подтверждает радужные выводы «первого английского статистика». Так, например, плата хорошего матроса доходила в 1833 г. до 60 шиллингов в месяц; в восьмидесятых годах она стояла на том же уровне. В 1833 г. лондонские наборщики зарабатывали в среднем до 36 шиллингов

[1]) «The Progress of the Working Classe in the last Half Century», речь, прочитанная в Статистическом обществе и перепечатанная в Essays in Finance, second series. London 1886; сравни его же «Further Notes on the Progress of Working Classes» etc. в Journal of the R. S. Society, March, 1886 г. Эти Notes также перепечатаны в Essays in Finance.

[2]) Ср. относящееся сюда замечание Б. Джонсона в Discussion on Mr. Giffen's Paper, Journal etc., March, 1886, p. 96. Само собою понятно, что чем больше было искусственное понижение уровня заработной платы *до* издания закона 1834 года, тем грандиознее должно было *казаться* улучшение материального положения рабочего *после* издания этого закона, когда заработная плата стала служить единственным источником существования трудящейся массы.

в неделю; в восьмидесятых годах *их заработок был не* больше того [1]). Однако главное дело не **в** этом, а в том, что повышение заработной платы сопровождалось в Англии целым рядом явлений, значительно ослаблявших его выгодные для рабочих последствия. В продолжение рассматриваемого периода городская жизнь получила очень большое развитие, вследствие чего неизбежные расходы рабочего значительно увеличились, вздорожали квартиры [2]), рабочие оказались вынужденными ездить на работу по железной дороге или в трамвае, между тем, как прежде краткость расстояния позволяла им ходить пешком, и т. д. Кроме того, невольные прогулы стали теперь чаще, чем прежде. Один из секретарей союза литейщиков, м-р Гей. рассчитал, на основании имевшихся в его распоряжении книг союза, что его товарищи теряют в виде невольных прогулов до 20 проц. своего рабочего времени [3]). Эта цифра указывает на размеры той резервной армии рабочих, существование которой склонен *отрицать* наш «критик» [4]). Гобсон полагает, что «общее положение труда в Англии есть положение крайнего непостоянства занятий», и что «потеря времени и энергии в настоящее время гораздо больше, чем это было полвека тому назад или в течение XVIII столетия» [5]). Это, разумеется, забывают принять в соображение «ученые», разглагольствующие об «автоматическом социализме» капиталистического общества.

Как *легкомысленны* становятся самые *«достопочтенные»* представители буржуазии, когда они пускаются толковать об «обогаще-

[1]) Указание того же Б. Джонсона, там же, та же страница. Много очень решительных возражений Гиффену сделано было и на Industrial Remuneration Conference. Ллойд Джон разоблачил на этой же конференции поэтические вольности некоторых других английских статистиков. См. Report этой конференции, стр. 35.

[2]) Чедуик говорит, что в Лондоне квартиры стали *вдвое* дороже (Journal of the R. S. Society, March, 1886, Discussion Mr. Giffen's Paper, p. 97). Г-жа Э. Симкокс находит, что вздорожание квартир поглотило до трех пятых того приращения, которое произошло в заработке рабочего вследствие повышения уровня платы, Industrial Rem. Conference Report, p. 92.

[3]) Ibid., p. 30.

[4]) Конечно, эта склонность свойственна не ему одному. Левассёр успокоительно говорит: «En temps ordinaire, on peut dire vaguement qu'il se trouve sans ouvrage moins du dixième des ouvriers de l'industrie et probablement moins du vingtième des salariés (femmes et enfants compris)» (L'ouvrier américain», t. XVIII, p. 584). Но это вовсе не так мало, г. профессор! «Moins du dixième» составляет колоссальную *безвозвратную потерю,* причиняемую противоречием имущественных отношений общества, состоянием его производительных сил.

[5]) Вопросы нищеты и безработицы. С.-Петербург 1900, стр. 239.

нии» рабочих, показывает пример уже знакомого нам Гошена. Как на довод в пользу придуманного им «автоматического социализма». Гошен указывает на тот факт, что в периоде 1875—1886 гг. число домов, приносящих *менее десяти фунтов* ренты, росло гораздо медленнее, чем число домов, рента с которых колебалась от 10 до 20 фунтов. Он объясняет этот факт тем, что значительная доля рабочего класса стала пользоваться бóльшим благосостоянием и потому предъявляет спрос на более дорогие помещения. Но он и сам предвидит, что ему могут указать на всем известное *вздорожание квартир.*

На это неизбежное возражение он заранее отвечает: «Стало быть, могут же рабочие платить дороже за свои квартиры» [1]). Таких «объективных» исследователей не переспоришь!

«Благонамеренные» экономисты не хуже нас знают, что повышение уровня заработной платы само по себе вовсе еще не равносильно улучшению быта рабочих. Но они нередко умалчивают об этом, вероятно, в интересах *«социального мира».* В других же менее щекотливых случаях они высказываются на чистоту. Для примера укажем на всесветную знаменитость, *Левассёра,* который в одном месте своего сочинения «La population de la France» очень благоразумно замечает: «Покидая деревню, рабочие соблазняются перспективой высокой платы; они не принимают в расчет невольных прогулов, дороговизны квартир и жизненных припасов и всего того, что понуждает к тратам; многие из них переменили свое положение, не улучшив своей судьбы [3]). А в других местах того же сочинения тот же почтенный ученый, который сам признается, впрочем, в своей слабости к «философским взглядам Бастиа относительно общественной гармонии» [3]), позабывает эти благоразумные соображения и, основываясь на повышении уровня заработной платы, толкует о всестороннем улучшении быта рабочих [4]).

Если читатель не захочет следовать примеру таких «объективных» ученых и будет *всегда* принимать в соображение *все* стороны рабочего быта, то он должен будет согласиться с нами в том, что даже в Великобритании улучшение материального положения проле-

[1]) «Journal of the R. Society», Dec., 1888, p. 602.
[2]) «La population Française», t. II, p. 413. Ср. также H. Joly — «La France Criminelle». Paris 1889, p. 350.
[3]) «L'ouvrier américain», t. I, p. 593.

[4]) «La population Française», t. III, p. 86 et suiv. Ср. также «L'ouvrier américain», t. II, p. 215 et suiv.

тариата было очень незначительно. Обыкновенно указывают на уменьшение *пауперизма* в этой стране, как на яркое доказательство *«прогресса рабочих классов».* Но еще Маркс сказал, что «официальная статистика пауперизма делается все более и более неверным указателем действительной нищеты по мере развития, вместе с накоплением богатства, сословной борьбы, а, следовательно, и чувства собственного достоинства работника» [1]). К этому надо прибавить, что уменьшение числа призреваемых нищих обусловилось также рядом законодательных постановлений, *все более и более* затруднявших помощь *на дому* всем вообще бедным, а особенно *взрослым рабочим,* имеющим хоть некоторый заработок. Благодаря этим постановлениям, отличавшимся неумолимою жестокостью, число бедных, получивших этот род помощи, *упало* в Англии и в Уэльсе с 955.146 (5,5 процента населения) в 1849 году до 600.505 (1,95 проц. населен.) в 1897 г. Но в то же самое время число бедных, содержавшихся в работных домах, *возросло* с 133.513 до 214.382. Процентное отношение числа бедных этого разряда к общей сумме населения осталось, правда, почти без перемены: 0,77 в первом случае и 0,70 — во втором [2]). Но именно эта неизменность относительного количества бедных, призреваемых в работных домах, должна наводить на мысль о том, что пресловутое уменьшение английского пауперизма есть *фикция, способная обмануть лишь тех, которые хотят быть обманутыми и имеют очи вовсе не затем, чтобы видеть.* Г-жа Э. Симкокс справедливо говорит, что статистика английского пауперизма далеко не дает истинной меры английской нищеты. «Более 10 процентов лиц, умирающих в течение года,— говорит она,— умирает в работных домах и больницах (содержимых на счет благотворителей — *Г. П.*), и эта смертность соответствует населению в два с половиной миллиона; таким образом около трех с половиной миллионов жителей нашей страны находится или в положении настоящих нищих, или в таком положении, при котором достаточно заболеть, чтобы сделаться настоящим нищим» [3]).

XII.

Это очень мрачная картина, но и эта мрачная картина не вполне передает мрачный характер действительности. Из других источни-

[1]) «Капитал», I, стр. 563—564.

[2]) P. F. Aschrott — «Das englische Armenwesen»: Leipzig 1886, S. 422. ср. его же «Die Entwicklung des Armenwesens in England seit dem Jahre 1885 Leipzig 1886, S. 64.

[3]) Industrial Remuneration Conference Report, p. 89.

ков мы узнаем, что число лиц, умирающих нищими, гораздо более, чем думала г-жа Э. Симкокс. В работных домах и в находящихся при них больницах *умирает шестая часть* Лондона, богатейшего города в мире. Но это не все. Есть основание думать, что от 20 до 25 процентов английского населения умирает в положении столь близком к нищете, что приход оказывается вынужденным брать похороны на свой счет [1]). Известный исследователь Чарльз Бус показал, что в Англии и Уэльсе около 20 процентов всех лиц, достигших 65-летнего возраста, вынуждены обращаться к общественной благотворительности [2]). Так как в английском населении есть, разумеется, классы, в которых только немногим старикам случается,— если случается,— впасть в нищету, то выходит, что рабочий класс дает, относительно, еще более высокое число нищих стариков. В Лондоне и в центральных графствах *от 40 до 45 процентов всех пролетариев впадают на старости лет в нищету* [3]).

Это ужасно в буквальном смысле слова! И ввиду этого-то ужаса апологеты буржуазии толкуют о диффузии богатства, о притуплении общественных противоречий и т. д., и т. д. Поистине можно сказать, что их *цинизм* доходит здесь *до грации!* И нельзя не подивиться тому, что гг. «критики» марксизма не умеют *критически* отнестись к такому цинизму и все более и более поддаются влиянию апологетов!

Кто знаком с положением английского рабочего класса, тот не удивится, услышав, что *процент самоубийств* особенно силен в Англии именно между стариками 55 лет и выше [4]). Проработав всю жизнь с той напряженностью, с какою работает лишь англо-саксонский рабочий, старики-пролетарии добровольно покидают земной рай и переселяются в небесный. И чем развитее становится английский работник, тем чаще апеллирует он к самоубийству, как к самому надежному средству избежания нищеты. В тех графствах, в населении которых насчитывается до 27 процентов лиц, не умеющих подписать свое имя, число самоубийц достигает 57,5 на миллион жителей; в

[1]) «Fifth and Final Report of the R. Commission of Labour», Part. I. London 1894, Report by W. Abraham, M. Austin, I. Mawdsley and T. Mann., p. 128.

[2]) «Pauperism», 1892, p. 54. «The aged Poor in England and Wales». London 1894, p. 38.

[3]) «Charles Boothe», p. 39. Но и это еще не конец. В некоторых сельских округах *каждый старик-рабочий умирает нищим* (см. «Fifth and Final Report of the Com. of Labour», p. 125, 128, 151).

[4]) Ср. Ogle — «On suicides in England and Wales» «Journal of the R. S. Society», March 1886.

тех графствах, где только от 17 до 25 проц. общего числа жителем неспособны подписать свое имя, число самоубийц поднимается до 69.2 на миллион душ. Наконец, там, где число лиц, не умеющих подписаться, не превышает 17 процентов, мы находим наибольшее число самоубийц: 80,3 на миллион жителей [1]). Оно и понятно: чем развитее человек, тем труднее ему переносить унижения, связанные с бедностью и вообще с житейскими неудобствами. Или, может быть здесь уместнее другое объяснение? Может быть, надо предположить, что число лиц, неспособных подписать свое имя, уменьшается,— как это мы видим в России,— вместе с ростом *промышленного развития;* и что возрастание числа самоубийств составляет, таким образом, благодетельный результат увеличения *«общественного» богатства?* В обоих случаях мы приходим к выводу совсем нелестному для капиталистического общества и для тех господ, которые на разные лады поют усыпляющую песенку *о притуплении* общественных *противоречий.*

Несмотря на неумолимую свирепость, с которой английская буржуазия практикует свою «благотворительность», число призреваемых нищих в богатом Лондоне растет быстрее общей цифры его населения [2]). Как же можно после этого обвинить в преувеличении Маркса и Энгельса, которые говорят в «Коммунистическом Манифесте»: *«Работник становится нищим, и нищета развивается еще быстрее, чем население и богатство».*

Если таково положение дел в Великобритании, которая, благодаря своему продолжительному господству на всемирном рынке, все-таки могла хоть несколько улучшить положение хоть некоторых слоев своего пролетариата, то каково же оно в других странах, не пользовавшихся преимуществами промышленной монополии? Об этом может дать некоторое понятие уже тот указанный нами выше факт, что *бельгийский* рабочий вынужден продавать свою силу ниже ее стоимости. Приведем здесь несколько фактов, характеризующих положение *французского пролетария.*

В период 1833—1843 гг. белый хлеб продавался во Франции по 34½ сантима за килограмм. В 1894 г. килограмм хлеба стоил в Париже от 37½ до 40 сантимов [3]). В 1831—1840 гг. килограмм говядины стоил (в оптовой

продаже) 1 франк и 5 сантимов, а килограмм свинины 78 сантимов; в 1894 г. говядина продавалась уже по

[1]) Ogle, op. cit., p. 112.
[2]) Гобсон, op. cit. стр. 21.
[3]) M. Pelloutier — «La vie ouvrière en France». Paris 1900, p. 183.

1 фр. 64 сант. за килограмм, а свинина по 1 фр. 54 сант. [1]). В 1854 г. тысяча яиц стоила 52 фр., а в настоящее время 82 фр. [2]). В 1849 г. гектолитр картофеля (низшего сорта) стоил от трех с половиной до четырех с половиной франков; теперь же он стоит от 7 до 12½ франков. За килограмм масла платили в 1849 г. от 1 фр. 28 сант. до 1 фр. 90 сант.; в настоящее время за него платят от 2 фр. 5 сант. до 4 фр. 26 сант. Наконец, бобы удвоились в цене в промежуток времени от 1849 до 1892 года [3]).

По расчету Пеллутье, цена жизненных припасов поднялась во Франции за последние 30 лет на 22—23 процента, а уровень заработной платы повысился в среднем не более, как на 17 процентов [4]). Если вы прибавите к этому огромное увеличение квартирных цен в больших городах, то вы неизбежно придете к тому заключению, что материальное положение французского пролетария *ухудшилось* за это тридцатилетие *не только относительно, но и абсолютно.* И это заключение вполне подтверждается статистикой, которая показывает, что французский рабочий питается теперь хуже, чем питался полвека тому назад [5]).

Абсолютное ухудшение экономического положения французского пролетариата естественно ведет за собою рост пауперизма: «работ ник становится нищим, а нищета развивается еще быстрее, чем население и богатство». В пятилетие 1886—1891 гг. население французской столицы возросло на 4,01 процента, а число нищих в этой ville-lumière увеличилось за то же время на 23,1 процента. И это отнюдь не исключительное пятилетие. Следующая таблица показывает, что рост нищеты давно уже принял в Париже поистине потрясающие размеры.

Годы.	Сумма, расходуемая Парижем на нищих.		Население.
1850	5.000.000	}	1.532.622
1870	10.000.000	}	
1892	18.000.000	}	2.386.232
1895	20.000.000	}	

[1]) Ibid., p. 186.
[2]) Ibid., p. 189.
[3]) Ibid., p. 141.
[4]) Ibid., p. 194.
[5]) Ср. Пеллутье, op. cit., p. 187, 190, 194.
[6]) Pelloutier, op. cit., p. 289.

И не думайте, что так дело идет в одном Париже. Приблизительно так же идет оно во всей Франции. В 1873 г. во Франции было 6.715 «благотворительных бюро», которые оказали помощь 806.000 бедным; в 1860 г. 11.351 благотворительное бюро поддерживало 1.115.900 человек; в 1880 г. число благотворительных бюро достигало уже до 15.138, а число поддерживаемых ими бедных до 1.647.000 [1]). За 28 лет (1860—1888) число нищих возросло на 42 процента, население же увеличилось только на 5,4 процента. *«Работник становится нищим, а нищета развивается быстрее, чем население и богатство...»*

XIII.

Буржуазные экономисты, гордо поднимающие голову при виде уменьшения официального числа пауперов в Англии, скромно опускают глаза перед статистикой французского пауперизма, очень кстати вспоминая при этом, что цифры официальной нищеты сами по себе еще ничего не доказывают. Мы тоже думаем, что, взятые в отдельности, цифры эти не могут служить безошибочным показателем экономического положения пролетариата. Поэтому мы считаем необходимым *проверить* свидетельство этих цифр с помощью статистических данных другого рода.

За пятидесятилетие 1838—1888 гг. *преступность* во Франции выросла так:

Число осужденных за 50 лет увеличилось на:

Насилия	51 проц.
Преступления против собственности .	69 »
Преступления против нравственности .	240 »
Бродяжество и нищенство	430 » [2])

Поразительный рост числа лиц, осужденных за нищенство и бродяжество, самым решительным образом подтверждает оставшееся для нас сомнительным свидетельство официальной статистики фран-

[1]) Leroy-Beaulieu — «Traité théorique et pratique d'Economie politique». Paris 1896, t. IV, p. 468.

[2]) H. Joly — «La France criminelle», p. 20. Другой источник так выражает рост числа осужденных за бродяжество и нищенство: в 1838 г. во Франции на 100.000 жителей приходилось 16 человек, осужденных за эти преступления, а в 1887 г. их было уже 85 (см. интересный доклад Кавальери, «Criminalité et vagabondage», представленный на женевский конгресс криминалистов и напечатанный в Compte-Rendu конгресса).

цузского пауперизма. Нам приходится, стало быть, признать, что статистика эта говорит правду.

И пусть говорят нам, что Франция — страна, клонящаяся к упадку: эта «клонящаяся к упадку» страна до сих пор остается одной из самых богатых стран в Европе. А, кроме того, быстрый рост пауперизма наблюдается не только во Франции. Вот таблица, показывающая увеличение числа призреваемых бедных в Брюсселе и в плотно прилегающих к нему больших городских общинах в период 1875 -1895 гг. [1]).

Общины.	Один призреваемый на столько-то человек.	
	1875 г.	1894 г.
Брюссель	9	4
Шарбеек	16	12
Моленбек	11	10
Лакен	16	25
Андерлехт	35	8
Сен-Жосс	24	15
Сен-Жилль	25	20
Иксель	20	17

За исключением Лакена, мы видим во всех общинах чрезвычайно быстрый рост нищеты. В Андерлехте в 1875 г. один призреваемый приходился на 35 человек, а теперь один призреваемый приходится уже на 8 человек. Брюссель пошел еще дальше: там четвертая часть населения протягивает руку за милостыней. В провинции: в Брюгге, в Ипре, в Энгиене, в Нивелле, в Турнэ дело обстоит не лучше, а местами и *еще хуже:* в некоторых из этих городов один призреваемый нищий приходится *на двух-трех жителей.* Выходит, что и в Бельгии «работник становится нищим, и нищета развивается быстрее, чем население и богатство...» [2])

Автор, у которого мы заимствуем эти данные, спешит сделать оговорку, уже не раз сделанную нами в этой статье: число призреваемых бедняков еще не показывает истинных размеров нищеты [3]). И этого, разумеется, никто не станет оспаривать. Но несомненно, что чрезвычайно быстрый рост этого числа не показывает также и роста благосостояния рабочего класса: какой рабочий пойдет обивать

[1]) См. «L'organisation de la Bienfaisance publique», par L. Bertrand. Bruxelles, 1900, p. 16.

[2]) Ibid., p. 17.
[3]) Ibid., p. 16.

пороги благотворительных учреждений, если только бедность не победит в нем чувство человеческого достоинства и классовой гордости?

В Германии, где размеры официальной нищеты гораздо меньше, чем в Бельгии, мы встречаемся со следующим интересным явлением. В городах, имеющих менее 20.000 жителей, процент призреваемых бедняков доходит до 4,75; в городах с 50.000—100.000 жителей он повышается до 6,39, и, наконец, в городах с населением более 100.000 жителей он составляет уже 6,51 общей цифры населения [1]).

Тут опять оказывается, стало быть, что нищета развивается быстрее, чем население, если не быстрее, чем богатство. Что скажет об этом г. П. Струве?

Он скажет, может быть, что в последние годы в Германии число призреваемых бедных значительно уменьшилось. Это будет правда. Но почему уменьшилось? Просто потому, что *изменена система призрения.* От такого изменения еще далеко до *улучшения* быта рабочих.

Просим также нашего «критика» заметить, что *преступность* растет не только во Франции, но во всех капиталистических странах, изученных в этом отношении [2]). В Германии в 1882 году на 100.000 человек старше 12 лет и не служащих в военной службе приходилось 1.043 осужденных, а в 1895 г. уже 1.251 [3]). Чем обусловливается этот рост преступности? Французские социалисты (например, Луи Блан в своей «Organisation du travail») давно уже указывали на нее, как на *следствие возрастающей трудности борьбы за существование и, в частности, обеднения рабочего класса.* Опыт вполне подтвердил это указание. Только что цитированный нами профессор Лист говорит, что зависимость преступности от экономического положения всем известна и никем уже не оспаривается [4]). И он же замечает, что под экономическим положением надо прежде всего понимать *общее положение* рабочего класса (die Gesamtlage der arbeitenden Klassen), т. е. положение его не только в «финансовом» смысле, но и во всех других. Мы уже знаем, что повышение уровня заработной платы,— которым буржуазные экономисты прожужжали нам все уши, — еще не ведет за собою общего улучшения быта пролетариев, Преступность, растущая гораздо быстрее, чем население, лишний раз напоминает

[1]) Leroy-Beaulieu, op. cit., t. IV, p. 471.
[2]) См. H. Ferri — «La sociologie criminelle». Paris 1883, p. 163 и след.

[3]) Dr. Franz von List — «Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung». Dresden 1899, S. 12-11.

[4]) Ibid., S. 19.

нам об этой неоспоримой истине. В самом деле, заметьте, что *преступность детей растет гораздо быстрее преступности взрослых.* С 1826 по 1880 гг. общая цифра преступлений, совершенных во Франции взрослыми, *утроилась,* а число преступлений, совершенных детьми, учетверилось [1]). После 1880 г. детская преступность росла еще быстрее. В настоящее время, по словам Фулье, более половины всех лиц, арестуемых в Париже по обвинениям разного рода, принадлежит к числу малолетних.

А параллельно с детской *преступностью* растут детская *проституция и детские самоубийства,* прежде представлявшие собою до последней степени редкое явление. И это происходит не только

> В Париже, где средь стогнов шумных
> Кипят распутство и порок,—

это происходит во всей Франции и это же происходит за пределами Франции. В благочестивой Германии, в период 1882—1895 гг. число молодых преступников увеличилось *почти на* 50 *процентов* [2]). Не стояла на месте эта благочестивая страна и по части *проституции:* в 1875—1890 гг. население Берлина росло ежегодно на *3—4 процента,* а число проституток увеличилось на 6—7 *процентов* [3]).

Нужно ли распространяться о причинах, вызывающих рост преступности и разврата в детской среде? Для уяснения этих причин достаточно вспомнить, что, например, во Франции 60 процентов «преступных» детей состоит из *нищих и бродяг,* а 25 процентов попадает под удары буржуазной Фемиды *за кражу* [4]). Вследствие *плохого ухода,* который сам обусловливается ростом женского наемного труда, ребенок приобретает привычки *бродяги,* а потом оказывается вынужденным побираться и воровать, чтобы не умереть с голода. *Увеличение преступности вообще, а особенно детской преступности, неотразимо* свидетельствует об *ухудшении общественного положения пролетария.*

Заметим мимоходом, что признание этого неоспоримого факта еще не обязывает Каутского поддерживать требования христианских

[1]) A. Fouillé — «Les jeunes criminels», «Revues des deux Mondes», 1897, Janvier, p. 418.
[2]) Von List, op. cit., S. 17.
[3]) Paul Hirsch — «Verbrechen und Prostitution». Berlin 1897, S. 7. Ср. интересную книгу д'Оссонвиля — «Salaires et misères des femmes». Paris 1900. Эта книга ясно показывает, как тесно связана проституция с нищетою.
[4]) Ferdinand Dreyfus — Misères sociales», Paris 1901, p. 8.

социалистов относительно запрещения женского труда на фабриках. Каутский убежден, что такое запрещение не только не улучшило бы общественного положения рабочего, но, напротив, еще более ухудшило бы его, давши новый и чрезвычайно сильный толчок возникновению и упрочению самых грубых и жестоких форм эксплуатации женщин капиталом. Возникновение и упрочение таких форм эксплуатации еще никогда не способствовало улучшению положения трудящейся массы. Вот почему Каутский и его единомышленники решительно восстают против реакционного предложения христианских социалистов. Это как нельзя более логично, и если здесь есть место для насмешки, то разве для насмешки над г. П. Струве, вздумавшим иронизировать по поводу мнимой непоследовательности Каутского, который в развитии женского труда видит доказательство обеднения рабочего класса, но в то же время не одобряет практических предложений какого-нибудь Декуртинса.

XIV.

Говоря о преступности, не следует забывать, что при ее быстром росте особенно быстро растет *число рецидивистов* [1]). «Наши наказания,— замечает по этому поводу Ф. Лист,— не оказывают улучшающего или устрашающего влияния; они вообще не предупреждают преступления, т. е. не удерживают от него; они скорее усиливают склонность к нему [2]).

Это верно. Но не менее верно и то, что рецидивисты представляют собою среду, в нравственном отношении совершенно различную от так называемых *случайных преступников.* Это именно та среда, где, к сожалению, почти полновластно царствуют, если не невежество, то *нравственное падение и огрубение.* И не только нравственное падение и огрубение. Между рецидивистами много людей, отличающихся несомненными признаками *вырождения.* К ним в особенности могут быть применимы слова Маудсли: «Между преступниками есть класс, отмеченный несовершенством физической и умственной организации...

[1]) Исключение из общего правила составляют лишь некоторые кантоны Швейцарии, где уменьшается как общая цифра, так и процент рецидивистов. Но эти кантоны не идут в счет ввиду их *исключительного положения,* о котором см., например, у John Cuénod — «La criminalité à Genève au XIX siècle». Genève 1891, p. 116 —117. Ср. Zuercher — «Die Selbstmorde im Kanton Zürich in Vergleichung mit der Zahl der Verbrechen» в «Zeitschrift für schweizerische Statistik» за 1898, Lieferung, VI. Цюрхер доказывает, что уменьшение *преступности* их сопровождалось ростом числа *самоубийц.*

[2]) Op. cit. S. 16.

значительная пропорция слабоумных или эпилептиков, страдающих умопомешательством или принадлежащих к таким семьям, где есть помешанные» [1]). Кто захочет убедиться в справедливости этих слов, того мы отошлем к чрезвычайно интересной книге доктора *Э. Лорана* «Les habitués des prisons de Paris», вышедшей в прошлом году в Париже с не менее интересным предисловием *Лакассаня* [2]). Лоран так же далек от смешных преувеличений *школы Ломброзо,* как и Лакассань. Но кто внимательно прочтет его книгу, тот вынесет из нее непоколебимое убеждение в том, что в лице рецидивистов общество очень часто карает *выродившихся людей,* представляющих собою *пассивный, патологический продукт общественно-исторического процесса.* А если число таких людей растет вместе с ростом числа нищих, бродяг, проституток, «макро» и прочих представителей Lumpenproletariat'a, то не ясно ли, что мы до сих пор имеем право сказать вместе с Марксом: *«Накопление богатства на одном полюсе производит в то же время на другом накопление нищеты, тягостей труда, рабства, невежества, огрубения и нравственного унижения.* Это — факт, от которого не удается *отболтаться* прочь (wegschwatzen) нынешним брентанистам и «критикам» Маркса, как не удавалось отболтаться от него Бастиа и его ближайшим последователям. И в виду этого неоспоримого факта нас очень удивляют те люди, которые считают крайним преувеличением ту мысль Маркса и Энгельса, что в средние века общественное положение рабочего было лучше, чем в капиталистическом обществе. Эта мысль, может быть, неудобна для тех, которым хотелось бы *притупить* противоречия, свойственные нынешнему обществу. Но что она справедлива, это признают не одни «эпигоны» Маркса [3]).

Здесь г. П. Струве останавливает нас, чтобы напомнить о том своем аргументе, который он считает неотразимым: если накопление

[1]) «Le crime et la Folie». Paris 1880, p. 30.

[2]) Писано в 1901 году.

[3]) «La condition de l'ouvrier était donc alors (в средние века) très supportable, et j'ajouterai, avec les enseignements que la critique moderne nous fournit, qu'elle devait être supérieure à celle de nos ouvriers... Ce serf prétendu... avait une situation que sollicitent comme très enviable les ouvriers de notre temps». P. Hubert-Valleroux — «Les Corporations d'Arts et Métiers» etc. Paris, 1885, p. 44—45. Ср. также Alfred Franklin — «La vie privée d'autre-fois. Arts. Moeurs, Usages des Parisiens du XII au XVIII siècle. Comment on devenait patron». Paris 1889, p. 65: La vérité qui se dégage d'une étude approfondie et impartiale du régime des corporations, c'est que la condition de l'ouvrier au troisième et quatorzième siècle était supérieure à la condition actuelle (XIX).

богатства на одном полюсе сопровождается накоплением нищеты, физического вырождения и нравственного вырождения — на другом, то как может произойти коренное переустройство общества? Разве выродившийся рабочий класс способен совершить величайший из всех переворотов, какие только знала история [1])?

На это мы ответим, что Маркс и Энгельс *никогда не рассчитывали на выродившиеся элементы пролетариата, как на революционную силу.* Об этом категорически говорится как в *«Манифесте Коммунистической партии»,* так и в предисловии к книге «Der deutsche Bauernkrieg» Энгельса [2]). Но развитие капитализма ведет за собою не только относительное (а местами и абсолютное) ухудшение положения пролетариата и создает не одни только *«пассивные продукты общественного разложения».* Оно, кроме того, будит мысль тех пролетариев, которые не попадают в разряд этих пассивных продуктов, и образует из них все более и более растущую *армию социальной революции.* Указывая на рост нищеты и т. д., Маркс указывал также и на *«возмущение рабочего класса, который постоянно растет и постоянно обучается, объединяется и организуется самим механизмом капиталистического процесса производства»* (курсив наш). Взгляните на Францию или на Германию. Несмотря на быстрый рост преступности, проституции и других признаков духовного падения *некоторых элементов* трудящейся массы, рабочий класс, *взятый в его целом,* становится все более сознательным и все более проникается социалистическим духом. *Ухудшение общественного положения пролетариата вовсе не равносильно созданию условий, затрудняющих развитие его классового самосознания.* Конечно, только анархисты à la Бакунин могли воображать, что *бедность уже сама по себе* есть лучший из всех возможных социалистических агитаторов. Но ведь и *зажиточность* сама по себе далеко не всегда является *«внушителем»* революционного духа. *Все зависит от обстоятельств времени и места.*

«Критики», считающие ухудшение общественного положения рабочего класса несовместимым с развитием классового самосознания,

[1]) *Этот* довод, как и огромнейшее большинство всех остальных, заимствован нашим «критиком» у буржуазных противников Маркса. См., например, Кэркопа — «History of Socialism», p. 160 (мы цитируем второе издание, но указанный нами довод содержится также и в первом).

[2]) Интересно, что Бакунин обвинял Маркса и Энгельса именно в том, что они не хотели возлагать никаких надежд на *«нищенский пролетариат»,* см. «Государственность и анархию», стр. 8.

просто-напросто не понимают материалистического объяснения истории, на которое они, однако, любят ссылаться. И это их непонимание сказывается также и в рассуждениях *об экономических условиях, необходимых для политической победы пролетариата над буржуазией.* Политическая сила всякого данного класса, говорят эти господа, определяется его экономической и социальной силой. Поэтому рост политической силы пролетариата необходимо предполагает рост его экономической силы и, наоборот, ослабление этой последней необходимо ведет за собою ослабление политического значения пролетариата. Так смотрят в Германии Давид, Вольтманы, Т. Кампфмейер и многие другие представители «новой методы» [1]). Г. П. Струве вряд ли разделяет во всей его полноте этот взгляд, являющийся чем-то вроде консервативной разновидности *бакунизма* [2]). Но он не согласен и с Каутским, который в своем ответе Бернштейну указывал на его теоретическую несостоятельность. По мнению г. П. Струве, для победы пролетариата необходима «организационная сила», которая может быть приобретена лишь постепенно, на почве экономической организации и экономических учреждений [3]). В этом мнении истина тесно сплелась с заблуждением. Что организационная сила необходима пролетариату, как была она необходима всякому другому общественному классу, стремившемуся к новым производственным отношениям, это неоспоримо и этого никогда не оспаривали «ортодоксальные» марксисты. Но почему г. П. Струве думает, что **эта** сила может быть приобретена только на почве «экономической организации», т. е.— если мы правильно его поняли,— на почве кооперативных товариществ и тому подобных «экономических учреждений»? Если бы организационная сила пролетариата могла развиваться лишь в той мере, в какой развиваются его «экономические учреждения», то она *никогда не развилась бы до степени, необходимой и достаточной* для создания новых отношений производства, потому что в *капиталистическом обществе* названные учреждения рабочих всегда будут совершенно ничтожны в сравнении с «учреждениями», находящимися в руках буржуазии.

Далее, в словах нашего «критика» справедливо то, что организационная сила пролетариата,— как и всякая другая сила,— может

[1]) Ср. Кампфмейера — «Wohin steuert der ökonomische und staatliche Entwicklung?» Berlin 1901, S. 32, 33, 35 и другие.

[2]) Характеристику взгляда Бакунина на отношение политики к экономике см. в брошюре «Anarchismus und Sozialismus».

[3]) Archiv, I, 735.

быть приобретена лишь *постепенно.* Но почему эта справедливая мысль должна исключать понятие *социальной революции?* Ведь французская буржуазия *тоже* лишь постепенно приобрела свою организационную силу, а между тем сделала же она свою социальную революцию.

Впрочем соображение о неизбежности *постепенного* приобретения организационной силы есть лишь одна из небольших пушек, выставленных г. П. Струве рядом со многими очень большими осадными орудиями, на теоретической батарее, обстреливающей в его статье ненавистное ему понятие *социальной революции.* Согласно нашему первоначальному плану, мы должны были атаковать эту батарею в статье, лежащей теперь перед читателем. Но потом мы увидели себя в необходимости подробно разобрать теорию притупления общественных противоречий на экономической почве. Поэтому атаку батареи, возведенной против понятия о социальной революции, нам пришлось отложить до следующей статьи. Там сведем мы свои последние счеты с нашим «критиком». Там мы еще яснее увидим, какого рода «марксизм» проповедует он в настоящее время.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

I.

Г. П. Струве очень любит, как известно, потолковать о *«гносеологии».* Правда, до сих пор он не нашел нужным (или возможным) сколько-нибудь стройно и последовательно изложить свои «гносеологические» воззрения. Сомнительно даже, есть ли у него стройные воззрения такого рода. Но это не мешает ему ссылаться на «гносеологию» при всех удобных и, что гораздо хуже, при всех неудобных случаях. Ввиду этого нельзя удивляться тому, что «гносеологические» соображения составляют у него главное оружие в его борьбе «с *социальной революцией».*

Чтобы показать нам, до чего несостоятельно это «теоретическое псевдопонятие», наш «критик» объясняет, как должен понимать «эволюционизм» всякий, кто не хочет грешить против *теории познания.* Вот что мы узнали от него на этот счет.

Принцип эволюции, ничего не говоря о том, *почему* совершаются изменения, очень определенно указывает нам, однако, на то, *как* они

совершаются. Он знакомит нас с их формой. А форма их может быть определена одним словом: *непрерывность* (die Stetigkeit).

Нам может быть понятно только непрерывное изменение. Поэтому старое положение: natura non facit saltus (природа не делает скачков) должно быть дополнено другим положением: intellectus non patitur saltus (интеллект не терпит скачков). Гегель говорит, что *количественные изменения,* перейдя известный предел, превращаются в *качественные.* И на эту формулу любят ссылаться правоверные марксисты, наивно воображающие, что она дает реальное объяснение хода социальной революции. На самом же деле она не объясняет явлений, а только описывает их с помощью логических категорий [1]). И притом она указывает именно на непрерывный характер изменения. Вот почему ссылки на нее совсем неубедительны. Мы неизбежно приходим к тому выводу, что понятие — социальная революция не выдерживает критики и что ее приходится поставить на одну доску с понятием о свободе воли (в смысле беспричинного действия), о субстанциальности души и т. п.; со времени Канта мы знаем, что эти понятия очень важны в практическом отношении, но совершенно несостоятельны в теории.

Так рассуждает г. П. Струве, старательно подкрепляя свои рассуждения цитатами из сочинений Шуппе, Канта, Зигварта, Цигена и даже... г. Ф. Кистяковского. Но хотя Гейне и справедливо говаривал, что цитаты очень украшают писателей, мы, следя за доводами г. «критика», к сожалению все более и более убеждаемся в том, что далеко не все писатели, «украшающие» себя цитатами, отличаются ясностью и последовательностью мысли.

Если понятие *социальная революция* не выдерживает критики, то спрашивается, как же быть с теми социальными революциями, которые уже совершались в истории? Считать ли их *не совершившимися* или признать, что они не были революциями в том смысле, какой придают этому слову правоверные марксисты? Но если мы даже и скажем, что, например, Великая Французская Революция на самом деле вовсе не имела места, то ведь этому вряд ли кто поверит. А если мы вздумаем утверждать, что эта великая революция совсем не похожа на ту, о которой толкуют правоверные марксисты, то эти упрямые люди немедленно прервут нас, заметив, что мы неправильно изображаем дело. По мнению правоверных марксистов, Великая Французская Революция была социальной революцией в полном смысле этого слова. Правда, это была

революция буржуазии, между тем как теперь на очереди стоит — как думают правоверные марксисты — *ре-*

[1]) Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. Bd. XIV, H. S. 679.

волюция пролетариата. Но это не изменяет дела. Если понятие — социальная революция несостоятельно потому, что природа скачков не делает, а интеллект их не терпит, то, очевидно, что эти решительные доводы должны в одинаковой мере относиться *как к революции буржуазии, так и к революции пролетариата.* А если революция буржуазии давно уже совершилась, несмотря на то, что скачки *«невозможны»,* а изменения *«непрерывны»,* то у нас есть все основания думать, что в свое время совершится и революция пролетариата, если только, разумеется, она не встретит на своем пути других препятствий, более серьезных, чем те, на которые указывает нам г. П. Струве в своих «гносеологических» рассуждениях.

Гегелева «формула» *не объясняет* явлений, а только *описывает их.* Это так. Но ведь вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, *верно или ошибочно описание,* даваемое «формулой». Если оно верно, то ясно, что верна и «формула»; а если верна «формула», то не менее ясно, что Гегель прав, а если ясно, что Гегель прав, то опять столь же ясно, что *непрерывный характер изменений,*— на который к тому же «формула» Гегеля *указывает,* по признанию самого г. П. Струве,— совсем не исключает возможности тех самых *«скачков»,* которых будто бы не делает природа и которых будто бы не терпит интеллект.

II.

Надо заметить, что вообще *«скачки»* довольно зло подсмеиваются над нашим «крити-ком», неудержимо проникая даже в область его собственной аргументации. Лучше всего это подтверждается цитатой, сделанной им из Зигварта.

Зигварт говорит, что если на наших глазах изменяется какая-нибудь вещь, например, если краснеет синяя бумага или тает кусок воска, положенный в печку, то мы имеем дело с *непрерывным процессом,* не дающим нам никакого повода предполагать, что данная субстанция заменяется какой-нибудь другой. Напротив, непрерывность изменений, совершающихся в данном месте, убеждает нас, что вещь осталась той же самой, даже в том случае, когда изменились все ее непосредственно воспринимаемые нами свойства: температура, цвет, внешний вид и т. д.

Эти соображения Зигварта приводятся нашим «критиком», как один из доводов, раскрывающих несостоятельность понятия — *социальная революция.* Но на самом деле они не разрушают этого понятия, а скорее подкрепляют его. Они отвечают,— поскольку отвечают,— на вопрос о том, *при каких условиях и почему данный предмет про-*

должает оставаться для нас тем же самым предметом, несмотря на претерпеваемые им изменения. Но в них нет ни тени доказательства той мысли, что в окружающих нас предметах невозможны такие быстрые и коренные перемены, которые мы имели бы право называть скачками. Как раз наоборот: один из взятых Зигвартом примеров очень выразительно напоминает нам о том, что такие перемены вполне возможны, совершенно естественны и нимало не удивительны. Когда тает воск, положенный в печку, то в его состоянии происходит целая революция: он *был* твердым, он *стал* жидким. И хотя эта коренная перемена, конечно, предполагает более или менее *«непрерывный»* процесс более или менее *«постепенного»* нагревания воска [1]), но сама-то она совершается не *«постепенно»,* а именно *вдруг,* как только достигнута необходимая для таяния высота температуры. Тут происходит самый несомненный «saltus» (скачок). А г. П. Струве взялся показать нам, что природа скачков не делает, и что интеллект **их** не терпит. Как же это так? Или, может быть, он имеет в виду только свой собственный интеллект, который действительно *не терпит скачков* по той простой причине, что он,— как говорится,— *«терпеть» не может диктатуры пролетариата.*

Если мы, дав себе труд правильно понять рассуждения Зигварта, захотим приложить их к человеческим обществам, то мы должны будем сказать, например, так: мы убеждены, что в начале. XIX столетия Франция оставалась Францией *(«той же самой» страной),* хотя в ней и совершился в конце XVIII столетия социальный переворот, известный под именем великой революции; и мы убеждены в этом, во-первых, потому, что все изменения в этой стране, во время революции и после нее, непрерывно совершались на определенной территории («в данном месте»); во-вторых, потому, что население этой страны во многих отношениях (например, в отношении расы и языка) было в XIX веке таким же, каким оно было и до революции; в-третьих, потому... но нам нет надобности перечислять все эти «потому»; нам нужно только показать, что иное дело вопрос о том, почему и когда данная вещь (или страна) продолжает *оставаться для нас «той же самой»,* а иное дело вопрос о том, возможны ли

[1]) Читатель понимает, что непрерывность нагревания необязательна, если я, доведя температуру воска до *a* градусов, прекращу его нагревание и *a* дам ему остыть до *a/2,* а затем опять стану нагревать, пока он не растает, то результат будет такой же, как и в

случае непрерывного нагревания, но только он потребует больше времени и большего числа калорий.

и мыслимы ли в организации человеческих обществ (или в свойствах вещей) быстрые и коренные перемены, называемые революциями (или подобные им). Если бы авторы, цитируемые г. П. Струве, представили даже вполне исчерпывающий ответ на *первый* из этих вопросов, то это отрадное обстоятельство все-таки не дало бы нам никакого права и даже никакого подобия, никакой тени права на решение в отрицательном смысле *второго* вопроса.

Г. П. Струве возразит нам, может быть, что как бы там ни обстояло дело с цитатой Зигварта и с некоторыми другими его цитатами, но цитата из Канта отвечает именно на второй вопрос. Прочтем же эту цитату. Вот она целиком.

«Всякое изменение... возможно только в силу непрерывного действия причинности... В явлении нет различия реального так же, как ни одно различие в величине времен не есть самое меньшее; таким образом возникает новое состояние реальности из первого, где его не было, через все бесконечные степени его, все различия которых друг от друга всегда бывают меньше, чем различие между О и А» [1]).

Тут как будто в самом деле выходит, что «скачки» невозможны и перед нами опять возникает весьма мучительный вопрос о том, как же нам быть с теми «скачками», которые уже произошли в истории. Но по некотором размышлении оказывается, что и эта страшная цитата совсем не так страшна, как вообразил наш «критик».

У Канта речь идет о *состояниях,* различающихся одно от другого *только по величине* [2]). Что представляет собою ряд последовательных состояний, отличающихся друг от друга только величиной? Он представляет собою ряд *количественных изменений.* Кант говорит, что этот ряд *непрерывен* в том смысле, что *скачки* в нем немыслимы. Допустим, что это правда. Но какое отношение имеет это к вопросу о том, возможны ли скачки *при переходе количественных изменений в качественные?* Ровно никакого: этот вопрос вовсе не решается тем, что мы узнали от Канта на счет невозможности скачков в непрерывном процессе изменений количества. Выше мы отметили, что, по словам самого г. П. Струве, «формула» Гегеля тоже указывает на непрерывный характер изменений. Теперь мы можем прибавить, что она

[1]) «Критика чистого разума», перевод Н. М. Соколова. С.-Петербург, стр. 184. Г. П. Струве цитирует по второму немецкому изданию К. Кербаха, в котором приведенные им строки находятся на стр. 194—195.

[2]) *«Если состояние B отличается от состояния A только по величине»* и т. д. Там же, стр. 183 русского перевода Соколова (курсив наш).

признает изменения непрерывными именно постольку, поскольку они остаются *количественными.* Но она объявляет скачки неизбежными при переходе количества в качество. Если г. П. Струве хотел опровергнуть Гегеля,— а с ним и правоверных марксистов,— то ему надо было направлять свои критические удары как раз в это самое место. Ему надо было показать, что количество не переходит в качество или,— если и переходит,— то никакого скачка при этом не бывает и быть не может. А г. П. Струве ограничился тем, что сделал из *«Критики чистого разума»* цитату, гласящую, что невозможны скачки *при изменениях количества.* Странная логика! Удивительный «критик»!

Далее Кант говорит, что данная величина реальности возникает, проходя через все меньшие степени, лежащие между предельными моментами изменения. Но *какое* возникновение, возникновение *чего* имеет он в виду? На этот вопрос он отвечает категорически: возникает не субстанция, количество которой в природе всегда остается неизменным, *а только новое состояние субстанции* [1]). Хорошо. Примем это к сведению и спросим себя: разве возникновение нового *состояния* (субстанции) есть единственно мыслимое возникновение? Разве не может возникнуть новое *отношение* (между частями субстанции)? Не только может возникнуть, но и беспрестанно возникает. И не только беспрестанно возникает, но и должно беспрестанно возникать, вследствие тех самых изменений состояния субстанции, о которых Кант собственно и говорит, т. е. *вследствие ее движения.* Именно это возникновение новых отношений и есть та область, в которой количество переходит в качество, а *«непрерывное изменение»* приводит к *«скачкам».*

III.

Когда кислород соединяется с водородом, то проходит ли вновь возникшая молекула воды через «все бесчисленные степени», которые отделяют ее от молекулы водорода (или кислорода)? Мы не думаем. И не думаем по той простой причине, что промежуточных *«степеней»* между водой и составляющими ее элементами невозможно себе и представить. *Такого рода непрерывность немыслима; ее «не терпит интеллект».*

Еще пример. Положим, что в данной стране существует закон, ограничивающий рабочий день девятью часами в сутки. Но рабочие находят, что их труд все-таки слишком продолжителен, и требуют,

[1]) Там же, стр. 182, 183 того же перевода (курсив опять наш).

сокращения рабочего дня до восьми часов. Законодатель исполняет, наконец, их требование, и вот с такого-то числа, скажем, хоть с первого января следующего года, восьмичасовой рабочий день становится законным рабочим днем. Спрашивается, можно ли здесь говорить о каких-то «бесчисленных степенях», которые отделяют новый закон от старого? Ясно, что нельзя: таких степеней и не было; законодатель *сразу* передвинул предел рабочего дня на один час. Тут был saltus,— хотя, разумеется, и не такой большой, как общественный переворот,— и если мы, *«не терпя скачков»,* заговорим о *«непрерывности»,* то скоро вынуждены будем сознаться, что здесь ее не было и что поэтому, *«здесь»* интеллект ее *«не терпит».* Выходит, что без скачков не обойдешься даже и в *«социальной реформе».*

А вот еще пример, несколько более *«революционный».* Двадцать четвертого февраля 1848 года в парижской ратуше была провозглашена *республика.* Пусть нам скажет г. П. Струве, в чем заключались, в чем *могли* заключаться «бесчисленные степени» между июльской монархией и второй республикой. Уж не в том ли революционном движении восставшего парижского народа, которое постепенно, подрывая силу сопротивления войска, тем самым постепенно уменьшало шансы сохранения монархии? Но слишком уж было бы странно ссылаться на победоносное народное *восстание,* как на доказательство невозможности *скачков.* С помощью таких ссылок г. П. Струве доказал бы как раз обратное тому, что требуется доказать.

Кант сам замечает, что *изменяются* только те предметы, которые *«остаются»,* т. е. продолжают существовать. Возникновение— равно как и исчезновение—*вовсе не есть изменение того, что возникает или исчезает.* Но если это так, а это в самом деле совершенно так,— то очевидно, что изменение вообще, а, следовательно, и постепенное, *непрерывное* изменение не объясняет *ни возникновения, ни исчезновения* предметов. А если мы не можем объяснить ни возникновения, ни исчезновения предметов, то мы вообще *не понимаем их,* и о нашем научном к ним отношении не может быть и речи.

Непрерывность, о которой говорит Кант, есть та самая непрерывность, которую Лейбниц еще раньше его возвел в *закон* под именем *Loi de*

continuité. Но тот же Лейбниц признавал, что, имея дело с «choses composées», мы находим, что иногда небольшое изме-

[1]) «Veränderung ist eine Art zu existieren, welche auf eine andere Art zu existieren eben desselben Gegenstandes erfolgt. Daher ist alles, was sich verändert, *bleibend* und nur sein Zustand wechselt». (Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Kehrbach, 2 Auflage, S. 179. XX).

нение вызывает очень большое действие, т. е., другими словами, причиняет *перерыв постепенности, скачок.* Такие скачки невозможны, по словам Лейбница, только в «простых вещах» («a l'égard des principes ou des choses simples»), потому что они противоречили бы божественной мудрости [1]). Оставляя в стороне божественную мудрость, мы заметим, что все примеры, приведенные нами выше, взяты именно из области des choses composées. Значит, сам Лейбниц не стал бы возражать против них с точки зрения «закона непрерывности». Да что мы говорим: «не стал бы возражать»! Нам сдается, что если бы он предвидел, какое употребление сделают из его «закона» некоторые любомудры некоторого последующего времени, то он прибавил бы на их счет какую-нибудь ядовитую оговорку, если бы только не побоялся раздразнить тех, всегда многочисленных, консервативных гусей, «интеллект» которых издавна не терпел *«скачков»,* особенно там, где дело касалось «сложной вещи», называемой социально-политическими отношениями.

Заметим мимоходом, что и в «простых вещах» вопрос о скачках решается совсем не так просто, как это казалось Лейбницу и Канту. Возьмем, например, уже знакомые нам рассуждения автора *«Критики чистого разума».*

Он говорит, что новая величина реальности (A—B) возникает посредством всех меньших степеней, заключающихся между моментами A и B. Положим, что это так, и возьмем две непосредственно следующие одна за другой степени из тех, которые находятся между указанными моментами. Спрашивается, как возникает та величина реальности, которая равняется разности между этими двумя степенями? Тут можно сделать только два предположения: 1) она возникает *сразу* или 2) она возникает *постепенно.* Если она возникает *постепенно,* то, значит, она сама проходит многие промежуточные степени. Но это противоречит условиям нашей задачи, так как мы взяли две такие степени, которые *непосредственно* идут одна за другою. Стало быть, остается только второе предположение, согласно которому разность между взятыми нами степенями возникает *сразу.* А это возникновение *сразу* и есть один из тех *скачков,* которые будто бы невозможны. А это значит, что *не скачков не терпит* интеллект, а *именно непрерывности.*

Тезису, гласящему, что *скачков не бывает, а есть только непрерывность,* с полным правом можно противопоставить *антитезис,* по

[1]) Не имея под рукой сочинения Лейбница, укажем хоть на «Grundriβ der Geschichte der Philosophie» Ибервега, Berlin 1880. LI Theil. S. 130.

смыслу которого в действительности *изменение всегда совершается скачками, но только ряд мелких и быстро следующих один за другим скачков сливается для нас в один «непрерывный» процесс.*

Правильная теория познания, конечно, должна примирить этот *тезис* и этот *антитезис* в одном *синтезе.* Мы не можем рассматривать здесь, как можно примирить их в области *«простых вещей».* Это завело бы нас слишком далеко [1]). Здесь для нас достаточно знать и помнить, что в *«сложных вещах»,* с которыми нам так часто приходится иметь дело при изучении природы и истории, *скачки предполагают непрерывное изменение, а непрерывное изменение неизбежно приводит к скачкам.* Это — два необходимых *момента* одного и того же *процесса.* Устраните мысленно один из них, и весь процесс станет невозможным и немыслимым [2]).

IV.

Все течет, все изменяется,— говорит «темный» эфесский мыслитель. Все течет, все изменяется,— повторяли и повторяют сторонники диалектического метода. Но если все течет и все изменяется, если явления постоянно переходят одно в другое, то не всегда легко бывает обеспечить *границы,* отделяющие одно явление от другого. «Мы, например,— говорит Энгельс,— в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует данное животное, или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, трудности которого прекрасно известны юристам, тщетно пытавшимся открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка во чреве матери можно считать убийством. Невозможно тоже точно определить и момент смерти, так как

[1]) Заметим, однако, что здесь прежде всего пришлось бы считаться с *диалектической природой движения.*

[2]) Гегель давно уже показал, как несостоятельны ходячие рассуждения на ту тему, что природа скачков не делает. «Es hat sich gezeigt,— говорит он,— daß die Veränderungen des Seins überhaupt nicht nur das Übergehen einer Grösse in ein andere Grösse, sondern Übergang vom Qualitativen in das Quantitative und umgekehrt sind: ein Anderswerden, das ein Abbrechen des Allmähligen und qualitativ Anderes gegen das vorhergehende Dasein ist» (Wissenschaft der Logik. Hegels Werke, III Band, zweite Auflage, S. 434. XXI). Г. П. Струве вообразил, что цитаты, так неудачно натасканные им из различных авторов, опровергают эту мысль Гегеля. На самом деле в них нет даже и намека на ее опровержение. Подробнее о гегелевой теории скачков см. в нашей брошюре: *«Новый защитник самодержавия или горе г. Тихомирова».*

физиология показывает, что смерть не есть внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающийся процесс. Всякое органическое существо в каждое данное мгновение есть то же, каким оно было в предыдущем, и вместе не то же. В каждое данное мгновение оно перерабатывает извне получаемую материю и выделяет из себя другую, одни клеточки его организма вымирают, другие вновь нарождаются, так что, спустя известный период времени, материя данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов; вот почему каждое органическое существо всегда то же и, однако, не то же.

Г. П. Струве, которому, разумеется, хорошо знакомы эти соображения, хочет поймать правоверных марксистов на слове. Он упрекает их в том, что они ожидают найти пропасть там, где на самом деле может быть лишь ровный и почти незаметный переход. Он объявляет лишенными разумной теоретической основы их толки об общественном перевороте, который означал бы собою именно резкое—в действительности невозможное — разграничение двух общественных формаций: капиталистической и социалистической.

Но подобными доводами можно сбить с толку разве лишь такого марксиста, который еще не успел свести в своем миросозерцании концы с концами. Марксист, продумавший основные положения своей теории, знает, что на самом деле развитие совершается вовсе не так, как хотели бы гг. «критики». Если я вижу, что нагревание превращает лед в воду, а воду—в пар, то мне нужно сделать много усилий над собою, чтобы не заметить *скачков,* подготовляемых здесь *постепенным изменением.* Конечно, такие скачки имеют место не повсюду. Но даже и там, где их не бывает, или там, где то, что представляется нам скачком, на самом деле состоит из ряда постепенных, но незаметных для нас переходов, даже и в этих случаях мы нередко имеем полную возможность разграничить явления с точностью, достаточной для преследуемой нами определенной цели. Так, хотя смерть и есть более или менее медленно совершающийся *процесс,* а не внезапный *акт,* мы все-таки в огромном большинстве случаев умеем отличать живых от мертвых, и если мы видим, что Иван ударом топора отсекает голову Семену, то мы можем, не опасаясь ошибки, сказать, что он совершает убийство, и что отсечение Ивановой

головы топором и есть то действие, которое лишает его жизни. То же и в области социально-политических явлений. Общественная эволюция совсем не исключает социальных революций, которые являются его *моментами.* Новое общество развивается «в недрах старого»;

но, когда наступает время *«родов»,* тогда медленный ход развития обрывается и тогда «старый порядок» перестает заключать новый в своих «недрах» по той простой причине, что *он исчезает вместе со своими «недрами».* Это и есть то, что мы называем *социальной революцией.* Если г. П. Струве хочет иметь наглядное представление о социальной революции, то мы еще раз отсылаем его к великому социальному перевороту, положившему во Франции конец существованию того самого «ancien régime», внутри которого так долго развивалось третье сословие. Г. Струве думает, что капиталистическому порядку не суждено умереть такою быстрою и такою насильственною смертью. Мы не препятствуем ему думать, как угодно. Но мы попросим его привести в защиту своего мнения что-нибудь более убедительное, нежели его нескладные и неладные соображения о *«непрерывности».*

Но если эти доводы нашего «критика» несостоятельны в смысле логики, то они интересны в *психологическом* отношении. И с этой стороны их интересно сопоставить с некоторыми доводами г. Э. Бернштейна.

Энгельс сказал в своем сочинении «Людвиг Фейербах», что мир представляет собою совокупность процессов, в которой вещи и их умственные образы, т. е. *понятия,* находятся в беспрерывном изменении. Г. Э. Бернштейн счел нужным подвергнуть это положение Энгельса своей *«критике».* Он заявил, что «в принципе» (prinzipielle) он, «конечно», признает это положение правильным (sicherlich, richtig), но сомневается насчет того, в какой мере верна мысль, лежащая в его основе (welche Tragweite dürfen wir dem ihm zu Grunde liegenden Gedanken beilegen) и как надо понимать слова — *постоянное изменение.* Чтобы пояснить, чтó именно показалось ему сомнительным, г. Бернштейн привел такой пример: по учению физиологов, составные части человеческого организма постоянно переменяются. В промежуток времени, не превышающий десяти лет, в этом организме происходит полное обновление всего вещества. Поэтому можно сказать, что каждую данную минуту, каждый данный человек не совсем тот, каким он был в предыдущую минуту, а по истечении некоторого времени он в материальном отношении совершенно переменяется. Но несмотря на это, он остается

той же самой *личностью,* какою был и прежде. Правда, он стареет и изменяется. Он развивается, но его развитие определяется свойствами его организма, и хотя оно могло бы быть замедлено или ускорено, но оно ни в коем случае не могло бы привести к тому, чтобы из данного человека получилось суще-

ство совсем другого рода. На этом основании г. Э. Бернштейн думал, что вышеприведенное положение Энгельса надо изменить так: мир представляет собою совокупность готовых вещей и процессов. Мы видим в нем такие процессы, для завершения которых нужно менее одной секунды, но видим также и такие, для которых необходимы целые столетия или даже тысячелетия, и которые с практической точки зрения могут быть названы *вечными.* Ради некоторых определенных целей исследования и изложения не только можно, но и нужно бывает иногда отвлечься от некоторых специфических признаков вещей. Но диалектические формулы,— думает г. Бернштейн,— побуждают к такому отвлечению даже там, где оно совсем недопустимо или же допустимо только в известных пределах. И в этом заключается опасность диалектических формул.

Мы не хотим касаться здесь вопроса о том, насколько *поправка,* сделанная г. Бернштейном. *поправляет* Энгельса. Не будем мы также распространяться и о поразительной, чисто институтской наивности «критических» соображений г. Бернштейна. Главная отличительная черта его, как «критика» философских и социологических основ марксизма, вообще состоит в непонимании им критикуемого предмета [1]). Но здесь нам нет до нее никакого дела. Нам нужно только выяснить себе смысл упрека, делаемого г. Бернштейном диалектикам вообще и марксистам в частности. А этот упрек сводится к тому, что они недостаточно считаются со специфическими признаками вещей. Заметив это, вспомним, в чем упрекает правоверных марксистов г. П. Струве.

У него выходит, что эти люди слишком сосредоточивают свое внимание на специфических признаках противоположных понятий *капитализм, социализм* и изменяют диалектике, забывая о постепенном и непрерывном развитии форм общественной жизни [2]).

Таким образом мы имеем перед собою *два прямо противоположных упрека.* По г. Бернштейну, правоверные марксисты из-за *развития* не видят готовых *вещей;* по г. Струве, они из-за резко очерченных *понятий* не видят *развития.* По г. Бернштейну, они слишком верны диалектике; по г. Струве, они недостаточно верны ей.

Оба эти упрека вышли из одного и того же источника: из неправильного представления о диалектике.

Г. Бернштейн почему-то думает, что диалектика не считается с тем, что Гегель называл *правами рассудка,* т. е. не заботится о точ-

[1]) Об его «критических» подвигах см. нашу статью: «Cant против Канта или духовное завещание г. Бернштейна».

[2]) Archiv, S. 688.

ном определении понятий. Г. П. Струве почему-то вообразил, что считаться с «правами рассудка» значит изменять диалектике.

На самом деле отличительная черта людей, умеющих мыслить диалектически, состоит в том. что они свободны как от того, так и от другого недостатка: они знают, что развитие каждой данной «вещи» ведет к ее *отрицанию* и к переходу *ее в другую «вещь».* Но они также хорошо знают, что этот процесс перехода одной вещи в другую может быть для нас понятен только тогда, когда мы научимся отличать их одну от другой и не давать нашим понятиям о них сливаться в одно безразличное целое: ведь на самом деле речь идет именно *о возникновении различных вещей, а не о постоянном изменении одной и той же вещи.* Выражаясь словами Гегеля, можно сказать, что остается верным диалектическому методу только тот, кто умеет отдавать должное и *разуму,* и *рассудку.* Кто забывает о правах «разума», тот становится *метафизиком;* кто упускает из вида права «рассудка», тот впадает в *скептицизм* [1]).

Кто воображает, что сторонники диалектического метода *пренебрегают* правами «рассудка», тот так же мало понимает истинную природу этого метода, как и тот, кто во *внимательном отношении* к названным правам видит измену диалектике. Первый случай есть случай г. Бернштейна, второй—случай г. П. Струве.

А впрочем, какое дело до всего этого г. Струве и **г.** Бернштейну? Крайне ошибочно было бы воображать, что так называемая критика марксизма стремится удовлетворить какой-нибудь серьезной теоретической потребности. До теории гг. «критикам», в сущности, очень мало дела. Им нужно побороть или хотя бы только ослабить известную практическую тенденцию: *революционную тенденцию* передового пролетариата. Их «критика» служит им оружием в «духовной борьбе» с этой тенденцией, и их аргументы имеют в их глазах цену лишь постольку, поскольку они помогают выставлять в неблагоприятном освещении ненавистное им понятие: *социальная революция.* Эта практическая цель оправдывает все теоретические средства. И если один «критик» выдвигает против правоверных марксистов такое обвинение, которое совершенно несовместимо с обвинением, в то же самое время

выдвигаемым против них другим «критиком», то тут нет *противоречия,* а есть только *разнообразие в единстве.* Оба «кри-

[1]) См. об этом «большую» энциклопедию Гегеля, параграф 81-й и *дополнение* к нему. Ср. также «Die Phenomenologie des Geistes», Bamberg und Würzburg 1807, стр. 134 и след. Гегель очень хорошо замечает, что, «das Etwas ist die erste Negation der Negation» (Werke, III, S. 114), XXI/A.

тика» вполне согласны между собою в том, что надобно разрушить Карфаген, т. е. понятие: *социальная революция.* И это обстоятельство делает их *единомышленниками,* создает взаимное сочувствие между ними. А какой *предлог* следует выбрать для разрушения Карфагена,— это каждый из них решает по-своему, ни крошечки не смущаясь тем, что предлог, выбираемый им самим, лишает всякого смысла предлоги, выбираемые его союзниками. Недаром гг. «критики» восстают против «шаблонов»!

В теоретическом отношении защищаемая г. П. Струве теория эволюции имеет, как мы видели, тот коренной недостаток, что в ней *есть место только для изменения уж возникших вещей, а не для возникновения новых.* Но на этот недостаток охотно закрывает глаза и сам г. П. Струве, и вся та ученая и полуученая, крупная и мелкая буржуазия, которая стремится побороть «духовным оружием» социально-революционные стремления пролетариата. Консервативный классовой инстинкт, всегда очень зло подшучивающий над идеологами высших классов, подшучивает теперь над буржуазными «гносеологами». Он заставляет их гордиться своими многочисленными и вопиющими теоретическими ошибками, распускать их, как павлин распускает свой пышный хвост, и свысока посматривать на людей, избегающих таких ошибок.

V.

Читатель заметит нам, пожалуй, что говорить о *консервативном* инстинкте гг. П. Струве и Э. Бернштейна нельзя потому, что каково бы ни было их отношение к *социальной революции,* они все-таки выступают решительными сторонниками *социальной реформы.* Но в том-то и дело, что решительное отстаивание социальной реформы как нельзя лучше уживается в настоящее время с *консервативным инстинктом буржуазии.*

Вот, например, послушайте г. Вернера Зомбарта.

«Мысль, занимавшая в половине нынешнего века самые светлые головы,— говорит он,— мысль о возможности в близком будущем общественного производства без капиталистического предпринимателя, эта мысль в наши дни живет только в представлениях вымирающей генерации социальных фантазеров. Теперь мы знаем, что предприниматели могут стать излишними только путем медленного органического

процесса... Еще на целые столетия хватит интенсивной и экстенсивной работы капитализма... И мы с удовольствием приветствуем перспективу еще долго видеть во главе нашего экономического про

гресса тех людей, которые и теперь руководят общественною жизнью: гениальных предпринимателей, имперских купцов, директоров крупных акционерных обществ, имеющих почти столь же важное значение, далее — руководителей нашего государственного, городского и коммунального хозяйств» [1]).

Перспектива видеть во главе экономического прогресса имперских купцов, директоров акционерных компаний, гениальных предпринимателей и т. п., совершенно неотделима от перспективы видеть всю эту почтенную братию *«во главе» эксплуататоров наемного труда.* Человек, «с удовольствием приветствующий» одну перспективу, с удовольствием приветствует и другую. Такой человек, несомненно, стоит на точке зрения буржуазии. Ему дороги ее интересы. Ее инстинкт самосохранения говорит его устами. И, тем не менее, он горячо защищает *«социализм».*

«Но это вовсе не значит,— уверяет он,— что перед колоссальной сферой деятельности современного капитализма должны капитулировать социалистические идеалы: *скорее наоборот, именно на капиталистическом пути они получают возможность реализации.* Это справедливо, как в том случае, если мы социалистическим идеалом считаем планомерное управление производством и дикими стихийными силами рыночного обращения при помощи союза картелей, так и в том случае, когда мы на первый план выдвигаем защиту интересов труда против интересов собственности. Последний идеал достигается путем медленного преобразования господствующего хозяйственного порядка; сюда относится фабричное законодательство, государственное страхование рабочих и вообще все реформы в законодательстве и управлении, которые на место первоначального частно-правового договора о найме ставят публично-правовое отношение» [2]).

Что такое «интересы собственности», т. е. интересы капиталистической собственности, собственности тех купцов, акционеров и предпринимателей, которым г. Вернер Зомбарт с таким удовольствием пророчит такое долгое господство? Это — интересы эксплуатации наемного труда. Оградить интересы наемного труда против интересов этой собственности, значит понизить уровень эксплуатации работника капиталистом. Спрашивается, понизился ли этот уровень, благо-

[1]) «Во *что бы то ни стало! Из теории и истории профессионального движения».* Перевод с немецкого, напечатанный в приложении к русскому переводу книги В. Кулемана — «*Профессиональное движение», С.*-Петербург 1901, стр. 95—96.

[2]) Там же, стр. 96. Курсив г. В. Зомбарта.

даря тем реформам в отношении труда к капиталу, о которых нам все уши протрубили сторонники теории постепенного «опорожнения» капитализма? Нет, до сих пор этого не было! Нам очень хорошо известно, что, наоборот, несмотря на все эти реформы, *относительная доля* рабочего класса в общественном доходе *уменьшается* во всех передовых капиталистических странах. Но это означает *повышение уровня эксплуатации рабочего класса и увеличение его зависимости от капиталистов.* Стало быть, указанные реформы не вносят ровно никаких *существенных* изменений в капиталистические отношения производства и нимало не ограничивают *существенных прав капиталистической собственности.* И если весь возможный теперь «социализм» сводится к таким реформам, то нимало не удивительно, что «социалистические идеалы» лучше всего реализируются на *капиталистической* основе. Передовая промышленная буржуазия капиталистических стран давно уже поняла, что осуществление *таких* «идеалов» *не только не вредит ей, но приносит значительную пользу.* Вот почему она, так решительно восставшая прежде против государственного вмешательства в отношения труда к капиталу и против профессиональных союзов рабочих, теперь сама готова требовать такого вмешательства и содействовать возникновению таких союзов. Она поняла, что,— как выражается один из буржуазных Пиндаров трэд-юнионизма,— «в большой механической мастерской розничная покупка рабочей силы есть бессмыслица и нелепость» И вот ее публицисты и ее ученые выступают убедительными проповедниками «социализма» этого разбора [2]).

В качестве ученого буржуа, очень хорошо знающего, «где раки зимуют», г. Вернер Зомбарт весьма красноречиво рассуждает о *социализме на капиталистической основе.* Но заметьте, читатель, что этот социализм и есть та пресловутая *«социальная реформа»,* кото-

[1]) Paul Bureau «Le Contrat de Travail, le Rôle ries syndicats professionnels», Paris 1902, p. 257.

[2]) Надо, впрочем, заметить, что в самое последнее время в Англии отношение общественного мнения буржуазии к тред-юнионам начинает резко изменяться. Теперь почти каждый номер «Justice» приносит нам несколько новых известий о ходе «войны» с тред-юнионами («The war on Trade Unions»). Английская буржуазия как будто возвращается к той мысли, что тред-юнионы мешают ей успешно конкурировать с другими странами на всемирном рынке. Если эта «война с тред-юнионами» не прекратится в скором времени, то «социализм» английской буржуазии отойдет в область предания, показав, что даже и он, при всей своей безобидности, мог уживаться с капитализмом лишь до поры, до времени, *лишь до известного предела.*

рую нам так настойчиво рекомендуют и так старательно расписывают гг. Э. Бернштейн, П. Струве e tutti frutti. Мы не скажем, что «социалистические идеалы» г. В. Зомбарта вполне покрывают собою социал-реформаторские планы наших «критиков». Возможно, что кое в чем они и разойдутся между собою. Но мы с уверенностью утверждаем, что «социализм» г. В. Зомбарта отличается от «социальной реформы» г. П. Струве никак не больше, чем отличается одна от другой две разновидности одного и того же вида. *Это — вариация на одну и ту же тему.* И именно поэтому г. П. Струве так превозносит г. В. Зомбарта, а г. В. Зомбарт возлагает такие большие надежды на «неомарксизм» г. П. Струве. Рыбак рыбака видит издалека. И оба рыбака руководствуются одним и тем же классовым инстинктом.

В своей известной книге г. Бердяев прекрасно выражает то представление о постепенном реформировании капиталистического общества, которое свойственно гг. «критикам» à la П. Струве. «Поправки, создаваемые самим капиталистическим развитием,— говорит он,— до тех пор будут штопать дыры существующего общества, пока вся общественная ткань не сделается сплошь новой» [2]). Лучше выразиться невозможно. Беда только в том, что удачно выразить данное представление еще не значит устранить из него элементы ошибки. Возникновение *новой* «общественной ткани», как следствие усиленного штопанья *старой,* есть *единственный, признаваемый гг. «критиками» случай перехода количества в качество.* Но это сомнительный случай. Если я штопаю *чулки,* то они останутся чулками и не превратятся в *перчатки* даже в том крайнем случае, когда вся их «ткань» подвергнется сплошному обновлению. Тоже и со штопаньем дыр капиталистического общества. Капиталистический способ производства утвердился благодаря *устранению* феодально-цехового строя, а не благодаря его *заштопыванью.* И совершенно непонятно, каким образом и почему штопанье капиталистической «ткани» может и должно привести (хотя бы и путем самого медленного изменения) к *устранению капиталистических отношений производства и к замене их социалистическими.* Употребляемое г. Бердяевым образное выражение лишь с бо̀льшею яркостью оттенило несостоятельность защищаемой гг. «критиками»

теории эволюции. Мы уже видели, что она может объяснять *только изменение* уже существующих «вещей»,

[1]) См. третье издание его сочинения: «Sozialismus und soziale Bewegung in XIX Jahrhundert. Jena 1900, S. 126-127.

[2]) «Субъективизм и индивидуализм», стр. 260.

а не *возникновение* новых. Теперь мы с ясностью видим, что она способна служить теоретическим руководством *только для тех, чьи «идеалы» не идут дальше «непрерывного» штопанья дыр капиталистического общества.* Тем же, которые стремятся к созданию нового общественного порядка, она, как говорится, *совсем ни к чему.* Это именно теория буржуазной *социальной реформы,* выставленная против теории, приводящей к совершенно иным выводам, «идеалам», и,— это самое главное,— *практическим* задачам.

«Непрерывно» штопать старье и столь же «непрерывно» воображать при этом, что заштопываемое *старье* «непрерывно» превращается в нечто совсем *новое,* это значит «непрерывно» верить в такое чудо, которое открыто и «непрерывно» насмехается над всеми законами человеческого мышления. И такую-то веру, являющуюся в теоретическом отношении настоящим *противоестественным пороком,* превозносят теперь на счет якобы утопизма правоверных марксистов! О, «критики»!

На самом деле утопистами являются не правоверные марксисты, а именно теоретики *«штопанья».* Но утопия этих теоретиков есть утопия совсем особого, нового свойства. В истории социальных учений такой еще никогда не бывало. Вера в чудодейственную силу «штопанья» мирно уживается в головах гг. «критиков» с той несокрушимой и непреоборимой «трезвенностью», которая благоразумно довольствуется отрадным сознанием того, что,— как выражается где-то Г. И. Успенский,— в будущем историческом периоде почтовые марки станут дешевле на целую копейку. Мало того. Эта утопия так же немыслима без этой трезвенности, как *«низ»* немыслим без *«верха»,* а *положительный* полюс без *отрицательного.* Мещанский трезвенный «интеллект» теоретиков штопанья «не терпит» других «скачков», кроме удешевления почтовых марок во всем отдаленном будущем. И они безусловно повинуются голосу своего интеллекта во всем, что касается практической деятельности. На практике ими начата эпоха того *сознательного* оппортунизма, который тем более доволен собою чем полнее и удобнее его требования укладываются в схему *«штопанья».* Но, чем более ими овладевает гордое сознание своей трезвенности, тем непоколебимее становится их убеждение в том, что им позволительно побаловать себя *мечтою.* И вот они благодушно разрешают себе *поверить,* что заплата, помноженная на

заплату, дает новую «общественную ткань», а удешевление почтовых марок будет знаменовать собою наступление золотого века. Но и вера у гг. «критиков» не похожа на вульгарную, слепую веру обыкновенных смерт-

ных. Она *насквозь проникнута неверием,* так как гг. «критики» *верят* в то, что они же сами *объявляют теоретически-несостоятельным.* Это—вера, на которую способны только кантианцы. Психология таких «верующих» людей несколько напоминает психологию гоголевского Подколесина. Этот персонаж в глубине души прекрасно знает, что у него нет ни малейшей охоты жениться и что он никогда не женится. Его нерасположения к брачным узам не пересилят никакие Кочкаревы. Но это не мешает ему говорить: «Вот как начнешь этак один на досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно надо жениться! Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится... Право, самому как-то становится совестно...». Разница только в том, что Подколесин не имеет того «критического» образования, каким отличаются гг. реформаторы новой школы. Под влиянием собственных речей Подколесин хоть иногда, хоть на короткое время становится «женихом». А гг. «критики» решительно не идут дальше «штопанья», так как их решительно никогда не покидает та мысль, что *обновление общественной ткани есть утопия.* Если гг. «критики» не насмехаются над своими читателями, не осененными «критической» благодатью; если они действительно верят в то, во что, по их же словам, верить невозможно, то мы имеем перед собой чрезвычайно интересный случай *«двойного сознания».*

«Каждый социалист,— пишет г. П. Струве,— исходит из социализма, как из нравственно-политического идеала, социализм есть для него регулятивная идея, с помощью которой он подвергает нравственно-политической оценке и измерению отдельные события и действия. И не иначе обстоит дело с целым классом, который, будучи организован в партию, выступает... как единый нравственно-политический субъект. Социал-демократическое движение должно подчиниться в идеале конечной цели, иначе оно разложится. Вера в конечную цель есть религия социал-демократии, и эта религия — вовсе не «частное дело», а важнейший общественный интерес партии» [1]).

И это при том теоретическом сознании, что «конечная цель» — утопия! Нет. что ни говорите, а такая *«религия»* невозможна без «двойного сознания». Но мы социал-демократы находимся в здравом уме и в твердой памяти; мы «двойным сознанием» не страдаем, и нам нет ни

малейшей нужды в «религии» г. П. Струве. Мы очень благодарны ему за его «*регулятивную идею»,* но и ее нам не требуется. Мы говорим о своей конечной цели не потому, что мы

[1]) Archiv, S. 698-699.

считаем ее *«нас возвышающим обманом»,* а потому, что мы *твердо убеждены в неизбежности ее осуществления.* Заведомо несбыточный идеал для нас не идеал, а просто безнравственные *пустяки. Наш идеал,* идеал революционной социал-демократии, это — *действительность будущего.* За его осуществление ручается нам весь ход современного общественного развития, и вот почему наша уверенность в его будущем осуществлении имеет в наших глазах так же мало родственного с «религией», как и общая нам с «критиками» уверенность в том, что солнце, «севшее» сегодня, не поленится «взойти» завтра. Это — вопрос более или менее безошибочного знания, а вовсе не более или менее твердой религиозной веры.

VI.

Но почему наш «критик» так сильно убежден в том, что наша *«конечная цель»* может быть для *нас только* предметом *«веры»?* Почему он разрешает говорить о ней только ввиду нашего «божественного права» на порядочный кусок утопии? Потому что, говоря о ней, мы покидаем *почву реализма.*

А что такое реализм? Это—марксизм, пересмотренный, исправленный, очищенный и дополненный г. П. Струве.

«Изложенное в этой статье реалистическое воззрение также основывается на идеях Маркса и особенно на коренном положении исторического материализма о постоянно совершающемся приспособлении права к экономии, как и нереалистическое воззрение, оперирующее с теоретическим псевдопонятием: «социальная революция». Маркс против Маркса

В первой из статей, посвященных нами критике наших «критиков», мы показали, как уродливо-плохо понял г. П. Струве «коренное положение» исторического материализма о причинной зависимости между экономией и правом. Кто внимательно прочитал эту статью, тот знает, что «реалистическое воззрение» г. «критика» основывается на «коренном» недоразумении. А кто знает это, тот понимает, чего можно ожидать от «реалистической» критики нашей «*конечной цели».* Но не мешает подвергнуть и эту критику подробной и внимательной критике.

Г. П. Струве неправильно называет учение Маркса об отношении экономии к праву *коренным* положением исторического материализма. На самом деле оно является *лишь одним из коренных по-*

[1]) Archiv, S. 690.

ложений этой теории. Рядом с ним надо поставить учение Маркса об отношении экономии ко *взглядам и чувствам* людей и к тем *целям,* которыми задаются люди в своем историческом движении.

Почему некоторые из этих целей представляются нам *утопическими?* В чем вообще заключается критерий *«реальности»?* Послушаем г. П. Струве.

«Движение есть исторический Prius,— говорит он.— Социализм всегда обладает реальностью в той мере, в какой он заключается в движении, порождаемом «современным хозяйственным порядком,— не более и не менее» [1]).

Социализм заключается в движении, порождаемом современным хозяйственным порядком. И поскольку он заключается в нем, постольку он *«реален».* Хорошо. Но каким же образом социализм заключается в указанном движении? Это можно понимать двояким образом: 1) или социализм заключается в нем в той мере, в какой он заключается во взглядах и в чувствах участников движения; 2) или он заключается в нем в той мере, в какой участникам движения *удается в данное время переделать окружающую их действительность сообразно их взглядам и их чувствам.* Если мы примем первое толкование, то мы придем к тому выводу, что социализм «реален» постольку, поскольку *к нему стремятся участники движения,* порождаемого нынешним историческим порядком, т. е. именно в той мере, в какой он является их «конечной целью». Это совершенно логичный вывод. Но он лишает наших «критиков» всякого подобия права называть *утопией* конечную цель современной социал-демократии: ведь стремление к этой цели несомненно окрашивает собою взгляды и чувства огромной части людей, примыкающих теперь к «движению, порождаемому», и т. д.

А к какому выводу приводит нас *второе* толкование? К тому, что социализм реален настолько, насколько он может быть осуществлен в настоящий момент, т. е. именно в то время, когда мы с вами, читатель, рассуждаем об его *реальности:* «не более и не менее». Все, что не может быть осуществлено за это время, оказывается *утопией.* Прекрасно. Но в таком случае *к области утопии* приходится отнести *не только конечную цель современной социальной демократии, но и все те ее цели, которые*

не могут быть осуществлены ее нынешними силами. Таким образом область утопии расширяется чрезвычайно сильно, а область *«реалистической»* деятельности,

[1]) Archiv, S. 698.

наоборот, чрезвычайно сильно суживается. Более того, утопистом выходит у нас *всякий* общественный деятель, ставящий себе какую бы то ни было другую цель, кроме цели быть беззаботным насчет каких бы то ни было других целей. Всякая другая цель непременно *приурочивается к будущему*; всякая другая цель неизбежно *предполагает недовольство настоящим* и, следовательно, уже тот факт, что се ставит себе данный индивидуум, ясно показывает, что этот индивидуум не удовлетворяется тем, *что происходит в настоящее время благодаря существующему теперь соотношению общественных сил;* всякая другая цель означает желание изменить это соотношение в ту или другую сторону; всякая другая цель выходит, таким образом, из границ *«реальности».* Это тоже вполне логичный вывод. Но его не делает г. П. Струве и его «критические» единомышленники. Хотя они придерживаются именно того взгляда на «коренное» условие «реальности», из которого этот вывод неизбежно вытекает, но они не додумывают своей мысли до конца; они останавливаются на полдороге и признают «реальным» тот «социализм», который, хотя и не довольствуется существующим порядком вещей, но в своих «реформаторских» стремлениях не отваживается идти дальше «штопанья дыр». При этом *утопическими* естественно оказываются все те задачи, для решения которых необходимо *устранить капиталистические отношения производства.*

Теперь, когда мы узнали, в чем состоит искомый нами критерий «реальности», у нас возникает другой и еще более «проклятый» вопрос о том. можно ли согласить этот критерий с *подлинным* — не искаженным «критикой» — учением Маркса о *целях в историческом движении человечества?*

На этот вопрос мы принуждены ответить отрицательно. Г. П. Струве преподносит нам, в несколько измененном виде, ту мнимо-реалистическую путаницу понятий, которая наиболее ярким образом выразилась в печальной памяти «Credo» и которая сводится к повторению на разные лады (но всегда «с ученым видом знатока») той мысли, что наша конечная цель перестанет быть утопией только тогда, точнее, только в том случае, *если* весь рабочий класс, процессом самобытного развития, без всякого участия в этом процессе *революционной «ба-*

циллы», будет приведен к тому убеждению, что его интересы требуют немедленного осуществления этой цели.

Эта путаница понятий, несколько лет тому назад сбившая у нас довольно многих [1]), могла бы быть принята за злейшую пародию

[1]) См. наш Vademecum для редакции «Рабочего Дела», Женева 1900 г.

на знаменитое предисловие к «Zur Kritik der politischen Ökonomie», если бы люди, ей предающиеся, не сохранили самой невозмутимой и самой неподдельной серьезности.

VII.

Источником их заблуждения послужило следующее место из упомянутого предисловия: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются на свет раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может решить, так как при ближайшем рассмотрении всегда окажется, что сама задача только тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее разрешения или когда они, по крайней мере, находятся в процессе возникновения».

Человечество ставит себе только такие задачи, которые оно может разрешить. Следовательно, если оно еще не поставило себе той или другой задачи,— скажем, задачи полного устранения капиталистических отношений производства,— то, значит, эта задача еще не может быть разрешена. Ну, а стремиться к разрешению задач, неразрешимых для настоящего времени, может только тот, кто покидает *реальную* почву и пускается в область *утопии.*

Так рассуждают многие «критики», а раз утвердившись на этой точке зрения, они уже без большого труда отделяют в программе социал-демократии «реалистический» элемент от «утопического».

Представителем передовых стремлений современного человечества в деле преобразования экономических отношений является теперь, как известно, рабочий класс. В чем же состоят те практические задачи, решением которых занят он в настоящее время? Они состоят в сокращении рабочего дня, в улучшении санитарных условий труда, в организации профессиональных союзов, кооперативных товариществ, и т. д., и т. д. Устранение капиталистических производственных отношений еще не занесено пролетариатом в число *практических* вопросов дня. Это именно и показывает, что еще не готовы материальные условия, необходимые для решения этой задачи.

Правда, в пролетариате есть слой, стремящийся к обобществлению средств производства и обращения продуктов и ставящий его

во главу всей своей программы. Этот слой состоит из *социал-демократов,* он надеется увлечь за собою *весь* пролетариат. Может быть, эта надежда когда-нибудь и осуществится, но, пока она не осуществилась, обобществление средств производства и обращения продуктов останется *утопическим* элементом программы. Реальны только те задачи, для решения которых *уже* имеются средства.

Особенность этой цепи силлогизмов составляет ее *метафизический характер.* Люди, ее придумавшие, мыслят так, как мыслят все метафизики: «да—да, нет—нет, что сверх того, то от лукавого». У них материальные условия решения данной общественной задачи *или* существуют *или* не существуют. Слова Маркса о том, что эти условия могут находиться в процессе своего возникновения, не производят на них никакого впечатления, или, по крайней мере, нисколько не помогают им определить, где кончается *«реальный»* социализм и где начинается «утопический».

Процесс возникновения материальных условий, необходимых для решения данной общественной задачи, не может быть подмечен одновременно *всем тем* «человечеством», которому со временем придется решать эту задачу. Это «человечество» состоит из слоев и из отдельных лиц, отличающихся неодинаковой степенью развития (слои) или даже неодинаковыми природными дарованиями (отдельные лица). То, что уже понято одними, как историческая необходимость, часто еще даже и не подозревается другими. В группе людей, идущих по одной дороге, почти всегда найдутся *дальнозоркие,* видящие предметы на большом расстоянии, и *близорукие,* различающие эти самые предметы только вблизи. Значит ли это, что дальнозорких надо отнести к «утопистам», а «реалистами» можно признать только близоруких? Кажется, что не значит. Кажется, что дальнозоркие лучше других различают направление общего пути, и что поэтому их суждение о нем ближе к *действительности,* чем суждение близоруких. Иные захотят, может быть, упрекнуть дальнозорких в том, что они слишком рано поднимают разговор о тех предметах, мимо которых придется со временем проходить всей компании. Но, во-первых, слишком рано заговорить *о реальном предмете* еще не значит покинуть *реальную почву.* А, кроме того, как судить о том,

время или не время поднимать тот или иной разговор? Представьте себе, что чем раньше дальнозоркие люди заговорят, положим, о том доме, который стоит на пути и в котором путников ожидает необходимый им отдых, тем скорее они к нему приблизятся, потому что тем более они станут торопиться. В таком случае, дальнозоркие *не*

могут заговорить слишком рано, если только путники хоть немножко дорожат своим временем.

А ведь роль дальнозорких в этом случае очень походила **бы** на ту роль, которую играют социал-демократы в общем движении рабочего класса.

«Коммунисты отличаются от других рабочих партий только тем, что с одной стороны в движении пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, независимые от национальности интересы всего пролетариата; с другой стороны — тем, что в различных, стадиях развития, через которые проходит борьба пролетариев против буржуазии, они всегда защищают общие интересы движения в его целом. Таким образом коммунисты на практике представляют собою самую решительную, всегда вперед стремящуюся часть рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении они имеют перед остальной массой пролетариата то преимущество, что понимают условия, ход и общие результаты рабочего движения... Они борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время отстаивают и будущность движения [1]).

То, что Маркс и Энгельс говорят здесь о *коммунистах* сороковых годов, вполне применимо к революционной социал-демократии нашего времени.

Они борются за ближайшие цели рабочего класса, но они отстаивают также и будущность движения. Отстаивать будущность движения это и значит бороться за его «конечную цель» и бороться именно теперь,— сегодня, завтра, послезавтра, в каждую данную минуту. Если будущность движения понята правильно, а ее правильно поникают те, которые сумели выяснить себе ход современного экономического развития, то в отстаивании конечной цели нет решительно ни одного атома утопии. Говорить об утопии в этом случае, значит придавать словам совершенно произвольный смысл. «Конечная цель» здесь так же *«реальна»,* как реально современное экономическое развитие.

Революционная социал-демократия на практике представляет собою самую решительную, всегда вперед стремящуюся часть пролетариата всех цивилизованных стран. Она относится к остальной части

пролетариата почти так, как *дальнозоркие* относятся в нашем примере к *близоруким* [2]). Она уже видит то, чего еще не видят дру-

[1]) *«Манифест Коммунистической партии»,* Женева 1900, стр. 16—17 и 37.

[2]) С тою разницей, что между тем как дальнозоркие на близком расстоянии видят хуже близоруких, революционная социал-демократия даже и ближайшие интересы рабочих понимает обыкновенно лучше, чем люди, не признающие «конечной цели».

гие пролетарии, и, разъясняя им, куда им предстоит направиться и будущем, она *осмысливает* их движение и *ускоряет* его. Скажите, ради бога, где же здесь *«утопия»?* И почему это не *«реально»?*

Тот факт, что революционная социал-демократия разъясняет пролетариату будущность его собственного движения, его *«конечную цель»,* — доказывает, что материальные условия, необходимые для достижения этой цели, уже находятся в процессе своего возникновения и что этот процесс уже может быть замечен более зоркими глаза ми. Так представляется дело с точки зрения исторической теории Маркса. А наши «критики» поняли эту теорию так нелепо, что у них оказывается утопией всякая попытка людей, обладающих острым зрением, приглядеться к названному процессу и определить его последний результат. **Ах,** господа господа, слона-то вы и не заметили!

VIII.

А, может быть, гг. «критики» à la Струве все-таки еще не сообразили, в каком именно месте они «дают ошибку»? Побеседуем еще немного с этим догадливыми «реалистами». Будем держаться того элементарного, но иногда совершенно неизбежного педагогического приема, который так часто и с таким успехом практиковал великий русский просветитель Н. Г. Чернышевский. Станем объяснять по складам: буки-аз—ба, буки-аз—ба,— баба, и т. д.

Экономические отношения определяют собою *взгляды* людей и их *действия.* Но люди не всегда понимают характер своих собственных экономических отношений, и не всегда их взгляды развиваются так же быстро, как совершается развитие их экономических отношений. Чаще бывает так, что *взгляды* более или менее значительно отстают в своем развитии от *экономики. Новые экономические отношения лишь* с течением времени, лишь мало-помалу расшатывают *старые взгляды* и порождают *новые.* Причина возникает раньше своего следствия. Благодаря этому бесспорному обстоятельству, лица или группы лиц, одаренные проницательностью, получают возможность принимать деятельное участие в поступательном движении человечества. Поняв смысл существующих экономических отношений, они выясняют его

другим, менее проницательным, и тем влияют на их взгляды, а через посредство их взглядов и на их действия, которые, в свою очередь, способствуют дальнейшему развитию данного.

экономического порядка [1]). Но все течет, все изменяется. Понять то, что изменяется, значит выяснить себе, к чему придет оно на *последней* ступени своего развития. Иначе нет полного понимания, как это известно еще со времен Аристотеля. Стремление определить последнюю стадию, окончательный исход данного процесса развития не только вполне законно, но прямо обязательно для всех тех, которые хотят прийти к его пониманию. Поэтому люди, желающие понять экономические отношения современных цивилизованных обществ, должны употребить все силы своего разума на то, чтобы узнать, куда идет развитие этих отношений и *чем закончится* процесс их развития. Если эти люди убедились в том, что он закончится устранением *капиталистических отношений производства и заменой их социалистическими,* и если они, по своим симпатиям или по своему классовому положению, имеют основание радоваться такому исходу, то они станут *указывать на него другим и будут побуждать их содействовать ему всеми средствами.* Он сделается *конечной целью* всех их усилий, он ляжет в основу всей их программы. И если они не заблуждаются на его счет, если «ход вещей», в самом деле, направляется в сторону их конечной цели, то они могут смело сказать, что под ними есть твердая реальная почва, и что *утописты не они, а все те, которые считают утопией их конечную цель.*

Конечная цель революционной социал-демократии нашего времени представляет собою не более, *как* сознательное выражение бессознательной тенденции, свойственной развитию нынешнего общества. Современный социализм, под знаменем которого идет революционная социал-демократия, только потому имеет право называться *научным,* что он решил, наконец, ту в высшей степени важную теоретическую задачу, которую еще Шеллинг ставил общественной науке в своем,— столь богатом содержанием,— сочинении «System des transzendentalen Idealismus»: объяснить, каким образом сознательная *(«свободная»)* деятельность людей в истории не только не исключает того, что называется *исторической необходимостью,* но предполагает ее, как свое необходимое условие. *Социалисты-утописты* исходили из того или другого отвлеченного принципа и опирались на его силу. Последователи *научного*

социализма исходят из сознания исторической необходимости и опираются на ее силу. «Конечная цель»

[1]) В действительности, исторический процесс выяснения и изменения взглядов людей не ограничивается выяснением и изменением одних только *экономических* взглядов. Но мы упростили ход дела для более наглядного его изображения.

есть у одних, как была она и у других; но «конечная цель» утопистов относилась к действительности совсем иначе, чем относится к ней «конечная цель» последователей научного социализма. Вот почему между теми и другими лежит целая пропасть. И вот почему названным деятелям так трудно помириться с утопическими элементами, нередко и теперь еще встречающимися в программах социалистов «широкого» образа мыслей. Они не выносят утопии, а их величают за это *сектантами, догматиками* и прочими ласкательными прозвищами.

Чтобы влиять на историческое движение, надо понять существующий экономический порядок. Понять существующий экономический порядок, значит выяснить себе процесс его развития, вплоть до его *окончательного исхода* включительно. Будучи выяснен, этот *исход* неизбежно становится нашей «конечной целью» при первой же нашей попытке *положительного участия* в историческом движении. Выталкивайте *«конечную цель»* в дверь, она ворвется в окно, если только вы не закроете окна ставнями, преграждающими доступ всякому поползновению *понять* данный процесс общественного развития и всякому искушению *действовать* сообразно с достигнутым вами пониманием.

Для того, чтобы «конечная цель» стала для социалиста более или менее благочестивой утопией, неосуществимость которой ясна для меня при свете сознания, необходимо, чтобы я предварительно убедил себя в том, что никакого окончательного исхода развитие нынешнего экономического порядка иметь не будет и не может по самому своему существу. Раз такой исход признан невозможным, то тем самым признано теоретически несостоятельным и стремление расположить всю свою деятельность так, чтобы она ускоряла его приближение. Невозможность окончательного исхода *лишает «конечную цель» реальной основы.* Но что же означает собою это признание невозможности окончательного исхода? Оно означает убеждение в том, что *процесс развития капитализма будет продолжаться постоянно,* т. е. другими словами, что *капитализм будет, существовать всегда,* или, *по крайней мере, так необозримо долго, что незачем и задумываться об его устранении.* Это, как видите, есть уже известное нам убеждение г. В. Зомбарта, сообщившего нам ту великую и отрадную новость, что социализм не исключает капитализма, т. е. что

даже развитие социализма не положит конца капиталистическому способу производства. Это есть также убеждение

г. П. Струве и других «критиков» [1]). Раз у человека возникло такое убеждение, ему в самом деле не остается ничего другого, как положить *«конечную цель»* на божницу благочестивых утопий и признать *штопанье дыр* единственной общественной деятельностью, имеющей под собою *реальную почву.* Но ведь это значит, что «конечная цель» делается для социалиста *утопией* только тогда, *когда он перестает быть социалистом.*

IX.

Г. П. Струве сам чувствует, что убеждение в практически бесконечной прочности и «приспособляемости» капиталистического способа производства является необходимым *предварительным условием* того отношения к *«конечной цели»,* которое он рекомендовал, как единственное достойное мыслящего человека. Именно для того, чтобы вселить в нас это убеждение, он и принялся «критиковать» понятие: *социальная революция* с помощью тех глубоких «гносеологических» соображений, которые должны были обнаружить перед нами полную несостоятельность этого, «псевдопонятия», и которые превосходно резюмируются в знаменитом вопросе Козьмы Пруткова: *«Где начало того конца, которым оканчивается начало»?* А для того, чтобы *подготовить* нас к принятию указанного убеждения, он стал уверять нас в том, что общественные противоречия постепенно *«притупляются»* и что если мы взглянем на дело без предрассудков, привитых нам правоверным марксизмом, то сами увидим, что прибавочная стоимость, воплощенная в прибавочном продукте, есть функция всего общественного капитала [2]). При столь *«реалистическом* воззрении» понятие об эксплуатации капиталистом работника облекается таким густым туманом «критики», что мы совсем перестаем понимать, зачем же и кому же,— кроме «утопистов», «эпигонов», «догматиков» и т. д.,— нужно устранение капиталистических отношений производства, и тогда вопрос о *«конечной цели»* социалистов решается сам собою: в лучшем случае мы третируем эту цель, как «нас возвышающий обман». *«Критика» г. П. Струве полна ошибок и недоразуме-*

[1]) «Единственное, что позволяют нам утверждать данные науки,— уверяет г. С. Булгаков, — это то, что настоящее экономическое развитие ведет к постепенному отмиранию самых тяжелых и грубых форм эксплуатации человека человеком». *«Капитализм и земледелие»,* т. II, стр. 456.

[2]) Эта последняя мысль высказана была в статье *«Основная антиномия теории трудовой ценности»,* «Жизнь», февраль 1900 г.

ний. Но она имеет то несомненное достоинство, *что она от начала до конца остается верной своей собственной «конечной цели».*

Господа, придерживающиеся *«реалистического воззрения»* г. П. Струве,— а им у нас имя легион,— беспрестанно говорят о «критике». Без «критики» они не делают ни одного шага, «критический»» демон искушает их денно и нощно. Но очень странным представляется на первый, невнимательный взгляд, что та критика, которой предаются наши «критики», чрезвычайно предрасполагает их *к совершенно некритическому усвоению учений новейших представителей буржуазной экономии* до какого-нибудь Бем-Баверка,— этого Бастиа наших дней,— включительно. И чем усерднее работает оружие «критики», тем полнее и прочнее становится *единомыслие* между нашими «критиками», с одной стороны, и профессиональными защитниками буржуазии — с другой. Искушающий господ «критиков» демон «критики» оказывается *«домовым» современной буржуазии.*

Это странно именно только на первый, невнимательный, взгляд. При ближайшем же рассмотрении все дело оказывается как нельзя более простым и понятным.

Историческая миссия наших «критиков» заключается в «пересмотре» Маркса для устранения из его теории всего ее социально-революционного содержания. Маркс, имя которого с увлечением повторяется теперь пролетариями всех цивилизованных стран; Маркс, который призывал рабочий класс к *насильственному* низвержению нынешнего общественного порядка, Маркс, который, по прекрасному выражению Либкнехта, был революционером ***и*** *по чувству и по логике, этот* Маркс очень несимпатичен нашей образованной мелкой буржуазии, идеологами которой являются гг. «критики». Ее отталкивают его крайние выводы; ее пугает его революционная страсть. Но «по нынешним временам» трудно обойтись и совсем без Маркса: *его* критическое оружие необходимо в борьбе с охранителями всех реакционных цветов и с утопистами разных народнических оттенков. Поэтому надо очистить теорию Маркса от ее плевел; надо противопоставить Марксу-*революционеру* Маркса-*реформатора,* Маркса-*«реалиста». «Маркс против Маркса»!* И вот закипает работа «критики». Из теории Маркса выбрасываются одно за

другим все те положения, которые могут служить пролетариату духовным оружием в его революционной борьбе с буржуазией. Диалектика, материализм, учение об общественных противоречиях, как о стимуле общественного прогресса; теория стоимости вообще и теория прибавочной стоимости — в частности, социальная революция, диктатура пролетариата,— все

эти необходимые составные части марксова научного социализма, без которых око утрачивает все свое существенное содержание, объявляются *второстепенными частностями,* не соответствующими нынешнему состоянию науки, тенденциозными, утопичными и потому подлежащими ампутации в интересах беспрепятственного развития основных положений того же мыслителя. «Маркс против Маркса»! «Критическая» работа «непрерывно» продолжается. И мало-помалу из горнила «критики» выходит такой Маркс, который, мастерски доказывая нам историческую необходимость *возникновения капиталистического способа* производства, обнаруживает очень большой скептицизм во всем том, что касается замены капитализма социализмом. Из *Маркса-революционера* «Критика» ухитряется сделать *Маркса-почти-консерватора.* И все это будто бы с помощью его же собственных положений. Поистине можно сказать, что подобные этому превращения пришлось пережить только Аристотелю, которого средневековые схоластики из языческого философа сделали чем-то вроде отца христианской церкви...

«В своем мистифицированном виде диалектика сделалась немецкой модой,— говорит Маркс,— так как казалось, что она служила для прославления существующего порядка. В своем рациональном виде она огорчает и раздражает буржуазию и ее теоретических выразителей, потому что, давая положительное объяснение существующему, она в то же время объясняет его отрицание, его неизбежное падение; потому, что она рассматривает каждую возникшую форму в потоке ее движения, а следовательно, с ее преходящей стороны, потому что она ни перед чем не останавливается, будучи критической и революционной по существу [1]).

Настоящий Маркс до конца своих дней оставался верен этому духу *диалектики.* Но именно это обстоятельство и не нравилось гг. «критикам». Они «пересмотрели» теорию Маркса с точки зрения *«реализма»,* и в результате их «пересмотра» получилась такая доктрина, которая, *давая «положительное объяснение» капитализму, в то же время отказывается объяснить его «неизбежное падение»* анализировать его с его *«преходящей стороны».* С этой стороны *«пересмотренный» нашими «критиками» Маркс анализирует только старые, до-капиталистические*

способы производства и вырастающие на их основе политические формы.

Таким образом наш «неомар-

[1]) См. предисловие ко второму немецкому изданию первого тома «Капитала», стр. XIX.

ксизм» является самым надежным оружием русской буржуазии в борьбе ее за духовное господство в нашей стране [1]).

Г. П. Струве стоит за «социальную реформу». Мы уже знаем, что эта пресловутая реформа не идет дальше штопанья буржуазной общественной «ткани». В том виде, какой придается ей в теории г. П. Струве, она не только не угрожает господству буржуазии, но напротив, обещает поддерживать его, содействуя упрочению *«социального мира».* И если наша крупная буржуазия до сих пор и слышать не хочет об этой «реформе», то это не мешает нашему *«неомарксизму»* быть лучшим и самым передовым выражением общих специально-политических интересов буржуазного класса, *как целого.* Теоретики нашей мелкой буржуазии видят дальше и судят лучше, чем дельцы — вожаки крупной. Поэтому ясно, что именно теоретикам нашей мелкой буржуазии будет принадлежать руководящая роль в освободительном движении нашего *«среднего» класса.* Мы нисколько не удивимся, если тот или другой из наших критиков дойдет в этом смысле *до степеней* весьма *«известных» и станет, например, во главе наших либералов.*

Довольно много лет тому назад мы в нашем журнале *«Социал-Демократ»* высказали ту мысль, что народническая теория окончательно отжила свое время и что нашей буржуазной интеллигенции необходимо, разделавшись с народничеством, *европеизировать* свои взгляды [2]). Теперь эта европеизация уже в значительной степени совершилась, но совершилась в неожиданной для нас форме. Когда мы указывали на ее необходимость, мы не думали, что она совершится под знаменем хотя бы и *«пересмотренного» марксизма.* «Век живи век учись», справедливо говорит пословица...

Теперь, когда мы знаем не только ошибки г. П. Струве, не также raison d'être его ошибок; теперь, когда мы поняли его не только со стороны путаницы его понятий, но и со стороны его исторического призвания; теперь мы можем расстаться с ним, пожелав ему всяческого благополучия. Теперь нас ждет другая задача. Мы видели, как вообще несостоятельна придуманная г. П. Струве «критика» марксовой теории социального развития. Мы видели, в частности,

[1]) Психология западноевропейских «критиков» Маркса отличается от русских «критиков» лишь в той мере, в какой западная буржуазия старше русской. Но существенного различия здесь нет, не было и быть не может: та же погудка, хотя немного и на другой лад.

[2]) См. внутреннее обозрение книжки «Социал-Демократа» (Женева 1890)

как неудачна его попытка показать невозможность *«скачков»* в области мысли и в области жизни. Нам надо показать теперь, как понимали основатели научного социализма те *«скачки»,* которые называются *социальными революциями,* и как они представляли себе будущую *социальную революцию пролетариата.* Это мы сделаем в следующей статье, которая послужит началом *второй* части нашей *«Критики наших критиков».*

ПЕРВЫЕ ФАЗЫ УЧЕНИЯ О КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ

(Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической Партии»)

В сентябре 1843 г. Маркс писал Руге, приступая к изданию «Deutsch-Französische Jahrbücher»:

«До сих пор философы имели в своем портфеле разрешение всех загадок, и глупому миру непосвященных оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки. Теперь философия сделалась светской... Если конструирование будущего и окончательные результаты для всех грядущих времен не наше дело, то тем определеннее мы знаем, что нам нужно совершить в настоящем: я говорю о *беспощадной критике всего существующего,* беспощадной в двух смыслах: в том, что эта критика не боится собственных результатов, и в том, что она не отступает от столкновения с предержащими властями» [1]).

Этому критическому настроению одного из будущих авторов «Манифеста» вполне соответствовало настроение другого его автора, Фридриха Энгельса, как это хорошо видно из его интересной статьи «Die Lage Englands», которая была напечатана в «Deutsch-Französische Jahrbücher», и в которой много места отведено изложению взглядов Карлейля.

Карлейль признавался, что у него нет никаких «Морисоновых пилюль», никаких панацей для лечения общественных бедствий. Указав на это признание, Энгельс замечает: «В этом он тоже прав. Еще очень несовершенна та общественная философия, которая выдает два-три положения за свой конечный результат и предлагает «Морисоновы

пилюли». Нам не так нужны голые результаты, как *изучение.* Результаты без развития, которое ведет к ним,— ничто; это мы уже знаем со времен Гегеля. А результаты, которые фиксируются, как неизменные, и не кладутся в основу дальнейшего развития, хуже, чем бесполезны. Но результаты все-таки должны принять определенную, хотя и временную форму; развитие должно

[1]) См. переписку Маркса с Арнольдом Руге в 4-й книжке «Sozialdemokrat», стр. 26—27.

вывести их из туманной неопределенности и сделать из них ясные мысли» [1]).

В течение времени, протекшего с тех пор, как написаны были эти строки, социальная философия Маркса и Энгельса тоже пришла в своем развитии к известным результатам, которые получили первое систематическое выражение в «Манифесте Коммунистической Партии» и затем пополнялись в других сочинениях его авторов. Эти результаты никогда не грешили «туманной неопределенностью». Напротив, даже люди, не сочувствовавшие им и пугавшиеся их, вынуждены были признать, что «изучение» привело Маркса и Энгельса к целому ряду ясных и оригинальных мыслей. Но если справедливо замечание Энгельса о том, что надо дорожить не столько *результатами,* сколько тем *развитием,* которое ведет к ним, и что вообще результаты имеют лишь *временное значение,* то можно спросить себя: не устарели ли результаты, изложенные в «Манифесте», и не осуждены ли они дальнейшим ходом того самого развития, которое некогда привело к ним? Один остроумный француз заметил, что он не хотел бы думать, как Вольтер, в такое время, когда Вольтер думал бы иначе. Мы должны последовать примеру этого француза. Если бы мы захотели думать, как Маркс и Энгельс, в такое время, когда Маркс и Энгельс думали бы иначе, то показали бы этим полную неспособность усвоить живой критический *дух* их учения и, отстаивая его мертвую *букву,* мы были бы от него гораздо дальше, чем те догматики, о которых говорил Маркс в цитированном выше письме к Арнольду Руге.

Маркс и Энгельс беспощадно критиковали все существующее и не боялись результатов своей критики. Ученики Маркса и Энгельса не должны бояться критиковать результаты, добытые их учителями.

Казалось бы, что это само собою разумеется и что говорить об этом излишне, в особенности теперь, когда во всей Европе — от Петербурга до Неаполя и от Самары до Дублина — развелось так много марксистов, стоящих *«под знаком критики».* Но в том-то и дело, что бывают разные *«знаки критики».* Давно уже было сказано, что не всякий, повторяющий: Господи, Господи! — войдет в царствие небесное. Теперь приходится сказать, что не всякий, твердящий «критика, критика», способен

возвыситься над *догматизмом.* Люди, «критикующие» Маркса и Энгельса, многочисленны теперь, как песчинки на дне морском. Критика марксизма стала модой в некото-

[1]) «Deutsch-Französische Jahrbücher» S.S. 167—168.

рых кругах интеллигенции всех стран. Но мода и критика плоха уживаются одна с другой. И чем более критика марксизма становится делом моды, тем более утрачивает она *всякое критическое содержание.* Объявляя устарелыми те результаты, к которым пришли Маркс и Энгельс, господа критики не ставят на их место ничего *нового* и частью ограничиваются бессодержательным и скучным повторением слова «критика», а частью возвращаются на точку зрения *буржуазных современников* или даже *предшественников* Маркса и Энгельса. Само собою разумеется, что *такая* критика нисколько не спасает от догматизма, и что *такое* движение ни в каком случае не может быть названо *поступательным.*

Слабость «критической» мысли господ критиков Маркса с особенной яркостью обнаруживается в области философии. Здесь они противопоставляют так называемому ими догматизму материалистов довольно уже пожилую догму кантианцев о непознаваемости внешнего мира. Разбирать здесь эту догму было бы неуместно, и потому только мы заметим, что, отвергая материализм, господа критики не дают себе труда хорошенько ознакомиться с этой теорией и довольствуются тем представлением о ней, которое усердно культивируется во славу религии учеными, полуучеными и совсем неучеными филистерами и попами разных стран и в основе которого лежит христианское противоположение материи духу.

В «Манифесте Коммунистической Партии» мы имеем дело исключительно с *«социальной философией»* Маркса и Энгельса. О ней и пойдет у нас речь в нашем предисловии. Но и она очень обширна. Всестороннее рассмотрение ее невозможно в этом предисловии. Поэтому мы рассмотрим здесь лишь *основную мысль* «Манифеста», а отдельные его положения рассмотрим в брошюре «Критика наших критиков», подготовляемой нами к печати.

«Основная мысль, пропитывающая собою весь «Манифест», та мысль, что в каждую данную историческую эпоху экономическое производство и неизбежно обусловленное им строение общества составляют основу политической и умственной истории; что, соответственно этому,

[1]) Главным научным источником, из которого черпают теперь эти господа свои сведения о материализме, является известная история материализма Ланге. Но Ланге

сам никогда не мог взглянуть на материализм глазами трезвого и беспристрастного исследователя. Его книга сделала очень много не для критики материализма, а для распространения и укрепления в публике неправильного взгляда на его историческое развитие и на его значение для общественной науки нашего времени.

вся история, с тех пор, как разложилось первобытное общинное землевладение, была историей классовой борьбы... но что эта борьба достигла теперь той ступени, на которой эксплуатируемый и угнетаемый класс... не может освободиться от эксплуатирующего его класса..., не освободив в то же время и навсегда всего общества от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы,— эта основная мысль принадлежит единственно и исключительно Марксу».

Так говорит Энгельс. Прав ли он? Не совсем. Во-первых, Энгельс неправ, сводя к нулю свое собственное участие в разработке основной мысли «Манифеста». Во-вторых, некоторые очень важные *элементы* этой мысли встречаются в гораздо более ранней социально-политической литературе.

Профессор Антонио Лабриола в своем прекрасном опыте «В память Манифеста Коммунистической Партии» справедливо замечает, что уже древние историки, а в новое время итальянские историки эпохи Возрождения хорошо понимали значение классовой борьбы, происходившей на их глазах в тесных пределах городских республик. Не менее справедливо и то замечание Лабриолы, что классовая борьба, принявшая гораздо более широкие размеры в современном государстве, все более и более бросалась в глаза в первой половине девятнадцатого века. Но он ошибался, полагая, что историческое значение этой борьбы с наибольшею ясностью сознано было в конце этого периода,— именно, в промежуток времени от 1830 до 1850 г. В действительности, понимание классовой борьбы, как важнейшего двигателя исторического развития, уже в двадцатых годах достигло такой степени ясности, которая была превзойдена разве только в сочинениях авторов «Манифеста». В эпоху же 1830—1850 гг. понимание это отчасти затемнилось под влиянием причин, которые мы укажем ниже.

Уже в своих «Lettres d'un habitant de Genève», вышедших в 1802 г., Сен-Симон говорит об отношениях между «имущим» и «неимущим» классами, и *борьбой этих классов* объясняет ход и исход французской революции. Но это сочинение содержит в себе лишь зародыши взглядов Сен-Симона. Гораздо полнее высказываются они в позднейших его произведениях,— напр., в «Organisateur» (знаменитая «Парабола»), в «Lettres à Messieurs les Jurés», «Du système industriel». «Catéchisme des

industriels» и «Opinions littéraires, philosophiques et industrielles». Производство есть цель общественного союза, а потому люди, руководящие производством, всегда стояли и всегда будут стоять во главе общественного союза. До пятнадцатого столетия

светская власть находилась в руках дворянства. Это не могло быть иначе потому, что дворянство руководило тогда земледельческими работами, а земледельческие работы были тогда единственно важной отраслью промышленной деятельности [1]). Но мало-помалу, в период от первого крестового похода до Людовика XI, возник и организовался в независимую от дворянства силу новый общественный класс,— промышленники в собственном смысле слова,— который еще больше окреп и вырос в эпоху, отделяющую царствование Людовика XI от царствования Людовика XIV. В течение всей этой эпохи промышленный класс не переставал бороться с дворянством и отнимать у него одну экономическую позицию за другой. Нуждаясь в сильной поддержке, он заключил союз с королевской властью, и этот союз определил собою дальнейшее политическое развитие Франции вплоть до того времени, когда королевская власть, в лице Людовика XIV, изменила своему верному союзнику и сделалась покровительницей аристократии. Это была ошибка, дорого стоившая Бурбонам, но не остановившая развития промышленного класса. Французская революция и последовавшие за ней события вызваны были борьбою нового промышленного порядка со старой феодальной системой, сторонники которой сделали во время реставрации новую попытку вернуть свое старое влияние и значение. Но их усилия осуждены на неудачу; их влияние навсегда утрачено. «В течение пятнадцати веков,— говорит Сен-Симон,— феодальная система постепенно дезорганизовалась, а промышленная система постепенно организовалась. Достаточно будет тактичного поведения главных представителей промышленности, чтобы окончательно установить промышленную систему и очистить общество от развалин того феодального здания, в котором жили когда-то наши предки» [2]).

Исторические взгляды Сен-Симона были почти целиком усвоены его «приемным сыном», Огюстэном Тьерри, так много сделавшим впоследствии для французской исторической науки. Огюстэн Тьерри стоял на точке зрения «третьего сословия» и хорошо понимал это. В 1818 г. он писал в «Censeur Européen»: «Кто из нас слышал о том классе людей, который сохранил для человечества промышленное искусство и привычку к труду во время наводнения Европы варварами? Постоянно подвергаясь притеснениям и грабежу со стороны своих

[1]) Opinions littéraires, philosophiques et industrielles. Paris 1825, pp. 144—145. Ср. Catéchisme des industriels в Oeuvres de Saint-Simon, изданных О. Родригом, Paris 1832. p. 18.

[2]) Oeuvres p. 59.

победителей и повелителей, эти люди вели тягостное существование, получая в вознаграждение за свой труд лишь сознание того, что они поступают хорошо и сохраняют цивилизацию для своих детей и для всего мира. Эти спасители наших искусств были нашими отцами. Мы дети тех крепостных, тех данников, тех буржуа, которых беспощадно попирали завоеватели. Мы всем обязаны им... Но, недавно освобожденные рабы, мы хранили память лишь о семьях и о действиях своих господ. Только тридцать лет тому назад мы вспомнили, что наши отцы составляли нацию. Мы всем восхищались и все изучали, за исключением того, что было совершено ими. Мы были патриотами и забывали тех, которые в течение четырнадцати веков возделывали почву нашего отечества, которую так часто опустошали другие руки»

Два года спустя, Тьерри возвращается к той же теме и доказывает, что французы еще не имеют настоящей истории своего *народа.* История граждан, история подданных еще не написана, а между тем она гораздо интереснее и способна вызвать гораздо больше симпатий, чем история высокопоставленных лиц и королей,— «единственная история, о которой нам говорят». Движение народных масс к свободе и благосостоянию представляет собою более величественное зрелище, чем походы завоевателей, а бедствие народа трогательнее бедствий королей, лишившихся своих престолов. Если бы нашлось перо, достойное написать историю народных масс, то французы узнали бы, что их города могут гордиться «не только тем, что в них жили те или другие аристократы или что через них проходил тот или другой король. Они узнали бы также, что политическая жизнь народа не ограничивалась уплатой податей и поставкой рекрут» [2]).

Уже эти красноречивые тирады ясно показывают, каким образом рост самосознания третьего сословия во Франции вызвал коренную перемену во взглядах французских историков. Для ученых плебеев того времени история третьего сословия была интереснее истории двора и аристократии, и потому они почувствовали потребность разработать именно историю третьего сословия. А так как эта история в течение многих столетий была историей всего народа, за исключением дворянства и духовенства, то неудивительно, что

[1]) Цитировано им самим в его «Dix ans d'études historiques». Paris 1837, préface, p. VIII.

[2]) См. первое письмо об истории Франции, перепечатанное в «Dix *ans* d'études historiques», p. 325.

народная жизнь прошлых веков стала привлекать к себе главное внимание исторической науки, прежде занимавшейся лишь королями и аристократами. В исторической науке времен реставрации сказалось то же самое настроение третьего сословия, которое еще в семнадцатом веке начало сказываться в области изящной литературы и литературной критики. Известны психологические мотивы, вызвавшие появление так называемой *мещанской драмы.* «Что за дело мне, мирному гражданину монархического государства XVIII столетия,— писал Бомарше,— до смерти какого-нибудь пелопоннезского тирана или до принесения в жертву царской дочери в Авлиде? Все это совершенно меня не касается, во всем этом нет ничего поучительного для меня» [1]). Бомарше и его единомышленники хотели, чтобы на сцене с любовью и вниманием изображались быт и страдания людей современного им третьего сословия. Классическая трагедия раздражала и оскорбляла их своим пристрастием к высокопоставленным героям. «Изображать горе и несчастия людей среднего, состояния! — с горечью восклицал Бомарше,— Fi donc! Их можно только осмеивать! Смешные граждане и несчастные короли,— вот чем ограничивается область, доступная театру. Так мы и будем знать» [2]).

Буржуазия восемнадцатого столетия хотела «иметь свой портрет», и ее литературные представители попытались изобразить ее тогдашние черты в героях *мещанской драмы* [3]). Подобно этому, во время реставрации, буржуазия, отстаивавшая свои социально-политические завоевания от настойчивых посягательств со стороны приверженцев старого порядка, хотела слышать рассказ об ее собственных детских и юношеских годах, и ее ученые представители принялись писать для нее назидательное и интересное повествование о притеснениях, которым она некогда подвергалась, об ее усилиях завоевать себе лучшую долю и об ее успехах в борьбе против притеснителей. Так создалось новое направление в исторической науке, представлявшее собою огромный шаг вперед в ее развитии.

Историки прежнего времени, интересовавшиеся преимущественно королями и аристократами, видели в подвигах своих высокопоставленных героев главных двигателей исторического развития. Этот взгляд усвоен

был и просветителями восемнадцатого века, у которых он, согласно их революционному настроению, видоизменился в учение

[1]) Essai sur le genre dramatique sérieux в Oeuvres complètes, Paris 1852 t. I. p. 11.
[2]) Lettre sur la critique de Barbier de Seville в Oeuvres complètes, t. I, p. 5.
[3]) Ср. Брюнетьера, Les époques du théâtre français, Paris 1896, p. 287.

о том, что мнения правят миром. Несостоятельное в теоретическом отношении учение это имело то преимущество, что отводило широкое место воздействию революционных *героев* интеллигенции на угнетаемую государством и высшими сословиями *толпу* среднего сословия. Но буржуазия времен реставрации, незадолго перед тем нанесшая смертельный удар старому порядку, уже не походила на подавленную толпу. Ее идеологи, проникнутые сознанием ее силы и значения, увидели в ней самой главного героя исторического движения. Мы уже знаем, с каким восторгом говорил Тьерри об ее заслугах перед человечеством и цивилизацией.

Но, раз заинтересовавшись историей своих «отцов», ученые представители буржуазии необходимо должны были составить себе совершенно новый взгляд на историческое происхождение и развитие общественных учреждений.

«Удивительна,— говорит Огюстэн Тьерри,— упорная склонность историков не признавать за массой никакой самодеятельности, никакого творчества. Если какой-нибудь народ выселяется, ища себе нового местожительства, то наши историографы и поэты объясняют это тем, что какой-нибудь герой решился основать новую империю с целью прославить свое имя: если возникает какое-нибудь новое государство, то это объясняется инициативой того или другого государя. Народ, граждане всегда представляют собою лишь материю, одухотворяемую мыслью отдельных людей. Хотите в самом деле знать, кто создал данные учреждения, кому принадлежит мысль данного общественного предприятия? Ищите тех, кому оно было нужно: им наверное принадлежит и первая мысль о нем, и желание действовать, и значительная часть в выполнении. Is fecit, cui prodest,— эта аксиома применима в истории не менее, чем в юриспруденции» [1]).

Эта новая точка зрения — точка зрения *общественного или классового интереса* — в связи с сочувствием к «отцам», вынесшим на своих плечах многовековую борьбу против высших сословий, неизбежно должна была привести к сознанию важного исторического значения борьбы различных общественных классов за свои интересы, т. е., короче — *классовой борьбы.* И действительно, уже в начале своей литературной

деятельности Огюстэн Тьерри указывает на «борьбу классов и интересов» в Англии (lutte des classes d'hommes et des intérêts), как одно из главных последствий завоевания ее норманна-

[1]) Dix ans d'études historiques, p. 348.

ми [1]). Революционное движение в Англии XVII века изображается им, как борьба третьего сословия с аристократией.

«Всякий, чьи предки принадлежали к числу завоевателей Англии,— говорит он о первой английской революции,— покидал свой замок и ехал в королевский лагерь, где и занимал положение, соответствующее его званию. Жители городов толпами шли в противоположный лагерь. Тогда можно было сказать, что армии собирались — одна во имя *праздности и власти,* другая — во имя *труда и свободы.* Все праздношатающиеся, каково бы ни было их происхождение, все те, которые искали в жизни лишь достающихся без труда наслаждений, становились под королевские знамена, защищая интересы, подобные их собственным интересам; и наоборот, те из потомков прежних завоевателей, которые занимались тогда промышленностью, присоединились к партии общин» [2]).

Но особенно замечательно то, что и в религиозном движении того времени Тьерри видел лишь отражение «положительных, житейских интересов», «С обеих сторон,— говорит он,— война велась за положительные интересы. Все остальное было внешностью или предлогом. Люди, отстаивавшие дело *подданных,* были по большей части пресвитерианами, т. е. не хотели никакого подчинения даже в религии. Те же, которые примыкали к противной партии, принадлежали к английскому или католическому исповеданию; это было потому, что даже в религиозной области они стремились к власти и к обложению людей налогами» [3]).

Переходя к современнику Тьерри — *Минье,* мы встречаем совершенно тот же взгляд на значение имущественных интересов и на роль классовой борьбы в истории цивилизованных стран. По словам Минье, «наиболее многочисленные и наиболее сильные интересы диктуют законы и достигают своей цели» (dictent la loi et arrivent à leur but [4]).

Легко понять отсюда, какое влияние имеют, по его мнению, интересы на развитие общества. «Общественное движение,— говорит он,— определяется господствующими интересами. Движение это стремится к своей цели посреди разных препятствий, останавливается,

[1]) В статье Vue des revolutions d'Angleterre, «Dix ans d'etudes historiques», p. 16.
[2]) Ibidem.
[3]) Ibidem.
[4]) «De la féodalité, des institutions de St.-Louis et de l'influence de la législation de ce prince». Paris 1822, p. 47.

раз достигнута эта цель, и уступает место другому движению, которое сначала остается незаметным и обнаруживается только тогда, когда делается преобладающим. Таков был ход развития феодализма. Феодализм существовал в нуждах людей, еще не существуя фактически,— первая эпоха; во вторую эпоху он существовал фактически, постепенно переставая соответствовать нуждам, и это последнее обстоятельство положило конец его фактическому существованию. Еще ни одна революция не совершалась другим путем» [1]). Появление на исторической сцене городских коммун изменило все внутренние отношения тогдашних обществ. В Италии коммуны добиваются полного господства, и там возникает демократия. Во Франции они оказываются вынужденными соединиться с королевскою властью и тем положить основание абсолютизму. Наконец, в Англии, где они соединяются с феодалами против короля, является конституционная монархия [2]).

Таким образом взаимное отношение важнейших социальных элементов европейского общества, т. е. аристократии и третьего сословия, определило собою политическое развитие Европы. Чем более росло третье сословие, тем более приближалось окончательное падение старого общественного порядка. Во Франции эпоха этого падения была и эпохой революции, к которой Минье относился с самым горячим сочувствием. Его история французской революции лучше всех других его сочинений показывает, до какой степени ясно сознавал он историческое значение классовой борьбы. Он прекрасно понимает, что борьба политических партий во время революции выражала собою лишь противоречие классовых интересов. «Аристократические классы,— говорит он,— имели интересы, противоположные интересам национальной партии. Поэтому дворянство и высшее духовенство, сидевшее на правой стороне, были в постоянной оппозиции против этой партии, за исключением нескольких дней всеобщего увлечения [3]). Партия Дюпора, Барнава и Ламэтта представляла собою «род оппозиции внутри среднего класса» [4]). Конституция 1791 года была делом среднего класса, оказавшегося тогда сильнее других; известно,— прибавляет Минье,— что сила, достигшая господства, всегда овладевает учреждениями» [5]). Антиреволюционные восстания в Кальвадосе, Жеводане и Вандее он объясняет тем, что эти местности не

[1]) Ibidem, p.p. 77—78.
[2]) Ibid., p. 83.
[3]) «Histoire de la revolution française», Paris 1827, t. I, p. 105.
[4]) Ibid., p. 111.
[5]) Ibid., p. 210.

сочувствовали революции, «так как в них не было многочисленного среднего и образованного класса» Жирондисты являются в его глазах партией перехода от среднего класса к простонародию (la multitude), между тем как в Дантоне, Робеспьере, Камилле Демулене, Ф. д'Эглантине, Марате и т. д. он видел истинных вождей нового движения, начавшегося при посредстве низшего общественного класса и направлявшегося против среднего класса, к которому принадлежали жирондисты по своему положению и по своим привычкам [2]). Десятое августа было «восстанием простонародия против среднего класса и конституционного трона, подобно тому, как 14-е июля было восстанием среднего класса против привилегированных классов, против абсолютной власти короны» [3]). Короче сказать, решительно вся история французской революции служит у Минье иллюстрацией того положения, которое можно с полным основанием назвать *формулой прогресса,* совершающегося в цивилизованных обществах: «перемены нарушают интересы; интересы создают партии; партии вступают в борьбу» [4]). Огюстэн Тьерри недаром говорил, что Минье был одарен большим талантом обобщения фактов и исторической индукции.

В течение всей своей жизни Минье был сознательным, откровенным и последовательным представителем «среднего класса». Его идеалом было социальное и политическое господство этого класса. Он был решительным врагом «простонародья», поскольку оно угрожало этому господству. «Бесчинства Коммуны были ему омерзительны», говорит его биограф, Эдуард Пти [5]). Но этот друг жестокого усмирителя Коммуны, Тьера, не испытывал перед революционным способом действий того жалкого чувства страха, смешанного со злобой, который испытывают перед ним крупные и мелкие буржуа нашего времени. «Только силой можно добиться признания своих прав», замечает он в самом начале своей истории революции, прибавляя несколькими страницами ниже, что до сих пор «нет другого верховного владыки, кроме силы» [6]). Нынешние историки не любят таких сентенций. Старый Гизо объяснит нам эту особенность их вкуса.

[1]) Ibid., p. 227.
[2]) Ibid., p. 276.
[3]) Ibid., p. 290.
[4]) Ibid., p. 213.

[5]) «François Mignet par Eduard Petit». Paris 1889, p. 286.

[6]) «Histoire de la révolution française», t. I, p. p. 3, 13. *Эти* выражения напоминают известное выражение Маркса: «сила всегда была повивальной бабкой старого общества, беременного новым».

Взгляды Гизо на коренную причину общественного развития ничем не отличаются от взглядов Огюстэна Тьерри и Минье. Социальные отношения и в его глазах являются основой политических отношений. «Большая часть писателей, ученых историков **и** публицистов,— говорит он в своих «Essais sur l'histoire de France»,— старались объяснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации, политическими учреждениями этого общества. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, учреждения являются следствием; общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием; и, вместо того, чтобы судить о состоянии народа по формам его правительства, надо прежде всего исследовать состояние народа, чтобы судить, каково должно было быть, каково могло быть его правительство... Общество, его состав, образ жизни отдельных лиц в зависимости от **их** социального положения, отношения различных классов лиц, словом, *гражданский быт людей* (l'état des personnes),— таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как люди жили, и публициста, желающего знать, как люди управлялись» [1]).

По словам Гизо, у всех народов, явившихся на историческую сцену Европы после падения Западной Римской империи, гражданский быт находился в тесной причинной связи с поземельными отношениями, а потому изучение поземельных отношений должно предшествовать изучению гражданского быта. «Чтобы понять политические учреждения, надо изучить различные слои, существующие в обществе и их взаимные отношения. Чтобы понять эти различные общественные слои, надо знать природу поземельных отношений» [2]). С этой точки зрения Гизо и смотрит на историю Франции первых двух династий. Она является у него историей борьбы между *«слоями»* тогдашнего населения этой страны.

История английской революции изображается им, как борьба буржуазии с аристократией. Он называет остроумным, но поверхностным тот взгляд, согласно которому английская революция была более политической, чем социальной, между тем как французская стремилась изменить всю совокупность общества и правительства. [3]). На са-

[1]) Essais sur l'histoire de France, dixième edition (первое изд. вышло в 1821 г.), p.p. 73—74.

[2]) Ibid., p.p. 75—76.

[3]) Histoire de la révolution d'Angleterre, Paris 1841, t. I, preface p. XXI (предисловие подписано: апрель 1826).

мом деле обе революции имели одинаковое происхождение и одинаковую цель. Революционное движение в Англии началось под влиянием изменений в социальных отношениях и в нравах английского народа. Между тем как высшая аристократия утрачивала свое влияние на народ и развращалась, мелкие дворяне, фригольдеры и буржуа, занятые исключительно своими имущественными делами, все более богатели и все более подчиняли народ своему влиянию. Постепенно, без шума и почти без собственного ведома, они сосредоточили в своих руках почти все общественные силы,— «истинные источники власти» [1]). И по мере того, как совершалась эта коренная перемена в общественных отношениях, среднее сословие («les communes») начало нетерпеливо относиться к тирании. «Увеличение благосостояния вызвало нужду в ограничении произвола. Королевские права, в течение долгого времени не вызывавшие никаких протестов, стали казаться злоупотреблением» [2]). Так завязалась революционная борьба, имевшая множество разнообразных перипетий, но закончнвшаяся полным торжеством среднего класса.

Гизо умеет проследить влияние «общественного состава» не только на политический строй общества, но также и на совершающиеся в нем *умственные течения.* Соображения об истории французской литературы, высказанные им еще во время первой империи, заслуживали бы подробного рассмотрения. Но, по недостатку места, мы напомним здесь только его рассуждения о театре. По его мнению, судьбы театра отражают собой развитие общественных отношений. В древней Греции, где общественные дела находились в заве-дывании всего народа, театр служил всенародным развлечением, отражавшим привычки и вкусы всех свободных граждан. Напротив, в обществах нового времени, представляющих собою сложное сочетание различных классов, занятых трудом и вечно борющихся между собою за преобладание, театр становится развлечением высших классов. От этого много страдают его достоинства. Упрочив свое положение, высшие классы стремятся обыкновенно отделиться и удалиться от остальной части общества. Они утрачивают свойственные народу простые и естественные привычки и проникаются искусственностью. Поэтому область художественного

творчества суживается и бледнеет. Для примера Гизо указывает на судьбы английского театра после

[1]) Ibid., p.p. 9—10.
[2]) Ibid., p.p. 11—12 ср. также «Discours SUR l'histoire de la révolution d'Angleterre».

реставрации 1660 г. В своем презрении к народу английская аристократия стала пренебрегать даже Шекспиром, объявив его неблаговоспитанным. Французская трагедия тоже была созданием высших классов, и потому ее время прошло вместе с падением старого порядка. Революция расчистила место для «новой драматической системы» [1]).

Конечно, здесь можно не согласиться с отдельными частностями. Но нельзя не признать, что путь исследования причинной связи явлений намечен здесь совершенно верно. И именно по этому пути пошли впоследствии наиболее даровитые критики и историки французской литературы, так хорошо подготовившие почву для материалистического объяснения умственной истории цивилизованного человечества.

Политическая деятельность Гизо еще ярче обнаруживает его классовую точку зрения. Он сам говорит в своих «Воспоминаниях», что упрочение господства средних классов (des classes moyennes) было неизменным его политическим стремлением [2]). И он не только горячо и неустрашимо защищал интересы этих классов, но, по его собственным словам, он хотел еще более возвеличить их дело, «перенеся его в прошлое и обнаружив его интересы и превратности во всем течении французской истории [3]). Это намерение было блестяще выполнено им в его политических памфлетах. Наибольшего внимания заслуживает памфлет, носящий заглавие «Du gouvernement de la France et du ministère actuel» и вышедший в сентябре 1820 г. Здесь Гизо выступает убежденным защитником французской революции. Революция эта была войной, совершенно подобной международным войнам. «В течение тринадцати столетий во Франции было два народа: народ-победитель и народ побежденный. В течение тринадцати столетий побежденный народ боролся для того, чтобы свергнуть иго народа-победителя. Наша история есть история этой борьбы. В наши дни произошла решительная битва. Эта битва называется революцией» [4]). Результат ее очевиден. Народ, бывший когда-то побежденным, стал победителем и, в свою очередь, завоевал Францию. Пресловутая хартия только признала, по словам Гизо, этот несомненный *факт* и объявила его *правом.* Представительное правление было гарантией этого нового права [5]). Споры, происходившие в палате депу-

[1]) См. чрезвычайно интересный «Etude sur Shakespeare», в первом томе французского перевода сочинений Шекспира, Париж 1821.

[2]) «Mémoires», Paris 1858, t. I, p. 8.

[3]) Ibid., p.p. 296—297.

[4]) «Du gouvernement de la France», 1—2.

[5]) Ibid., p. 5.

гатов, могли казаться странными и непонятными лишь тому, кто смотрел на них с точки зрения теоретика, не умея приурочить их к породившим их обстоятельствам. В действительности, споры велись «между равенством и привилегией, между средним классом и старой аристократией» [1]). Старый порядок и новая Франция ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Всякая мысль об их примирении— химера [2]).

Мы уже знаем, что Гизо понимал причинную связь между общественными отношениями, с одной стороны, и умственными течениями, с другой. Политическая полемика дала ему лишний случай высказать свой взгляд на этот счет. Он заявляет, что «идеи, учения и самые конструкции» подчиняются обстоятельствам и принимаются народами только тогда, когда они являются орудием и обеспечением их интересов [3]). История английской конституции особенно хорошо показывает, по его мнению, «до какой степени обстоятельства господствуют над мнимыми теориями представителей системы» [4]). Мы видим здание английской конституции и забываем о том, как оно строилось. «Мы приписываем человеческой мудрости прогрессивное развитие, бывшее плодом одной необходимости [5]). Теоретики революции ошибались *«или лгали»* (курсив наш), провозглашая самодержавие народа. На самом деле речь шла не о самодержавии всего народа, а о победе одной части народа над другой его частью. Так как на стороне третьего сословия было огромное численное превосходство, то и возникла теория народного самодержавия. Эта теория нужна была в то время, потому что силе необходима доктрина: людям «непременно нужно думать и показать другим, что они правы» [6]).

Сторонники контрреволюции всегда отлично понимали, что для достижения своей цели они должны захватить власть и воспользоваться ею сообразно своим интересам. Средний класс с своей стороны должен помнить, что ему нужно не разрушать власть, а овладеть ею [7]).

[1]) Ibid., p. 22.
[2]) Ibid., p. 108.
[3]) Ibid., p. 91.
[4]) Ibid., p. 127.
[5]) Ibid., p. 290.
[6]) Ibid., p. 138.
[7]) Ibid., p. 237.

Представительное правление существует затем, чтобы сосредоточить в себе и выразить общественные нужды и стремления, а также затем, чтобы облекать властью тех, которые умеют понимать и удовлетворять эти стремления и нужды [1]). Само собою разумеется, что, по мнению Гизо, таким умением обладают лишь представители «среднего класса», а оттого и власть должна, по его теории, принадлежать именно этому классу, а не той population extérieure (так называет Гизо рабочую массу), права которой нужно признавать и защищать, но которая может погубить и себя, и все государство, если только доберется до власти! [2]).

Когда Маркс и Энгельс писали в «Манифесте», что современная государственная власть есть не более, как комитет, выбранный для заведывания общественными делами буржуазии, они высказали **то** же самый взгляд на созданное буржуазией представительное правление. Только они оценивали его уже не с точки зрения *«среднего класса»,* а с точки зрения того именно *«внешнего населения»* (population extérieure), о господстве которого Гизо не мог подумать без страха.

Как бы там ни было, не подлежит ни малейшему сомнению то обстоятельство, что Гизо очень хорошо сознавал классовый характер представляемых и защищаемых им социально-политических тенденций. Когда сторонники старого порядка стали обвинять его в том, что, проповедуя борьбу классов, он разжигает будто бы дурные страсти, он отвечал, что ему хотелось только резюмировать историю Франции. Она полна борьбой сословий или, вернее, *сделана ею.* Это знали и это говорили за много веков до революции. Это знали и это говорили в 1789 г. Это знали и это говорили три месяца тому назад [3]). Я думаю, что и теперь все помнят об этом, хотя меня и упрекают в том, что я высказал это. Факты не уничтожаются по желанию и для удобства министерств и партий. Что сказали бы все те мужественные буржуа, которых посылали в Генеральные Штаты для защиты и завоевания прав третьего сословия, если бы, воскреснув теперь, они услыхали, что дворянство никогда не воевало с третьим сословием; что оно не чувствовало беспокойства при его возникновении, что оно не возмущалось при виде его роста, что оно не мешало его социальным и политическим успехам?.. Выродившиеся потомки расы, некогда господствовавшей над великой страною и

[1]) Ibid., p. 283.
[2]) Ibid., p. 326, note.

[3]) Писано в 1820 году.

заставлявшей трепетать королей, вы отрекаетесь от своих предков и от своей истории! Вы сознаете свое падение и потому протестуете против своего былого величия!». Поднимая речь о борьбе классов, Гизо совсем не имел в виду высказать что-либо новое: борьба классов — не теория и не гипотеза: это — самый простой факт. «И я повторяю,— восклицает Гизо,— что не только нет никакой заслуги за теми, которые его видят, но почти смешно отрицать его». Гизо стыдится того, что ему, буржуа, приходится читать дворянству уроки французской истории и доказывать ему, что оно стало «слишком смиренно в своих воспоминаниях». А на обвинение его в том, что он разжигает страсти и сеет разделение между гражданами, он отвечает восклицанием: «Как! Мы должны забыть нашу историю только потому, что ее выводы оказались неблагоприятными для вас?»

Эти выписки [1]) достаточно характеризуют тогдашнее боевое настроение Гизо. Для более полной характеристики укажем, впрочем, еще на эпиграф цитируемого здесь сочинения его «Du gouvernement de la France». Он взят из Паскалевых «Pensées» и гласит так: *«Приятно находиться на корабле во время бури, когда знаешь, что не погибнешь!».*

Во всем этом классовое самосознание буржуазии выражается так ярко, что мы не нуждаемся в дальнейших выписках. Поэтому мы не станем говорить здесь ни о книге Армана Карелля: «Histoire de la contre-révolution en Angleterre» (Париж 1827), ни об относящихся к более позднему времени сочинениях Алексея Токвиля. Мы считаем твердо установленным тот факт, что уже во время реставрации Сен-Симон и многие ученые представители французской буржуазии видели в борьбе классов главнейшую пружину исторического развития народов нового времени.

Мы думали, что полезно установить этот факт, так как он, по-видимому, остался неизвестным многим критикам «Манифеста Коммунистической Партии». Вот, напр., Эмиль Вандервельд категорически утверждает, что понятие о классовой борьбе есть «пробный камень демократического социализма, в отличие его от всех других настоящих и прошедших форм социализма буржуазного и утопического», и что это понятие «впервые было развито со всеми его

[1]) Сделанные из Avant-propos третьего издания брошюры «Du gouvernement de la France».

последствиями в «Манифесте Коммунистической Партии» [1]). Признаемся, что от человека, написавшего, так сказать, юбилейную брошюру по поводу «Манифеста», можно требовать более внимательного отношения к своему предмету.

Точно так же и господин Вернер Зомбарт, критикуя высказанный в «Манифесте», взгляд на великое историческое значение борьбы классов, ни единым словом не указывает на то, что в сороковых годах взгляд этот не был новым в политической литературе [2]). Вернер Зомбарт придает большое значение «истории догм» (Dogmengeschichte) в новейшем социализме. От него тоже можно было бы требовать лучшего знакомства с этой историей. В статье «Essai d'interprétation et de critique de quelques concepts du marxisme», напечатанной в февральской книжке «Devenir Social» за 1898 г., г. Бенедетто Кроче чрезвычайно старательно «критикует» учение Маркса и Энгельса о борьбе классов. Но и этот старательный критик, как видно, очень далек от мысли о том, что борьбу классов проповедовали еще теоретики буржуазии.

Укажем еще на Томаса Кэркопа, который, «критикуя учение Маркса с самых различных сторон и довольно останавливаясь на «Манифесте», не догадывается спросить себя, точно ли мысль о классовой борьбе принадлежит исключительно Марксу [3]).

С критиками марксизма до сих пор почти всегда происходили такие оказии: они не замечали действительных промахов Маркса и Энгельса, но зато записывали на их счет такие ошибки, которых те никогда не делали.

[1]) Золотая свадьба международного социализма» (перевод с французского). Лондон 1899 г., стр. 5, Одесса 1905, стр. 3. В русском переводе, изданном в Лондоне, брошюра эта снабжена маленьким предисловием издателей, в котором «эволюция здоровой социалистической мысли в Европе» противопоставляется «догмам германского социализма . Почтенные сторонники «здоровой социалистической мысли не заметили ни вышеуказанной, ни других ошибок Вандервельда и даже кое-что прибавили к ним из собственного запаса. Так, они называют Вандервельда марксистом и притом одним из наиболее ученых и талантливых представителей парламентарного социализма». Последнее справедливо! Вандервельд действительно — один из наиболее ученых и талантливых представителей социализма (парламентарного и всякого другого) в Бельгии. Но марксистом он никогда не был, как могли бы убедиться в этом его русские издатели, ознакомившись с другими его сочинениями.

[2]) См. «Sozialismus und soziale Bewegung im 14 Jahrhundert», S.S. 1—2.

[3]) См. «A History of Socialism by Thomas Kirkup». London 1900, главы 7, 8 и 9.

Но промах промаху рознь. Разумеется, очень хорошо, когда основатели данной теории знают всех своих предшественников и не ошибаются в своих суждениях о них. Однако никто не поставил бы Дарвину в большую вину тех ошибок, которые он сделал бы, говоря о месте, занимаемом его собственной теорией в истории учений об эволюции. Но если кто-нибудь взялся за *критику* дарвинизма, а особенно, если бы он захотел написать *историю трансформизма,* то он *обязан* был бы знать предшественников Дарвина, и тогда было бы в высшей степени странно, если бы он, говоря об этих предшественниках, удовольствовался простым повторением того, что сказал о них сам Дарвин.

То же можно заметить о критиках марксизма и об историках социализма. Под их пером совершенно непростительны такие промахи по части «истории догмы», которые были вполне понятны и извинительны под пером Маркса или Энгельса.

Но оставим пока *критиков* и вернемся *к предшественникам.*

Во время реставрации французская буржуазия пережила не одну бурю. Но, ободряемая своими недавними колоссальными победами над аристократией, она верила, что нет силы, способной положить предел ее господству, и бодро смотрела в будущее, находя, что очень приятно быть на корабле во время бури, когда знаешь, что не погибнешь. Она не боялась тогда говорить о классовой борьбе и насмешливо отказывалась позабыть историю своей собственной классовой борьбы в угоду выродившейся аристократии. Но — увы! Все течет, все изменяется. Прошло каких-нибудь два-три десятка лет. и буржуазия была вынуждена взглянуть на классовую борьбу с другой точки зрения. Рабочий класс,— внешнее население, как называл его Гизо,— начал борьбу против ее собственного классового господства. Вследствие этого коренным образом изменилось настроение буржуазии: из *революционного* оно превратилось в *консерватив-ное.* Сорок восьмой год был страшным уроком для буржуазии. Как хорошо поняла она смысл этого урока, видно из того, что с этого времени ее теоретики стали проповедовать *«социальный мир».* Всегда чрезвычайно внимательно и чутко относившийся к положению и нуждам «среднего класса», Гизо уже в январе 1849 г. выпустил брошюру: «De la Démocratie», в которой воспевается социальный мир, ведущий к «свободе, спокойствию, благоденствию, достоинству» и ко всем другим

«вещественным и духовным благам». Гизо и в 1849 г. помнил, что социальная война *«сделала»* историю Франции; но теперь война эта представляется ему же не двигателем про-

гресса, а каким-то ящиком Пандоры, из которого сыплются на его страну ужаснейшие бедствия. «Борьба различных классов нашего общества наполняет собою нашу историю, — повторяет он. — Революция 1789 г. была самым общим и самым могучим ее проявлением. Дворянство и третье сословие, аристократия и демократия, буржуазия и работники, собственники и пролетарии,— все это лишь различные формы и различные фазы социальной борьбы, от которой мы так долго страдаем... Это — бич, это — стыд, недостойный нашего времени. Внутренний мир, мир между различными классами граждан, социальный мир! Это — самая важная потребность Франции, это — крик спасения» [1]).

Преобладание средних классов составляет характеристическую черту французской истории после 1789 г. Указав на это, Гизо пишет целый панегирик буржуазии. Но он ясно видит, что ее господству грозит страшная опасность. «Теперь на арену вышел новый борец. Демократический элемент подразделился. Против средних классов выдвигают рабочие классы, против буржуазии — пролетариат. И эта новая война тоже ведется на смерть, потому что новый претендент так же исключителен, как и все прочие» [2]).

Пролетариат грозит уничтожить господство «средних классов». «Средние классы» боятся пролетариата, и потому их теоретики проповедывают *мир.* Но прочный мир может быть заключен только тогда, когда пролетариат перестанет оспаривать право буржуазии на существование. Гизо прекрасно понимает это. Он доказывает теперь, что все классы, существующие во Франции, составляют «естественные, глубокие элементы французского общества» [3]). И он утверждает, что признание справедливости этой мысли всеми борющимися между собою сторонами было бы огромным шагом вперед в направлении к социальному миру. В самом деле, признав справедливость этой мысли, пролетариат тем самым признал бы *«естественность»* своего подневольного положения. Но это-то и нужно было перепуганному идеологу буржуазии.

Не один Гизо проповедовал социальный мир и не один Гизо изменил свое отношение к классовой борьбе после того, как на арену выступил «новый борец». Мы уже знаем, как относился Минье к «бесчинствам»

Парижской Коммуны. Что касается Ог. Тьерри, то для его настроения после 1848 г. характерно предисловие к «Essai sur

[1]) «De la Démocratie». Paris 1849 p. 35.
[2]) Ibid., p. 107.
[3]) Ibid., p. 105.

l'histoire du Tiers-Etat», вышедшему в 1833 г. История третьего сословия была историей социальной войны среднего класса с аристократией. Ог. Тьерри был, как мы знаем, одним из первых, обративших внимание читающей публики на классовый характер этой войны. Отрицать этот характер значило бы лишить историю третьего сословия всего ее значения. Но, с другой стороны, в 1853 г. Тьерри уже не мог говорить о классовой борьбе без серьезных оговорок. И вот он оговаривается. Он замечает, что классовая борьба, составляющая предмет его книги, не имеет ничего общего с классовой борьбой пролетариата против буржуазии. Описываемая им борьба была благодетельна по своим последствиям и велась в течения целых столетий, а борьба пролетариата с буржуазией началась «только вчера и совершенно нарушает общественную безопасность». Классовый интерес пролетариата кажется ему *узким,* а классовый интерес третьего сословия очень *широким* потому, что третье сословие охватило всю нацию, за исключением дворянства и духовенства.

Это рассуждение чрезвычайно характерно в психологическом отношении, хотя, как мы увидим ниже, сторонникам революционной борьбы с буржуазией очень легко было опровергнуть Ог. Тьерри его же собственными доводами.

Научное убеждение в исторической важности классовой борьбы было, однако, так сильно у французских историков времен реставрации, что когда у них проходил страх перед революционным движением пролетариата, они снова начинали говорить своим прежним языком. Для примера мы опять сошлемся на Гизо.

В 1858 г. он издал свои «Воспоминания», в первом томе которых речь идет именно о том времени, когда он с пылким энтузиазмом молодости проповедовал классовую борьбу среднего класса с аристократией. Упомянув о своей брошюре «Du gouvernement de la France», представляющей, как мы уже знаем, самое горячее воззвание к такой борьбе, Гизо признается, что, перечитав ее через 36 лет после ее выхода, он вынес такое впечатление: «Рассматривая вещи по существу и в них самих, как историк и как философ, я не вижу в своей брошюре ничего такого, что я должен был бы взять назад. Я продолжаю думать, что

высказанные в ней общие идеи справедливы, великие социальные факты правильно оценены, политические деятели хорошо поняты и верно изображены... Но... я слишком много требовал от людей».

Научная добросовестность взяла верх над страхом перед «новым борцом», и престарелый теоретик буржуазии уже не смотрит на

классовую борьбу, как на стыд и горе Франции. Он утверждает, что в брошюре «Du gouvernement» социальные факты оценены верно, а это значит, что социальная война—борьба классов—*сделала историю Франции.* Откровенно высказывая это, Гизо обнаружил несравненно больше уважения к научной истине, чем все те нынешние «ученые», которые избегают упоминания о классовой борьбе с таким же старанием, с каким христиане должны, по совету апостола Павла, избегать всяких разговоров о «мерзостях», запрещенных седьмой заповедью.

Итак, было время, когда буржуазия прекрасно понимала историческую роль классовой борьбы. Если она теперь не понимает или делает вид, что не понимает этой роли, если она проповедует «социальный мир», то это очень хорошо объясняется дальнейшей историей буржуазного общества, страхом перед «новым борцом». И если в настоящее время теоретики буржуазии охотно распространяются на тему о «социальном мире» и ставят в тяжелую вину социал-демократам их проповедь классовой борьбы, то социал-демократы могут ответить им, как отвечал когда-то Гизо теоретикам аристократии: Выродившиеся потомки класса, некогда безраздельно господствовавшего над цивилизованным миром и заставлявшего трепетать королей, вы отрекаетесь от своих предков и от своей истории! И, подобно Гизо, мы имеем право насмешливо удивляться тому, что наши противники стали слишком смиренны в своих воспоминаниях, и иронически спрашивать их: «Неужели мы должны забыть историю только потому, что ее выводы оказались неблагоприятными для вас?»

А как понимать всех социалистов, которые, под предлогом критики марксизма, хотят умалить значение классовой борьбы и, подобно его превосходительству, господину министру Мильерану, заявляют, что не следует восстановлять рабочих против буржуазии? Предоставляем судить об этом самому читателю.

В настоящее время социализм не может не стоять на точке зрения классовой борьбы. Но социалисты не всегда стояли на ней. Пока социализм находился в детском периоде своего развития, его приверженцы тоже готовы были оплакивать классовую борьбу, как стыд и горе человечества. Этому как будто противоречат вышеизложенные взгляды Сен-Симона. Но не нужно забывать, что у Сен-Симона речь везде

идет о борьбе *промышленников* против *феодалов,* а не о борьбе *пролетариата с буржуазией.* Пролетариат не существует для Сен-Симона, как класс, способный играть самостоятельную роль в истории. В «Женевских письмах» он говорит «неимущим»,

что, захватив власть во время революции, они сумели создать только *голод.* **А** в своей «Промышленной системе» он, желая побудить буржуазию к принятию его воззрений, пугает ее рабочим классом, в среде которого идеи равенства («турецкого равенства», как выражается он) могут, по его словам, получить широкое, но вредное для цивилизации значение [1]). Буржуа-предприниматели были в глазах Сен-Симона естественными руководителями рабочих. Авторы «Манифеста» справедливо говорят, что творцы утопических систем «видели уже антагонизм классов, равно как и влияние разрушительных элементов внутри самого господствующего общества. Но они не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения». Верные этому воззрению, социалисты-утописты обращались не к пролетариату, а ко всему современному им обществу. Так, Ж. Перейр в своих лекциях, читанных в парижском Атенее в 1831 г., категорически заявлял от лица сен-симонистов, что они, как «люди прогресса», хотят спасти все человечество, «а не тот или другой народ, не тот или другой класс» [2]). Подобно этому и в глазах фурьеристов одним из главных достоинств доктрины их учителя являлось то обстоятельство, что она не выражала собою борьбы «противоположных интересов в обществе» [3]). Наконец, укажем еще на Луи Блана, который в январе 1845 г. писал во введении к своей знаменитой брошюре «Organisation du travail»: «В этой книге я обращаюсь к вам, богатые, потому что в ней говорится о бедных. Ибо их дело есть ваше дело» [4]).

[1]) Du système industriel, Paris 1821, p.p. 205—207.
[2]) Leçons sur l'industrie, Paris 1832, p. 39.
[3]) V. Considérant, Destinée Sociale t. II, 3-e ed., p.p. 8 и след.
[4]) Судите после этого об учености и глубокомыслии господина профессора Кареева, замечающего в своей статье о книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»: «Автор сделал непростительную ошибку, оставив без рассмотрения историка социалиста Луи-Блана, который выступил много раньше Маркса и в воззрениях которого мы видим, с одной стороны, дальнейшее развитие взглядов О. Тьерри и Гизо на классовую борьбу в истории, а с другой, и дальнейшее развитие идей Сен-Симона» (Старые и новые этюды об экономическом материализме, С.-Петербург 1896, стр. 211).

Ог. Тьерри и Гизо в свое время проповедовали классовую борьбу среднего класса с дворянством. Вся история Франции учила, по их словам, тому, что третье сословие не дождется никаких добровольных уступок от аристократии. Луи Блан уверял, что дело бедных есть дело богатых, и обращался с своим проектом организации труда не к пролетариату, а к буржуазии. Г. Кареев называет это дальнейшим развитием взглядов Ог. Тьерри и Гизо на классовую борьбу в истории. Это свидетельствует лишь о неразвитости его собственных взглядов на классовую борьбу и на историю социализма.

Такие взгляды социалистов-утопистов представляют собою и в теоретическом, и в практическом отношениях огромный шаг назад в сравнении с вышеизложенными взглядами идеологов революционной буржуазии и объясняются неразвитостью тогдашнего капитализма. Они не остались, конечно, без вредного влияния на развитие классового самосознания рабочих, но они не остановили этого развития и не могли остановить его. Рост капитализма вел за собою как численный рост пролетариата, так и умственное его пробуждение. Уже в октябре 1836 г. существовавший в Лондоне «Рабочий союз» принял устав, который очень недвусмысленно указывал на необходимость разрыва рабочего класса с партиями господствующих классов [1]). С другой стороны, во Франции большинство членов тайных революционных обществ вербуется в среде рабочего класса. Какие идеи распространялись между членами этих обществ, показывает следующий отрывок из диалога, происходившего при принятии новых членов в коммунистическое общество «Времен года».

«Вопрос. Из кого состоит теперь аристократия?

Ответ. Родовая аристократия была уничтожена в июле 1830 г., теперь аристократами являются богачи, которые составляют такую же жадную аристократию, как и старая.

Вопрос. Можно ли ограничиться низвержением правительства?

Ответ. Надо уничтожить всех аристократов и все привилегии, иначе не выйдет.

Вопрос. Принадлежат ли к народу те, которые, подобно аристократам, имеют права, не исполняя никаких обязанностей?

Ответ. По настоящему они не должны принадлежать к нему. Они представляют собой для общественного тела то же, что нарыв для тела отдельного человека.

Устранение нарыва есть первое условие выздоровления. Уничтожение аристократии есть первое условие возвращения общественного тела к справедливому состоянию» и т. д. [2]).

С нашей нынешней точки зрения, практические программы тогдашних коммунистов-заговорщиков являются еще менее удовлетворительными, чем их теоретические воззрения. И, однако, их твердая

уверенность в том, что освобождение рабочего класса («народа») немыслимо без борьбы с высшими классами («аристократией»), очень

[1]) «Die Entstehung und die ökonomischen Grundsätze des Chartismus von Dr. John L. Tildsley». Jena 1898. стр. 2-4.

[2]) «De la Hodde. Histoire des Sociétés secrètes et du parti républicain». Paris 1650, p. 224.

выгодно отличает их от социалистов-утопистов. Конечно, борьба кучки людей, составивших заговор во имя народных интересов, ни в каком случае не может быть названа *классовой* борьбой. Но, когда главный контингент заговорщиков поставляется рабочими, заговор представляет собой *зародыш* революционной борьбы рабочего класса. А взгляд общества «Времен года» на «аристократию» указывает на тесную генетическую связь идей тогдашних французских революционеров-коммунистов с идеями буржуазных революционеров восемнадцатого века и либеральной оппозиции реставрационной эпохи.

Мы видели, что классовой интерес пролетариата казался Огюстэну Тьерри узким, а интерес третьего сословия широким, так как сословие это охватывало всю нацию, за исключением аристократии. Французские революционеры-коммунисты исходили, подобно Огюстэну Тьерри, из сознания необходимости бороться против *аристократии* в интересах *всей остальной части общества.* Но они справедливо указывали на то, что родовая аристократия уступила место денежной и что поэтому борьба за широкие общественные интересы должна вестись уже не против дворянства, а против буржуазии. Логика была, очевидно, на их стороне, и они имели полное право упрекать своих буржуазных противников в непоследовательности.

По мере того, как росло и обнаруживалось противоречие интересов эксплуатируемых с интересами эксплуататоров, росло и крепло сознание необходимости борьбы между пролетариатом и буржуазией. Но в самом сознании этом было еще очень много утопических элементов. В коммунистической и социалистической литературе сороковых годов понятие о борьбе классов далеко еще не достигло той степени ясности, какая была ему свойственна, например, у Гизо. В этом отношении буржуазная идеология превзойдена была только «Манифестом».

Взгляд Маркса и Энгельса на борьбу классов, на значение политики в этой борьбе и на зависимость государственной власти от господствующих классов тождествен со взглядами на те же предметы Гизо и его единомышленников. Вся разница в том, что одни, отстаивают интересы пролетариата, между тем как другие защищали интересы буржуазии. Местами «Манифест» говорит языком памфлетов Гизо, или, если хотите,

некоторые памфлеты Гизо отчасти говорят языком «Манифеста» [1]). Но у авторов «Манифеста» понятие о

[1]) Для примера напомним приведенные выше строки из брошюры Гизо «О демократии», написанной в 1849 году: «Борьба различных классов наполняет собою всю нашу историю... Дворянство и третье сословие, аристократия и демо-

борьбе классов является составною частью стройной исторической теории, между тем как в исторической теории Гизо, Тьерри, Минье и других современных им идеологов буржуазии еще не сведены концы с концами. И это составляет, разумеется, огромное преимущество «социальной философии» Маркса и Энгельса.

Ниже мы внимательно рассмотрим это преимущество. Но прежде нужно подвергнуть критике некоторые «критические» замечания некоторых критиков марксизма.

Г. Вернер Зомбарт говорит:

«Начиная «Коммунистический Манифест» словами: «Вся история общества была до сих пор историей борьбы классов», Карл Маркс высказал одну из величайших истин, наполняющих наше столетие. Но он высказал не всю истину. Ибо неверно то, что вся история общества сводится единственно к борьбе классов. Если мы, вообще, хотим обнять всемирную историю одной формулой, то мы должны будем, я думаю, сказать, что вся история общества вращается вокруг двух *противоположностей,* которые я назову *социальной* и *национальной* противоположностью, понимая слово *национальность* в самом широком смысле. Человечество в своем развитии сначала собирается в общества, которые первоначально ведут взаимную борьбу, но потом внутри них начинается борьба их членов за более высокое положение... Таким образом мы видим, с одной стороны, стремление к тем же целям отдельных членов. Таковы, кажется мне, две противоположности, наполняющие собою всю историю» [1]).

Маркс нашел часть истины. Критически мыслящий г. Зомбарт с своей стороны дополнил сказанное Марксом, и теперь мы, к нашему счастью и удовольствию, обладаем полной истиной, свободной от крайностей и преувеличений. Это очень приятно, но, во-первых, взаимная борьба отдельных членов общества за более высокое положение не есть еще борьба классов, как это прекрасно доказывают своим примером современные нам предприниматели, которые ожесточенно борются между собою за покупателей, но чужды всякой мысли о *классовой* борьбе с себе подобными. А, во-вторых, что такое «национальная борьба» г. Зомбарта? Это есть не что иное, как борьба отдельных государств между

собою. Спрашивается, неужели же авторы «Манифеста» упустили из вида историческое значение этой борьбы?

кратия, буржуазия и работники,— все это лишь различные формы и различные фазы социальной борьбы»... Это почти дословно то, что говорится в начале первой главы «Манифеста».

[1]) «Sozialismus und soziale Bewegung im Jahrhundert», S.S. 1—2.

Это было бы странно. Тем более странно, что те же авторы и в том же «Манифесте» говорят, что буржуазия всякого данного государства ведет непрерывную борьбу с буржуазией других государств («Манифест», стр. 13). В чем же дело? Просто-напросто в том, что г. Вернер Зомбарт плохо понял мысль «Манифеста».

В каком смысле употребляет Маркс слово *общество?* В том же самом смысле, в каком употреблял его Гизо, рассуждая о зависимости *политического* строя от *общественного* [1]). И у того, и у другого слово *общество* есть сокращенное обозначение того, что они же называли гражданским обществом в *отличие от государства.* Когда авторы «Манифеста» говорят, что буржуазия каждой данной страны ведет непрерывную борьбу с буржуазией других стран, то они имеют в виду борьбу *между государствами, международную* или — по терминологии г. Вернера Зомбарта — *национальную* борьбу. А когда они говорят, что вся история общества была до сих пор историей борьбы классов, они подразумевают историю *гражданского общества* или, иначе, *внутреннюю историю государств* [2]). Эта история была, по их мнению, историей борьбы классов, и относительно *этой* истории с ними по существу соглашается их «критик». Выходит, значит, что сделанная г. Зомбартом поправка есть не более, как плод недоразумения.

Маркса и Энгельса чаще всего «критикуют» таким образом: сначала их немножко не поймут или исказят, а потом немножко поправят. И так поступают милостивые критики, а немилостивые совсем уже не стесняются с ними: они бесцеремонно приписывают им ахинею, глубокомысленно заявляя, что пора уже покончить с марксовой «догмой».

Бенедето Кроче находит неясным самое понятие о борьбе классов. «Я готов сказать,— говорит он,— что история есть борьба классов: 1) когда существуют классы; 2) когда они имеют противоположные интересы; 3) когда они сознают их противоположность. Но это привело бы нас к тому юмористическому положению, что история есть борьба классов только тогда, когда она есть... борьба классов! В действительности случалось, что классы не имели противоположных интересов, и очень часто они не сознают их противоположности, что очень хорошо известно социалистам, которые стараются, иногда

[1]) См выше.

[2]) Ср. предисловие к «Zur Kritik», где хорошо видно, какое значение придает Маркс слову общество. Ср. также «Die heilige Familie», S. 189.

безуспешно (так, например, это до сих пор им не удавалось и в крестьянской среде), породить ее сознание в новейшем пролетариате»

Эти замечания могут показаться на первый взгляд довольно меткими и поэтому заслуживают внимания.

Борьба классов имеет место только там и только тогда, где и когда существуют классы. Это, конечно, совершенно верно: странно было бы говорить о классовой борьбе в таком обществе, в котором отсутствуют классы. Но в каком же обществе они отсутствуют? Только в самом первобытном. Но оно неустойчиво: уже на очень ранней ступени развития еще задолго до полного разложения родовой организации в среде «дикарей» появляется имущественное неравенство, а вслед за ним не только антагонизм интересов, но и *сознание этого антагонизма.* Одним из самых замечательных произведений эскимосской поэзии является сказка, герой которой — сын *бедной* вдовы — мстит своим *богатым* сородичам за испытанные от них унижения. А между тем у эскимосов до сих пор еще чрезвычайно сильно чувство солидарности, воспитанное первобытным коммунизмом.

Кроме того, нужно помнить, что в первобытном обществе очень рано возникает разделение труда между мужчинами и женщинами, чем порождается *антагонизм полов,* сказывающийся и в пище, и в нравах, и в развлечениях, и в искусстве, и даже в языке. Тому, кто упустит из вида материальные и духовные последствия этого антагонизма полов, останутся совершенно непонятными многие важные стороны первобытной жизни. А если мы перейдем к более развитым обществам, то без труда заметим как существование в них различных классов, так и их беспрерывную борьбу, отражающуюся и в государственном устройстве, и в праве, и в религии, и в поэзии, и во всем, вообще, художественном творчестве.

Верно и то, что интересы различных общественных классов не всегда *противоположны.* Но для возникновения классового антагонизма достаточно простого *различия* интересов. Там, где между бедными и богатыми еще не установились отношения наемников к нанимателям, нередко замечается именно только это различие, которое, однако, порождает жестокую борьбу классов. А иногда для возникновения

классовой борьбы не нужно и имущественного неравенства, а достаточно различия местных интересов, как это хорошо видно из

[1]) «Critique de quelques concepts du marxisme» в «Devenir Social», Février 1898 p.p. l21—122.

первоначальной истории Афин с ее борьбой между диакриами, паралиями и педиеями [1]).

Говоря, что антагонизм интересов не всегда сознается общественными классами, г. Кроче высказывает мысль, верную только отчасти. Возьмем хоть русскую историю. Много ли в ней можно насчитать крестьянских восстаний? Очень немного: восстание Разина и Пугачева в Великороссии и казацкие войны в Малороссии наполняют собою лишь некоторые сравнительно весьма непродолжительные периоды, отделенные один от другого более или менее длинными промежутками. Но чем характеризуются эти промежутки? «Социальным миром?» Нет, о социальном мире или хотя бы о перемирии и тогда ничего не было слышно. «Социальная война» не прекращается и в эти промежутки, она только изменяет свой характер, *из явной делаясь скрытою.* Общество по-прежнему остается разделенным на два враждебных лагеря: здесь — «паны», «господа», там — «хлопы», «мужики». Каждый из этих двух лагерей очень хорошо видит стену враждебных чувств, взглядов и действий, отделяющую его от другого лагеря: «господа» бранят «мужиков» и стараются «подтянуть» их как можно больше, «мужики» смеются над «господами» и сопротивляются «подтягиванию» всеми зависящими от них способами. И каждый год, даже каждый месяц, скрытая война то там, то здесь переходила в явную, ограниченную, правда, малым районом; мужики «бунтуют», господа «усмиряют» с помощью находящейся в их распоряжении военной силы. Наши народники были правы, утверждая, что борьба крестьян за землю и волю проходит красной нитью через всю русскую историю. Но что же такое эта борьба за землю и волю, если не классовая борьба с помещиками и государством, в котором распоряжались те же помещики? «Мужик» прекрасно сознавал противоположность своих интересов с интересами помещиков. И если, тем не менее, борьба, веденная им, не может быть названа *сознательной классовой борьбою,* то только потому, что для сознательной классовой борьбы недостаточно видеть антагонизм интересов, а нужно еще понимать, какими средствами могут быть побеждены люди, защищающие противоположные интересы. Русское крестьянство, как известно, не отличалось этим пониманием. Поэтому и веденная им

[1]) См. Griechische Geschichte von E. Curtius, I. B. Berlin 1857, S.S. 254-255, ср. Hegel's — Philosophie der Geschichte (herausgegeben von E. Gans) S. 261: «Der Unterschied der Stände beruht auf der Verschiedenheit der Lokalität».

борьба была в значительной степени «стихийной» борьбою. Но она не переставала быть классовой борьбой.

Г. Кроче смешивает сознательную борьбу с сознанием антагонизма и потому думает, что там, где нет *сознательной* классовой борьбы, классовая борьба совершенно не имеет места. Он не понимает, что более или менее ожесточенная, явная или скрытая, сознательная или бессознательная классовая борьба есть повсеместное следствие разделения общества на классы.

Верно, наконец, и то, что современные социалисты всеми силами стараются развивать самосознание рабочих. Но мы не понимаем, каким образом г. Кроче может ссылаться на этот бесспорный факт, как на довод против учения о борьбе классов. О современных социалистах можно сказать словами «Манифеста». «Они отличаются от других рабочих партий только тем, что на различных стадиях, через которые проходит борьба пролетариев против буржуа, они всегда защищают общие интересы движения в его целом». Но из этого вытекает только тот вывод, что не все рабочие отличаются одинаковой степенью классового самосознания и не все одинаково хорошо понимают общие интересы рабочего движения.

Разделение общества на классы вызывается экономическим его развитием. Но ход *идей* опережается ходом *вещей.* Поэтому *сознание людьми* отношений, существующих между ними в общественном процессе производства, отстает от *развития* этих отношений. Кроме того, даже в пределах одного и того же класса сознание развивается не одинаково быстро: одни из его членов раньше, другие позже схватывают сущность данного порядка вещей. Этим создается возможность идейного воздействия передовых на отсталых, социалистов на таких пролетариев, которые еще не дошли до социалистического миросозерцания [1]). Г. Кроче хочет, по-видимому, сказать, что классового сознания вовсе нет там, где еще нужно развивать его. Но, во-первых, недостаточное развитие самосознания еще не означает его отсутствия. А во-вторых, если бы и можно было встретить теперь таких рабочих, которые верили бы в гармонию их интересов с интересами предпринимателей, то о таких отсталых и совершенно лишенных классового самосознания рабочих нужно было бы сказать, что они еще не разделались с миросозерцанием,

свойственным периоду классовой борьбы другого рода, борьбы третьего сословия с аристо-

[1]) Что это воздействие совершается в общем совсем не «безуспешна», доказывается повсеместным ростом социалистической партии.

кратией. Тогда третье сословие еще не сознавало экономического антагонизма, таившегося в его собственных недрах. Нельзя удивляться, если взгляды, выработавшиеся в эпоху классовой борьбы одного рода, отчасти сохранились, как пережиток, до нашей эпохи, ознаменовавшейся классовой борьбой другого рода; ведь развитие сознания отстает от развития экономики.

Выходит, что в современном обществе, куда ни оглянешься, везде увидишь влияние борьбы классов. Выходит также, что «юмористические» положения высказывает не кто другой, как сам г. Кроче.

Г. Кроче—умный и способный человек. Но в его мышлении недостает диалектического элемента, и этим недостатком обусловливаются почти все его «критические» потуги и неудачи [1]).

Пойдем дальше. Выше мы сказали, что авторы «Манифеста» обладали стройной исторической теорией, между тем как в исторических взглядах идеологов буржуазии не были сведены концы с концами. Теперь нам надо пояснить и указать это.

Ог. Тьерри, Минье, Гизо и другие историки, стоящие на точке зрения интересов «среднего класса», видели в имущественных отношениях самую главную, самую глубокую основу политического строя данной страны и даже взглядов, господствующих в ней [2]).

1) Заметим мимоходом, что отождествление «крестьян» с «новейшими пролетариями» в высшей степени странно со стороны человека, все-таки недурно знакомого с литературой предмета.

[2]) Если это предисловие попадет в руки ученого проф. Кареева, то он воскликнет по нашему адресу, как воскликнул уже по адресу другого писателя: «Это говорится о Гизо, признававшем такую важную роль за индивидуальным развитием! Это говорится об Ог. Тьерри с его теорией о расе, играющей такую роль в объяснении событий!» («Старые и новые этюды», стр. 209). Но ученый профессор воскликнет так только по незнанию дела. Гизо действительно приписывал большое значение индивидуальному развитию, но это развитие фигурирует у него, как желательное последствие общественного развития, а не как одна из его основных причин. Что касается Тьерри, то в его исторической теории отводится большое место не «расам», а завоеванию одной расы другою. С какою же целью совершаются завоевания? На этот вопрос Тьерри, не колеблясь, ответил бы: ради положительных (имущественных) интересов. Так, по крайней мере, отвечает его знаменитая книга: «Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands». Вспомните следующее место, Перед гастингской битвой один из англов говорит: «Мы должны защищаться потому, что дело идет не о новом короле, а совсем о другом предмете... Норман роздал земли своим военачальникам, своим всадникам, всем своим людям... И если он сделается нашим королем, он вынужден будет передать в распоряжение своих людей наше имущество, наших жен и дочерей». С своей стороны, Вильгельм-Завоеватель говорил своим воинам: «Сражайтесь хорошенько и убивайте всех, ибо,

В этом отношении их взгляды мало чем отличаются от взглядов Маркса и Энгельса, и когда Маркс впоследствии писал, что правовые отношения и государственные формы не объясняются ни собственной своей природой, ни так называемым общим развитием человеческого духа, а коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель называл гражданским обществом [1]),— он только повторял выводы, к которым значительно раньше его пришла, под влиянием общественного развития и связанной с ним борьбы классов, историческая наука. Вся разница сводилась к тому, что у предшественников Маркса происхождение имущественных отношений и интересов оставалось совсем невыясненным, между тем как у Маркса оно выходило совершенно понятным.

У Гизо, Минье, Тьерри и у всех историков и публицистов, стоявших на их точке зрения, имущественные отношения общества нередко объяснялись *завоеванием.* Но они сами указывали на то, что завоевание совершается ради известных *«положительных интересов».* Откуда же берутся эти интересы? Ясно, что их существование обусловливается имущественными отношениями как в стране завоевателей, так и в той стране, которая попадает под их иго [2]). Получается заколдованный круг: имущественные отношения и интересы объясняются завоеванием, а завоевание объясняется имущественными отношениями и интересами. Пока историческая теория не вышла из этого заколдованного круга, она по необходимости впадала в эклектизм и в противоречия. Таких противоречий не мало у всех вообще историков рассматриваемого направления.

Иногда историки апеллировали к человеческой природе. Но одно из двух: человеческая природа или остается неизменной в продолжение исторического процесса, или ока изменяется. Если она остается неизменной, то очевидно, что не ею могут быть объясняемы перемены, совершающиеся в истории. А если она сама изменяется, то ссылки на нее ничего не объясняют, так как нам надо прежде всего объяснить причины ее собственных изменений: новый заколдованный если мы победим, мы все будем богаты. То, что я приобрету, приобретете и вы, то, что я завоюю, завоюете и вы, если у меня будет земля, будет она и у вас» (см.

стр. 300 первого тома парижского издания 1825 г.). Возражения г-на Кареева против «экономического материализма» так полны недоразумений и так бессодержательны, что заставляют вспоминать слова Прудона: «Il faut qu'un professeur parle, parle, varie non pas pour dire quelque chose, mais pour ne pas rester muet»

[1]) «Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort».
[2]) См. примечание второе на стр. 305.

круг, новый источник противоречий и эклектизма в исторической науке.

Ярким примером такого эклектизма и таких противоречий может служить знаменитая книга Токвилля «О демократии в Америке», которую Ройе-Колляр называл продолжением книги Монтескье «О духе законов». Токвилль говорит, что раз дан известный социальный строй, его можно рассматривать, как первую причину большей части законов, обычаев и идей, «определяющих собою поведение наций». Чтобы понять законодательство и нравы данного народа, надо начать с изучения социального строя [1]). Но откуда же берется социальный строй? В ответ на это Токвилль ссылается на человеческую природу. Мы уже знаем, что такие ссылки ничего не объясняют. Знал или по крайней мере подозревал это и сам Токвилль, который еще в своих письмах из Америки говорил: «Здесь процветают такие учреждения, которые непременно вызвали бы переворот во Франции. Люди здесь такие же, как и у нас, но только они поставлены в другие условия» [2]).

Из этих слов вытекает тот неизбежный и несомненный вывод, что человеческая природа совсем не дает нам ключа для понимания американских учреждений.

В других местах Токвилль старается объяснить происхождение социального строя действием *законов.* Но так как, по его же словам, законодательство страны объясняется ее социальным строем, то мы опять наталкиваемся на противоречие. Сам Токвилль более или менее смутно сознавал это противоречие и старался справиться с ним. Но все его усилия остались напрасными: его анализ оказался в этом случае совершенно бессильным.

Историческая теория Маркса разрешает это противоречие и тем самым вносит ясность и последовательность туда, где до тех пор было много важных частностей, глубоких мыслей и верных замечаний, но не было основного принципа, способного связать все эти важные частности, глубокие мысли и верные замечания в одно стройное целое.

По теории Маркса, социальный строй — общественные отношения людей — объясняется их *экономическими отношениями:* «анатомию гражданского общества надо искать в его экономии». Чем же создаются

отношения этого рода? Если бы Маркс стал объяснять их происхождение взглядами, чувствами или вообще «природой» людей, то

[1]) См. «De la Démocratie en Amérique». Paris 1836, t. I, p. 74.

[2]) «Nouvelle correspondance de Alexis Tocqueville», Paris 1866; письмо к отцу от 3-го нюня 1830 г.

он попал бы в те же самые противоречия, в каких вращались его предшественники. Но Маркс объясняет его совершенно иначе.

Чтобы *жить,* люди должны *производить.* Чтобы производить, они должны известным образом сочетать свои усилия, установить друг с другом известные отношения, которые у Маркса называются *производственными отношениями.* Совокупность этих отношений и составляет *экономическую структуру общества,* на основе которой вырастают все другие (социальные) отношения людей и, между прочим, весь *«гражданский быт»,* игравший такую важную роль в теориях французских историков времен реставрации.

В каждую данную эпоху характер производственных отношений определяется не «случаем» и не «природой» людей, а теми естественными условиями, среди которых людям приходится бороться за свое существование. От этих условий и прежде всего от свойств географической среды зависит состояние *производительных сил,* находящихся в распоряжении людей. Данному состоянию производительных сил соответствуют данные отношения производства, а данным отношениям производства соответствует данный социальный строй, свойства которого, влияя на психику людей, обусловливают собою умственное, нравственное и все вообще так называемое *духовное* развитие людей.

Но самый процесс производства и сочетание человеческих усилий в этом процессе, увеличивая запас опыта, ведут к дальнейшему развитию производительных сил, вследствие которого возникает и постепенно усиливается *несоответствие* между этими силами, с одной стороны, и производственными отношениями — с другой. Прежде эти отношения содействовали дальнейшему росту производительных сил, теперь они начинают задерживать его. Тогда начинается *революционная* эпоха общественного развития, которая рано или поздно заканчивается разрушением устарелых производственных, — а следовательно, и имущественных,— отношений и всего «гражданского быта».

Борьба против устарелых производственных отношений заставляет людей стать в критическое отношение не только к старому общественному порядку, но также к тем идеям, к тем чувствам и вообще к той *«психике»,* которая выросла на почве старого порядка. Революю-

ционному движению в области общественных отношений соответствует поэтому революционное движение в области духовной жизни. Трудно ли понять,— говорят Маркс и Энгельс во второй главе «Манифеста»,— что с образом жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественными положениями, меняются также их пред-

ставления, воззрения, понятия, словом, все их миросозерцание; что е доказывает история идей, если не то, что умственная деятель-ость преобразуется вместе с материальной?».

Такова историческая теория Маркса и Энгельса. Эта теория пропитывает собой весь «Манифест» и составляет то, что можно, не рискуя ошибиться, назвать его основною мыслью.

С точки зрения этой основной мысли авторы «Манифеста» оценивают и свою собственную эпоху. Если они считают ее *революционной,* то именно и единственно потому, что они замечают несоответствие между созданными капитализмом производительными силами и свойственными капитализму отношениями производства. «Современное буржуазное общество с его организацией производства и обмена,— говорят они,— как бы волшебством создавшее такие могущественные средства производства и сообщения, находится в положении волшеб-ника, который не в состоянии справиться с вызванными его заклинаниями подземными силами. Вот уже несколько десятилетий история промышленности и торговли представляет собою историю возмущения современных производительных сил против современной организации производства, против имущественных отношений, тих условий жизни для буржуазии и ее господства. Чтобы пояснить то, достаточно назвать торговые кризисы, которые, возвращаясь периодически, все более и более угрожают существованию всего буржуазного общества» («Манифест», стр. 8).

«Так как буржуазные отношения производства ставят рабочих тяжелую зависимость по отношению к капиталу, то неудивительно, то в их среде существует недовольство, которое растет вместе с ростом указанного противоречия и переходит в революционное движение, направляющееся против всего нынешнего общественного порядка. Буржуазия «не только выковала оружие, которое нанесет ей смертельный удар, она породила также людей, которые направят это оружие — современных работников, пролетариев» («Манифест», стр. 9).

Все это показывает, до какой степени неверно характеризуется историческая теория Маркса и Энгельса общеупотребительным термином: *экономический материализм.* Если он должен обозначать теорию, признающую имущественный интерес главнейшим двигателем исторического прогресса, то французских историков времен реставрации можно

с полным правом назвать экономическими материалистами. Но эти «экономические материалисты» были на самом деле совершенно чужды материализма и оставались *идеалистами*, поскольку не дела-

лись эклектиками. Происхождение имущественных отношений и интересов получало у них совсем не материалистическое объяснение. Если же теория Маркса была насквозь пропитана материализмом, то вовсе не потому, что она отводила в истории чрезвычайно важную роль имущественным интересам, а потому, что, приурочивая развитие этих интересов к развитию производственных отношений, вызываемому ростом производительных сил, она впервые дала материалистическое объяснение эволюции общественной мысли, совершенно утратив идеалистическое объяснение этой эволюции свойствами человеческого «духа» или вообще человеческой «природы». Неудивительно поэтому, что *полумарксисты,* восстающие против *материализма,* упорно держатся за выражение: *«экономический* материализм».

Они понимают, что под этим выражением могут укрыться совершенно идеалистические взгляды [1]).

Бывший марксист и социал-демократ, г. Бернштейн, находит, что историческая теория Маркса и Энгельса наиболее точно обозначается предложенным Бартом названием: *экономическое понимание истории.* После всего сказанного излишне говорить, что это мнение г. «критика» основывается лишь на полном непонимании истинного характера «критикуемой теории» [2]).

Раз заговорив об этом «критике», напомним читателю, что, по его мнению, историческая теория Маркса и Энгельса сама прошла через процесс развития, в результате которого получилось некоторое ограничение роли экономического «фактора» в истории, в пользу других, *не экономических «факторов».* В пользу этого своего мнения г. Бернштейн приводит такие доводы. В 1859 г. в предисловии к «Zur Kritik der politischen Ökonomie» Маркс признает за определяющий фактор данные материальные производительные [3]) силы и производственные отношения «людей», между тем как позже, в споре с Дюрингом, Энгельс «еще при жизни Маркса и в согласии с ним»

[1])Хороший пример: исторические взгляды Сен-Симона имели идеалистическую основу, а между тем и он, как мы видели, был экономическим материалистом не меньше Минье, Гизо или Ог. Тьерри.

[2])Г. Бернштейн утверждает, что «на основе материалистического понимания истории покоится учение о классовой борьбе» («Условия возможности социализма», Лондон 1900, стр. 17). Читатель знает теперь, что учение о классовой борьбе возможно не только на основе материалистического понимания истории. Но какое дело до этого г. Бернштейну? Он «критикует», а не изучает.

[3])Русский переводчик г. Э. Бернштейна поставил вместо производительных — производственные силы («Условия возможности социализма», стр. 6). Это совершенная бессмыслица.

дает историческому материализму другое «объяснение». Именно: «там значится, что *последние* [1]) *причины* всех общественных перемен и переворотов надлежит искать не в головах людей, а в изменениях способа производства и обмена. Но последние причины не исключают одновременно действующих других причин,— причин второй, третьей и других степеней,— и ясно, что чем значительнее ряд таких причин, тем сильнее ограничивается как качественно, так и количественно определяющая сила последних причин. Факт влияния их остается, но окончательная форма вещей зависит не от него одного [2]).

Г. Бернштейн думает, что «в позднейших работах Энгельс еще больше ограничил определяющую силу производственных отношений». В доказательство он указывает на два письма Энгельса, напечатанных в «Sozialistischer Akademiker» за октябрь 1895 г. и написанных: одно — в 1890 г., а другое в 1894 г. Содержание этих писем хорошо характеризуется двумя цитатами, сделанными из них г. Бернштейном.

Первая из них гласит: «Таким образом, имеются бесчисленные, взаимно-скрещивающиеся силы, бесконечная группа параллелограмов сил, дающих *равнодействующую,*— историческое событие,— которая сама опять может рассматриваться, как продукт силы, работающей, как целое, без сознания и воли, ибо то, что каждый в отдельности желает, встречает помеху со стороны всех других, и то, что получается, есть нечто, чего не желал никто» (письмо 1890 г.).

Во второй цитате мы читаем следующее: «Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и проч. развитие покоится на экономическом. Но все они реагируют одно на другое и на экономический базис» (письмо 1895 года).

Сделав эти цитаты, г. Бернштейн замечает: «Читатель согласится, что это звучит несколько иначе, чем приведенное в начале место из Маркса» [3]).

«Вначале» им приведено место из знаменитого предисловия к «Zur Kritik», говорящее о том, что способ производства материальной жизни обусловливает собою процесс социальной, политической и умственной жизни. Допустим на минуту, что место это действительно «звучит» иначе, чем вышеприведенные цитаты из писем Энгельса, и

[1]) Русский переводчик вместо «последних» причин поставил «конечные» причины, о которых в теории Маркса не может быть и речи.

[2]) Ibid., стр. 9.

[3]) Ibid., стр. 9.

посмотрим, как «звучит» «Манифест», написанный за одиннадцать лет до выхода в свет книги «Zur Kritik der politischen Ökonomie».

Мы уже обращали внимание читателя на то, что развитие производительных сил признается там самой глубокой причиной общественного развития. В этом отношении точка зрения «Манифеста» *тождественна* с точкой зрения предисловия к «Zur Kritik». А как обстоит дело с «параллелограммами сил» и с взаимодействием различных «факторов» общественного развития?

«Манифест» показывает, каким образом успехи буржуазии в экономической области вели ее к политической борьбе и к политическим завоеваниям, которые, в свою очередь, ложились в основу ее дальнейших успехов в области экономии. Он объявляет, что *всякая классовая борьба есть борьба политическая,* и указывает пролетариату на захват им *политической* власти, как на необходимое условие его *экономического* освобождения. Словом, насчет политического «фактора» мы читаем здесь то же самое, что и в письме Энгельса 1895 г.,— политическое развитие покоится на экономическом, но вместе с тем реагирует на экономический базис.

Выходит, что взгляд, который кажется г. Бернштейну довольно поздним результатом эволюции исторической теории Маркса и Энгельса, в действительности, был еще высказан с 1848 г., т. е. в такое время, когда, по гипотезе г. Бернштейна, Маркс и Энгельс должны бы были быть,— если здесь можно так выразиться,— «чистыми экономистами».

Но ведь это выходит пока еще только по отношению к политическому «фактору», а по отношению к другим это, может быть, и неверно?

Посмотрим. «Манифест» говорит, что умственная деятельность преобразуется вместе с материальной: «Когда древний мир пришел в упадок, древние религии были побеждены христианством. Когда христианские идеи уступали место просветительным идеям XVIII в., феодальное общество вело борьбу на жизнь и смерть с революционной тогда буржуазией». Уже в этих словах заключается признание взаимодействия между экономическим развитием общества, с одной стороны, и умственным его развитием — с другой. Но признание остается здесь скрытым, и потому его еще можно оспаривать. Но последняя глава

«Манифеста» не оставляет уже ровно никакого сомнения на этот счет. В этой главе, выясняя отношение коммунистов к другим рабочим партиям, авторы говорят, что коммунисты стремятся выработать в умах рабочих как можно более ясное сознание враждебной

противоположности интересов буржуазии и пролетариата. Почему же коммунисты делают это? Очевидно потому, что признают значение *идей.* Впрочем авторы и сами спешат пояснить их цель. «Коммунистическая партия,— говорят они,— хочет, чтобы общественные и политические условия, которые принесет с собой господство буржуазии, могли послужить немецким рабочим оружием против той же буржуазии, чтобы борьба против нее началась тотчас же после падения реакционных классов в Германии». Здесь обнаруживается совершенно тот же взгляд на значение *умственного* «фактора», который мы отметили по отношению к «фактору» *политическому;* умственное развитие основывается на экономическом, но затем, в свою очередь, влияет на него (через посредство социально-политической деятельности людей). Выходит, что и идейный «фактор» был признаваем Марксом и Энгельсом не только во время полемики с Дюрингом, но еще в 1848 г.— и даже не только в 1848 г., а еще в эпоху издания «Deutsch-Französische Jahrbücher». По крайней мере, относительно Маркса это ставят вне всякого сомнения следующие замечательные строки из его статьи о гегелевской философии права:

«Ни один класс не может сыграть этой (освободительной) роли, не вызвав на время энтузиазма в себе и в массе. В течение этого времени он братается со всем обществом, его признают *всеобщим представителем,* ему сочувствуют, как таковому; в течение этого времени права и требования этого класса являются правами и требованиями всего общества, а сам он — головой общества и его сердцем».

Как видите, общественно-преобразовательная роль сознания вообще и даже энтузиазма в частности признается здесь самым категорическим образом. Психический «фактор» реагирует на общественные (а, следовательно, и экономические) отношения. А затем Маркс поясняет, каким образом указанное им отношение всего общества к «классу-освободителю» вырастает на почве борьбы классов: «чтобы одно сословие явилось сословием-освободителем par excellence, нужно, чтобы какое-нибудь другое сословие явилось в общем сознании, наоборот, сословием-поработителем. Отрицательно-универсальное значение французского дворянства и духовенства обусловливало положительно-универсальное значение стоявшего рядом с ними и против них класса буржуазии» [1]).

Вывод: уже с самого начала своей деятельности основатели научного социализма выражали тот же взгляд на взаимное отношение

[1]) «Deutsch-Französische Jahrbücher», S. 82.

различных «факторов» исторического развития, какой мы встречаем в выписках, делаемых г. Бернштейном из писем Энгельса, писанных в девяностых годах. Да иначе и быть не могло: если бы в начале своей политической карьеры Маркс и Энгельс в самом деле не придавали значения политическому и духовному «факторам» и не допускали бы воздействия их на экономическое развитие общества, то их практическая программа была бы совершенно другая: они не говорили бы, что рабочий класс не может освободиться от экономического ига буржуазии, не захватив в свои руки политической власти. И точно так же они не говорили бы о необходимости развития самосознания рабочих: зачем развивать его, если оно не играет никакой роли в общественном движении, и если все делается в истории независимо от сознания, одною силою экономической необходимости? Но кто же не знает, что развитие самосознания рабочих было ближайшей практической задачей Маркса и Энгельса с самого начала их общественной деятельности? А г. Бернштейну, как бывшему «марксисту», не мешало бы также знать и то, что энергичная умственная работа, совершавшаяся в начале сороковых годов в среде французских и английских рабочих, служила Марксу одним из главных доводов против тех писателей, которые, подобно Бруно Бауэру, не хотели знать «массы» и возлагали все свои упования на «критически-мыслящих личностей» [1]).

Попробуем построить другую гипотезу: в начале своей деятельности Маркс и Энгельс смотрели на «факторы» теми самыми глазами, какими смотрел на них Энгельс в девяностых годах. А в средине этой деятельности, около времени выхода книги «Zur Kritik», Маркс — один или вместе с Энгельсом — почему-либо изменили этот свой взгляд и впали в ту крайность, которой ожидал г. Бернштейн в предисловии к названной книге.

Но и эта гипотеза не выдерживает критики. Не выдерживает по той причине, что в названном предисловии высказывается как раз тот же взгляд на «факторы», который, по мнению г. Бернштейна, возник лишь в результате *эволюции* исторической теории Маркса. Читатель без труда согласится с нами, если даст себе труд вдуматься в ту самую цитату, на которую ссылается наш глубокомысленный «критик». «Способ производства материальной жизни вообще обусловливает собою процесс

социальной, политической и умственной жизни». Это значит, что социальный, политический и умственный «факторы» вырастают на экономической почве.

[1]) «Die heilige Familie», S. 125.

Далее: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или... с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Эти отношения перестают быть формами, способствовавшими развитию производительных сил, и становятся препятствием для него. Тогда наступает эпоха социальной революции.

Имущественные отношения относятся к области *права.* В данное время данные имущественные отношения способствуют развитию производительных сил. Это значит, что правовые формы, выросшие на данном экономическом базисе, в свою очередь, реагируют на развитие экономики. Потом,— и между прочим, благодаря этому реагированию,— наступает такое время, когда данные правовые формы начинают мешать развитию производительных сил. Это опять значит, что эти формы реагируют, хотя теперь уже в обратном смысле, на развитие общественно-экономических отношений. Вследствие противоречия между производительными силами и имущественными отношениями наступает эпоха социальной революции. *Что* достигается этой революцией? *Какая* цель преследуется ею? Устранение старых и установление новых отношений производства, новых правовых учреждений. Для чего же нужно это устранение и это установление? Для дальнейшего развития производительных сил. Это снова и снова означает, что правовые формы, выросшие на данной экономической основе, с своей стороны влияют на эту основу. Неужели это не то же самое, что говорилось в «Манифесте», повторялось почти во всех других сочинениях Маркса и было указано в цитируемых г. Бернштейном письмах Энгельса?

А психический «фактор»? Может быть, о нем в предисловии говорится не то, что в других сочинениях Маркса и Энгельса? О нем мало говорится в предисловии, но то, что говорится там, нисколько не противоречит тому, что сказано в письмах Энгельса. Развитие производительных сил ставит людей в известные отношения производства, ведет к возникновению известных правовых форм. Данным правовым формам соответствуют известные правовые понятия людей. С дальнейшим ростом производительных сил, по мере того, как их состоянию перестают

соответствовать старые правовые формы, в головах тех людей, интересы которых нарушаются таким несоответ-

[1]) «Условия возможности социализма», стр. 6. Мы воспроизводим эту выписку, делая необходимые поправки в ужасном русском переводе ее,

ствием, возникает сомнение в пригодности и справедливости старых правовых учреждений; у них являются новые понятия о праве и о справедливости, соответствующие вновь достигнутой обществом ступени развития производительных сил. В сторону этих новых понятий о праве и о справедливости направляется критическая деятельность борцов против старого порядка, ведущая к созданию новых правовых учреждений, дающих новый толчок развитию производительных сил, и т. д., и т. д. Это говорится в предисловии, и мы спрашиваем *беспристрастного читателя, противоречит ли это хоть на волос тому, что* высказал Энгельс в своих письмах?

Конечно, не противоречит. Но предисловие написано более отвлеченным языком и притом по совершенно другому поводу. Именно, в предисловии Маркс хотел оттенить, что общественные отношения «не объясняются ни своей собственной природой, ни так называемым общим развитием человеческого духа». С этой целью он выставлял на вид преимущественно *экономическую основу* развития названных отношений. А Энгельс в своих письмах обращался к человеку, который,— подобно многим из наших соотечественников,— думал, что в теории «экономического материализма» нет места для действия политического, правового и духовного «факторов», а потому он, мимоходом указав на экономическую основу всех этих «факторов», особенно оттенял то обстоятельство, что эти «факторы», выросши на экономической почве, воздействуют на нее с своей стороны. Вот только и всего. Если бы г. Бернштейн был способен пойти хоть немного дальше *слов* разбираемой им теории и проникнуть в ее *содержание,* то он с большою легкостью понял бы, что исторические взгляды, изложенные в предисловии «Zur Kritik», оставляют ровно столько же места для действия «причин второй, третьей и т. д. степени», как и учение, содержащееся в «Анти-Дюринге, а заключающееся в письме от 1890 г. рассуждение Энгельса о том, что исторические события могут рассматриваться, как продукт силы, работающей бессознательно, есть то же самое, что в предисловии говорит Маркс о действии основной причины общественного развития, независимой от сознания и воли людей. Здесь полнейшее тожество, а г. Бернштейн ухитрился понять слова Энгельса, как нечто, изменяющее смысл предисловия и дополняющее его. О, «критик»!

В другом месте своей брошюры наш «критик» указывает на преувеличенную оценку Марксом «творческой способности революционной силы в деле социалистического преобразования современного общества»! Но революционная сила есть сила политическая. Выходит,

стало быть, что Маркс грешил преувеличенной оценкой творческой способности политической силы. Но тот же Маркс, в то же время и по словам того же «критика», грешил тем, что не придавал значения никаким другим «факторам», кроме экономического. Пойми, кто может!

Г. Бернштейн критикует не только историческую теорию Маркса и Энгельса, но также и их учение о борьбе классов. По его словам, борьба классов ставит в настоящее время перед пролетариатом уже не те практические задачи, на какие указывали авторы «Манифеста». Борьба пролетариата с буржуазией в наиболее развитых странах цивилизованного мира не может повести теперь к диктатуре пролетариата, и потому разговоры о ней становятся простым фразерством. Но пусть лучше говорит сам г. Бернштейн.

«Имеет ли, например, смысл повторять фразу о диктатуре пролетариата в такое время, когда во всевозможных учреждениях представители социал-демократии практически становятся на почву парламентской борьбы, пропорционального представительства и народного законодательства, противоречащих диктатуре? Она в настоящее время настолько пережита, что иначе нельзя согласить ее с действительностью, как путем отнятия у слова «диктатура» его истинного значения и придания ему какого-нибудь смягченного смысла» [1]).

Во второй половине 80-х годов у нас появился особый вид «социалиста», главная и, можно сказать, мучительная забота которого заключалась в том, чтобы не испугать либерала. Призрак испуганного либерала до такой степени пугал социалистов этого вида, что вносил несказанную путаницу во все их теоретические рассуждения. Г. Бернштейн очень напоминает таких «социалистов». Его главная забота состоит в том, чтобы как-нибудь не испугать демократическую буржуазию. Если он отказывается от материализма и рекомендует вернуться к Канту, то единственно потому, что кантианизм оставляет место для религиозного суеверия, а г. Бернштейну не хочется шокировать религиозные суеверия современного буржуа. Если г. Бернштейн восстает против материалистического учения о необходимости, то лишь потому, что, будучи применено к общественным явлениям, это учение не оставляет никакого места для упований пролетариата на благожелательность буржуазии, а, следовательно, и для взаимного

сближения этих двух классов. Наконец, если г. Бернштейн не любит «фразы» на счет диктатуры пролетариата, то это

[1]) «Условия возможности социализма», стр. 158.

опять-таки единственно потому, что она неприятно режет слух даже самой «демократической» буржуазии. Но людям, не пугающимся призрака испуганных буржуа, вопрос о диктатуре пролетариата представляется совсем не в том свете, в каком видит его г. критик.

Диктатура всякого данного класса означает,— как это прекрасно знал еще Минье,— *господство* этого класса, позволяющее ему распоряжаться организованной силой общества для защиты своих интересов и для прямого или косвенного подавления всех тех общественных движений, которые нарушают эти интересы [1]). В этом смысле можно сказать, что, например, французская буржуазия добилась диктатуры еще в эпоху первого Учредительного Собрания и затем, с некоторыми перерывами, продолжала пользоваться ею вплоть до наших дней, когда даже так называемый Жоресом социалистический министр Мильеран не может воспрепятствовать расстреливанию рабочих, осмеливающихся не повиноваться капиталистам. При таком положении дела задача французского пролетариата состоит прежде всего в том, чтобы устранить «условия возможности» этой диктатуры буржуазии. К числу важнейших из этих условий принадлежит неразвитость классового самосознания производителей, значительная часть которых до сих пор еще находится под влиянием эксплуататоров. Одна из важнейших практических задач партии заключается поэтому в просвещении непросвещенных, в подталкивании отсталых, в доразвитии неразвитых. Парламентская и всякая другая легальная политическая деятельность представителей социал-демократии содействует осуществлению этой важной задачи и потому *заслуживает всякого уважения и одобрения.* Но она хороша тем, что устраняет духовные «условия возможности» диктатуры буржуазии и создает духовные «условия возможности» будущей диктатуры пролетариата. Она не противоречит диктатуре пролетариата; она подготовляет ее. Называть *фразой* указание рабочим на необходимость диктатуры их класса может только тот, кто утратил всякое представление об *«окончательной цели»* (Endziel) и думает лишь о «движении» (Bewegung)... в сторону буржуазного социализма.

Но, по словам г. Бернштейна, классовая диктатура принадлежит к более низкой культуре, «и... надобно признать за шаг назад, за политический атавизм мысль о том, будто переход из капиталисти-

[1]) Просим читателя припомнить вышеприведенное положение Минье: «Известно, что сила, достигшая господства, всегда овладевает учреждениями». Когда данный класс «овладевает учреждениями», наступает эпоха его диктатуры.

ческого общества в социалистическое должен непременно совершиться под формами развития эпохи, которой еще незнакомы были или знакомы были лишь в самой несовершенной форме современные методы пропаганды и проведения законов и недоставало необходимых к тому органов» [1]).

Диктатура данного класса есть, как мы сказали, господство этого класса, позволяющее ему распоряжаться организованной силой общества для защиты своих интересов и для подавления всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих этим интересам. Спрашивается, можно ли назвать политическим атавизмом стремление к такому господству того или другого класса современного общества? Нет, нельзя. В этом обществе существуют *классы.* Там, где существуют классы, неизбежна *классовая борьба.* Там, где есть *классовая борьба,* необходимо и естественно *стремление каждого из борющихся классов* к полной победе над своим противником и к полному над ним господству. Буржуазия и ее идеологи могут осуждать — во имя «нравственности» и «справедливости» — такое стремление всякий раз, когда пролетариат обнаруживает его с заметной силой. Но мы знаем, что уже в январе 1848 **г.** Гизо называл классовую борьбу стыдом и горем Франции. Но мы знаем также, что это осуждение классовой борьбы и завоевательных стремлений рабочего класса было подсказано буржуазии лишь инстинктом самосохранения, и что классовая диктатура представлялась ей совсем в другом свете, когда она еще вела свою многовековую тяжбу с аристократией и была твердо убеждена в том, что ее корабля не потопит никакая буря. Рабочему классу не может и не должна импонировать та будто бы нравственность и та якобы справедливость, к которым взывают буржуа времен упадка [2]). Минье говорил, что только силою

1) Там же, стр. 159.

[2]) И это тем более, что диктатура пролетариата положит конец существованию классов, а, следовательно, их борьбе со всеми вызываемыми ею и теперь неизбежными страданиями. Но буржуазия не хочет и, по своему общественному положению, не может понять этого. Она стремилась к диктатуре и находила ее необходимым и вполне позволительным средством достижения цели во время своей борьбы с аристократией. Но она стала осуждать это средство и находит его излишним с тех самых пор, как зашла речь о диктатуре рабочего класса. Это напоминает дикаря, следующим образом пояснившего различие между добром и злом: «Добро — это когда я что-нибудь отниму у других, а зло — это когда у меня что-нибудь отнимут». И нужно иметь много доброй воли, чтобы, подобно г. Бернштейну, находить убедительными доводы буржуазии, пугающейся мысли о диктатуре пролетариата.

можно добиться признания своих прав, и что до сих пор нет другого верховного владыки, кроме силы. Это было как нельзя более справедливо в наше время борьбы пролетариата с буржуазией. Если бы мы вздумали уверять рабочих, что в буржуазном обществе сила уже не имеет того значения, какое она имела при старом «порядке», то мы сказали бы им явную и вопиющую неправду, которая — как и всякая неправда — только удлинила бы и увеличила бы «мучения родов».

Правда, сила и насилие совсем не одно и то же. В международных политических отношениях значение каждого государства определяется его силой, но из этого вовсе не следует, что признание прав сильного в каждом отдельном случае предполагает насильственные действия. То же — и в междуклассовых отношениях. Значение каждого данного класса всегда определяется его *силой,* но для признания его значения далеко не всегда нужно *насилие.* Роль насилия иногда суживается, иногда расширяется в зависимости от политического устройства данной страны. Г. Бернштейн думает, что в современных демократических странах рабочий класс для достижения своих целей не имеет надобности в насилии. Это слишком оптимистический взгляд, внушенный нашему «критику» его постоянной заботой о том, чтобы не испугать буржуазных демократов. Современная Франция обладает демократической конституцией, и, однако, никто из людей, знакомых с внутренней жизнью этой страны, не поручится за то, что ее пролетариат не будет вынужден сопротивляться открытой силой насилию, испытываемому им со стороны буржуазии. Более того. Всякий знакомый с конституцией Франции скажет, что в этой стране к восстанию пролетариата легко может привести сама логика избирательного права [1]). Или возьмите хоть Соединенные Штаты Северной Америки. Это — тоже демократическая страна. Но в этой демократической стране освобождение негров могло быть куплено лишь ценою междоусобия, и нельзя поручиться за то, что американскому пролетариату не придется *насилием* расчищать себе путь к своему экономическому освобождению. По мнению г. Бернштейна, «вся практическая деятельность социал-демократии сводится к тому, чтобы создать такие обстоятельства и условия, которые сделали бы возможным и необходимым переход современного общественного строя в высший без конвульсивных потрясений» [2]).

[1]) Ср. J. Jaurès, «Le Socialisme français» в Cosmopolis, Janvier 1889 p.p. 119—121.

[2]) Там же, стр. 158.

В этих его словах есть доля истины. Социал-демократия действительно заинтересована в том, чтобы переход в высший общественный порядок совершился без потрясений. Но значит ли эта, что она должна отказаться от диктатуры пролетариата? Совсем нет! Идя в Пекин, союзные европейско-американско-японские войска были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы занятие китайской столицы совершилось без пролития крови, но, тем не менее, они ни на минуту не покидали мысль об ее занятии. Никакая цель не может измениться от того, что люди стремятся достигнуть ее с наименьшими усилиями. Но когда люди твердо решили во что бы то ни стало достигнуть данной цели, выбор средств зависит уже не от них самих, а от обстоятельств. И именно потому, что социал-демократия не в состоянии предвидеть все те обстоятельства, при которых рабочему классу придется завоевывать свое *господство* [1]), они не может принципиально отказываться от *насильственного способа* действий. Она должна помнить старое, испытанное правило: если хочешь мира, готовься к войне.

Нам скажут, может быть, что сам Энгельс под конец жизни настоятельно советовал социалистическим партиям всех стран избегать насильственных действий и оставаться на почве мирной борьбы законными средствами [2]). На это мы ответит вот что:

Энгельс дал этот свой совет, основываясь на трех соображениях: 1) на том, что социалистическая революция предполагает высокое развитие сознания рабочей массы, для которого нужно время [3]); 2) на том, что немецкие охранители всеми силами стараются теперь толкнуть немецкую социал-демократию на восстание, надеясь разбить ее **и** тем положить конец ее непрерывным успехам [4]), и 3) на том, что современное вооружение войска делает безнадежными всякие попытки уличных восстаний [5]).

[1]) Мы уже сказали раньше, зачем нужно пролетариату такое господство.

[2]) См. его (помеченное мартом 1895 г.) предисловие к сочинению Маркса: Классовая борьба во Франции в 1848—50 гг.

[3]) «Die Zeit der Überrumpelungen, der von kleinen bewußten Minoritäten an der Spitze bewußtloser Massen durchgeführten Revolutionen, ist vorbei. Wo es sich um eine vollständige Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da müssen die Massen selbst dabei sein, selbst schon begriffen haben, warum sich handelt, für was sie eintreten sollen. Damit aber die Massen verstehen, was zu tun ist, dazu bedarf es langer, ausdauernder Arbeit» etc. Die Klassenkämpfe in Frankreich. Vorwort, S. 16.

[4]) Ibid., S. 17.

[5]) Ibid., S.S, 14—15.

Первые два из этих соображений не нуждаются ни в каких «поправках» и ни в каких комментариях. Они изложены так ясно и так очевидно справедливы, что против них не станут возражать ни те, которые действительно умеют критиковать учение Маркса и Энгельса, ни даже те, которые годны только на то, чтобы красоваться «под знаком критики». Но эти два соображения осуждают не насильственные действия вообще, а только преждевременные насильственные действия, и потому не имеют ничего общего с доводами сторонников мирного развития quand même.

Что касается третьего соображения, то при внимательном анализе смысл его оказывается не совсем таким, каким он представляется на первый взгляд.

Развивая это соображение, Энгельс говорит, что до 1848 года уличные битвы не редко приводили к победе инсургентов, но что это обусловливалось действием весьма различных причин. В Париже, в июле 1830 и в феврале 1848 года, и в большинстве испанских уличных битв дело решалось национальной гвардией, которая обескураживала регулярное войско своим нерешительным поведением или даже прямо переходила на сторону восставших. Там же, где она сразу и решительно выступала против инсургентов, восстания оканчивались неудачей. Так было, напр., в Париже в июне 1848 г. Во всяком случае инсургенты побеждали только там и только тогда, где и когда им удавалось поколебать нравственную твердость войска. Даже в классическое время уличной битвы баррикады имели более нравственное, чем материальное значение. Затрудняя движение войска, они давали инсургентам время по-действовать на его нравственное настроение. Но если войско не поддавалось влиянию инсургентов, оно оставалось победителем.

Если это так, если даже в классическое время уличной борьбы исход восстания всецело определялся нравственным настроением войска, то интересующий нас здесь вопрос сводится к следующему: могли ли бы в настоящее время инсургенты повлиять на войско в благоприятном для себя смысле? На этот вопрос Энгельс отвечает категорическим «нет». Он говорит, что восставшие не могли бы рассчитывать теперь, как в 1848 году, на сочувствие всех слоев населения, и что хотя на их сторону могли

бы теперь стать больше людей, обученных военному делу, но им гораздо труднее было бы достать себе подходящее оружие. Прибавляя к этому, что с 1848 года в больших городах выросли новые кварталы, совершенно неудобные для постройки баррикад, Энгельс спрашивает: «Понимает ли теперь читатель,

почему господствующие классы во что бы то ни стало хотят толкнуть нас туда, где стреляют ружья и рубят сабли? Почему нас называют теперь трусами за то, что мы не хотим, очертя голову, выходить на улицу, где нас ждет верное поражение? Почему нас так настоятельно уговаривают выступить, наконец, в роли пушечного мяса? Но напрасны просьбы этих господ. Мы не такие дураки» [1]). Все это сказано очень решительно и, по-видимому, не оставляет никакого сомнения на счет взгляда Энгельса. Но заметьте, что все рассуждение его ведется в виду *нынешнего положения* немецкой социал-демократии, которая в самом деле поступила бы очень опрометчиво, поддавшись коварным провокациям господствующих классов. Рассуждение, которое, казалось, имело общий характер, получает особенный, частный смысл; читателю начинает казаться, что Энгельс имел в виду только нынешнее положение немецкой социал-демократии. Это впечатление значительно подкрепляется следующими словами Энгельса: «Как бы там ни было с другими странами, немецкая социал-демократия находится в особом положении и потому имеет, по крайней мере в ближайшее время, особую задачу [2]). Далее объясняется, почему германской партии именно теперь невыгодно было бы прибегать к насильственным действиям. Ввиду этого естественно является предположение, что мысль об особенностях современного положения немецкой партии придала специфическую окраску всему рассуждению Энгельса об открытой борьбе рабочего класса с его эксплуататорами. Это предположение уступает место уверенности при чтении того места в конце предисловия, где Энгельс говорит, что ввиду постоянных успехов социал-демократии германское правительство может, пожалуй, решиться на отмену конституции и на возвращение к абсолютизму. Он намекает здесь на то, что такая попытка приведет к народному восстанию, о которое разобьются силы реакционеров. Выходит, значит, что, по мнению Энгельса, не всякое народное восстание безнадежно и в настоящее время. Этот неизбежный вывод еще более подкрепляется заключительными строками предисловия, переносящими мысль читателя за 1600 лет назад, ко времени борьбы христианства с язычеством. Языческий мир третировал христиан, как подрывателей основ, и жестоко преследовал их.

В течение долгого времени они могли работать на пользу своего дела лишь тайно, лишь в подпольях. Но

[1]) Ibid., S. 15.
[2]) Ibid., S. 17.

мало-помалу их учение распространилось так сильно, что у них оказались сторонники даже в войске; *«целые легионы обратились в христианство»* (курсив наш). И когда им приходилось по обязанностям службы присутствовать при религиозных церемониях языческой церкви, эти воины, пропитанные духом нового учения, украшали крестом свои каски. Обычные дисциплинарные взыскания оказывались бессильными перед их дерзостью. Император Диоклетиан вступил в решительную борьбу с ними, издав «закон против социалистов, то бишь — против христиан». Собрания потрясателей основ были объявлены незаконными, те помещения, где они происходили, были заперты, ношение крестов запрещено и т. д., и т. д. Триста третий год ознаменовался сильнейшим гонением на христиан. Но это гонение было последним в своем роде. «Его действие было так сильно, что по прошествии семнадцати лет армия состояла преимущественно из христиан», и Константин объявил христианство господствующей религией [1]).

Если эти строки имеют какой-нибудь смысл,— а они, разумеется, не бессмысленны,— то именно тот, что социалисты восторжествуют тогда, когда революционные идеи проникнут в армию и когда «легионы» нашего времени заразятся социалистическим духом, а до тех пор социалистической партии следует избегать открытых столкновений с войсками. Как видит читатель, это не совсем тот вывод, какой обыкновенно делают из этого рассуждения Энгельса.

Но возможно ли проникновение социалистических идей в армию? Не только *возможно,* а прямо *неизбежно.* Современная организация военного дела требует всеобщей воинской повинности, а всеобщая воинская повинность несет в армию те идеи, которые распространяются в народе. Чем шире будут распространяться в массах социалистические идеи, тем более будут расти шансы успехов инсургентов: ведь мы уже знаем от Энгельса, что исход уличной борьбы всегда определяется настроением войска [2]).

Нет никакого сомнения в том, что не скоро «легионы» поддадутся нашему влиянию. Но то, что отсрочено, еще не потеряно, как говорят французы. Рано или поздно социалистические идеи все-таки проникнут в

войско, и тогда мы посмотрим, что останется от воинственного настроения реакционеров и не перестанут ли они вызывать нас на улицу...

[1]) Ibid., S. 19.

[2]) Считаем не лишним заметить, что баррикады представляют собою лишь частный случай борьбы открытой силой.

Если мы сопоставим только что анализированное нами рассуждение Энгельса с знаменитыми заключительными строками «Манифеста Коммунистической Партии» [1]), то мы увидим, что к концу своей жизни Энгельс значительно изменил свой взгляд на роль откры-тых восстаний в освободительной борьбе пролетариата. Между тем как в эпоху опубликования «Манифеста» он и Маркс считали открытое восстание неизбежным условием победы рабочего класса, Энгельс к концу своей жизни признал, что при известных обстоятельствах легальный путь тоже может привести к победе, а на восстание стал смотреть, как на такой спо-соб действия, который при современной технике военного дела сулит социалистам на победу, и жестокое поражение, и не перестанет сулить его до тех пор, пока сама армия не проникнется социалистическим духом.

Этот новый взгляд Энгельса заслуживает, разумеется, полного внимания и уважения, но он нимало не противоречит тому, что мы сказали выше о возможном значении насильственных действий в революционной борьбе рабочего класса. Он только выясняет нам условия, необходимые для успешности такого рода действий [2]).

[1]) «Коммунисты считают позорным скрывать свои воззрения и стремления. Они открыто объявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь посредством насильственного ниспровержения всего современного общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетарии ничего не могут в ней потерять, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир. «Манифест», стр. 39.

[2]) В 1892 году в статье «Der Sozialismus in Deutschland» («Neue Zeit» X Jahrg., I B., S. 583) Энгельс, прямо указывая на быстрое проникновение социалистических идей в армию, восклицал: «Как часто буржуа уговаривали нас отказаться от употребления насильственных средств и не выходить из пределов законности... К *сожалению, мы не можем доставить буржуа это удовольствие* (курсив наш — *Г. П.*)... Но это не мешает нам понимать, что в настоящее время «законность» убивает не нас, а кого-то другого. Нам она, напротив, так полезна теперь, что мы были бы дураками, если бы нарушили ее». Это как раз та самая мысль, которую мы нашли в предисловии; только в предисловии ей придано умышленно-неясное выражение. И это сделано по настоянию друзей, которые на основании практических соображений считали неудобным ясное ее выражение» (об этом см. в ст. Каутского «Bernstein und Dialektik», «Neue Zeit», XVII Jahrg., II B., S. 47). Энгельс уступил совету своих друзей практиков и этим подал повод к неправильному теоретическому истолкованию его взгляда. А это неправильное теоретическое истолкование уже теперь причинило массу практических неудобств, гораздо более чувствительных, чем все те неудобства, которые могли бы явиться в результате ясного и недвусмысленного изложения его мысли. Урок слишком уступчивых теоретиков: они должны твердо помнить, что там, где речь идет о выражении теоретических взглядов, практики всегда очень непрактичны.

К этому надо прибавить, что иное дело диктатура данного класса и иное дело насильственные действия, предпринимаемые этим классом в своем стремлении к диктатуре. Во время реставрации Гизо и его единомышленники чрезвычайно энергично и вполне сознательно стремились к установлению диктатуры «среднего класса», но никто из них не думал о насильственных действиях вообще и об уличном восстании — в частности. Гизо, наверное, резко осудил бы тогда всякий план такого восстания. Но это не мешало ему быть *революционером,* потому что он ни на минуту не переставал развивать в умах людей «среднего класса» сознание враждебной противоположности их интересов с интересами аристократии и доказывать им, что всякая мысль о примирении с ней есть *врезная химера.* Совершенно такими же революционерами (только стоявшими на точке зрения другого класса) шились Маркс и Энгельс е «Манифесте Коммунистической Партии», и совершенно такими же революционерами остались они до последнего своего издыхания. В этом отношении взгляды их не изменились ни на волос, вопреки уверениям тех «критиков», которые целиком состоят, по выражению Маркса, из «с одной стороны» и «с другой стороны», которым очень хотелось бы освободить пролетариат, не обидев при этом буржуазии, и о которых можно сказать словами Ницше: Selig sind diese Schläfrigen, denn sie sollen bald einnicken.

Вот все, что нам хотелось сказать об основной мысли «Манифеста» и о выводах, непосредственно из нее вытекающих. Отдельные его положения будут, как сказано, рассмотрены нами в брошюре «Критика наших критиков». Мы увидим там, *были ли правы,* и если да, то *в какой мере были правы* Маркс и Энгельс, когда они говорили, что производительные силы буржуазного общества переросли современные ему производственные отношения; и что это, противоречие между производительными силами, с одной стороны, и производственными отношениями, с другой — является глубокой социальной основой революционного движения современного рабочего класса.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О книге Кроче.

Бенедетто Кроче. Экономический материализм и марксистская экономия. Критические очерки. Перевод П. Шутякова. Издание Б. Н. Звонарева. С.-Петербург 1902.

Г. Бенедетто Кроче считает себя марксистом. Но марксисты бывают всякие. Есть [1]) марксисты, «покорно и безропотно» принимающие взгляды Маркса, «с тем отсутствием свободы и оригинальности, которое замечается во всей их литературе» (стр. 243). Таких марксистов г. Кроче называет *вульгарными* (стр. 244). Но есть марксисты другого закала. Эти *критикуют* своего учителя и отличаются «умственной оригинальностью». К ним принадлежит г. Кроче, который думает, что его «критические» очерки «представляют в своей совокупности довольно законченное исследование почти всех основных проблем марксизма» (стр. 3). К этому он прибавляет, правда, скромную оговорку: «если не ошибаюсь», но его развязный тон ясно показывает, что, по его убеждению, ошибки тут никакой нет и что основные положения марксизма в самом деле серьезно и всесторонне (и, уж разумеется, *«критически»)* исследованы в его очерках. Претензия, как видите, не маленькая. Насколько она основательна? Это ми сейчас увидим.

Г. Б. Кроче «исследует» Марксов закон падения нормы прибыли. «Вульгарные» марксисты безропотно принимают его в том виде, как его формулировал и обосновал их учитель. Г. Б. Кроче со свойственной ему свободой и умственной оригинальностью не мог оставить этого закона «не исследованным». Он употребил в дело «логические доводы», «арифметические расчеты» и даже «светлую интуицию здравого смысла» (стр.

256; в русском переводе стоит: «индукцию здравого смысла», но это — опечатка, описка или ошибка), в результате **у** него получилось прочное убеждение в том, что Маркс ошибся в этом случае очень сильно,— так сильно, что даже его метод «разбился у него в руках» (стр. 259). В другом месте того же очерка

[1]) В «Критике наших критиков» вставлено: «по словам г. Кроче».

результат критического исследования г. Кроче выходит еще более печальным для автора «Капитала»: там оказывается, что Маркс «придумал» свой закон падения нормы прибыли «из ненависти к той политической экономии, которую он презрительно называл вульгарной» (стр. 256). Дело выходит совсем дрянь, а мы, вульгарные марксисты, ровно ничего и не подозревали. Но страшен сон, да милостив бог. Выслушаем внимательно нашего критически мыслящего марксиста: может быть, мы найдем, что он просто путает, следуя всем известному обычаю других «критиков» Маркса.

«Интуиция здравого смысла гласит так: «Перед нами, согласно строгой схематической гипотезе Маркса, с одной стороны капиталистический класс, а с другой — класс пролетариев. К чему приводит технический прогресс? Он увеличивает богатство в руках капиталистического класса. Не представляется ли само собою разумеющимся, что в результате технического прогресса капиталисты, затрачивая блага, *ценность которых все более падает* (курсив в тексте — *Г. П.*), будут получать *те же услуги* (курсив в тексте — *Г. П.*) от пролетариев, как и раньше, и что, вследствие этого, соотношение между ценностью услуг и ценностью капитала изменится в пользу первой ценности, т. е. что норма прибыли возрастет. С затратой благ (капитала), которые первоначально воспроизводились за пять часов труда, а теперь воспроизводятся в течение четырех часов, рабочие трудятся по-прежнему 10 часов. Прежде отношение было 5 к 10, теперь же 4 к 10. Губка стоит меньше, но она впитывает то же самое количество воды» (стр. 257).

Вообразим, что мы имеем дело с фабрикантом, предприятие которого ежегодно обращает в пряжу известное количество хлопчатой бумаги. Предположим далее, что в технике прядения совершается переворот, благодаря которому *удваивается производительность труда* прядильщика. Как повлияет такой переворот на величину постоянного капитала, т. е. той губки, которая, по выражению г. Кроче, впитывает в себя живой труд рабочего. Если производительность труда прядильщика удвоилась, то ясно — в данное время *он будет обращать* в пряжу *вдвое большее количество хлопчатой бумаги.* Это вдвое большее количество бумаги должен доставить рабочему фабрикант, вследствие чего затраты этого

последнего на сырой материал при прочих равных условиях тоже *удвоятся* (мы уже не считаем разных добавочных расходов). Отсюда видно, что г. Кроче очень плохо понимал значение технического прогресса, когда спрашивал себя: «И как только мог Маркс вообразить, что с техническим про-

грессом всегда возрастает затрата капиталиста» (та же страница). На деле выходит, что Маркс не только мог, но должен был вообразить это.

Но это не все. Технический прогресс, удвоивший производительность труда прядильщика, состоял в *улучшении машины.* Улучшенные машины стоят обыкновенно *дороже* — вот вам новый фактор увеличения затрат капиталиста и новое доказательство того, что г. Кроче был очень наивен, когда спрашивал себя: «Как только мог Маркс» и проч.

Но г. Кроче возражает: «Капитал... вычисляется не по своему физическому объему, а по своей экономической ценности. И экономически этот капитал (предполагая, что все другие условия неизменны) должен иметь меньшую ценность, иначе не было бы технического прогресса» (стр. 258).

Тут опять наш критик обнаруживает очень большую,— почти трогательную,— наивность. Технический прогресс *«должен»* уменьшить ценность постоянного капитала, иначе не было бы технического прогресса,— это все, что может сказать г. Кроче для опровержения закона Маркса. Но этого — увы! — слишком мало. Технический прогресс состоит в том, что увеличивается производительность труда, т. е. что в каждой данной единице продукта воплощается меньшее, чем прежде, количество труда. Но из этого вовсе не следует, что производство продуктов совершается с помощью более дешевых машин. Как раз наоборот. Технический прогресс обозначает обыкновенно применение более *сложных* и потому более *дорогих* машин. И это не только в области *производства,* но также и в области *обращения* продуктов. Океанский пароход-гигант стоит гораздо дороже парусного судна, хотя развитие океанического пароходства чрезвычайно понизило *издержки перевозки.* Правда, нельзя отрицать здесь и существования *противодействующих причин.* Маркс подробно перечислил ИХ в своем «Капитале» (т. Ill, ч. 1, стр. 213 и след. немецкого издания). К числу их он относит между прочим удешевление сырья, машин и других составных частей постоянного капитала. «Так, например,— говорит он,— масса хлопчатой бумаги, которую может переработать европейский прядильщик на современной фабрике, возросла в колоссальном отношении к тому, что в прежнее время мог переработать европейский ткач с помощью прялки. Но стоимость перерабатываемой хлопчатой бумаги возросла не в том отношении, в каком

увеличилась ее масса. То же с машинами и с другим постоянным капиталом» (ibid., стр. 217). В отдельных случаях дело

доходит, по словам Маркса, до того, что масса элементов постоянного капитала может расти, между тем как ценность ее остается неизменной или даже падает» (там же, та же страница). Но так бывает только в отдельных случаях, а в общем ценность постоянного капитала увеличивается, хотя и не так быстро, как масса его составных элементов. Что это в самом деле так, знает каждый смышленый школьник. Вот интересные новые данные. В Соединенных Штатах Сев. Америки в десятилетие 1889/1890—1899/1900 число промышленных предприятий (не считая горнозаводских) с годовым производством не ниже 500 долларов возросло на 44%; число занятых в них рабочих увеличилось на 25%; общая сумма заработной платы этих рабочих поднялась на 23%; капитал, вложенный в предприятия (очевидно, что тут указывается так называемый *основной* капитал), вырос на 51%, и, наконец, смешанные издержки стали больше на 63% (см. ст. Франца: «Aus den Vereinigten Staaten» в «Neue Zeit» от 17-го мая 1902 г.). Эти цифры показывают, что постоянный капитал растет в Соединенных Штатах гораздо быстрее, чем переменный. То, что здесь наблюдается *во времени,* можно наблюдать у нас в России *в пространстве. Южно-русская* металлургическая промышленность оборудована гораздо лучше, чем *Уральская,* и именно потому на каждого рабочего, занятого в металлургическом предприятии, *на юге приходится значительно больше постоянного капитала, чем на Урале.* Повторяем, это известно каждому школьнику. Но г. Кроче продолжает вопрошать: какой же смысл имеет в таком случае усовершенствование способов производства. В своей «критической» наивности он даже и не подозревает, что более совершенная и потому — в огромном большинстве случаев — более дорогая машина *переносит на каждую отдельную единицу продукта меньшую стоимость, чем менее дорогая.* Знай он это,— он и сам понял бы, до какой степени смешна его «светлая интуиция здравого смысла» и как неловок и беспомощен он в своей «критике» закона падения уровня прибыли. Но он этого не знает и потому он очень доволен своей «критикой».

Мы потому остановились именно на этом очерке г. Кроче, что им подтверждается справедливость французской пословицы: les beaux esprits se rencontrent. Известно, что в русской литературе тот же закон Маркса очень сходными доводами опровергал г. Туган-Барановский.

Аргументацию этого критика весьма успешно опровергал у нас г. Карелин (в «Научном Обозрении»), а недавно за ее оценку взялся Каутский в «Neue Zeit» по случаю выхода немецкого перевода книги г. Тугана о кризисах, куда вошло и его мнимое опроверг

жение Маркса. Мы не станем, разумеется, повторять здесь доводы Карелина и Каутского [1]).

Мы только заметим, что когда два великих ума делают какое-нибудь великое открытие, то интересно бывает решить вопрос о том, что ученые немцы называют *приоритетом.* Кому же принадлежит «приоритет» опровержения марксова закона падения уровня прибыли, г. Кроче или г. Туган-Барановскому? Что говорит хронология? Разобранный нами «критический» очерк г. Кроче впервые появился в одном ученом итальянском издании *за май 1899 года* (см. предисловие к его книге, стр. 4, примечание), и в том же месяце того же года г. Туган-Барановский «опроверг» Маркса в «Научном Обозрении». Ясно, что приоритет не принадлежит никому из них: les beaux esprits (critiques) se sont rencontrés, но если бы, читатель, скажете, что оба эти критические ума могли заимствовать свою «критическую» мысль у какого-нибудь третьего, еще более «критического экономиста, то мы ответим: вы *правы.* Разверните Verhandlungen der an 28 und 29 September 1894 in Wien abgehaltenen Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik über Kartelle und über das ländliche Erbrecht, Leipzig 1895, там, на странице 218, вы найдете следующие слова известного Sozialistenfresser'a проф. Юл. Вольфа.

«Тот взгляд г. профессора Брентано, что основной капитал увеличивается сравнительно с оборотным, разделяется, пожалуй, во многих кругах. В несколько иной формулировке взгляд этот составляет часть социалистической доктрины. Я не могу согласиться с ним, по крайней мере, не могу согласиться безусловно. Несколько недель тому назад один цюрихский промышленник, находящийся со мною в дружественных отношениях, сделал по этому поводу расчет. Сам он прядильщик, хорошо знакомый с историей прядильного дела, особенно в Англии, т. е. в той самой стране, из которой г. Брентано и социалисты по весьма понятным причинам охотно берут материалы для своих доказательств. И этот промышленник вычислил, что в

[1]) Каутский, показавший, что «критика» г. Туган-Барановского есть просто-напросто возвращение на точку зрения вульгарной экономии, делает ему, однако, не мало комплиментов. Г. Туган оказывается у него чуть ли не самым выдающимся из «критиков». На самом деле этот писатель обладает большим прилежанием и некоторой способностью к *описательным* трудам. Но для экономической теории он мертв или еще не родился. Комплименты, полученные им от Каутского, кажутся нам совершенно незаслуженными. Мы полагаем, что они объясняются той же психологической

аберрацией, в силу которой социалисты каждой отдельной страны думают, что буржуазия чужих стран все-таки лучше, чем их собственная: Каутскому слишком надоели немецкие «критики».

прядильной отрасли основной капитал теперь меньше, чем был прежде. Строения, веретена, машины всякого рода теперь стали относительно дешевле; наоборот, заработная плата поднялась... Если это так, то естественный закон (Naturgesetz) народно-хозяйственного развития, на который ссылается г. Брентано... не существует».

Упоминаемый г. Ю. Вольфом цюрихский промышленник был, очевидно, не кто иной, как Фридрих Берто (Bertheau), который выпустил *в начале 1895 года* брошюру: «Fünf Briefe über Marx an Herrn Dr. Julius Wolf Professor der Nationalökonomie in Zürich» и снабженную предисловием того же профессора Вольфа. В этой брошюре, на страницах 47—49 приведены некоторые цифры, с помощью которых ее автор усиливается показать, что в действительности относительное увеличение испытывает *не постоянный,* а именно *переменный* капитал (заметьте, что г. Берто употребляет здесь терминологию Маркса: *постоянный* капитал; *переменный* капитал). По поводу приведенных г. Берто цифр, мы скажем, что если бы даже они действительно подтверждали то, что ему хочется подтвердить, то и тогда они далеко еще *не опровергали бы* закона Маркса, доказываемого цифровыми данными, имеющими несравненно более широкое значение, чем цифры цюрихского промышленника: *даже в этом, лучшем случае* они говорили бы только о том, что прядильное производство Англии нужно отнести теперь к числу тех исключений из общего правила, на существование которых указывает сам Маркс. Но цифры г. Берто не представляют собою даже и самомалейшей тени доказательства того, что он стремится доказать с теоретическим легкомыслием, свойственным столь многим «практикам». В этом легко убедится каждый, кто прочтет указанное нами место *«пяти писем о Марксе».* А кто захочет узнать, в каком направлении изменяется в английской хлопчатобумажной промышленности отношение постоянного капитала к переменному, того мы отсылаем к книге г. Шульце-Геверница: *«Крупное производство»* и т. д., С.-Петербург 1897 года. Книга эта, в свою очередь, полна недоразумений, недомолвок, паралогизмов и софизмов. Но по интересующему нас теперь вопросу она содержит очень поучительные данные.

Но как бы там ни было, а наши beaux esprits встретились... *на плагиате.* Ай да критика!

Вышеприведенные рассуждения «умственно оригинального» марксиста дают очень ясное понятие об его экономической невинности. Но на всякий случай укажем еще один экономический перл,— каши маслом не портят.

В очерке: *«Новые истолкования марксистской теории ценности»* мы читаем:

«Маркс установил свое понятие ценности, изложил процесс превращения *ценности в цену,* признал источником прибыли *прибавочную ценность.* Вся проблема марксистской критики, по-моему, сводится к следующему: представляется ли ошибочным по существу понятие Маркса (вполне — вследствие ошибочности предпосылок или отчасти — вследствие ошибочности дедукции). Или же: если понятие Маркса по существу верно, то не подведено ли оно подкатегорию, к которой оно не принадлежит, не ищут ли в нем того, чего в нем не имеется, и не упускают ли из вида то, что оно действительно дает? Придя к этому второму заключению, я спросил себя: с какими условиями и с какими предпосылками *мыслима* теория Маркса?» (ст. 216—217).

На этот ясно формулированный вопрос г. Кроче ответил себе следующим образом: «понятие трудовой ценности истинно для идеального общества, в котором единственными благами являются продукты труда и в котором не существует классовых различий» (стр. 231)... «Таким образом у нас имеется: 1) хозяйственное трудовое общество без классовых подразделений. Закон трудовой ценности. 2) Социальное разделение классов. Возникновение прибыли, которая. *только по сравнению с предшествующим типом и поскольку понятия первого переносятся на второй* (курсив г. Кроче), может быть названа прибавочной ценностью. 3) Техническое различие между различ-ными видами производства, требующими разного состава капитала... Возникновение средней нормы прибыли, которая, *по сравнению с предшествующим типом, может быть рассматриваема, как превращенная и уравненная прибавочная ценность»* (стр. 213, курсив наш).

В очерке: *«К вопросу об истолковании и критике некоторых понятий марксизма»,* где разбирается тот же самый вопрос, мысль г. Кроче поясняется так:

«Трудовая ценность Маркса — не логическое обобщение, а *факт мыслимый как тип и принимаемый за тип,* т. е. нечто совершенно отличное от логического понятия. Она не страдает худосочием абстракции, а обладает полнокровием конкретного факта [1]). Этот

[1]) В примечании г. Кроче прибавляет: «следует заметить, что *конкретный факт* может и не быть *эмпирическим* фактом, а фактом, конструированным чисто гипотетически», т. е. существующим лишь отчасти в эмпирической действительности.

конкретный *факт* исполняет вслед за тем в исследовании Маркса функцию масштаба для сравнения, мерила, *типа»* (стр. 106).

Кажется ясно: трудовая ценность, это — просто-напросто «факт, мыслимый как тип», и только с точки зрения такого «факта—типа» назначение прибавочной ценности может быть применено к прибыли. Нечего сказать, хорошо понял автора *«Капитала»* наш необыкновенный марксист. Разве же у Маркса прибыль *«называется» прибавочной ценностью?* Применить к ней такое «название» значило бы перепутать те самые понятия, которые надо выяснить. По Марксу, прибыль, *подобно проценту на капитал и поземельной ренте,* составляет *часть* ценности, создаваемой неоплаченным трудом *рабочих.* Но если мы на этом основании вздумаем окрестить ее прибавочной стоимостью, то нам придется приложить то же самое «название» и к *проценту на капитал, и к поземельной ренте.* Само собою разумеется, что от такой терминологии ровно ничего хорошего ждать невозможно. Но это мы замечаем мимоходом. Главное для нас заключается здесь в том, что, по Марксу, прибыль составляет часть прибавочной ценности вовсе не в воображаемом «хозяйственном обществе без классовых подразделений», *а именно в нынешнем капиталистическом обществе, которое представляет собой неоспоримый «эмпирический факт».* Вот этого-то и не понимает наш «критически» мыслящий марксист. Он так пропитан духом вульгарной политической экономии, что у него вырывается вопрос: зачем называть превращением *прибавочной стоимости* то, что представляется естественным экономическим результатом капитала, который (вследствие того, что он капитал) должен иметь прибыль? (стр. 230). Это поистине бесподобно! Толкуйте после этого с г. Кроче; объясняйте ему, что научная задача Маркса, между прочим, в том и заключалась, чтобы объяснить, *почему возможен и откуда берется* тог «естественный результат капиталов», который называется прибылью; изображайте ему прибавочную ценность, как *источник* «естественного результата»,— все это будет напрасно, — вы только даром потратите время: умственно оригинальный марксист с несокрушимым убеждением ответит вам, что существование прибавочной ценности возможно только в воображаемом обществе *без* классовых подразделений и что поэтому связывать с нею

происхождение прибыли, этого *естественного* результата капитала, значит обнаруживать то самое отсутствие оригинальности мысли, которым, к величайшему их стыду, отличаются вульгарные марксисты. Г. Бенедетто Кроче, очевидно, по прямой линии происходит от крыловского человека, *слона-то и не заметившего.*

Известно, что потомство этого замечательного экземпляра человеческой природы чрезвычайно многочисленно. К нему принадлежат все те «критики» Маркса, которые убеждены в существовании противоречия между первым и третьим томом *«Капитала».* В рецензии на книгу г. Франка: *«Теория ценности Маркса и ее значение»* (см. *«Зарю»,* кн. 2—3, стр. 324 и след.) мы показали, что на самом деле между названными томами совсем нет противоречия и что уже второй том,— о котором почему-то совершенно забывают в этом случае,— заключал в себе самые недвусмысленные указания насчет того, *как* разрешал Маркс антиномию между законом ценности, с одной стороны, и законом равного уровня прибылей, с другой. В своей рецензии мы сослались на 152 и 253 страницы второго тома (в русском переводе эти стр. соответствуют 185 и 315 стр. второго издания немецкого подлинника). Теперь мы укажем в том же томе еще некоторые места. На странице 79 Маркс говорит, что при капиталистическом способе вычисления прибыли... для капиталов в различных сферах приложения, где только различно время обращения, удлинение времени обращения служит поводом для повышения цены, короче,— *служит одним из оснований для уравнения прибыли* (курсив наш; во втором издании немецкого подлинника это место находится на стр. 97). Это совершенно в духе третьего тома. Далее, на стр. 88 сказано, что «всякий труд, прибавляющий стоимость (ценность), может также прибавить сверхстоимость (прибавочную ценность) и при капиталистическом строе всегда прибавляет сверхстоимость, так как стоимость, которую он создает, зависит от его величины, а сверхстоимость—от размеров, в которых он оплачивается капиталистом. Следовательно, издержки, которые увеличивают стоимость товара, не прибавляя ничего к его потребительной стоимости, с общественной точки зрения должны быть отнесены к faux frais производства, а для единичного капиталиста могут составить источник богатства» (стр. 107 немецкого подл.). Читатель понимает, что эти faux frais производства не могли бы служить источником богатства для отдельных капиталистов, если бы прибавочная ценность, выжатая из рабочего класса, не распределялась между предпринимателями пропорционально капиталу каждого из них. Наконец, на стр. 296, ставя вопрос о том, каким образом возмещается из годичного

продукта ценность капитала, потребленного в производстве, и каким образом движение этого возмещения поглощается потреблением прибавочной ценности капиталистами и заработной платы рабочими, Маркс замечает, что тут у него предполагается обмен продуктов по их ценностям, но

при этом делает многознаменательную оговорку, которая очень плохо переведена на русский язык и которую мы поэтому приводим сначала в подлиннике: «Soweit die Preise von den Werten abweichen kann dieser Umstand... auf die Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals keinen Einfluß ausüben. Es tauschen sich nach wie vor im Ganzen dieselben Massen Produkten aus, obgleich die einzelnen Kapitalisten dabei in Werthverhältnissen betheiligt sind, die nicht mehr proporzionell wären ihren respektiven Vorschüssen und den von jedem von ihnen einzeln produzierten Mehrwerthmassen» (стр. 368 втор. издания). Это значит: «Поскольку цены отклоняются от ценностей, это обстоятельство не может повлиять на движение общественного капитала. В целом по-прежнему будут обмениваться те же самые массы продуктов, хотя отдельные капиталисты будут получать притом такие ценности, которые не пропорциональны их затратам и массе прибавочной ценности, произведенной каждым из них в отдельности». Если, при отклонении *цен* от *ценностей,* масса обменивающихся товаров остается неизменной, то с другой стороны ясно, что не изменяется при этом и *общая сумма обменивающихся ценностей.* И если указанное отклонение не влияет на *движение* общественного капитала, то с другое стороны им не может быть изменена и природа *процесса создания той массы прибавочной ценности, которая всасывается общественным капиталом и распределяется между отдельными капиталистами.* А это значит, что как бы мы ни отвечали на вопрос об отклонении средних цен от ценностей — положительно или отрицательно, — наш ответ *не может изменить* решения вопроса о том, *откуда берется общественная прибавочная ценность.* А из этого следует, что *третий том «Капитала» и не мог противоречить первому,* или что гг. «критики» искали противоречия там, где его не могло и быть, т. е. совсем не поняли Маркса.

А понять его было не трудно. Если гг. «критики» держались того мнения, что по смыслу первого тома средние цены товара *совпадают* с их ценностями, то на это была их добрая воля. Что же касается Маркса, то он уже в названном томе заметил, что на самом деле *нет* такого совпадения. А Энгельс, в свою очередь, объявил мысль о таком совпадении ровно ни на чем не основанной. Возражая Дюрингу, он

замечает, что Маркс никогда не говорил, будто отдельный промышленный предприниматель при всяких обстоятельствах продает достающийся ему прибавочный продукт по его полкой ценности. «Маркс прямо утверждает, что торговая прибыль тоже составляет часть прибавочной стоимости, а это при предположенных им

условиях возможно только тогда, когда фабрикант уступает купцу свой продукт *ниже* его ценности» (Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft, 3 Auflage, S. 226). Затем, ссылаясь на одно место первого тома, Энгельс говорит: «Г. Дюринг мог уже отсюда видеть, что *при распределении прибавочной ценности конкуренции играет главную роль,* а при некотором размышлении, эти содержащиеся в первом томе указания могли бы действительно выяснить ему, по крайней мере в общих чертах, превращение прибавочной ценности в ее производные формы. (Unterformen. ibid., S. 228). Подчеркнутые нами слова Энгельса сами представляют собою ясное указание насчет того, *в каком направлении нужно было искать решения знаменитой* «*загадки».* И когда, в предисловии ко второму тому, тот же Энгельс предложил разгадать эту загадку ученым, считающим взгляд Родбертуса скрытым источником экономической теории Маркса, тогда для всякого понимающего человека должно было быть совершенно ясно, в чем тут дело. Заметьте, читатель, что Энгельс обращался именно к людям, превозносившим Родбертуса на счет Маркса, *и только к ним.* Он приглашал их показать, что с помощью экономического учения Родбертуса можно разгадать загадку, *не только не отклоняясь от закона ценности, но скорее именно на его основании.* И он делал им это предложение просто и единственно потому, что они не могли принять его, не отказываясь от экономического учения Родбертуса. Всякий, кто знаком с сочинениями этого последнего, знает, что, по его мнению, закон ценности далеко не вполне господствует в капиталистическом обществе. Вот эту-то особенность взгляда Родбертуса на ценность и имел в виду Энгельс, делая свое коварное предложение его последователям, а гг. «критики» поняли это предложение как ручательство за то, что в третьем томе *«Капитала»* будет доказано совпадение цен с ценностями. Это был большой промах, но виноваты в нем были гг. критики, а вовсе не третий том, не Маркс и не Энгельс.

Стало быть, учение Родбертуса о ценности очень отличается от учения Маркса о том же предмете? Да, оно отличается от него чрезвычайно сильно, хотя гг. «критики», конечно, и не подозревают этого. У Родбертуса выходит так: если товары обмениваются друг на друга сообразно количеству труда, затраченного на их производство, то закон

ценности применяется во всей своей силе; если—нет, то действие этого закона как бы отменяется. *Маркс же понимает этот вопрос несравненно шире,* что хорошо видно уже из первого тома *«Капитала»,* и что еще лучше обнаруживается в одном из его

писем к Кугельману, недавно опубликованных в «Neue Zeit». Мы имеем в виду письмо от 11-го июля 1868 года, в котором Маркс говорит: «Что касается «Centralblatt», то он делает величайшую уступку, признавая, что если вообще под словом ценность понимается что-нибудь, то приходится принять мои выводы. Несчастный не видит, что если бы в моей книге совсем не было главы о ценности, то и тогда даваемый мною анализ действительных отношений показал бы и доказал бы действительные отношения ценности. Болтовня о том, что необходимо доказать понятие о ценности, основывается только на полном невежестве как насчет того, о чем идет речь, так и насчет метода науки. Каждый ребенок знает, что всякая нация, переставшая работать, не скажу на год, но хотя бы на несколько недель, пропадет с голоду. Каждый ребенок знает также, что массы продуктов, соответствующие различным массам потребностей, требуют различных и количественно определенных масс общественного труда (der gesellschaftlichen Gesammtarbeit). И self evident (само по себе очевидно), что *определенная форма* общественного производства нимало не устраняет этой необходимости распределения общественного труда в известных пропорциях, а может изменить только *форму ее проявления.* Законы природы вообще не могут быть устранены. В различных исторических состояниях может меняться только форма, которую принимает действие этих законов. А меновая ценность этих продуктов и есть та форма, которую принимает действие этой пропорциональности распределения труда в обществе, где началом, связующим общественный труд, является *обмен* индивидуальных продуктов труда частных лиц. Задачи науки в том и заключаются, чтобы обнаружить (в подлиннике: zu entwickeln — развить), каким образом действует закон ценности. Поэтому, если бы захотели с самого начала «объяснить» все явления, по-видимому, противоречащие закону, то мы должны были бы дать науку раньше науки. Ошибка Рикардо в том и заключается, что он в своей главе о ценности предполагает всевозможные категории уже данными, чтобы показать, как согласуются они с законом ценности, между тем как они еще должны быть развиты... Вульгарный экономист чужд всякой догадки о том, что между действительными повседневными отношениями обмена и величинами ценности не может быть непосредственного тожества.

Ирония (острота, der Witz) буржуазного общества состоит как раз в том, что отсутствует сознательное общественное регулирование производства. Разумное и общественно необходимое пролагает себе дорогу лишь как слепо действующее среднее. А ввиду этого вульгар-

ный экономист воображает, что делает большое открытие, когда показывает, что в явлении вещи выглядят иначе. В действительности он показывает только то, что он держится за внешность и не может проникать глубже. Но в таком случае зачем вообще наука?».

Меновая ценность есть форма, которую принимает действие закона ценности, способ действия этого закона. Она—не более, как *историческая категория.* Но если *способ* действия названного закона изменяется в зависимости от изменяющихся общественных отношений, то *действие* его неустранимо, как неустранимо действие вечных законов природы. Поэтому, если мы видим, что *способ* действия *изменяется или осложняется* по той или другой причине, например, вследствие конкуренции между капиталистами, то это отнюдь не значит, что *само это действие* прекращается или устраняется хотя бы только отчасти. Нет, проявляясь иначе или переплетаясь с действием другого закона, *оно все-таки остается во всей своей силе,* и задача исследователя заключается в том, чтобы проследить его через все разнообразие новых форм и сплетений. Эту задачу и решает Маркс в своем *«Капитале».* А Родбертус *не только не решил этой задачи,* но считал ее решение невозможным. По его словам, одна из ошибок Маркса заключается как раз в том, что «er nimmt den Arbeitswert aller Güter schon in dem heutigen Zustande als realisiert an, während dies nur durch Gesetze geschehen kann» (см. его письмо к Р. Мейеру от 8-го сентября 1871 г., напечатанное в его Briefe und sozial-politische Aufsätze, том I, стр. 99—100. Курсив наш). Для Родбертуса весь закон ценности состоит в том, что *меновые отношения товаров определяются количеством труда,* затрачиваемым на производство каждого из них. Иначе сказать: Родбертус *смешивает действие закона с одним из способов («форм») его действия, определяемых в каждое данное время экономической структурой общества.* И ту же самую ошибку повторяют все те, которые думают, что в третьем томе *«Капитала»* Маркс отказался от своего учения о ценности. Но довольно об этом. Читатель сам видит, как далека идея Маркса от того, что приписывает ему г. Кроче, со своим «фактом, мыслимым как тип и принимаемым за тип».

Чтобы критиковать Маркса,— как и всякого другого мыслителя,— надо его *понять.* Ось де заковыка,— как заставляет говорить Гамлета один малороссийский переводчик знаменитой английской драмы. И эта

неприятная «заковыка» напоминает о себе чуть не на каждой странице «критических» очерков г. Кроче. Не понял он экономического учения Маркса; не понял и его исторической теории. Место не позво-

ляет нам делать пространные выписки. Ограничимся одним указанием. Похвалив Антонио Лабриолу, между прочим, за то, что он в своей книге о материалистическом объяснении истории *«допускает»* существование идеологии и даже «часто встречающееся отсутствие сознания и понимания своего положения», г. Кроче прибавляет: «И так как человек живет не только в обществе, но и в природе, то Лабриола признает значение расы, темперамента и (!) воздействие природы. Он не закрывает, наконец, глаз и на значение человеческой личности, другими словами, на дела тех людей, которых называют великими, людей, являющихся, если не созидателями, то несомненно сотрудниками истории» (стр. 29—30). Все это г. Кроче называет *уступками* (стр. 30). Такое название будет наверное одобрено знаменитым проф. Кареевым, но «вульгарные» марксисты ответят на него презрительным смехом. Пусть г. Кроче сначала хорошенько вдумается в историческую теорию Маркса,— тогда он увидит, что она *не только не исключает «воздействия природы», но прямо предполагает его* (как это видно, например, из первого тома *«Капитала»).* Точно так же никому из серьезных марксистов никогда не приходило в голову отрицать «дела великих людей». Но вряд ли хоть один из них смотрит на таких людей, как на «сотрудников» истории. Представление, соответствующее такому названию, состоит в том, что великие люди работают *вместе* или *рядом* с историей, а это—нелепость, очевидная, по крайней мере, для нашего брата, «вульгарного» марксиста [1]). Столь же очевидна для нас и та старая истина, что люди не всегда сознают свое положение. Ведь цель всей нашей деятельности прежде всего заключается в развитии *сознания* пролетариата. Видеть здесь какую-нибудь *«уступку»,* значит опять уподобляться человеку, слона-то и не заметившему.

О других «уступках» Лабриолы мы здесь говорить не станем; о них уже говорилось в русской литературе (см. статью Каменского в *«Новом Слове»).*

После всего сказанного «вульгарные» марксисты не удивятся, узнав, что наш умственно оригинальный марксист принадлежит к числу решительных противников *диалектического метода и материализма.* Ни о том, ни о другом он, разумеется, не имеет ни малейшего понятия. Он,

нимало сумняхуся, повторяет мнение, по которому *философский материализм состоит в признании, что духовные явле-*

[1]) По вопросу о роли так называемых великих и высокопоставленных людей в истории см. ст. Кирсанова в «*Научном Обозрении*» за 1898 год. (В «Крит.» нашего крит. сказано: см. нашу статью в сборнике «За двадцать лет»).

ния представляют лишь нереальную видимость, под которой скрываются физические явления (стр. 190). *Такие* сугубые абсурды не заслуживают опровержения. Вот почему мы оставим без ответа упрек, который он делает лично нам за то, что мы в своих «Beiträge zur Geschichte des Materialismus» высказали «потребность вернуться к Гольбаху и к Гельвецию» (стр. 19—20). К Гольбаху и Гельвецию мы вернулись в том смысле, что сочли нужным сравнить материализм Маркса с французским материализмом XVIII века и обнаружить родственные черты и генетическую связь этих двух фазисов истории материалистического миросозерцания. Если бы г. Кроче не был ослеплен обычными филистерскими предрассудками против материализма, и если бы он понял взгляды Маркса, то ему показалось бы странным не то, что у нас явилась потребность подобного сравнения, а то, что такая потребность не высказывалась в философской литературе гораздо раньше.

Г. Кроче говорит о себе, что он в этических вопросах не «высвободился из-под власти кантовской критики» (стр. 175). Мы прибавим, что «кантовская критика» наложила глубокую, неизгладимую печать на *все* его миросозерцание. В этом и заключается тайна его собственных «критических» упражнений. Он чувствует, что *кантианство* не совместимо с историческими и социально-политическими взглядами Маркса, насквозь проникнутыми духом *материализма.* Но вместо того, чтобы решительно отказаться от кантианства или окончательно отвернуться от марксизма, он пытается сесть между двух стульев, стараясь видоизменить марксизм так, чтобы он перестал, наконец, противоречить тому, чему он *не может не противоречить.* И этот усердный, но совершенно непроизводительный труд украшается у него,— как и у многих других,— этикеткой *критики.* Едва ли когда-нибудь в истории человеческой мысли название меньше соответствовало тому предмету, который оно должно обозначать.

Итак, книга г. Кроче представляет собою плохой подарок русскому читателю. Тем более плохой, что г. П. Шутяков перевел ее *плохо.* Кот, например, на стр. 132 его перевода мы читаем, что историческая теория Маркса есть не более, как *канон,* руководство исторической интерпретации, и что «это руководство советует сосредоточивать

внимание на экономической сущности общества для того, чтобы лучше понимать его конфигурацию и изменения». Что это за *экономическая сущность общества?* Обращаемся к подлиннику и там, вместо этой «сущности», находим (стр. 115): Sostrato economico della società, т. е. *экономический субстрат общества.* Это тоже не точно

передает взгляд Маркса, но это все же имеет хоть какой-нибудь смысл, а *«экономическая сущность»* — просто пустяки. На стр. 61, в примечании, сказано: В целом преследуемая Марксом форма ценности есть *«уравнение между двумя конкретными ценностями».* Что значит *«преследовать»* форму ценности? И что означает *«уравнение»* между ценностями? В итальянском подлиннике (стр. 53) стоит «La concezione del valore nel Capital del Marx... e insomma il paragone fra due valori concreti, т. е., словом, понятие ценности в *«Капитале»* Маркса есть сравнение между двумя конкретными ценностями». *Теоретически* это, как мы уже знаем, совсем не верно, но тут нет ни *«преследования»,* ни *«уравнения»,* которые возводят в квадрат ошибочность, мысли г. Кроче. И таких грубых промахов у г. П. Шутякова не мало.

Bibliothèque Socialiste № 1. Manuel du coopérateur socialiste, par M a u r i c e L a u z e l. Paris 1900. № 2—4. Le Collectivisme et l'évolution industrielle, par E m i l e V a n d e r v e l d e, Paris 1900. № 5. Proudhon, par Hubert
B o u r g i n. Paris 1900.

«Новое общество книжной торговли и издательства» (Société Nouvelle de librairie et d'édition) издает *«Социалистическую Библиотеку»,* вышедшие «номера» которой лежат перед нами. Литературные достоинства этих номеров далеко не одинаковы. Брошюра *Мориса Лозэля: «Руководство для кооператора социалиста»,* представляет собою посредственное произведение; большая брошюра (скорее — книга) *Вандервельда «Коллективизм и промышленное развитие»* очень хороша; а брошюра *Г. Буржэна «Прудон»* положительно слаба. Она интересна разве только как *«знамение времени».* Буржэн старается реабилитировать Прудона, видя в его учениях полезный противовес известным *«догмам»* (т. е. положениям современного социализма), неудобным и неприятным для сторонников министра Мильерана и его адвоката Жореса. Реакция, резко обнаружившаяся в области *практической* деятельности, не могла не вызвать реакции и в области *теоретической* мысли. Неудачная брошюрка Буржэна не первое и не последнее произведение, написанное в этом будто бы *критическом* духе. «Ортодоксальным» марксистам, может быть, не совсем приятно (потому что *скучно),* но во всяком случае необходимо знакомиться с подобными «трудами», чтобы изучить на них слабые стороны позиции своих противников.

Эти слабые стороны заметны также и в брошюре Лозэля. Лозэль горячий сторонник потребительных товариществ. Он настойчиво рекомендует их устройство и старается всесторонне выяснить их значение французским социалистам. Это было бы, разумеется, очень не-

дурно, если бы Лозэль не впадал при этом в промахи, способные внести немалую путаницу в головы рабочих. Вот, например, он доказывает, что уже в настоящее время нужно добиваться непосредсвен-ных улучшений в быте рабочего класса. Это безусловно верно. Доказывает он также, что потребительные товарищества являются надежным средством такого улучшения. Это верно по крайней мере до известной степени и в применении к некоторым слоям рабочих. Но,

высказав эти, более или менее верные, мысли, Лозэль совершенно неожиданно вспоминает великое изречение Маркса: *«освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих»* и, опираясь на это действительно великое изречение, утверждает, что потребительные товарищества лучше всего *«.решают вопрос о реформах»,* так как они представляют собою реформу, осуществляемую собственными силами народа в отличие от реформ, «уступаемых» буржуазией (стр. 38—39). Это что-то очень неясно и, — воля ваша, читатель! — напоминает то учение, по которому рабочие должны улучшить свой быт путем собственных усилий, не требуя вмешательства государства в отношения труда к капиталу. Но это учение насквозь пропитано *буржуазным* духом, и было бы очень жаль, если бы французские социалистические кооператоры сделались его последователями. Кооперативное движение, несомненно, может оказать французским социалистам *часть* тех огромных услуг, которое оно оказало бельгийским. Но само собою понятно, что эта часть будет *тем больше, чем менее* будут кооператоры поддаваться влиянию буржуазных доктрин.

О пользе кооперации громче всех кричат во Франции сторонники Мильерана-Жореса. Мы потому говорим: *кричат,* что и в этом отношении *делают* более *«гэдисты».* На первом *«национальном и интернациональном конгрессе социалистической кооперации»,* происходившем в Париже 7, 8, 9 и 10 июля прошлого года, гэдист *Дэлори* представлял кооперативное товарищество «L'union de Lille», имеющее 5100 членов, между тем как Жорес фигурировал в качестве представителя от парижской «Cooperation Socialiste», число членов которой доходило лишь... до 38. Но апостол *«новой методы»* не перестает расточать похвалы кооператорам,— руководствуясь при этом совершенно определенным и вполне понятным политическим расчетом,— и эти непрестанные похвалы дают многим повод думать, что успех кооперативного движения во Франции зависит от торжества Жореса и других «независимых» социалистов. Но «независимые» французские социалисты в большинстве случаев совершенно *независимы от определенных социалистических взглядов, и* потому их влияние на кооператоров вряд ли способно предохранить этих последних от увлечения буржуазными доктринами вроде той, которую

напоминают рассуждения Лозэля о реформах. Сознательные французские социалисты должны очень строго относиться к таким рассуждениям.

Брошюра Вандервельда, как мы уже сказали, очень хороша. Она заключает в себе много интересных данных о ходе промышленного развития в цивилизованных странах. Местами автор победоносно

отвечает в ней на возражения, делаемые против «марксовой догмы» критиками вроде г. Бернштейна. Но... нам кажется, что Вандервельд все-таки не вполне *критически* отнесся к критикам. Так**,** например, на странице 29-й своей брошюры он допускает, что в «Манифесте *Коммунистической Партии»* есть «следы» *«катастрофических утопий* (des utopies catastrophiques) и «переживания» (des survivances) той теории, по которой революции приходят «яко тать в нощи». По нашему мнению, Вандервельд не имел никакого решительно основания для того, чтобы допускать это. Если бы он с надлежащей *критикой* отнесся к нападкам критиков à la Бернштейн и Струве на учение Маркса о *социальной революции,* то он ясно увидел бы, как несостоятельны, легкомысленны и отчасти прямо смешны эти нападки.

Но вопрос об отношении *революции к эволюции* есть большой вопрос. *«Заря»* должна посвятить ему особую статью.

Не совсем согласны мы и с тем, что говорится у Вандервельда о собственности в социалистическом обществе. Но и этого вопроса нельзя решать в небольшой рецензии. В общем брошюра Вандервельда — хорошее приобретение для социалистов.

О книге С. Франка.

С. Ф р а н к. Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд. С.-Петербург 1900.

Г. С. Франк так определяет цель своего «этюда»: «Мы старались в нем показать, в каком отношении теория ценности Маркса должна быть признана неправильной и при каком значении она сохраняет научную ценность. Мы старались далее показать, что это последнее, единственно, истинное значение трудовой теории ценности может быть обнаружено путем органического ее содействия с другой теорией ценности, так называемой теорией субъективной ценности или предельной полезности и что такое соединение двух по-видимому противоречащих друг другу теорий служит на пользу их обеих и открывает некоторые новые плодотворные точки зрения в теории ценности и распределения». (Предисловие, стр. V.)

Другими словами: г. Франк задался целью показать, что Маркс еще бы более навострился, когда бы у Бем-Баверка немного поучился! Это, без сомнения, очень интересная тема. Весь вопрос в том, достиг ли наш автор своей цели. На этот вопрос мы должны ответить решительным отрицанием: нет, цель г. Франка осталась недостигнутой.

Чтобы критиковать Маркса,— как и всякого другого писателя,— необходимо дать себе труд понять его. Весьма трудолюбивый г. Франк не дал себе этого необходимого труда. Неудивительно поэтому, что из его попытки не вышло ничего, кроме огромной путаницы понятий.

Основное положение предпринятой г. Франком критики марксовой теории ценности состоит в том, что *третий* том *«Капитала»* противоречит *первому,* так как в третьем томе Маркс не разрешил того затруднения,

которое он обещал разрешить, и в сущности *отказался* от трудовой теории меновой ценности (стр. 263 и 271). Это положение тесно переплетается со всеми рассуждениями г. Франка об экономической системе Маркса, и надо признать, что оно придало бы им значительный вес, если бы оно было справедливо. Но, к сожалению, оно совершенно ошибочно.

Доводы, приводимые г. Франком в защиту этого положения, сводятся к следующему:

Задача *трудовой теории меновой ценности* заключается и определении того общего свойства всех товаров, которое имеется и одинаковом количестве в обменивающихся друг на друга единицах их; поэтому тот факт, что при обмене по «средним» или «нормальным» ценам обмениваются друг на друга товары, заключающие в себе *разное* количество рабочего времени, служит сам по себе опровержением трудовой теории меновой ценности, и никакое объяснение этого явления не может изменить его. Вот почему большинство приверженцев названной теории ожидало, что в третьем томе своего главного труда Маркс докажет, что в действительности средние цены совсем не отклоняются от трудовой ценности товаров. «Ожидали, говорит г. Франк, — что он покажет мнимость этого отклонен им, столь очевидного с первого взгляда, и таким образом некоторым таинственным кунстштюком разрешит знаменитую «сфинксову» загадку. Но третий том «Капитала» обманул эти ожидания. «Как бы кто ни смотрел на то разрешение задачи, которое предложил Маркс,— продолжает г. Франк,— одно несомненно: оно... прямо признавало, что обмен товаров «по средним ценам» не совпадает с обменом пропорционально сравнительной затрате труда на производство товаров. Такой ответ был, разумеется, необходим; нельзя было думать, что Маркс будет отвергать это несовпадение, составляющее одно из наименее оспариваемых положений экономической науки. С другой стороны, однако, ответ этот... уничтожал всякое значение трудовой теории меновой ценности, и Зомбарт прав, говоря, что решение Маркса встретило одно «всеобщее покачивание головой,— «ein allgemeines Kopf schütteln»,— у многих может быть непроизвольное» (стр. 63—64).

Итак, *«ожидали»,* что Маркс покажет «мнимость» отклонения средних цен от трудовой ценности. Это, пожалуй, и верно. Г. Франк справедливо говорит, что именно на этом ожидании основывались работы Конрада Шмидта и Штиблинга на Западе и профессора А. И. Скворцова — у нас (стр. 62). Но это обстоятельство еще нимало не доказывает того, что указанное *«ожидание»* соответствовало мысли Маркса. В действительности оно решительно и *явно* противоречило ей. Вот, например, потрудитесь прочитать эти строки: «Если бы беспристрастное

мышление было в интересах капиталистов, он должен был бы поставить себе задачу происхождения капитала следующим образом: каким образом может образоваться капитал в том случае, когда цены регулируются средней ценою, т. е. в *последней* инстанции стоимостью (ценностью) товара. Я говорю

в «последней инстанции», потому что средние цены не совпадают прямо с величинами стоимости (ценности) товаров, как это думают А. Смит, Рикардо и другие» [1]).

Простой и ясный смысл этих слов вряд ли нуждается в комментариях: Маркс *отрицает* прямое (в немецком подлиннике: direkt) совпадение средних цен товаров с их ценностями. Люди, думавшие, что Маркс *признает* его и даже собирается *«доказать»* его в третьем томе, просто-напросто *плохо поняли Маркса.* Г. Франку следовало показать неосновательность их ожиданий. Он поступил не так. Из того, что *третий* том «Капитала» не оправдал ожиданий некоторых читателей его *первого* тома, он заключил, что третий том противоречит первому, что в третьем томе Маркс *«отказался»* от своей собственной теории ценности. Странная логика у г. Франка!

Правда, в цитированных нами строках говорится, что в *последней инстанции* цены все-таки регулируются *трудовой ценностью* товаров. До выхода третьего тома могло оставаться не совсем ясным, *что именно* разумеет Маркс под этим *регулированием в последней инстанции.* Но на этот счет можно было строить те или другие догадки. Но что это регулирование совсем не означало того *прямого совпадения,* о котором говорит г. Франк и о котором действительно думали некоторые читатели «Капитала» (гг. К. Шмидт и А. И. Скворцов в том числе), это совершенно очевидно и не нуждается ни в каких доказательствах.

Впрочем, каши маслом не портят. В наше «критическое» время не мешает доказывать даже совершенно очевидные истины. Приведем и мы некоторые лишние доводы в пользу защищаемой нами мысли.

Во втором томе «Капитала» Маркс, разбирая указанные Рикардо признаки различия между основным капиталом, с одной стороны, и оборотным, с другой, между прочим замечает:

«При распределении общественной прибавочной стоимости (ценности) между капиталами, помещенными в различных предприятиях, различие сроков, на которые затрачивается капитал (следовательно, продолжительность существования основного капитала, например) и различный органический состав капитала (следовательно, также различное обращение постоянного и переменного капитала) оказывают

[1]) «Капитал», С.-Петербург 1872, стр. 109. примечание. В цитируемом нами издании слово «Wert» переведено словом *стоимость.* Теперь для обозначения того понятия у нас употребляется слово: *ценность.* Мы считаем старый термин более удачным, но, во избежание терминологической путаницы, мы тоже отказываемся от него.

соразмерное (имеют одинаковое) влияние при приведении прибыли к общей норме и при превращении стоимости (ценности) в цену производства» [1]).

Из этих слов с полной ясностью следовало:

1. Что *ценность* товаров превращается в *цену производства.*

2. Что *цена производства* данного товара *не равна* или, по крайней мере, *не всегда равна* его *ценности;* если бы была *равна,* то время обращения и органический состав капитала не имели бы влияния.

3. Что *общественная прибавочная ценность* распределяется между отдельными предприятиями сообразно *закону* (пока еще нам неизвестному) *превращения ценности в цену производства.*

Эти три вывода, с одной стороны, поясняют смысл замечания, заимствованного нами из первого тома, а с другой — представляют резюме (правда, очень короткое и не совсем полное) того самого решения «сфинксовой загадки», которое заключается в *третьем томе* и которое, по мнению г. Франка, решительно противоречит теории ценности, изложенной *в первом.*

Но это не все. В том же втором томе *«Капитала»* Маркс говорит, что при всеобщем повышении заработной платы «цена товаров возвышается в тех отраслях промышленности, в которых главное значение имеет переменный капитал, и падает в тех отраслях, где главную роль играет капитал постоянный» [2]).

Маркс не мог бы держаться такого взгляда, если бы полагал, что *«средняя цена»* товара равняется его *ценности.* С этим согласится всякий, кто знаком хотя бы только с азбукой занимающей нас теории. А при внимательном отношении к вопросу всякий понимающий дело человек согласится также и с тем, что и этот взгляд Маркса был довольно ясным указанием насчет того, в каком смысле решал Маркс свою «загадку»: зная этот взгляд, мы *имели* бы полное право удивиться, *если бы третий том дал нам не то ее решение, какое мы находим в нем теперь.* Тогда мы действительно могли бы заговорить о «противоречии» между различными томами «Капитала». А теперь у нас нет даже и тени подобного права.

То правда, что многие «приверженцы теории ценности Маркса» не замечали указываемых нами мест второго тома и продолжали понимать

эту теорию совершенно так, как доныне понимает ее г. Франк, т. е. в смысле совпадения «средних цен» товаров с их

[1]) Стр. 152 русск. перев. и 182 второго издания немецкого подлинника.

[2]) Стр. 315 второго издания немецкого подлинника и 253 русского перевода (изд. 1885 г.).

ценностями. И этого, разумеется, похвалить нельзя. Но Маркс тут совсем не при чем, и его «отказ» от своей собственной теории все-таки остается выдумкой г. Франка.

Впрочем г. Франк только повторяет чужую выдумку. По всему видно, что его ввел в заблуждение Бем-Баверк, который, в своей известной работе: «Zum Abschluß vom Marxschen System», выдвигает мнимое противоречие третьего тома с первым, как не подлежащую сомнению истину и как одно из самых ярких доказательств несостоятельности экономической системы Маркса. Г. Франк считает эту работу австрийского профессора серьезной, продуманной и основательной. По его мнению, причины того пренебрежительного отношения, которое она встречала в русской литературе, могут лежать в чем угодно, но никак не в качествах самой работы (стр. 18, примечание). «Систематической и обстоятельной критике,— прибавляет он,— эта работа до сих пор подвергнута не была, несмотря на то, что *по поводу ее* написано было довольно много» (стр. 19, продолжение того же примечания). Мы не знаем, почему никто из русских писателей до сих пор не захотел «систематически и обстоятельно» разобрать это произведение Бем-Баверка. Но мы с уверенностью говорим, что причины этого заключались, конечно, не в силе занятой Бем-Баверком теоретической позиции. Что позиция эта как нельзя более слаба, видно уже из одного того, что ключом ее служат все те же *несуществующие «противоречия»* между третьим и первым томами «Капитала». Мы искренно сожалеем о том, что «критически» мыслящий г. Франк не сумел *критически* отнестись к Бем-Баверку и не заметил беспредельной бесполезности того критического похода против Маркса, который был предпринят этим теоретиком предельной полезности. Критическое отношение к Бем-Баверку предохранило бы нашего критика от многих важных заблуждений. Конечно, при таком отношении к Бем-Баверку книга г-на Франка, может быть, совсем не была бы написана и не приняла бы тех довольно почтенных размеров, какие она имеет в настоящее время (VI и 370 стр.). Но в этом не было бы большой беды. Еще Козьма Прутков дал прекрасный совет: *Лучше скажи мало, но хорошо.*

Приписав Марксу (т. е. Марксу *первой манеры,* как говорят живописцы) ту мысль, что средние цены товаров равняются их ценностям, г. Франк рассуждает совершенно логично, приписывая ему «Схему *распределения»,* сводящуюся к тому, что «процесс распределения всей суммы произведенных в обществе ценностей совершается в каждой отрасли производства отдельно и независимо

от других отраслей производства, и что поэтому капиталисты каждой производительной группы получают «прибавочную ценность», созданную рабочими той же самой производительной группы. Все общество оказывается разделенным на целый ряд общественных групп, *внутри* которых совершается процесс распределения общественного дохода, но которые *между собою* только обменивают один вид продуктов на другой, а не распределяют общественного дохода (стр. 268—269).

По поводу этой *«Схемы Маркса»* г. Франк глубокомысленно замечает, что она «неправильно или, по крайней мере, односторонне изображает действительный процесс распределения в капиталистическом обществе» (стр. 269), и что в третьем томе «Капитала» Маркс отказался также от этой схемы (стр. 271). «Картина распределения получает в третьем томе следующий вид». «Прибавочную ценность» при обмене труда на продукт извлекает не каждый отдельный капиталист, а весь класс капиталистов, вместе взятых. Вторичный обмен *между* отдельными членами этого класса означает не только перемену потребительной формы прибавочной ценности между капиталистами, так что каждый из них в отдельности извлекает свой доход не только из первого обмена, но и из второго. Точнее из первого обмена извлекает прибавочную ценность весь класс капиталистов, а каждый член ее в отдельности присваивает себе долю этой ценности во втором обмене: так как этот последний обмен не есть обмен равной ценности на равную, то он и означает распределение прибавочной ценности между капиталистами (стр. 272).

Г. Франк считает эту «вторую схему» Маркса более правильной, чем «первая», но и она неясно формулирует, по его мнению, те выводы, «которые можно сделать из посылок, лежащих в ее основании». В числе этих посылок г. Франк прежде всего указывает на *«признание* (курсив г. Франка) общественного труда мерилом субъективной ценности» (стр. 272—273).

Как заметил, конечно, читатель, покупка-продажа рабочей силы называется у нашего критика *обменом труда на продукт.* **С** его точки зрения это изменение терминов не лишено целесообразности. Но что оно совершенно неосновательно по существу и неспособно произвести ничего, кроме путаницы понятий, это понятно само собою. Поэтому мы,

ограничиваясь простым указанием на нее, переходим к *«признанию»* труда мерилом общественной субъективной ценности.

Что такое общественная субъективная ценность?

Если мы имеем перед собою социальную группу в роли единого субъекта хозяйственной деятельности,— говорит г. Франк,— то это предполагает также единство воли и потребности, а следовательно, и единство оценки благ во всех ее членах. В этом смысле общество можно назвать субъектом оценки, а соответствующую ценность — субъективной общественной ценностью (стр. 248).

Итак, общественная субъективная ценность блага, это — та его ценность, которую оно имеет в глазах общества. Заметим кстати, что, по мнению г. Франка, условием возникновения чувства этой ценности является польза известного блага для самосохранения всего общественного хозяйства, всей группы, вместе взятой (стр. 246).

Каким же образом общественный труд может стать мерилом общественной субъективной ценности?

Г. Франк различает два вида хозяйства: 1) изолированное хозяйство и 2) хозяйство меновое. Изолированным у него называется такое хозяйство, «при котором потребности его субъекта удовлетворяются путем собственной деятельности этого субъекта» (стр. 244). При этом все равно, — кто является субъектом хозяйства: индивидуум, семья, труппа семей или большое общество. Что касается *менового* хозяйства, то его характер достаточно определяется в рассматриваемом отношении его *названием.* Г. Франк берет сначала изолированное хозяйство и старается показать, что в нем «трудовая ценность есть не что иное, как субъективная ценность дохода» (стр. 244). Затем он рассматривает значение этой теоремы в применении к меновому хозяйству. При разборе его доводов нам естественно держаться того же порядка.

Г. Франк рассуждает так. «Ценность» всякого блага определяется интенсивностью той потребности, удовлетворение которой находится в зависимости от обладания данным благом. Если при помощи известного средства производства можно создать в известном количестве все блага, то обладание каждым из них отнюдь не составляет условия удовлетворения соответственной ему потребности: при отсутствии блага, оно может быть вновь создано. При этом придется пожертвовать лишь определенным количеством этого средства производства, т. е. вместе с тем наименее полезным продуктом его. Таким образом эта жертва

одинакова при создании всех родственных по производству благ: она равна ценности наименее полезного продукта данного средства производства. Если мы поставим теперь вместо понятия «средство производства» понятие *труда,* который и служит таким общим средством производства для всех воспроизво-

димых благ, то мы придем к выводу, что субъективная ценность этих благ определяется ценностью наименее полезного продукта *труда.* Так как обладание каждым из этих благ зависит для человека от затраты определенного количества труда, то при потере каждого из них он может обеспечить себе удовлетворение соответственной потребности, затрачивая на производство данного блага требуемое количество труда, т. е. теряя при этом наименее полезный продукт труда. Пожертвование определенным количеством труда, необходимое для создания блага, равносильно поэтому для человека пожертвованию предельной полезностью наименее полезного продукта этого труда... Труд, как общее условие создания благ, становится общим мерилом их субъективной ценности. *Субъективная ценность продуктов труда совпадает,* таким образом, *с их трудовой ценностью, т. е. является результатом оценки благ пропорционально затраченному на их производство труду»* (стр. 233—234).

Субъективная ценность сделанной нами выписки определяется для нас тем, что это длинное благо ясно показывает, в какие логические противоречия попадает г. Франк под влиянием своей интенсивной потребности поправить Маркса посредством Бем-Баверка. В самом деле, мерилом субъективной ценности продуктов оказывается у него труд, а субъективная ценность этого «средства производства» определяется субъективной ценностью его наименее полезного продукта. Это называется посылать от Понтия к Пилату или,— выражаясь менее литературным языком,— топтаться на одном месте. Если, не довольствуясь столь «критическим» топтанием, мы спросим себя, существует ли какая-нибудь *иерархия человеческих потребностей,* то г. Франк не колеблясь ответит нам, что существует. *«Субъективная ценность хлеба,*— пишет он курсивом,— *выше ценности предметов украшения»* (стр. 302). На ряду с *«предметами украшения»* здесь очевидно можно поставить все вообще *предметы роскоши:* их субъективная ценность ниже ценности *предметов необходимости.* Вот это ясно, и это поможет нам выйти из логического тупика, в который мы попали благодаря нашему «критику».

Вообразим, что субъект изолированного хозяйства, — скажем хоть Робинзон на своем острове,— затрачивает определенное число часов на производство предметов необходимости («хлеб» г. Франка) и столь же точно определенное число на приготовление предметов роскоши («предметов украшения»). Если для производства данного предмета роскоши Робинзону нужно употребить столько же времени, сколько требуется его для изготовления данного предмета необходи-

мости, то трудовая ценность этих предметов будет *одинакова,* несмотря на то, что один из них есть *«хлеб»,* а другой— «*украшение»,* и что *«субъективная ценность хлеба выше ценности предметов украшения».* Это значит, что трудовая ценность продуктов *не совпадает* с их субъективной ценностью, *а потому и не может служить их мерилом.* А ввиду этого и все рассуждение г. Франка оказывается построенным «на песце» и потому обладающим совершенно ничтожной *предельной полезностью.*

Если г. Франк откажется от своей — высказанной *курсивом*— мысли о том, что *«субъективная ценность хлеба выше ценности предметов украшения»,* и, подобно некоторым другим питомцам австрийской школы, например, Смарту в его «Introductory to the theory of values, начнет уверять нас в том, что субъективная ценность украшения может быть гораздо выше таковой же ценности хлеба, то мы заметим нашему автору, во-первых, что такой *«отказу* делает целый *«переворот»* в его *«системе»,* а во-вторых, что его положение нимало не улучшится даже благодаря *«отказу»:* пока изготовление двух данных предметов будет стоить субъекту изолированного хозяйства одинаковой затраты труда, до тех пор они не перестанут иметь для него одинаковую трудовую ценность, *как бы ни различались между собою, по своей интенсивности, те потребности, которые удовлетворяются ими* [1]).

Само собою разумеется, что если данный предмет не удовлетворяет *никакой потребности,* то труд, затраченный на его производство, окажется *бесцельным* и потому не создающим *никакой ценности.* Но ведь

это очень хорошо было известно Марксу, и для того, чтобы обосновать это положение, нет ни малейшей надобности апеллировать к Бем-Баверку.

А как обстоит дело с общественной субъективной ценностью в меновом хозяйстве? На этот счет г. Франк говорит нам вот что:

«В обществе, где реальное единство субъекта хозяйства отсутствует, или где деятельность этого субъекта играет по крайней мере незначительную роль в совокупности общественно-хозяйственных процессов, категория общественной ценности имеет место постольку, поскольку в обществе распространено *представление об общественном хозяйстве,* как едином целом. Условием возникновения представления об общественной ценности является, таким образом, из-

[1]) Именно этот случай показывает, что термин *«стоимость»* удачнее термина *«ценность»:* ценность предмета определяется здесь именно теми *усилиями,* которых *стоит* его изготовление.

вестное культурно-правовое или этическое миросозерцание, основанное на признании всех (?) людей членами общества и создании интересов общества, как такового... Где такое миросозерцание отсутствует, там не может иметь место и представление об общественной ценности продукта» (стр. 255).

Довольно. Кто внимательно прочитал эти строки, тот и сам видел, что ни одна из «схем распределения» Маркса не была и не могла быть основана на признании общественного труда мерилом общественной субъективной ценности. Такое «признание» есть не более, как очень неудачное «сочинение» г. Франка.

Цель, которую поставил себе г. Франк, осталась недостигнутой. Его «критический этюд» представляет собой *почти сплошную путаницу понятий.* И тем не менее он имеет для нас некоторую «субъек-тивную ценность»: он показывает нам, что кому-нибудь из последователей Маркса следовало бы сделать *новое изложение теории* трудовой ценности,— такое изложение, которое сообразовалось бы с вопиющей путаницей, внесенной в этот предмет «критиками» вроде г. П. Струве, Туган-Барановского. Франка и пр., и устранило бы эту путаницу.

Г. Франк с большой похвалой отзывается (стр. 140—141, примечание) о статьях г. П. Струве, посвященных «критике» марксовой теории ценности и появившихся в *«Жизни».* С своей стороны г. П. Струве расхвалил «этюд» г. Франка в чрезвычайно поверхностной рецензии, напечатанной в августовской книжке «Мира Божьего».

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.

Литературное наследство Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Aus dem literarischen Nachlas von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle. Herausgegeben von Franz Mehring. I. Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. Von März 1841 bis März 1844. Stuttgart, Verlag von J. H. W. Dietz Nachf. 1902. (Из литературного наследства Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля. Том первый: собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вышедших от марта 1841 г. до марта 1844 г. Издание И. Г. В. Дица преемн., под редакцией Франца Меринга, Штутгарт 1902).

Многие из сочинений Маркса и Энгельса, вышедших в сороковых годах прошлого века, сделались совершенно недоступны читающей публике. А между тем они чрезвычайно важны, как материал для истории возникновения и развития современного социализма. Поэтому предпринятое фирмой Дитца издание этих сочинений, сопровождаемых пояснительными примечаниями Фр. Меринга, будет радостно встречено всеми мыслящими читателями. Теперь вышел первый том этого издания, который заключает в себе сочинения, относящиеся к периоду 1841—1844 гг. [1]). Интерес, возбуждаемый этим томом, усиливается еще тем обстоятельством, что в него вошла остававшаяся до сих пор ненапечатанной докторская диссертация Маркса «Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie» (о различии между демокритовой и эпикуровой философией природы).

Когда мы читали этот том, нам не раз вспоминалось замечание, которое делает врач-француз в одной из повестей Герцена: «Должно быть на людей бывает урожай, как на виноград. Кажется, условия те же, а один год из 10-ти вино лучше, говорят от кометы. В Англии комета на людей была во время Кромвеля, а у нас — в конце XVIII века». В Германии «ко-

мета на людей» была, по-видимому, в ту эпоху, когда складывались характер и миросозерцание Маркса, Энгельса и Лассаля. Как усердно работала мысль тех,— правда, не очень многочисленных,— людей, которые пробуждались тогда к сознательной жизни! И каким благородным огнем горели их сердца.

[1]) На днях вышел 4-й том, содержащий письма Ф. Лассаля к Марксу и Энгельсу за 1849—1862 гг. В феврале выйдет второй и в апреле третий томы.

Г. Вернер Зомбарт говорит в своих чтениях о социальном движении XVIII века, что революционное настроение Маркса, не покидавшее его до самой смерти, объясняется его скитальческой жизнью политического изгнанника. Это объяснение, от которого так сильно несет *филистерским* духом, сделается совершенно несостоятельным в глазах всякого беспристрастного читателя, если только он даст себе труд внимательно прочитать рецензируемый нами том. Вошедшие в него сочинения Маркса написаны были в то время, когда он совсем еще не отведал горечи изгнаннической жизни. А между тем революционная страсть бьет в них ключом всюду, где только заходит речь об общественных вопросах. Ясно, что эта страсть порождена не эми-грантской жизнью; ясно, что она создана была той самой «кометой», которая вызвала «урожай на людей» в Англии XVII века и во Франции XVIII века. А если мы вспомним, каковы были социально-политические условия каждого из этих «урожайных» периодов, то мы без труда увидим также к ошибку герценовского врача-француза. В самом деле, у него выходит, что общественные условия остаются *«те же»* как в «урожайные», так и в «неурожайные» годы, между тем как на самом деле оказывается, что именно условия-то изменяются, и что в их изменении все дело: урожай на революционеров бывает тогда, когда новые общественные нужды приходят в противоречие со ста-рым социально-политическим порядком, и когда общество вступает, вследствие этого, в революционную эпоху своего развития. Такое противоречие существовало в Англии времен Кромвеля и во Франции 2-й половины XVIII века. В Германии оно характеризует собою все то время, к которому относится юность и первая молодость Маркса, Энгельса и Лассаля. Эти люди стали революционерами по той причине, что воспитались в революционную эпоху. А вот г. Вернер Зомбарт воспитывался в такое время, когда класс, к которому он принадлежит,— *немецкая буржуазия,*— во всех своих слоях сделался более или менее консервативным. Поэтому ученый профессор просто-напросто неспособен понять революционное настроение Маркса, до сих пор, однако, очень хорошо понятное многим и многим *немецким пролетариям.* Теперь в Германии полный неурожай на революционеров *из среднего класса.* А когда люди неурожайной эпохи берутся судить о лучших представителях

урожайных годов, их суждения по необходимости выходят узкими, а иногда и просто *пошлыми.*

Известно, что Маркс, Энгельс и Лассаль, сделавшиеся революционерами в период борьбы немецкой буржуазии с «старым порядком», рано покинули точку зрения *революционной буржуазии* и перешли

на точку зрения *революционного пролетариата.* Этот переход совершенно закончился,— по крайней мере у Маркса и Энгельса,— уже ко времени издания «Deutsch-Französische Jahrbücher», т. е. в начале 1844 г.; чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать, например, статью Маркса «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie» или статью Энгельса «Die Lage Englands». (Обе эти статьи появились первоначально в названных «Jahrbücher», а теперь вошли в разбираемый том). Но в самом начале своей публицистической деятельности Маркс был только *радикалом,* разящим абсолютизм с помощью *философской критики.* К этому первоначальному периоду его деятельности относится его сотрудничество в «Rheinische Zeitung», и в течение этого же периода написана им статья «Bemerkungen über die neuste preußische Zensurinstruktion», напечатанная в первом томе вышедших в Цюрихе, в начале 1843 г., «Anekdotis zur neusten deutschen Philosophie und Publizistik». Радикал Маркс и тогда уже является таким же горячим революционером и таким же могучим и беспощадным полемистом, каким видим его в его позднейших сочинениях. Написанные им тогда статьи представляют собою поистине образцовые публицистические произведения, несмотря на свой,— странный теперь,— философский язык. Названная нами выше статья о цензурной инструкции до сих пор сохранила для русского читателя весь интерес современности, и мы думаем, что, будучи издана в русском переводе, она приобрела бы немалое агитационное значение. Впрочем и немецкий читатель извлечет из знакомства с нею значительную пользу. Правда, современный немецкий читатель уже не знает тех прелестей цензуры, которые пришлось изведать Марксу, и которыми мы, русские, наслаждаемся и по «сие время». Но в современной Германии вырастает теперь *цензура другого рода:* цензура общественного мнения, осуждающего *резкий полемический и насмешливый тон.* Такого тона теперь не могут терпеть даже многие социал-демократы, и именно об этом тоне Марксу пришлось говорить, разбирая то место цензурной инструкции, которое рекомендует тон «скромный и серьезный». Как и следовало ожидать, он выступил решительным сторонником того, что можно назвать *свободой тона.* «Вы восхищаетесь очаровательным разнообразием, неисчерпаемым богатством природы. Вы не требуете, чтобы роза имела

запах фиалки, а то, что выше всего на свете, дух, должен, по-вашему, существовать лишь в одном виде,— спрашивает он.— Я склонен к юмору, а закон требует от меня серьезности. Я резок, а закон повелевает мне писать скромным стилем. Серый цвет оказывается единственным законным цветом свободы. Каждая

капля, отражающая в себе солнце, горит неисчерпаемым разнообразием цветов, а духовное солнце должно всегда вызывать только один, только официальный цвет, в каком бы множестве лиц и в каких бы предметах оно ни отражалось. Существенная форма духа есть веселость, свет, а вы хотите, чтобы тень была единственной закономерной формой его проявления. Он может носить только черный костюм, между тем как ни один цветок не окрашивается природой в черный цвет... Если серьезность не состоит, по-вашему, в том, в чем она должна состоять согласно определению Тристрама Шенди, если она не сводится к лицемерным движениям тела, скрывающим недостатки души, то все ваше предписание превращается в ничто. Ибо я серьезно отношусь к смешному только тогда, когда я смеюсь над ним, и серьезная нескромность духа заключается не в чем ином, как в скромном отношении к нескромности. Серьезно и скромно, как неопределенны и относительны эти понятия», и т. д., и т. д. Нам сдается, что если бы Меринг выпустил первый том задуманного им издания месяца за полтора до Любекского съезда, и если бы наши немецкие товарищи получили, таким образом, возможность ознакомиться с блестящими и совершенно справедливыми соображениями Маркса о том, *в чем состоит истинная серьезность тона,* то в Любеке не были бы сделаны некоторые замечания о *тоне* некоторых статей, направленных против г. Бернштейна и едко *осмеивавших смешное.* Впрочем лучше поздно, чем никогда. Пусть сторонники *«серьезного тона»,*— а их, как известно, много не в одной только Германии,— дадут себе труд *серьезно* обдумать замечание Маркса *о серьезном отношении к смешному.* Это чтение окажет весьма полезное влияние на их литературные понятия.

Читатель, вероятно, удивляется тому, что мы до сих пор ничего не сказали о диссертации Маркса, посвященной выяснению различия между философией природы у Эпикура, с одной стороны, и у Демокрита — с другой. Но об этой диссертации и не приходится много распространяться в настоящее время. Она была написана Марксом еще тогда, когда он обеими ногами стоял на почве *философского идеализма,* самой слабой стороной которого всегда была именно *философия природы.* Поэтому диссертация Маркса не может иметь научного значения в глазах нынешнего читателя. Она важна только как материал для суждения о

ходе умственного развития ее автора. Но зато в этом отношении значение ее очень велико. Она наглядно показывает, до какой степени настоятельно необходим был разрыв будущего автора «Капитала» с философским *идеализмом:* не разо-

рвавши с ним, Маркс, несмотря на все свои блестящие способности, далеко не сделал бы в области теории всего того, что он получил возможность сделать благодаря своему переходу в *материалистический* лагерь.

Мы уже сказали, что, перепечатывая статьи Маркса и Энгельса, Ф. Меринг прибавил к ним свои пояснительные примечания. При чтении этих примечаний нам иногда казалось, что их автор несправедлив к Гегелю (см., например, на стр. 342 его замечание об отношении Гегеля к «Гражданскому обществу»). Но это—частность, толковать о которой здесь неуместно. В общем мы должны отозваться **с** большой похвалой об этих замечаниях, написанных со знанием предмета и с тем остроумием, которое так свойственно Рингу.

О книге Э. Вандервельда.

La Propriété Foncière en Belgique, par Emile Vandervelde,
Paris 1900.

Эта книга талантливого и ученого бельгийского социалиста состоит из трех частей. Первые две знакомят нас с самостоятельными исследованиями, которые он сделал, с помощью некоторых своих друзей, в области бельгийских поземельных отношений, а в третьей части Э. Вандервельд излагает выводы, добытые в той же области официальной бельгийской статистикой. Все три части как нельзя более интересны, и книга представляет ценный вклад в литературу аграрного вопроса. Мы настоятельно рекомендуем ее нашим читателям.

Первая часть, посвященная описанию деревень La Hulpe, Rixensart и Genval, лежащих недалеко от Брюсселя и совершенно подчинившихся его влиянию, дает новый материал для подтверждения и пояснения той, впрочем, уже не новой мысли, что дробление поземельной собственности и увеличение числа мелких сельскохозяйственных предприятий далеко не означает торжества *крестьянского* землевладения и земледелия. В исследованных Вандервельдом деревнях промежуток времени между 1831 и 1898 гг. ознаменовался *значительным ростом числа мелких участков ниже двух гектаров.* Но кому принадлежат и кем возделываются эти мелкие участки? Принадлежат они *рабочим,* ежедневно отправляющимся на работу в Брюссель, а возделываются *женами и дочерьми этих рабочих.* «Так как легкость сообщении привлекает в город большую часть лиц мужского пола,— говорит Вандервельд,— то полевые работы падают почти исключительно на женщин, ведя за собою все те дурные последствия, которые могут происходить отсюда для домашнего хозяйства и воспитания детей» (стр. 67). Эти полевые работы более или менее облегчают рабочей семье трудное дело сведения концов с концами, но о хозяйственной самостоятельности такой семьи не может быть и речи.

Господство капитализма так же безгранично в этих деревнях, как и в самых крупных промышленных центрах. Разница лишь в том, что,— по меткому замечанию Вандервельда,— капитализм завладел здесь не *земледелием, а земледельцами,* превратив их в *промышленных* рабочих (стр. 33). Эта разница не изменяет, конечно, сущности отношений наемного труда

к капиталу; однако она не остается без влияния *на развитие рабочего движения.* «Земледельцы, превращенные в промышленных рабочих», все еще связаны с деревней многими нитями и все еще не разделались с *деревенской отсталостью.* Они мало читают и плохо разбираются в окружающем. Их сознание развивается *лишь в той мере, в какой они испытывают на себе просветительное действие города.* К счастью, это просветительное действие постоянно возрастает. «Отвязанные от земли, деревенские жители,— говорит Вандервельд,— ежедневно приносят к себе домой новые идеи и новые чувства; развивается организация рабочих; в каждой деревне возникает своя ветвь профессионального союза и непосредственно вслед за капитализмом туда проникает социализм» (стр. 73).

Во второй части, исследующей движение поземельной собственности *по провинциям,* Вандервельд спрашивает себя, в какой мере предсказания социалистов насчет концентрации поземельной собственности подтверждаются опытом его страны. Данные, терпеливо собранные им и его друзьями в 2.609 бельгийских общинах и охватывающие промежуток времени от 1834 г. (в Лимбургской и Люксембургской провинциях от 1845 **г.)** до 1898 г., привели его к тому заключению, что «крупное землевладение прогрессировало в тех местностях, которые испытывали на себе непосредственное влияние главных городов, и, наоборот, регрессировало в тех, которые остались вне сферы этого влияния, благодаря большим расстояниям или трудности сообщения» (стр. 78). Но приобретения, сделанные крупным землевладением, были, во всяком случае, значительнее его потерь, так что *«принадлежащие* частным *лицам* поземельные участки в 100 гектаров занимают теперь большее пространство, чем в 1834—1845 годах» (стр. 77—78).

Но даже и в отсталых провинциях, где поземельная собственность, в общем, не концентрируется, а раздробляется; крупное землевладение прогрессирует *во всех тех дистриктах, которые по тем или другим причинам подчиняются влиянию больших городов* с их капиталистическими отношениями. Это мы видим, например, в провинциях Намюрской и Лимбургской. К тому же, само дробление поземельной

собственности знаменует победу капитализма, потому что по большей части его вызывает совершающийся под влиянием промышленного развития переход от экстенсивных форм хозяйства к более или менее интенсивным.

Если принять в соображение, что рост крупного землевладения в Бельгии сопровождался быстрым увеличением тех *микроскопических*

участков («носовых платков»), которые, как мы уже знаем, обрабатываются женами и дочерьми *промышленных* рабочих, то станет ясно, что собственно *крестьянское хозяйство Бельгии быстро клонится к упадку.*

А к этому нужно прибавить еще и то, заботливо отмеченное Вандервельдом, обстоятельство, что число участков, сдаваемых в аренду, *быстро растет,* между тем как участки, возделываемые своими собственниками, *уменьшаются в числе.* Это, во всяком случае, показывает, что *эксплуатация земледельца принимает более широкие размеры.*

Все эти выводы как нельзя лучше подтверждаются новейшими данными официальной земледельческой статистики Бельгии, анализируемыми в третьей части книги Вандервельда. Мы находим в этой части, между прочим, следующие интересные сведения.

В 1834 году приходилось 23 поземельных участка (cote) на 100 жителей; в 1897 году их приходится на то же число жителей только 18 (стр. 271).

Эти цифры указывают,— по справедливому замечанию Вандер-вельда, — на то, что во второй половине XIX века значительно увеличилось число лиц, не имеющих ровно никакой поземельной собственности. Но, взятые сами по себе, цифры эти далеко не дают надлежащего понятия об истинном положении дел. Их необходимо дополнить некоторыми другими.

Вандервельд полагает, что для Бельгии можно признать *в среднем* такую классификацию хозяйств, допускающую, однако, довольно значительные колебания в противоположные стороны:

	Гектары.
Крупные хозяйства	50 и выше
Средние	от 10 до 50
Мелкие	» 2 » 10
Парцеллярные	» 0 » 2

Запомнив эту классификацию, обратите внимание на тот поразительный факт, что *по переписи* 1895 года в Бельгии на 829.625

земледельческих хозяйств приходилось 634.353 парцеллярных, т. е. таких, которые занимают *менее двух гектаров.*

Из 634.353 парцеллярных хозяйств 469.436 обрабатываются *арендаторами,* и только остальные 164.867 составляют *собственность* семей, их обрабатывающих.

За исключением тех местностей, в которых преобладает огородная культура, все эти хозяйства служат лишь *подспорьем* для своих обладателей *и ни в каком случае не могут быть рассматриваемы, как самостоятельные крестьянские хозяйства.*

Интересно, что в промежуток времени от 1846 года до 1880 года число парцеллярных, т. е. *не крестьянских,* хозяйств возросло с 400.514 до 710.563. Но с 1880 г. начинается обратное движение: по переписи 1895 г. число хозяйств этого рода, как мы видели, доходило уже только до 634.353. По словам бельгийского министра земледелия, это — чисто фиктивное уменьшение, объясняемое неточностью приемов переписи 1880 г. Но Вандервельд допускает, что число парцеллярных хозяйств в самом деле уменьшилось, и объясняет это явление тем, что в некоторых *земледельческих* местностях (в *промышленных* число парцеллярных хозяйств не перестает расти) по различным причинам уменьшилось число сельскохозяйственных *рабочих.* В самом деле, за время от 1880 до 1895 года число это понизилось:

Годы.	Мужчин.	Женщин.	Всего.
1880	141.762	75.433	217.195
1895	128.277	58.829	187.106

Этот параллелизм между сокращением числа земледельческих рабочих и уменьшением числа парцеллярных хозяйств лишний раз показывает нам, *как несамостоятельны* хозяйства этой, самой многочисленной в Бельгии, категории.

Мелкие крестьянские хозяйства, т. е. хозяйства, возделывающие от 2 до 10 гектаров, увеличивались в числе в период времени от 1846 г., когда их было 126.120, до 1880 г., когда их число поднялось до 158.261. Но с 1880 г. и здесь замечается обратное явление: *число хозяйств этого рода упало до 150.586.*

Уменьшение числа мелких крестьянских хозяйств сопровождается еще более быстрым уменьшением числа крестьян, возделывающих свою собственную землю.

В 1880 г. их было 60.298 (не очень много, как видит читатель), а в 1895 г. их осталось только 51.298.

Средние хозяйства (от 10 до 50 гектаров), наоборот, *стали многочисленнее.*

Годы.	Собст.	Арендат.	Всего.
1880	13.767	24.402	38.619
1895	14.237	26.865	41.102

«Но ошибочно было бы заключить из этого,— говорит Вандервельд,— что средняя крестьянская собственность, или средние хозяйства прогрессируют во всех местностях. Напротив, везде, где развивается крупная промышленность, они, по-видимому, идут назад, «следствие вздорожания наемного труда» (стр. 288).

Промышленные центры привлекают к себе рабочих из деревень и тем вызывают в этих последних *повышение заработной платы.* Это обстоятельство, уменьшая доходы средних крестьянских хозяйств, *эксплуатирующих наемный труд,* задерживает развитие или даже причиняет упадок этих хозяйств. Тут мы видим перед собою конкуренцию *промышленного* капитала с *сельскохозяйственным.* Сельскохозяйственный капитал *уступает* промышленному в борьбе за *объект эксплуатации, т. е. за рабочую силу.* Это может быть *дурно;* это может быть *хорошо* с известной точки зрения. Но что этот упадок средних хозяйств не знаменует собою победы *самостоятельного крестьянства,* доказывается цифрами, приведенными несколько выше.

Успехи капитализма,— говорит Вандервельд,— не непременно ведут к концентрации хозяйства. Довольно часто случается, напротив, что те же самые причины, которые уменьшают число хозяйств, возделываемых их собственниками, вызывают в то же время раздробление крупных имений, развитие огородничества, возделывание промышленных растений и умножение арендуемых рабочими крошечных участков, приносящих своим собственникам больший доход, чем крупные фермы. Для того, чтобы дело приняло другой оборот, крупная интенсивная культура должна приобрести решительное превосходство над мелкими хозяйствами (стр. 290).

Это бесспорно. Но в современной Бельгии превосходство крупной интенсивной культуры над мелкой не может уже подлежать ни малейшему сомнению. *С 1880 года начинается увеличение числа крупных хозяйств* (обрабатывающих более 50-ти гектаров), ясно обнаруженное официальной статистикой. «Уменьшились в числе именно мелкие хозяйства, занимающие менее 5-ти гектаров,— говорит цитируемый Вандервельдом «Annuaire statistique de la Belgique» за 1899 год. Напротив, число хозяйств, занимающих больше 10 гектаров, увеличилось на 3789.

Концентрация поземельной собственности, соответствующая развитию крупного земледельческого и скотоводческого хозяйства, обнаруживается здесь самым ясным образом. Начиная с 1880 года, происходит движение, обратное движению, замеченному в период 1866 — 1880 гг., в продолжение которого мелкие

хозяйства значительно возросли в числе, между тем как крупные уменьшились. В настоящее время исчезает мелкая поземельная собственность перед крупной» [1]).

Мы очень рекомендуем это свидетельство официальной бельгийской статистики вниманию той разновидности «критиков» Маркса, которые любят отвести душу в беседах о торжестве мелкого земледелия и землевладения на Западе.

Вниманию той же разновидности «критиков» рекомендуем мы и соображения Вандервельда о *«социализации земли»* (socialisation du sol).

Вандервельд принадлежит к числу социалистов, думающих, что уже в современном (капиталистическом) обществе до известной степени возможно сделать землю *общественной собственностью.* Поэтому на него не раз с любовью обращали свои взоры русские сторонники *общинного землевладения.* Но как же именно представляет себе Вандервельд социализацию земли в капиталистическом обществе?

Он очень пессимистично смотрит на будущую судьбу тех общинных земель («communaux»), которые местами до сих пор существуют в Бельгии. В своем нынешнем виде общинное землевладение несовместимо с интенсивным землевладением. Нет никакого сомнения в том, что оно должно, если не исчезнуть окончательно, то видоизмениться самым существенным образом (стр. 318).

Но в деле такого видоизменения совсем нельзя рассчитывать на *почин сельских общин,* проникнутых духом рутины и враждебных всему новому (та же страница). Почин социализации земли должен исходить, по мнению Вандервельда, *из городов:* «Прямо или косвенно города повлияют на деревню в смысле обобществления, распространяя дух ассоциации, развивая кооперативные товарищества и порождая высшие формы производства и присвоения. В самом деле ведь именно города всегда были деятельным элементом в революциях, пережитых собственностью и культурой» (стр. 319).

Это, конечно, неопределенно. Но в данном случае эта неопределенность не имеет для нас значения. Речь идет у нас не о том, в какой мере определенны взгляды Вандервельда на социализацию земли в капиталистическом обществе, а о том, похожи ли они на взгляды

[1]) Это место цитировано на странице 291 книги Вандервельда. Но там сказано, что оно взято с 44 страницы бельгийского статистического ежегодника. Это — описка. На самом деле оно находится на странице XI первого отдела: «Résumé comparatif des principales données de l'annuaire». Отмечаем это для тех читателей, которые захотели бы обратиться к первому источнику.

русских людей, доказывающих возможность перехода нашей сельской общины *«в высшую форму общежития».* На этот же вопрос приходится ответить совершенно отрицательно: взгляды Вандервельда не похожи на взгляды наших сторонников общинного землевладения уже по одной той причине, что у него социализация земли приурочивается к «социализирующему» влиянию *города, т. е. значит и капитализма.*

А есть еще и другая причина, по которой рассматриваемые здесь взгляды Вандервельда не могут быть признаны похожими на взгляды наших защитников общины. Причина эта сделается совершенно ясной для наших читателей, когда они прочтут следующие строки:

«Конечно, мы совершенно согласны с Каутским в том, что в бюрократических и военных монархиях у социальной демократии нет никакого разумного основания для того, чтобы увеличивать число фермеров капиталистического государства и делать центральную власть более независимой в своих финансовых средствах от представителей наций» (стр. 319).

Видите, как обстоит дело: s военных и бюрократических монархиях увеличение числа зависящих от государства фермеров сделало бы центральную власть более независимой от народных представителей. Ну, а как же обстоит дело в тех, еще более бюрократических и военных монархиях, где совсем уже нет никакого народного представительства? Ясно, что там увеличение числа фермеров государства еще более укрепило бы центральную власть, *поставив производителей в крепостную от нее зависимость.* А это значит, что в таких монархиях социал-демократия поступила бы совсем уже не разумно и не целесообразно, если бы она стремилась расширять или хотя бы только поддерживать общинное землевладение, которое означает там *не то, что земля принадлежит земледельцу, а то, что земледелец составляет вместе с землею собственность полицейского государства.*

О книге Масарика.

Философские и социологические основания марксизма. Этюды по социальному вопросу — М а с а р и к а, профессора чешского университета в Праге. Перевод с немецкого П. Николаева. Москва 1900.

Вот книга, которую непременно должны прочитать все, интересующиеся *«критикой марксизма».* Правда, эта книга переведена ужасным языком, и переводчик нередко совсем *не понимал* автора, а потому лучше ознакомиться с нею в немецком подлиннике. Но даже и в ужасном русском переводе она все-таки будет очень полезна читателям: она им откроет *психологию гг. «критиков»,* скрывающуюся за избитыми фразами о вреде ортодоксии, о необходимости идти вперед... pardon — *вернуться назад* и т. п., и т. п.

Г**.** Масарик — критик ученый, внимательный, беспощадный, хотя и не лишенный при этом некоего снисходительного добродушия. Он по косточкам разобрал марксизм и — горе нам, «ортодоксальным» марксистам! — окончательно повалил все это учение. Он доказал, что Маркс и Энгельс... но так нельзя, надо по порядку.

«Таким образом материализм Маркса есть построение довольно сложное. Совершенно очевидно, что Маркс пытался дать синтез различных созревших в его время воззрений. Объективный критик вряд ли может признать этот синтез удачным. Философия Маркса и Энгельса имеет все признаки эклектизма. Несмотря на всю их охоту к критике, у них обоих недостает ни критицизма, ни творческой силы, чтобы слить разнородные элементы современных направлений в одно гармоническое целое» (стр. 82).

Маркс и Энгельс оказываются *эклектиками.* Когда мы ознакомились с этим строгим приговором г. «объективного критика», мы вспомнили

товарища председателя уголовной палаты, который фигурирует в отрывке Герцена *«Мимоездом»* и который говорит: «да что я, батюшка, в ваших глазах турка или якобинец какой, что из лени стану усугублять участь несчастного» и т. д. Герцен говорит по этому поводу: «Заметьте, якобинцев во всем обвиняли прежде, но исключительно Владимиру Яковлевичу принадлежит честь обвинения их в лени». Совершенно так же и г. Масарику исключительно принадлежит честь обвинения Маркса и Энгельса в *философском экле*

ктизме. Поздравляем г. профессора чешского университета: он во всяком случае не лишен *оригинальности.*

Но на чем же основывается выдвинутое г. Масариком *оригинальное* обвинение? Оно основывается на многих уликах, иногда столь же *оригинальных,* как и самое обвинение.

Маркс был сначала гегелианцем, а потом перешел на точку зрения Фейербаха. От Гегеля он заимствовал *диалектический метод,* а от Фейербаха — *материализм.* Но диалектика и материализм несовместимы: «материалистическая диалектика есть contradictio in adjecto», говорит г. объективный критик (стр. 45). И если он прав, то мы, скрепя сердце, должны сознаться, что философия Маркса (и Энгельса), действительно, насквозь пропитана эклектизмом. Но прав ли он? That is the question, что именно говорит он.

Он говорит вот что: «По теории познания Маркса — Энгельса, понятие есть отражение вещей в мозгу; что такое это отражение и как вообще оно возможно, это мы пока оставим в стороне, но очевидно, что при подобной точке зрения диалектика понятий невозможна» (стр. 45—46). Мы тоже оставляем *«пока в стороне»* вопрос об отражении вещей в мозгу, но зато хотим немедленно узнать,— *почему же диалектика понятий невозможна «при подобной точке зрения».* Тут весь вопрос, очевидно, в том, *как происходит дело в природе:* если в ней все совершается,— как говорит Энгельс,— *диалектически,* то само собою ясно, что и *понятия, представляющие собою «отражение вещей в мозгу»,* должны иметь диалектическую природу. Странно, что г. Масарику не пришло в голову такое простое и, можно сказать, *неизбежное* соображение; очевидно, он был рассеян.

«Маркс ведь не признает, подобно Гегелю, двойного познания,— продолжает г. Масарик:—высшего, диалектического, и просто познания разумом (в немецком подлиннике сказано: verstandesmässige, а это значит — *познание с помощью рассудка,* а не *разума,* как перевел г. П. Николаев—*Г. П.*), разумом, не преодолевающим противоречий» (стр. 46).

C'est selon, г. объективный критик. Если бы внимательно прочитали «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» Энгельса или хотя бы только его *«Развитие научного социализма»,* то вы не забыли бы, что

говорится там об отношении *диалектического* мышления к метафизическому. Энгельс ставит *диалектическое* мышление *выше метафизического,* но ему и в голову не приходит отрицать относительную *правомерность этого последнего.* В известных пределах метафизическое (иначе: *рассудочное*) мышление совершенно необхо-

димо. Но это далеко недостаточно для правильного понимания процессов природы и общественной жизни. *Его надо дополнить диалектическим мышлением.* Такова мысль Энгельса, разумеется, говорившего в этом случае не только от своего лица, но и от имени Маркса. А г. объективный критик приравнивает эту мысль к *полному отрицанию* метафизического (рассудочного) мышления, и это *выдуманное им* отрицание он приводит *как довод против* диалектического материализма. Что же это за критика?

«Маркс не признает никакого априорного познания,— читаем мы далее.— Для него не существует никаких априорных понятий о времени и пространстве... Вообще Маркс не субъективист, т. е. не идеалист, а потому он совершенно последовательно отвергает диалектику Гегеля. Энгельс и Маркс хвалят Фейербаха, как преодолевшего диалектику Гегеля, и вдруг потом они принимают эту диалектику в полном ее объеме» (стр. 46).

Тут необходимо разобраться. Когда Маркс и Энгельс хвалили Фейербаха за то, что он «преодолел» диалектику Гегеля, они имели в виду *идеалистическую* диалектику, к которой они с тех пор не переставали относиться отрицательно. А когда они защищали и рекомендовали диалектический метод, они имели в виду (и всегда ставили на вид читателям) *материалистическую* диалектику, оказавшую им такие огромные услуги в деле научного обоснования социализма. В этом нет решительно никакого противоречия.

Что они признавали диалектику Гегеля *не в «полном объеме»* (как утверждает, г. «объективный критик»), это видно уже из того, что они критиковали ее именно как *идеалистическую.* Зачем же говорить то, чего не было?

Господин Масарик взялся доказать нам, что *материалистическая* диалектика есть contradictio in adjecto. А теперь он уже не отличает этой диалектики от *идеалистической* и утверждает, что Маркс и Энгельс, сначала отказавшись от этой последней, «вдруг потом» приняли ее во всем объеме. Чтобы делать такие неожиданные и ничем не оправдываемые логические скачки, нужно очень запутаться в доводах.

Но послушаем опять г. «объективного критика». «Во всяком случае Маркс и Энгельс искали обоснование диалектики только в природе... Но

ведь из природы диалектика попадает в мозг (мозг ведь тоже природа), и в конце концов у материализма оказывается такой же метод, как и у идеализма» (стр. 46. В русском переводе

здесь стоит: «диалектика такой же метод, как идеализм». Это бессмыслица).

То, что говорит теперь наш критик, показывает, как легкомысленно и преждевременно стал он утверждать, что диалектика понятий невозможна: в самом деле, если процессы природы—диалектические процессы, и если «из природы диалектика попадает в мозг» (удивительный стиль), то ясно, что диалектика понятий *и возможна, и необходима.* Мы уже указывали на это обстоятельство. Теперь его признает и г. «объективный критик», ранее не обративший на него внимания. Мы очень рады и за себя, и за Маркса, и за г. критика.

«Материализм Маркса имеет для своей диалектики тот же источник, как и Гегель (еще раз: удивительный стиль); он также отвергает логический закон противоречия (в русском переводе г. П. Николаева: *положение о противоречии);* Энгельс настолько же сильно восхваляет Гераклита, как и Гегель. Маркс видит в движении источник всякой жизни; мы живем среди постоянного движения; неподвижна только наша абстракция движения—mors immortalis».

Тут опять непостижимая путаница понятий.

Мы уже знаем, что Энгельс признавал *относительную правомерность* метафизического мышления. А признавать относительную правомерность метафизического мышления значит то же самое, что признавать *относительное* (хотя, конечно, не *абсолютное) значение логического закона противоречия.* А признавать относительное значение этого закона вовсе *не значит отрицать его.* Гегель так же мало отрицал его относительное значение, как и Энгельс с Марксом. Если бы ученый критик дал себе труд проштудировать *«логику»* Гегеля, то он и сам понял бы, какие пустяки навязывает он этим мыслителям. Но по всему видно, что ученый критик *совсем не знаком с Гегелем* и, говоря о нем, довольствуется повторением некоторых общих мест, лишенных всякого истинно-критического содержания.

Далее. Что же из того, что Маркс видит источник всякой жизни в движении? Разве это доказывает, что «источник диалектики» в его материализме тот же, что и в идеализме Гегеля? В системе Гегеля «источником диалектики» является *движение идеи,* а вовсе не то

движение материи, которое,— по Марксу, да и не только по Марксу,— есть источник всякой жизни. Как же можно сваливать в одну кучу эти два совершенно различные «источника»?

О сильном восхвалении Гераклита мы говорить много не станем, Само собою ясно, что оно вовсе не доказывает того, что хотелось бы доказать г. Масарику.

«Потому нас не должно удивлять, что Энгельс иногда (по-немецки unter der Hand.— тайком, незаметно) совершенно ясно принимает субъективную диалектику» (стр. 46).

Мы думаем, что Энгельс признавал субъективную диалектику не только unter der Hand, а совершенно прямо и открыто. «Удивлять» это может только тех, которые ничего не понимают в миросозерцании Энгельса. К их числу несомненно принадлежит г. Масарик. Если он приписывает Энгельсу лишь скрытое (unter der Hand) признание субъективной диалектики, то именно потому, что он сам находит *всякое* ее признание *удивительным.* А между тем, что может быть проще и естественнее? Если наши понятия представляют собою *«отражения»* процессов, совершающихся в природе, то они *не могут быть лишены диалектического элемента* [1]). Кто признает существование в природе диалектических процессов, *тот вынужден признавать субъективную диалектику.* Кому это может быть «удивительно»?

«Маркс и Энгельс не поняли, что диалектика Гегеля для них непригодна,— упрямо твердит г. Масарик.— Это очень важное обстоятельство; в подробностях мы встречаем у них множество противоречий — и это объясняется противоречием в теоретико-познавательном обосновании всей системы» (стр. 46).

Как же не поняли, г. критик? Ведь Маркс и Энгельс отказались от *идеалистической диалектики Гегеля.* Зачем вы делаете вид, будто позабыли об этом *«очень важном обстоятельстве»?* Мы знаем — зачем. Нам известно, что против *идеалистической* диалектики сделано было много серьезных возражений, а против *материалистической* диалектики вы *ни одного* серьезного возражения придумать не в состоянии. Чтобы выпутаться из затруднения, вы и сваливаете с больной головы на здоровую, приписав Марксу и Энгельсу идеалистическую диалектику Гегеля. Это, конечно, очень удобный прием. Но насколько он убедителен?

На следующей странице г. Масарик опять изменяет себе, говоря: «Верно то, что Маркс и Энгельс восстают против Гегеля и осуждают его метод». Спрашивается, как же быть с тем «очень важным обстоятельством», что они не поняли непригодности для них тегелевской

диалектики. Ведь это «обстоятельство» лежит в основе всех их ошибок. Г. Масарик сам сознает «непригодность» для него подобного

[1]) Мы не можем говорить здесь о том, как надо понимать термин *«отражение».* Но мы подробно объясним его в другом месте. Это тем более необходимо, что гг. «критики» очень напирают на него, изображая его как чистую нелепость.

противоречия и старается смягчить («притупить», как сказали бы мы с г. П. Струве) его такими Redensarten: «Но можно говорить против Гегеля еще более и горячее, как говорит, например, Шопенгауер, и однако тот же Шопенгауер, сознававший ошибки Гегеля, пользовался методом не менее фантастическим и субъективным. Точно так же Маркс и Энгельс тщетно боролись с давлением, которое производил на них Гегель» (стр. 47).

Тщетно боролись с давлением. Согласитесь, г. профессор, что это очень неопределенно. И если это все, что вы можете сказать о методе Маркса, то ваши «критические» претензии далеко превосходят вашу критическую силу.

Впрочем г. профессор еще не закончил своего исследования о методе Маркса. Выслушаем его до конца.

«Объективной диалектики просто так и не существует». Это мы слышали, но просим вас доказать нам это, г. профессор. «В самой природе не существует никакого диалектического противоречия». Это опять не *доказательство,* а новое *повторение* того, *о доказательстве чего* мы и ходатайствовали перед г. критиком. «Мы можем говорить о притяжении и отталкивании в естественнонаучном смысле слова, о любви и ненависти, о войне и мире в человеческом обществе, но все это не есть ни диалектика Гегеля, ни диалектика Маркса». Стало быть, есть две диалектики: *Гегеля и Маркса.* А г. профессор не только не объяснил нам их различие, но изобразил дело так, как будто марксова диалектика совсем не отличается от гегелевой. И это он назвал *критикой.* Странная терминология! Вся остальная часть выписанной нами фразы представляет собою *опять не доказательство, а повторение того, что требуется доказать.* Удивительная острота критической мысли!

Далее, г. профессор делает вид, что хочет «внимательно анализировать» один из приводимых Энгельсом примеров диалектики природы, и утверждает, что пример этот заключает в себе *«нечто* отличное от того, что хочет доказать Энгельс» (стр. 47—48). Речь идет у него об известном примере овсяного зерна. «Я не буду особенно распространяться об этом примере; сразу очевидно, что он не годится — во всяком случае оплодотворение, рост, развитие и увеличение (по-немецки: Vermehrung —

размножение) есть нечто иное, а не гегелевская теза-антитеза-синтез. Это действительно процесс развития, и своею беспрерывностью и бесконечно малыми изменениями он отличается существенно от трехчленной диалектики» (стр. 47). *Вот и все.* Дальше г. профессор прибавляет лишь следующее лаконическое:

«остальные примеры из различных сфер знания тоже представляют картину недиалектического развития».

Что оплодотворение, рост, развитие и размножение представляют собою нечто иное, чем *тезис, антитезис* и *синтезис,* это в самом деле *«сразу очевидно»,* но *сразу же очевидно,* что это ровно ничего не доказывает. Ведь *падение* тела и его *отражение* есть тоже нечто совсем, совсем иное, чем *теорема механики,* гласящая, что *угол падения равняется углу отражения.* Но разве это «очень важное обстоятельство» доказывает ошибочность теоремы? И разве кому-нибудь придет в голову мысль оспаривать эту двухчленную теорему указанием на то, что движение есть непрерывный процесс, сопровождающийся бесконечно малыми изменениями? Побойтесь бога, г. критик! Ведь не даром же вы, по собственному вашему заявлению, представляете себе мир *«теистически».*

Теперь мы измерили всю глубину «критики», направленной г. профессором против марксовой диалектики. Далее у г. Масарика идет такое рассуждение о Гегеле.

«Уже у Гегеля есть понятие о развитии и прогрессе, но это понятие совсем не соответствует современным взглядам... Он представляет себе развитие посредством катастрофы, посредством крупных переворотов и противоречий. В этом ему следует Фейербах, а последователем их обоих был и Маркс» (стр. 48).

Здесь г. профессор опять рассказывает *«то, чего не было».* Гегель никогда не говорил, что развитие совершается *только* «посредством катастроф, крупных переворотов и противоречий». Он прекрасно знал, что процесс развития состоит также из *бесконечно-малых изменений и противоречий.* Но он прибавлял, что эти бесконечно-малые изменения и противоречия *не только не исключают «крупных переворотов и противоречий», но иногда неизбежно ведут к ним.* Он оспаривал правильность известного положения: *природа скачков не делает.* Если г. профессор чешского университета находит, что доводы Гегеля неосновательны, то пусть он опровергнет их. Но он даже не пытается сделать это. *Он ограничивается искажением мысли Гегеля.* Вот так «критик»!

Но это искажение чрезвычайно характерно само по себе. Оно обнаруживает психологическую подкладку всех нынешних нападок на гегелеву диалектику. Эта диалектика не нравится филистерам тем, что она оправдывает *«крупные перевороты».* Das ist des Pudels Kern, и разумеется, тот же самый мотив обусловливает собою еще более отрицательное отношение тех же филистеров к материалистической

диалектике Маркса. Это «важное обстоятельство» есть одно из самых поразительных доказательств глубокого упадка философской мысли в среде образованной буржуазии нашего времени.

Теперь вы поняли, читатель, почему философия Миркса и Энгельса страдает *«эклектизмом».* Потому что эта философия есть настоящая *алгебра революции.* Если бы можно было удалить из нее ее революционное содержание, то «критики», вроде г. Масарика, сразу же прекратили бы свои нападки на нее, и она нашла бы себе многочисленных последователей в среде тех образованных элементов мелкой буржуазии, которые готовы отстаивать *социальные реформы,* но приходят в ужас при одной мысли о *социальной революции.*

«Reformation, nicht Revolution!» — восклицает г. Масарик в 146-м параграфе своей книги, почему-то совершенно выпущенном русским переводчиком (неужели цензура запретила это противопоставление реформы революции)? Это многозначительное восклицание сопровождается у них высоко-нравственной проповедью на тему о том, что «без действительной реформы нашего мышления и наших нравов мы посредством революции прогоним черта лишь затем, чтобы заменить его Вельзевулом» и т. д. (стр. 551—552 немецкого подлинника). И эта проповедь тем сильнее действует на чувство читателя, что проповедник благочестиво поднимает глаза к небу.

«У Маркса,— говорит он по поводу роста числа самоубийств в цивилизованных странах,— мы особенно ясно видим, откуда у него явилось такое настроение, и сам он говорит об этом: с тех пор, как Фейербах уничтожил небо, философии ничего другого не оставалось, как революционизировать землю. Фауст, Каин, Манфред, Ролла, Иван (*в «Братьях Карамазовых» — Г. П.*) — все эти современные титаны начинают борьбой с высшим и кончают революцией или смертью (какие страсти! Боже милостивый буди мне грешному! — *Г. П.*). Шопенгауер тоже устранил бога и объявил мировой субстанцией слепую, ни к чему не стремящуюся волю. Маркс и Энгельс тоже на место бога поставили материю (рече безумец в сердце своем: несть бог! — *Г. П.*) и отдались во власть слепого случая. Энгельс вполне последовательно видит в слепом зле движущую мировую силу, история делается слепыми страстями

хищности и жажды власти. В слепом и ничтожном мире нет ни места, ни времени для радости и для любви. Когда Христос испустил дух свой,— рассказывает евангелист,— стало темно на земле, и солнце потускнело,— так же затемняется и внутренний мир (das Innere; г. П. Николаев переводит: «внутреннее») человека, когда в нем умирает божество или когда человек убивает его,

гегелевская левая убила бога так же, как Шопенгауер. Дело Гегеля докончили Фейербах, Штраус, Штирнер и Маркс. И стало темно, и солнце потускнело» (стр. 505).

Надо прямо говорить: хорошо пишет о боге г. Масарик! У нас гг. Струве и Бердяев тоже недурно пишут теперь об этой «субстанции», но до г. Масарика им далеко: у них нет той возвышенности и той чувствительности, которые отличают божественные проповеди г. профессора чешского университета. Правда, гг. Струве и Бердяев недавно начали писать о «всевышнем». У них еще нет надлежащего навыка; но со временем, вероятно, усовершенствуются и они.

Нужно ли прибавлять, что г. Масарик на все лады эксплуатирует для своих антиреволюционных целей известное предисловие Энгельса к сочинению Маркса о борьбе классов во Франции? Он увидел в нем «полное отречение от революции». Выходит, будто Энгельс, подобно г. Тихомирову, *«перестал быть революционером».* В предисловии к новому изданию *«Манифеста Коммунистической Партии»* мы старались показать, что Энгельс, объявляя нецелесообразным революционный способ действий, имел в виду собственно *только* современную Германию и вовсе не придавал своим доводам и выводам того общего значения, какое приписали им «критики». Не знаем, насколько *убедительны* были наши рассуждения; но что они были *верны,* это показали недавно опубликованные в парижском «Socialiste» письма Энгельса к П. Лафаргу. После опубликования этих писем, все разглагольствования о том, что сам Энгельс под конец своей жизни *«поумнел»* и *«перестал быть революционером»,* лишаются всякого смысла, и остается лишь вопрос о том, *зачем Энгельс, умевший так ярко и ясно выражать свои мысли, выразился на этот раз довольно темно и сбивчиво.* А на этот вопрос возможен только один ответ: Энгельс уступил настояниям *«практических* политиков» своей партии. Приняв в соображение ту путаницу понятий, которую вызвала уступчивость Энгельса, приходится признать, что она была неуместна, и что вообще не следует приносить интересы теории в жертву практическим интересам минуты. *Это прежде всего очень непрактично.*

Но довольно об этой стороне вопроса. Кроме указанного элемента *«эклектизма»,* г. Масарик открыл в теории Маркса — Энгельса еще другие. Так, например, он указывает на *дарвинизм,* на который эти мыслители смотрели, как на торжество диалектики в биологической науке. По мнению г. Масарика, дарвинизм совершенно не согласуется с марксизмом. Это обосновывается вот на чем. «Маркс

и Энгельс ценят в дарвинизме прежде всего идею эволюции, но они не замечают того, что эта идея противоречит их диалектике и их историческому материализму». Здесь мы встречаемся с тем самым приемом аргументации, с которым мы очень хорошо ознакомились выше: г. Масарик *повторяет то положение, которое ему нужно доказать,* наивно считая повторение доказательством. Впрочем будем справедливы. За *повторением* у него плетется нечто похожее на *доказательство.* «Не говоря уже о том, что Дарвин признает совершенно иные силы развития, чем Маркс, в дарвинизме дело идет не просто о факте развития мира и общества, а главным образом о том, чем и как они развиваются» (стр. 49).

Дарвин признавал известные «силы развития» животных и растительных видов. Это так, но в чем его взгляд на эти силы отличается от взгляда Маркса? Г. Масарик ничего не говорит на этот счет, а мы почти ничего не знаем, ибо Маркс совсем ничего не писал об этом, а Энгельс в общем *соглашался* со взглядами Дарвина. Г. Масарик хочет сказать, может быть, что Дарвин, даже в *социологических* своих отступлениях от *биологической темы,* продолжает стоять на точке зрения, не имеющей ничего общего с историческим материализмом? В таком случае его заявление приобретает смысл и не противоречит истине. Дарвин, действительно, не додумался до исторического материализма. Он, действительно, склонен был применять свою *биологическую* теорию к объяснению *социальных* явлений. Но это — ошибка его, Дарвина, а не *Маркса.* Если Дарвин смешал две категории явлений, смешиванию вовсе не подлежащих, то можно ли на этом основании упрекать в *эклектизме* Маркса и Энгельса, стоявших *в биологии* на точке зрения дарвинизма, а в социологии на точке зрения *исторического материализма?* Такой упрек только тогда мог бы быть оправдан, когда мы признали бы, что нельзя быть одновременно *дарвинистом* в биологии и *марксистом* (сторонником исторического материализма) в социологии. Но ведь *это еще не доказано; это именно нужно доказать.* А наш критик вовсе не доказывает этого. Он постоянно попадает в ту же логическую ошибку. Petitio principii есть главное оружие его «критики».

«Эклектизм» Маркса состоит еще и в том, что Маркс (равно как и Энгельс) был не только *материалистом,* но также и *позитивистом,* сам того не подозревая (стр. 59).

Что же такое *позитивизм?* Г. Масарик не определяет у этого философского понятия, так что нам остается лишь строить на этот

счет *догадки.* Вот например Энгельс оказывается у него *позитивистом,* когда говорит: «Понимать действительный мир,— природу и историю,— так, как он представляется каждому приступающему к нему без предвзятых идеалистических бредней... без всякого милосердия жертвовать всякими предвзятыми идеалистическими бреднями, не согласующимися с фактами, понимаемыми в их действительной, а не фиктивной связи. Материализм ничего более этого и не представляет». Очевидно, г. профессор думает, что материалист так говорить не может. Он думает так только потому, что не знаком с материализмом. У французских материалистов XVIII века можно найти сколько угодно такого «позитивизма» (ср., например, конец 6-й главы во второй части «Système de la nature»). Но какое дело до того г. профессору? Он знать не хочет материализма и он действительно его не знает. Он говорит: «Фейербах мыслил настолько критически, что не мог принять материализма целиком, со всеми его последствиями» (стр. 55). Это г. профессор слышал от Энгельса, но Энгельс *знал,* что значат эти слова, когда он писал их, а г. Масарик *не знал,* что они значили, когда их *списывал.* Вследствие этого он подтверждает их такими соображениями: «Потому-то мы и встречаем у него (у Фейербаха — *Г. П.)* такие оригинальные отговорки, когда он на вопрос, откуда же происходит дух, отвечает, что он происходит оттуда, откуда происходит и тело, что он развивается с телом и т. д.» (стр. 55). Что же тут *«оригинального»?* Ведь так говорил, например, и *Ламеттри,* который уже, конечно, принимал материализм *«со всеми его последствиями».* И почему это *«отговорки»?* Разве факты показывают противное тому, что говорил Фейербах о взаимном отношении «духа» и материи?

Кстати о материализме. Г. «объективный критик» вещает: «Понятно, что тут весь вопрос в том, может ли современная наука и специально биология решиться предложить учение, будто дух есть высший продукт материи, как выражается Энгельс. Я думаю, что мне незачем говорить о том, что уже давно ни один серьезный исследователь не решается утверждать этого. Но Энгельс не допускает никакого сомнения в своей материалистической догматике» (стр. 56). Очень хорошо! Но вот мы открываем французский перевод книги *Гексли* об *Юме* и там, на странице

108, находим такое место: *«В настоящее время никто из стоящих на высоте современной науки и знающих факты не усомнится в том, что основы психологии надо искать в физиологии нервной системы. То, что называется деятельностью духа, есть совокупность мозговых функций, и мате-*

риалы нашего сознания являются продуктом деятельности мозга» (курсив наш). Ну разве же это не то самое, что говорил в указанном месте Фридрих Энгельс? Ведь Энгельс называет там *духом* как раз то, что Гексли назвал *элементами нашего сознания.* Или, может быть, знаменитый английский натуралист не был *серьезным исследователем природы?*

Г. Масарик ехидно спрашивает Энгельса: «Откуда происходит все, и материальное, и человеческая голова?» (стр. 55). Этот трогательный по своей наивности вопрос показывает снова, что г. профессор не имеет ни малейшего понятия о материализме. Материалисты никогда не утверждали, что их учение может ответить на *такие* вопросы. Они всегда говорили, что *эти вопросы лежат за пределами знания.* На этот счет ученый профессор мог найти очень поучительные страницы в сочинениях совершенно неизвестного ему материалиста («со всеми последствиями») Ламеттри. Но если материалисты всегда отказывались отвечать, *откуда происходит «материальное и все»,* то это не мешает им думать, что их учение гораздо лучше отвечает на доступные нам вопросы, чем все другие философские системы. С этим, разумеется, можно не соглашаться (мало ли с чем можно не соглашаться!), но кто не согласен с этим, тому надо *опровергать* материалистов, а не *надоедать им с вопросами, одна постановка которых указывает на то, что надоедающий лишен всякого истинно критического развития.*

В нашей краткой (и кроткой) заметке мы решительно не в состоянии исчерпать *все* перлы философского мышления, рассыпанные в книге г. Масарика. А философии посвящена только одна часть его книги. За этой частью следуют другие, столь же богатые перлами. Пусть читатель сам собирает их. Мы со своей стороны отметим, по недостатку места, только один перл, относящийся к *материалистическому пониманию истории.*

«Вопрос остается таким: составляют ли отношения производства животные потребности, или как бы там ни формулировали эти отношения, конечные движущие силы истории? Главные ли они силы? Настоящие ли они творческие силы?» (стр. 116).

Вы слышите, читатель! Г. Масарик считает возможным *«формулировать» производственные отношения,* как *«животные потребности».*

Это уже из перлов перл! С человеком, способным к *таким* «формулировкам», спорить далее и невозможно, и ненужно.

Когда мы читали отдел, посвященный г. Масариком историческому материализму, мы часто вспоминали нашего доброго, старого

г. Кареева. Г. Масарик, знающий по-русски и часто ссылающийся на русских писателей, очевидно, многим обязан г. Карееву. Он заимствовал у него многие из его замечательных «формулировок». Только он исправил и дополнил их, сделав их тяжеловесными и педантичными. Кое-что заимствовал он также из «формулировок» г. Ник. Михайловского и других русских «критиков» исторического материализма. Но, разумеется, и ко всем этим заимствованиям он прибавил очень значительный элемент многословия и педантизма.

Со всеми этими заимствованиями, многословием и педантизмом г. Масарик в своей «критике» исторических взглядов Маркса оказался очень похожим на... г. Эдуарда Бернштейна.

После всего сказанного читатель понимает, что г. Масарику очень не нравится учение Маркса о стоимости и *особенно о прибавочной стоимости.* Иначе, конечно, и быть не могло.

В заключение мы еще раз скажем всем, интересующимся «критикой» марксизма: прочтите, непременно прочтите скверно переведенную на русский язык книгу г. Масарика. Она обнаружит перед вами психологическую подкладку этой модной теперь будто бы критики.

О книге Д. Гатти.

Bibliothèque Socialiste internationale publiée sous la direction d'Alfred Bonnet. VII. Le socialisme et l'agriculture par D. G a t t i député au parlement italien. Avec une introduction de G. Sorel. Paris. V. Giard et E. Brière, 1902. (Международная социалистическая библиотека, издаваемая под редакцией Альфреда Боннэ. VII. Социализм и земледелие, соч. Дж. Гатти, депутата в итальянском парламенте. С введением Ж. Сореля. Париж, В. Жиар и Э. Бриэр, 1902).

В 1897 году Джероламо Гатти представил конгрессу итальянской рабочей партии, имевшему место в Болонье, доклад, в котором он убеждал своих товарищей в том, что они должны «привить социализм к буржуазной ветке сельскохозяйственных кооперацій». Большинство делегатов отнеслось очень отрицательно к его предложению, и оно было отклонено. Но, потерпев поражение на болонском конгрессе, Гатти не оставил своей мысли, а постарался развить ее дальше и обосновать с помощью новых данных. Плодом этих стараний явилась книга о «Социализме и земледелии», французский перевод которой вышел недавно в Париже у Жиара и Бриэра.

С болонского конгресса Гатти вынес то впечатление, что итальянские товарищи, отклонившие его предложение, были плохо знакомы с *фактами,* касающимися нынешнего состояния мелкой поземельной собственности. Неудивительно поэтому, что в его книге этим фактам отведено довольно значительное место. Мы говорим «довольно значительное», потому что, к сожалению, не можем сказать *главное.* Главное место в книге Гатти принадлежит рассуждению общего свойства, имеющему к аграрному вопросу лишь весьма отдаленное отношение. Он рассуждает и о социологическом значении *расы,* и о *факторах*

исторического развития, и о *субъективном методе в социологии,* и о *влиянии географической среды на общественные отношения,* и даже о *человеческой природе.* Все эти предметы рассматриваются им очень бегло, очень поверхностно, с неожиданными отступлениями и с совершенно излишними повторениями. Толку из всего этого выходит очень мало, а между тем места это

берет очень много, вследствие чего изображение нынешнего состояния мелкой поземельной собственности тоже оказывается очень неудовлетворительным. Погнавшись за многими зайцами сразу, Гатти не поймал ни одного.

В доказательство этого мы приведем несколько примеров. На странице 292-й мы находим у нашего автора следующую таблицу, показывающую движение поземельной собственности во Франции:

Гектары.	1862.	1882.
от 0 до 10 . . .	. . 2.435.402	2.635.000
» 10 » 40	636.309	727.222
» 40 и выше . .	. . 154.167	142.088

На основании этой таблицы наш автор считает себя в праве сказать с полным убеждением, что во Франции *растет мелкая собственность и уменьшается крупная* (accroissement de la petite propriété et diminution de la grande, курсив у автора). Но, во-первых, почему Гатти ограничился периодом 1862—1882? Ведь теперь есть более свежие данные, относящиеся к десятилетию 1882—1892. А, во-вторых,— почему Гатти не потрудился внимательнее анализировать приведенные им данные? Сказать, что в такой-то промежуток времени возросло число собственников, имеющих до 10 гектаров, значит очень мало сказать о состоянии мелкого землевладения. *До 10 гектаров* имеет и тот, у кого их *девять,* и тот, за кем числится крошечный *«носовой платок»,* не превышающий *одной девятой* гектара. Обладатель девяти гектаров может, при известных обстоятельствах, недурно жить независимыми *«трудами рук своих»,* а собственник «носового платка» во всяком случае вынужден жить *продажей своей рабочей силы.* Таким образом тут перед нами две совершенно различные *социальные категории.* Смешивать их непозволительно, но Гатти не смущается этим; вернее сказать, он как будто и не подогревает этого. Основываясь на приведенной им таблице, он умозаключает к росту мелкой и к уменьшению крупной поземельной собственности во Франции, а затем переходит к Бельгии, торопливо прибавив: «это путь прямо противоположный тому, который ведет к капитализму, т. е. к увеличению числа пролетариев, живущих заработной

платой, и к уменьшению числа мелких землевладельцев» (та же страница).

При ближайшем и при более внимательном их рассмотрении, данные статистики французского землевладения представляются в ином свете. Возьмем *самые свежие данные.* В десятилетие 1882—1892

годов, которое *почему-то совсем обходится в таблице Гатти,* - число крупных экономии (exploitations) понизилось со 142,088 до 138,671, т. е. уменьшилось на 3.417. Но,— как справедливо замечает Флур-де-*Сен-Жени,*— это только одна видимость; и мы составим себе ложное понятие о положении дел, если остановимся на этой цифре и не потрудимся разложить ее на ее составные элементы. На самом деле крупная собственность не *«уменьшалась»,* а *«увеличивалась». Ее общая площадь* поднялась с 22.296.100 гектаров в 1882 г. до 22.493.400 гектаров в 1892; *приращение = 197.300 гектаров.* Кроме того, число *экономии* уменьшилось лишь в той категории, которую следовало отнести скорее к *средней,* чем *к крупной* собственности: в категории от 40 до 100 гектаров. Тут мы видим *убыль,* равную *4.818.* Наоборот, число экономии, охватывающих 100 гектаров и выше, возросло на 4.477. И это возрастание совершилось, очевидно, на счет низших категорий, потому что экономии высшей категории увеличились не только в числе, но и в среднем размере. Это совсем не похоже на то, что говорит нам Гатти. Но это не все. Есть некоторое основание думать, что увеличение крупной собственности было значительнее, чем это показывают приведенные нами цифры. Флур-де-Сен-Жени замечает, что по данным исследования 1892 года крупная и мелкая собственность потеряли вместе 653.800 гектаров, а крупная приобрела, как мы знаем, *только 197.300* («La Propriété rurale en France», Paris 1902, p. 88, примечание). Куда же девались остальные *456.500* гектаров? Это разноречие цифр показывает, что исследователями сделана какая-то арифметическая ошибка. Не зная, в чем именно она состоит, мы не можем сказать с уверенностью, что крупная поземельная собственность выросла во Франции в течение последнего десятилетия больше, чем на 197.300 гектаров; но мы имеем полное право высказать это, как одно из возможных в этом случае предположений.

А мелкая собственность? Мы уже видели, что десятилетие 1882—1892,— повторяем, *последнее* из тех, о которых у нас имеются статистические данные,— было неблагоприятно для нее, что она *потеряла* часть своей площади; но не мешает точнее определить характер понесенных ею потерь. Что же говорит об этом статистика?

В 1882 году *число* мелких собственников (от 1 до 10 гектаров) равнялось 2.635.030; в 1892 году оно *понизилось* до 2.617.558; разность= 7.471. В то же самое время *общая площадь земель* этой категории с 11.366.274 гектаров *уменьшилась* до 11.244.750; разность 121.524 гектара (Флур-де-Сен-Жени, 1. с., р. 151). Это опять совершенно не то, что говорит нам Гатти. Но пойдем дальше. В катего-

рии *очень мелкой собственности* (до гектара) мы за указанное десятилетие находим следующие изменения: *число* собственников *увеличилось на 67,738,* а площадь принадлежащей им земли *выросла на* 233.420 (Флур-де-Сен-Жени. 1. с., р. 151). Стало быть *эта* категория, действительно, стала больше в обоих отношениях. Надо помнить, однако, что это *не крестьянская, а пролетарская категория.* Собственность *этого* разряда не обеспечивает независимого существования. Несколько раз цитированный нами Флур-де-Сен-Жени говорит, повторяя известное выражение *де-Фовилля,* что *мелкая,* а в особенности *очень мелкая* собственность *необходима* для *крупной,* так как *доставляет ей рабочие руки и в то же время обеспечивает ей сбыт некоторых продуктов* (р. 335). Но если это так, то во французской деревне *ход развития производственных отношений вовсе не противоречит развитию в сторону капитализма,* как в этом хочет уверить нас Гатти.

А что мы видим в Бельгии, на которую часто ссылается наш автор? Здесь, по его словам, заметно увеличение числа крестьян-собственников и уменьшение земельной площади, сдаваемой в аренду. А из этих фактов он делает тот вывод, что бельгийское крестьянство обладает большой силой сопротивления и что влияние сельскохозяйственного капитализма в Бельгии очень слабо (стр. 292—293). Этот вывод сам по себе не дурен, но беда в том, что данные, лежащие в его основе, не верны, а потому и сам он не соответствует истинному положению дел. В 1880 году в девяти провинциях бельгийского королевства 65,1% всей сельскохозяйственной площади находилось в руках арендаторов; в 1895 г. в аренде было уже 68,9% этой площади. Но это средние цифры. А если мы взглянем на цифры, относящиеся к отдельным провинциям, то увидим, что, например, в люксембургской провинции арендаторами обрабатывалось в 1895 году только 32,1%, о сельскохозяйственной площади, в лютихской—68%, в брабантской 72%, а в западной Фландрии даже 88,4%. Чем далее мы заходим в область интенсивной культуры, тем более понижается процент земель, обрабатываемых их собственниками (см. Вандервельда: «La propriété foncière en Belgique». Paris 1900, p.p. 274—275). Это идет в разрез с уверениями Гатти. И точно так же идет в разрез с ними стати-

стика бельгийского землевладения. Если мы возьмем собственно крестьянские участки (от 2 до 10 гектаров), то мы получим такие данные:

	Собственные земли.	Арендуемые.	Общее число.
1846 . . .	57.169	69.961	126.120
1866 . . .	68.598	94.714	163.503
1880 . . .	60.298	97.663	158.261
1895 . . .	51.298	99.288	150.586

(Вандервельд, 1. cit., p. 286).

Эти данные показывают, что в промежуток времени от 1846 до 1866 г. крестьянская собственность не только сохраняла свою позицию, но и *увеличилась* на счет земель других категорий. А с 1866 года замечается противоположное явление: *крестьянская собственность отступает.* Но этого мало. Бельгия — страна не мелкой, т. е. не *крестьянской,* а очень *мелкой собственности;* это — страна тех «носовых платков», которые совсем не избавляют своих обладателей от необходимости *выносить на рынок свою рабочую силу.* В 1880 году из общего числа 910.396 хозяйств в Бельгии было 710.563 (78%) *хозяйств, имеющих менее чем 2 гектара* (Вандервельд, l. cit., p. 283). Как же обстоит дело с этим разрядом хозяйств, которые мы назвали *пролетарскими?* В противоположность тому, что мы видим во Франции, они тоже *уменьшаются в числе.* В 1895 году их было уже только 634.353. Это значит, что 76.210 пролетарских хозяйств сошло с экономической сцены. Словом, и здесь факты показывают как раз обратное тому, что говорит Гатти. Читатель спросит, пожалуй: неужели они остались ему неизвестны? Нет, грешно было бы утверждать это. Гатти читал книгу Вандервельда и уже по одному этому не мог не знать приведенных нами фактов, но он отговаривается от них тем соображением, что они относятся к слишком малому периоду времени. Это именно только отговорка, и притом плохая. Что касается крестьянской собственности в точном смысле этого слова, то *тридцатипятилетний период,* в течение которого она идет назад, вовсе уже не так *короток* сам по себе и притом он значительно длиннее того *двадцатилетнего* периода (1846—1866 г.), который отличается прогрессом крестьянского землевладения. А что касается *пролетарских* хозяйств, то хотя уменьшение их числа обнаружено только за *пятнадцатилетний*

период (1880—1895), но *их* судьба, вообще,— как мы знаем,— не может служить показателем прогресса или застоя в развитии капиталистических производственных отношений. Именно потому, что это — хозяйства *пролетарские,* они нисколько не свидетельствовали бы о «силе сопротивления» *крестьянской* собственности даже и в том случае, если бы число их *возрастало,* как мы видим это во Франции. Но Гатти

почему-то,— его обращение с цифрами вообще до крайности загадочно,— совсем обходит факт уменьшения числа мельчайших собственников в период 1888—1895 годов; он не идет дальше цифр 1880 года.

Эти два примера достаточно характеризуют способ исследования, практикуемый Гатти; у него нет и следа истинно критического отношения к делу. Литература предмета известна ему очень мало. Он наивно уверяет своих читателей, что в Германии Бебель советует своим товарищам: demeurer les bras croisés on face du prolétariat agricole et de la petite propriété, et négliger, dans l'attente de tous les bienfaits du régime collectiviste, toute amélioration compatible avec le régime bourgeois (стр. 266) (по-русски: скрестив на груди руки перед сельским пролетариатом и мелкой собственностью и в ожидании благодеяний коллективизма пренебрегать всеми улучшениями, возможными в буржуазном обществе). Каутский же,— по словам Гатти,— напротив (par contre), желал бы вмешательства в пользу пролетариата, но не идет дальше мер простого покровительства: сокращения рабочего дня, охранения здоровья женщин и детей и т. д. (та же стр.). Защищая аграрную программу, представленную на бреславльский конгресс 1895 года. Бебель, конечно, не воображал, что несколько лет спустя найдется иностранный товарищ, способный приписать ему ту мысль, что социал-демократы не должны ничего делать даже для сельского пролетариата!

Гатти настойчиво твердит, будто Маркс и марксисты всегда думали, что ход развития производственных отношений пойдет в земледелии так же, как шел он в промышленности. А между тем Маркс еще в 1850 году писал в своем журнале «Neue Rheinische Zeitung», что, пока продолжается существование буржуазных отношений, поземельная собственность будет вращаться в круговом движении *от раздробления к концентрации, и наоборот.* Маркс думал, что если во Франции уже начался возврат к концентрации, то в Англии, напротив, дело быстро идет к раздроблению. Он ошибся в этом случае: у нас до сих пор нет никаких оснований для того, чтобы серьезно говорить о раздроблении английского землевладения. Но сама его ошибка должна была бы пристыдить гг. «критиков». Похожа ли его мысль на ту непременную и неизменную схему, с которой воюет Гатти? Наш итальянский товарищ мог быть

незнаком с «Neue Rheinische Zeitung», мы охотно признаем это. Но не нужно было читать «Neue Rheinische Zeitung» для того, чтобы оставаться в неизвестности насчет указанного нами взгляда Маркса. Каутский ссылался на него в своей книге об аграрном вопросе, а ее Гатти читал, если не

в подлиннике, то во французском переводе, который он цитирует. Выходит, как будто он умышленно закрыл глаза на истину. Но нам не хочется так думать, поэтому мы предполагаем, что он здесь, - как и в обращении со статистикой,— просто отнесен к своему предмету без достаточного внимания.

Изобразив *«успехи»* мелкой поземельной собственности, Гатти пытается определить ту новую тактику, которой должны, по его мнению, держаться итальянские социал-демократы в аграрном вопросе. Он выступает в качестве апостола сельскохозяйственного *«кооператизма».* Он говорит, что в промышленности экономическое развитие целиком направляется в сторону *капитализма,* а в *земледелии* замечаются *два течения:* одно имеет *капиталистический,* а другое — *кооперативный* характер (стр. 227 и след.). В своей деятельности социалисты должны считаться как с тем, так и с другим. Кооператив, подобно капитализму, приготовляет торжество социализма. «Коллективизм также может явиться следствием кооперативной ассоциации, как и капиталистической концентрации», говорит Гатти, заканчивая свою книгу (стр. 336). Ввиду этого социал-демократы должны всеми силами поддерживать сельскохозяйственные кооперации, а вместе с тем коренным образом изменить свое отношение к мелкой поземельной собственности. Социал-демократы не могут брать на себя *инициативу* законов, «которые хотят во что бы то ни стало *приковать мелкого землевладельца к его клочку земли,* которые пытаются остановить *раздробление поземельной собственности при ее наследовании,* которые облегчают приобретение мелких участков, т. е. *создание новых мелких собственников,* и усиливаются задержать естественную *концентрацию собственности* (курсив Гатти).

Законодательная машина представляет собою ненадежную опору для того населения, которое находится в нищете вследствие экономических условий среды» (стр. 332). Но, несмотря на это, социальная демократия не должна и противиться проведению в парламенте законопроектов, имеющих целью существенно улучшить положение мелкой собственности. «Потому, что консервативные сторонники восстановления мелкой собственности, без сомнения, будут стараться поддержать ее существование во что бы то ни стало и, если нужно, то даже восставая против капиталистического течения: они создадут ее там, где ее нет, и везде будут противодействовать ее крайнему раздроблению и ее отчуждению. Социалисты-коллективисты поддержат эти законодательные меры, косвенно благоприятные одной из двух великих тенденций современной сельскохозяйственной экономии (кооперативу); под-

держат потому, что никогда не надо задерживать развитие естественного экономического течения (дословно так: «le développement d'un courant naturel économique — *Г. П.*), потому что кооперативизм так же верно ведет к коллективизму, как и сельскохозяйственный капитализм, и, наконец, потому, что ассоциированная собственность еще больше, чем собственность изолированная, облегчит развитие и пропаганду социалистических идей (стр. 332 — 333).

Итак, с одной стороны, приковывать мелкого землевладельца *к* его участку не следует; это задерживало бы «естественную концентрацию собственности» и к тому же было бы бесполезно для землевладельцев этого разряда. Потому социалисты не должны брать на себя *почин* законодательных мер, имеющих целью также приковывание. А с другой стороны, не надо задерживать развитие «естественного экономического течения», и потому социалисты должны *поддерживать* консерваторов, когда те будут укреплять и насаждать мелкую собственность. Кто найдет здесь противоречие, тот услышит от Гатти, что ассоциированная собственность будет облегчать успехи социализма *«еще более»,* чем собственность изолированная. Но когда же изолированная мелкая собственность,— речь идет именно о ней,— *«облегчала»* успехи социализма? Это остается тайной нашего доброго итальянского товарища Джероламо Гатти.

Гатти прекрасно знает, что мелкие землевладельцы, ассоциируясь между собой, сохранят свой *экономический характер мелких буржуа (*«garderont en s'associant leur caractère économique des petits bourgeois», стр. 221). Но тем не менее он убежден, что ассоциации *мелких буржуа* послужат переходной ступенью к социализму. Он прекрасно знает, что в этих ассоциациях *отсутствует отличительный признак социалистических производственных отношений:* общественная собственность на средства производства. Ему очень хорошо известно, что они оставляют за каждым из своих членов личное владение его прежней собственностью (стр. 234). Но это не мешает ему быть убежденным, что федерация таких ассоциаций явится «последней ступенью лестницы», ведущей от индивидуализма к коллективизму» (стр. 236). И он, как видно, совсем не хочет сказать нам,

на чем основывается это его убеждение. Мы внимательно прочитали эту книгу, однако эта вторая его тайна так и осталась для нас неразгаданной.

В действительности, опыт сельскохозяйственных ассоциаций показывает, что они предлагают путь *прежде всего и больше всего капитализму.* Сознание этого проникает даже в ряды сторонников про-

тивоположного взгляда. Так, Вандервельд, еще несколько лет тому назад стоявший на точке зрения Гатти, теперь решительно расстался ***с*** нею. В статье «La coopération rurale en Belgique», напечатанной в январской и февральской книжках «Revue d'économie politique» за нынешний год, он высказывает то твердое убеждение, что в сельском хозяйстве производительные ассоциации имеют еще более сильную тенденцию склоняться в сторону капитализма, чем в промышленности. «Кооперативные товарищества, имеющие целью производство или продажу предметов,— говорит он,— ведут нас к социализму, но тем же самым путем, как и акционерные компании, картели, тресты, то есть путем капитализма». Мы надеемся, что со временем это станет ясно и для Гатти. А раз он поймет, куда ведут *производительные* сельскохозяйственные ассоциации, ему уже нетрудно будет уяснить себе, к чему могут привести другие роды ассоциаций, в организацию которых входит *еще большая доза индивидуализма* [1]).

«Кооператизм» не устраняет капитализма из деревни, а ускорит ход развития капиталистических производственных отношений в сельском хозяйстве. Этого, разумеется, совершенно достаточно для того, чтобы социалисты поддерживали те законодательные меры, которые устраняют юридические препятствия с пути кооператизма. Но чтобы социалисты могли поддерживать такие меры, не противореча самим себе, необходимо, чтобы они удовлетворяли одному коренному требованию: они *отнюдь не должны упрочивать ту цепь, которая привязывает мелкого собственника к его участку.* Задача упрочения этой цепи должна быть целиком предоставлена *консерваторам.*

[1]) Организация бельгийскими социалистами *потребительных* товариществ в деревнях очень помогает, правда, их сближению с крестьянами. Но тут тайна успеха заключается в *воздействии на крестьян организованной рабочей партии,* сила которой обусловливается господствующими в бельгийской промышленности *капиталистическими производственными отношениями.* Да и в этом случае кооперация, облегчая сближение крестьян с социалистами, вовсе не создает какого-нибудь *«нового течения» в* производственных отношениях деревни.

О романе фон-Поленца «Крестьянин»

Крестьянин. Роман Вильгельма фон-Поленца. Перевод с немецкого В. Величкиной. С предисловием графа Льва Николаевича Толстого. Издание «Посредника», для интеллигентных читателей,
Москва 1902.

До сих пор в «*Заре»* почти не было отзывов о беллетристических произведениях. В будущем их, вероятно, появится очень немного: недостаток места заставляет нас ограничиваться в нашем обзоре новых книг литературными произведениями, имеющими более близкое отношение к социализму. Но роман фон-Поленца «*Крестьянин»* хорошо изображает те самые стороны общественной жизни, о которых так много говорится в социалистической и вообще в социально-политической литературе. Это — чрезвычайно интересная экскурсия в области «аграрного вопросам. Нам хочется обратить на нее внимание наших читателей.

Зажиточный крестьянин Траугот Бютнер, всю жизнь работавший, не покладаючи рук, со всем своим семейством и всю жизнь остававшийся верным религии *«сбережения»,* мало-помалу попадает в руки ростовщиков, совершенно лишается своего имущества и, наконец, обнищавший и всеми заброшенный, вешается на дереве. Такова фабула романа. Эта фабула послужила фон-Поленцу поводом для тонкого анализа психологии современных немецких крестьян средней руки. Перед нами, как живые, выступают эти закаленные, неутомимые труженики, которые чувствуют, что из-под их ног ускользает почва, делают судорожные, почти инстинктивные движения для того, чтобы сохранить равновесие, но в конце концов сознают свое бессилие в борьбе с неведомой им безличной силой. «У Траугота Бютнера,— говорит фон-Поленц,— было только тупое

чувство, смутное сознание, что над ним совершается большая несправедливость. Но кто мог бы сказать: как и кем? Кого должен был он обвинять? Это-то и было жутко, что объяснения нельзя было найти. Беда пришла в потемках, и он не знал даже, откуда. Люди получили право на него самого и на его собственность,— чужие, незнакомые люди, имени которых он не знал и два года тому назад. Он не сделал никакого зла этим людям и только принял от них помощь, которую они ему навязывали сами. А из этого какими-то непонятными ему оборотами

и махинациями выросли права, которые беспомощно отдавали его в руки этих людей. И сколько бы он ни ломал себе голову, ему невозможно было понять во всем объеме того, что произошло».

В романе фон-Поленца непосредственной причиной разорении Траугота Бютнера являются *евреи* Гаррасовиц и Шенбергер. Это обстоятельство может навести на мысль о том, что социальная философия романиста не лишена некоторой примеси *антисемитизма.* Но мы не думаем, чтобы он предпочитал христианских капиталистов еврейским. Христианин трактирщик Эрнст Кашель вышел у него еще менее привлекательным типом, чем ростовщики-евреи. К тому же в его романе ярко изображается именно *безличная сила капитала,* действие которой было бы нелепо относить на счет какой-нибудь *отдельной расы.* Вот почему мы, не останавливаясь долее на этом вопросе, попросим читателя заметить, как хорошо обнаружена **у** фон-Поленца причинная зависимость между *экономическим бытом* крестьян, с одной стороны, и их *психологией* — с другой. В той местности, где живет со своей семьей Траугот Бютнер,— очевидно, это один из уголков так называемой *Остэльбии,*— крестьянин является мелким самостоятельным производителем, который хотя и посматривает на батраков с высокомерным презрением, но все-таки еще не считает себя представителем *высшего класса.* Высший класс представлен там крупным титулованным землевладельцем, которого крестьяне называют *барином* и в котором они, по преданию, сохранившемуся еще от времен крепостного права, видят самого опасного своего неприятеля. Иное находим мы в той части Саксонии, куда младший сын Траугота Бютнера, отставной унтер-офицер Густав, отправляется на летние полевые работы. Здесь «немногочисленные крестьяне были настоящими господами. Они разъезжали верхом и в экипажах, как настоящие помещики, жили в больших, прекрасных домах и посылали своих детей в городские школы. Когда они сходились, то говорили друг другу «вы», и ни один из этих больших господ не позволил бы себе есть за одним столом со своими работниками». Классовые предрассудки проникают в голову крестьянина всего сильнее там, где его собственное *сословие,* вследствие развития противоречий, коренящихся в его экономическом положении,

подразделяется *на два класса:* класс людей, *живущих эксплуатацией* чужой рабочей силы, и класс людей, *продающих* свою собственную рабочую силу.

Очень хорошо изображен фон-Поленцом *консерватизм,* свойственный современному немецкому крестьянину. Отец Траугота Бютне

ра, Леберехт Бютнер, «ни за что не хватался с поспешностью, даже и за хорошее. Его крестьянская сметливость подсказывала ему, что прежде надо еще посмотреть да выждать, дать другим вытащить каштаны из огня, не заводить у себя ничего, что другие раньше не испробовали, и идти несколько сзади тех, кто шел впереди. Только с осторожностью и обдуманностью приступал он к новшествам. Он довольствовался синицей в руке и предоставлял другим гоняться за журавлями в небе». Но Леберехт Бютнер все-таки был человеком, выдающимся по уму, энергии и предприимчивости. А его сын, главный герой романа, уже знакомый нам Траугот Бютнер, человек средний и потому более типичный представитель своего сословия, выступает перед нами, как чистокровный консерватор. «Старый Бютнер не был мечтателем,— говорит автор.— Его интерес всегда был направлен к самой строгой и трезвой действительности, а тяжелая работа не оставляла ему досуга для каких-либо фантазий или пустых мечтаний. Но одно только было глубоко заложено в его душе: своими мыслями он много жил в прошлом. Прошлое для него было постоянным спутником настоящей его жизни и говорило с ним понятным ему языком... Прошедшее составляло для него не только любимый уголок его души, но оно даже решающим образом действовало на все его дела. Своей волей, намерениями и поступками он был связан со своими предками... при этом он почти никогда не говорил о прошлом. Всякие рассуждения, поскольку они не служили определенной практической цели, он считал праздным занятием».

Если бы человек, настроенный таким образом, взялся за общественную деятельность, то он, естественно, захотел бы *«повернуть назад колесо истории».* Но он слишком погружен в свои личные интересы, чтобы взяться за такую деятельность. В его глазах она тоже есть праздное мечтание.

Немецкий крестьянин Траугот Бютнер очень многими чертами своего характера поразительно напоминает русского крестьянина Ивана Ермолаевича, фигурирующего в одном из очерков покойного Г. И. Успенского и изображенного — мимоходом сказать — с еще большим художественным талантом. В таком сходстве нет ничего удивительного: сходные социальные причины естественно порождают сходные

психические последствия. Но сходство это могло бы, в случае нужды, послужить одним из ручательств за то, что оба эти характера верны действительности.

Если бы общественные условия, создающие типы, подобные Трауготу Бютнеру, оставались неизменными в течение многих тысяч лет, то и психология этих типов не изменилась бы ни на волос. Но Германия—не Китай, и потому консерватизм Бютнера не избавил его от «новых веяний». Эти новые веяния вторглись в его жизнь в виде новых приемов борьбы за существование и, разорив его хозяйство, сделали из его старшего сына Карла жалкого деревенского пропойцу, а его самого толкнули, как мы уже знаем, на самоубийство. Его младший сын, уже упомянутый выше Густав, идет сперва на летние работы в Саксонию, а потом попадает в крупный городской центр, где его, варвара, жившего до тех пор вне великих духовных интересов цивилизованной жизни, постепенно захватывает поток великого общественного движения. Его бывший сослуживец и неизменный приятель, веселый беззаботный кутила Гешке, сильно затронутый социал-демократической пропагандой, ведет его на собрание «*безработных»,* где перед его глазами открывается новый, невиданный им мир: «Густав был совершенно озадачен. Ведь они имели вид тех самых нищих и бродяг, которых он не раз отгонял от дверей отцовского дома. А теперь со стыдом он должен был сознаться, насколько эти скромные люди превосходили его. Как умело находили они слова, чтобы выразить свои мысли! Они описывали свое бедственное положение, сообщали то, что личным опытом они добыли и узнали на фабриках, *в* шахтах или на большой дороге. Они говорили о бессердечии богачей, говорили и о жестокости работодателей! Потом они описывали страдания своих семей. И на мрачном фоне настоящего тем ярче блестела картина будущего: их требования, их смелые надежды и ожидания того, что должно насту пить—равенство, награда за их страдания, счастье,— тот земной рай, который предсказывали им их учителя и сияние которого уже светилось в их глазах. Слова этих людей тронули сердце Густава, он почувствовал, что та нужда, которую они описывали, была как бы его собственной. Он был весь на их стороне. Он понял то, что одушевляло их. Это было общее дело. Одна общая всем надежда, один дух, одна мысль находили отражение во взоре их глаз, владели выражением их лиц, их движениями, их языком. Одна идея наполняла их, укрепляла их дух, воспламеняла их одушевление, их надежду, поднимала их выше самих

себя и заставляла казаться каждого в отдельности выше, чем на самом деле был... Настоящее было для них, как мрачное подземелье, отдаленное глубиною от всякой красоты, озаряющей поверхность. Взоры их неподвижно были обращены к тому неболь-

шому далекому отверстию вверху, откуда к ним проникали лучи солнечного света и тепла; туда вверх стремились они».

Служа в армии, Густав не раз слышал, конечно, нападки на социал-демократов, и слово *«красный»* сделалось у него бранной кличкой. Теперь он увидел свое заблуждение.

«Одно стало ему ясно в этот вечер: это были неплохие люди. Не злоба и подлость руководили ими.— их влекло то же стремление, которое одушевляло и его, и всякого другого смертного, это — желание лучшей участи».

Раз увидев свет. Густав уже не мог от него отвернуться. Его потянуло на другие собрания. «Он слышал речь знаменитого депутата рабочей партии в рейхстаге. Через Гешке он познакомился с некоторыми членами партии. Он узнал о существовании могучего, широко распространенного союза, власть которого глубоко проникла во все эти жизненные отношения. И чем больше он видел, тем больше притягивало его к себе то, что он узнавал. Он как будто стал на краю самого водоворота. Он чувствовал, что водоворот захватил его, противился ему, но все более и более втягивался в роковой круг».

Фон-Поленц ничего не говорит в своем романе о своих собственных социально-политических взглядах. Но по некоторым признакам мы решаемся с уверенностью сказать, что он далеко не социал-демократ. Попадаются в его описаниях даже черточки, заставляющие думать, что хотя он и описывает рабочие собрания, как школу высокого нравственного идеализма, но в глубине души он не совсем еще отделался от взгляда на пролетария, как на существо, лишенное всяких нравственных устоев. Тем дороже для нас та дань справедливости, которую он заплатил нашей партии в Германии. Социал-демократия несет в трудящуюся массу свет сознания и огонь великой, благородной страсти. Какая общественная роль может быть выше этой?

Очень интересно отметить и это психологическое наблюдение: чтобы принять участие в великом освободительном движении нашего времени, крестьянин должен покинуть свою крестьянскую точку зрения и перейти на точку зрения пролетариата.

Граф Л. Н. Толстой написал к роману фон-Поленца предисловие, в котором он, очень расхвалив это действительно достойное похвалы художественное произведение, говорит о том, какова должна быть настоящая литературная критика. Он — большой враг тех критических статей, которые пишутся собственно не о художественных произведениях, а только *по поводу их.* Но его предисловие са-

мо представляет собою критическую статью, в которой очень мало говорится о романе фон-Поленца и очень много именно *по поводу его.*

У нас нет под рукой немецкого подлинника «*Крестьянина*». Поэтому мы не знаем, везде ли *точно* перевела его г-жа В. Величкина. Мы видим только, что она превосходно владеет нашим могучим, гибким и богатым языком. А это «по нынешним временам» уже большая заслуга со стороны переводчика.

Содержание

Стр.

Предисловие редактора 1

Критика наших критиков

Статьи против Бернштейна 7
. . . .
Бернштейн и материализм 9
. . . . . .
(«Neue Zeit», XVI, 2)
За что нам его 23
благодарить? . . . . . .
(«Sächsische Arbeiter-Zeitung», 1898, № 253-255)
Cant против Канта, или Духовное завещание г. Бернштейна . 36
. . . . . .
(«Заря», № 2-3)
Предисловие к переводу «Развитие научного социализма» Ф. 65
Энгельса
(«Библ. Совр. Соц.», серия I, вып. 2, Женева, 1902 г.)
Статьи против К. 93
Шмидта . . . .
К. Шмидт против К. Маркса и Ф. 95
Энгельса . . . . . .
(«Neue Zeit», XVII, 1)
Материализм или 114
кантианизм . . . . . .
(«Neue Zeit»), XVII, 1)
Еще раз 133
материализм . . . . . .
(«Neue Zeit», XVII, 2)
Статьи против П. 139
Струве . . . . . .
(«Заря», № 1, № 2-3, № 4)
Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории обществ.
развития..
Статья 141
первая . . . . . .
» 182
вторая . . . . . .
» 240
третья . . . . . .
Первые фазы учения о классовой борьбе (предисловие к
«Коммунистическому

Манифесту») 273
(«Библ. Совр. Соц.», серия II, вып. 3, Женева, 1900 г.)
Критические заметки 327
О книге Кроче 329
(«Заря», № 4)
О «Bibliothèque Socialiste», № 1—5 345
(«Заря», № 1)
О книге С. Франка 348
(«Заря», № 2—3)
Литературное наследство Карла Маркса и Фридриха Энгельса 358
(«Заря», № 2-3)

Стр.

О книге Э. Вандервельда 363
(«Заря», № 1)

О книге Масарика 370
(«Заря», № 1)

О книге Д. Гатти 383
(«Заря», № 4)

О романе фон-Поленца «Крестьянин» 392
(«Заря», № 4)

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛИЗМА

Гольбах, П. Система природы. Ч.ч. I и II. С предисловием Л. Деборина. Стр. XXXV+578. Ц. б/п. 4 р., в/п. 4 р. 50 к.

Ламеттри. Избранные сочинения. (Печ.)

Людвиг Фейербах. Сочинения. Т. I. Избранные философские произведения. Вступительный очерк А. М. Деборина. Стр. 336. Ц. 1 р. 25 к.

Его же. Т. III. Лекции о сущности религии. Со вступительной статьей А. Деборина. Стр. 408. Ц. б/п. 2. р. 75 к.; в/п. 3 р. 25 к.

Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.

Исторический журнал, в задачи которого входит исследование генезиса, развития и распространения идей научного социализма.

Книга первая: От редакции.— Статьи и исследования.— Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса. Из переписки Маркса и Энгельса.— Критика и рецензии. Стр. 497. Ц. 4 р.

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. Стр. 72. Ц. 60 к. Изд. 2-е. С иллюстр.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Москва, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский пер., 4. Тел. 2-22-24.

Ленинградское представительство, Ленинград, просп. Володарского, 51-а. Тел. 2-15-75.

ОТДЕЛЕНИЯ

Армавир, Первомайская, 54; Баку, ул. Троцкого, 14; Батум, ул. III Интернационала, 15; Винница, пр. Ленина, 44; Владикавказ, Пролетарский пр., 38; Вологда, пл. Свободы; Воронеж, пр. Революции, 1-й дом Совета; Екатеринбург, уг. Пушкинской и Ив. Малышева; Зиновьевск (б. Елисаветград), ул. Леннна, 34; Казань, Гостинодворская, Гостиный Двор; Киев, ул. Воровского, 38; Кисловодск, ул. Карла Маркса, 7; Кизляр, Советская, 11; Кострома, Советская, 11; Краснодар, Красная, 35; Н.-Новгород, Б. Покровка, 12; Одесса, ул. Лассаля, 27; Пенза, Интернациональная, 39/43; Пятигорск, Советский пр., 48; Ростов-на-Дону, ул. Фр. Энгельса, 106; Саратов, ул. Республики, 30 (42); Смоленск, Б. Советская, 12: Таганрог, ул. Ленина 56; Тамбов, Коммуиальная, 14; Тифлис, просп. Руставели, 16; Харьков, ул. 1-го Мая, 20.

МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ

Советская площ., под бывш. ГОСТИН. „Дрезден", тел. 1-28-94; Моховая ул.. 17, тел. 1-31-50; ул. Герцена, 13, тел. 2-64-95; Никольская ул.. 3. тел. 49-51; Серпуховская площадь 1/43, тел. 3-79-65; Кузнецкий Мост, 12. тел. 1 01-35; Покровка, Лялин пер., 11. тел. 81-94; Мясницкая, 46/2, тел. 5-98-76, Кузнецкий Мост, 11; Б. Лубянка, 15, тел. 2-31-29; пл. Свердлова, 2-й дом Совета, маг. „Серп и Молот", тел. 1-32-42.

Центральный склад учебников и научной литературы „Теплые Ряды" и оптово-розничный магазин при нем—Ильинка, Богоявленский пер., 4. Тел. 1-91-41.

Торгсектором Госиздата организован Отдел Почтовых Отправлений, выполняющий быстро и аккуратно бандеролью и небольшими почтовыми посылками все заказы на книги Госиздата и всех других издательств, а также и на дореволюционные издания.

Заказчики, обращающиеся непосредственно в Отдел Почтовых Отправлений (Москва, Ильинка, Богоявленский пер., 4), при высылке денег вперед - за упаковку и пересылку не платят и таким образом получают любую книгу по цене издательств.